

В начале было слово.

Геология... Это плавное словосочетание состоит из двух греческих слов: “Гея” – такое имя носила эллинская богиня Земли и “Логос” – в переводе на русский – слово... “Слово о земле”, “освоение земли”, “изучение земли”, то есть, в сущности, то, чем занимается всю свою историю человечество. А шестой частью земли всегда была наша Родина, Россия, и, наверное, потому русские геологи всегда ощущались не только изыскателями и покорителями недр, но одновременно и литераторами, воспевавшими эту землю и свою подвижническую работу на ее просторах.

Вот почему редакция “Нашего современника”, издавшая три года тому назад “геологический номер” журнала, решила повторить подобное издание в апреле 2020 года. Мы обратились к руководству Федерального агентства по недропользованию с этим предложением, и оно радушно отозвалось, разослав всем своим структурам телеграмму следующего содержания.

Уважаемые коллеги!

Доводим до вашего сведения, что достигнута договоренность с редакцией журнала “Наш современник” о публикации материалов о геологах.

Отличительная особенность журнала — широчайший охват жизни современной России. Страницы его апрельского номера будут посвящены нашим геологам, Дню геолога и вкладу геологов в победу советского народа над фашизмом.

Приглашаем специалистов отрасли принять участие в данном проекте.

По жанру это могут быть публицистические, стихотворные, прозаические и очерковые художественные произведения. Кроме того, это могут быть творческие работы геологов, не связанные по тематике с геологией, например стихи о любви, о жизни, о войне, о нашей победе.

А дальше случилось то, о чем мы и помыслить не могли. В течение последующих двух недель на нашу электронную почту стали поступать стихи, очерки, рассказы, повести, воспоминания со всех концов необъятной Родины. Работы нам прибавилось невпроворот, но мы с благодарностью и с полным напряжением сил стали выполнять ее, думая о том, как же талантливы во всех отношениях люди этой самой романтической земной профессии... Спасибо руководству Роснедр, вам, друзья. Портфель редакции переполнен вашим творчеством. Мы, конечно, не сможем напечатать в апрельском номере всё, что достойно попасть на страницы журнала. Но обещаем, что повторим из образовавшихся запасов очередной геологический номер в следующем 2021 году.

Пишите, творите, присылайте! Мы с вами делаем одно дело на благо нашей общей Родины. Помните, что в начале было слово.

НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№3 2020

*Сердечно поздравляем
с всемирным женским днём
и наступившей весной!*

ИЗ ЮНОСТИ

*Не догорев, заря зарей сменялась,
Плыла большая круглая луна,
И, запрокинув голову, смеялась,
До слез смеялась девушка одна.*

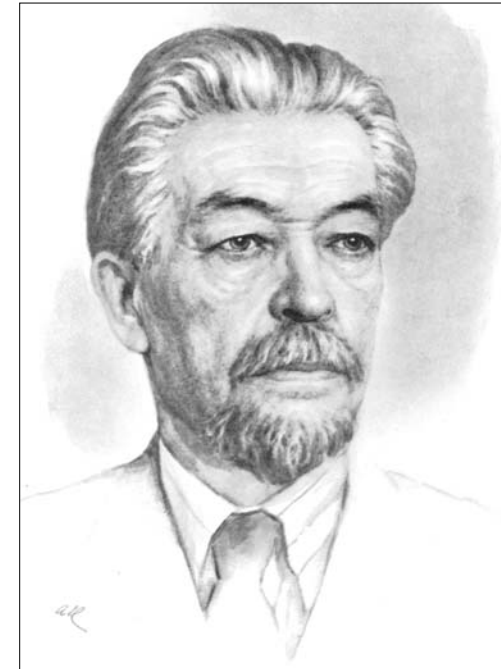
*Она была веселой и беспечной,
И каждый вечер верила со мной
Она любви единственной и вечной,
В которой мы признались под луной.*

*...Давным-давно мы навсегда расстались,
О том, что было, не узнал никто...
И годы шли,
И женщины смеялись,
Но так смеяться не умел никто...*

*Мне кажется, что посреди веселий,
В любых организованных огнях,
Я, как дурак, кружусь на карусели,
Кружусь, кружусь на неживых конях!*

*А где-то ночь все догорать не хочет,
Плывет большая круглая луна,
И, запрокинув голову,
Хохочет,
До слез хохочет девушка одна...*

Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ



75 лет назад скончался выдающийся русский прозаик Вячеслав Яковлевич Шишков. Писатель и дореволюционный, и советский. Человек удивительной судьбы. Первые сорок лет жизни он посвятил путешествиям по всей России, особенно по Сибири, исследовал её в качестве сотрудника министерства путей сообщения. Эти обширные познания позволили ему впоследствии написать великий роман “Угрюм-река”. Прославивший своего творца в 30-е годы, он вновь воскрес для читателей в 1968 году после выхода великолепной телевизионной экранизации. Но самое важное звучание эта подлинная эпопея должна иметь сейчас, ибо в романе “Угрюм-река” широко и ярко показано, как капиталистическое стремление к наживе глубоко чуждо корневому русскому человеку, губит его душу, а затем и его самого. Эту книгу можно смело поставить в один ряд с шолоховским “Тихим Доном”. Перечитайте её!



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Проза

- Алевтина ИСТОМИНА
Я и другие мамы. Рассказы 9
- Татьяна ЖАРИКОВА
Путь на эшафот. Повесть 23
- Андрей ВОРОНЦОВ
Корабль в пустоте. Роман 88

Поэзия

- Мария АВБАКУМОВА
Мои стихи – мои молитвы 3
- Татьяна БАТУРИНА
Дорожный мотив 6
- Александра ИРБЕ
...А бабушка всё пела 18
- Валентина КОСТИШАР
А это – мы 21
- Юлия ВЕРБА
Между миром и войной 84
- Борис ОРЛОВ
Настежь ворота 86

Очерки и публицистика

- Станислав КУНЯЕВ
“К предательству таинственная
страсть...” 149
- Елена ЛАРИНА,
Владимир ОВЧИНСКИЙ
Реальность биогенетических
войн 175
- Сергей ШАРГУНОВ
Стоны страны.
Депутатский дневник 190
- Ирина УШАКОВА
За честь России и Сербии 202
- Александр КАЗИНЦЕВ
Друзья и враги
“Пробуждения” 207

“...Всё для Победы”

- Александр ЖДАНОВСКИЙ
Из духовного сословия 196

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
*первый заместитель
главного редактора* —
(495) 625-01-81

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора,
зав. отделом критики* —
(495) 625-02-81
ns-kritika@yandex.ru

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

Я. В. Сафронова —
*редактор по связям
с общественностью* —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Память

Виктор КОЖЕМЯКО
Любовь и опора
писателя Распутина 222

Юрий ИВАНОВ
Стихотворный упрёк
Распутина 236

Евгений КУРДАКОВ
Озеро. Десять дней
одного лета 238

Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожинов 249

Слово читателя

От "Нашего современника"
отказаться невозможно 262

Среди русских художников

Галина СТАРКОВА
Интеллигент и мастер 270

Критика

Галина ОРЕХАНОВА
К русской интеллигенции 275

В конце номера

Ольга МИТРОХИНА
Память о нём останется
навечно 281

Зоя САФРОНЧУК
Письмо В. В. Путину 285

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2** (пн.-чт. с 11 до 17 ч.)

Сайт в интернете: www.nash-sovremennik.ru, эл. почта: n-sovrem@yandex.ru

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675. При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Оператор: Н. С. Полякова. Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 05.03.2020. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 0099-2020. Тираж 3900 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

МАРИЯ АВВАКУМОВА



МОИ СТИХИ — МОИ МОЛИТВЫ

* * *

Горит “Литературная Москва”
В моей печурке, холод преграждая.
Горит Е. Е., и Брагин полыхает —
Могучая талантами братва..
Им разве жаль тепла сердец для брата
По ремеслу! Куда его девать?..
Егда поэт навроде супостата;

Уж лучше так... Огонь бушует ладно.
Согрейся, Муза, у печурки, здесь.
Сюда ты шла тропой не шоколадной,
Но хлеб и соль, и совесть в доме есть.

* * *

Я не вымучиваю строки,
я волю им даю вполне.
Они в любые входят сроки
к великомученице — мне.
Они вольны, как в небе птицы,
и воля их, когда запеть,
иль под стрехой поселиться,
или от стужи улететь.

АВВАКУМОВА Мария Николаевна родилась в Архангельской области. Окончила Казанский университет. Занималась журналистикой, переводами поэзии народов нашей страны. Автор нескольких стихотворных сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Так Серафим — слуга народа —
не сказывал, когда придёт
целить любовью нищеврода,
и сам — такой же нищеврод.
Мои стихи — мои молитвы
смирненно спят блаженным сном —
солдатиками после битвы,
пока команды нет: “Подъём”!

ЗОЛОТОЙ УГОЛЁК

Господь ниспослал благодатный денёк:
на улице дождик и дел никаких;
найди для себя золотой уголок,
сиди и молчи, как былиночка, тих.
Зачем и к чему эти наши слова?!
Они изменить ничего не смогли.
Так долго гудела твоя голова
от брэнного шума — теперь отдохни.
Не властен никто изменить времена,
ни самой тусовке большой, громогласной...
Где эти поэты?.. Где их имена?..
“Гори-гори ясно — пока не погасло”.
Монашеской тихостью не овладеть
и обликом ласковой божьей коровки
тому, кто на землю пришёл погреть,
заглохнуть и сдохнуть, не ждя выбраковки...
А смерть — бесконечна. Не любит она
заделье своё одарять возвращеньем.
А книги — желанная жертва огня —
лишь в каменном виде достойны прочтения.
И кем-то давно уже списана я.
Но я не страдаю больным самолюбьем.
Я к тихости этой по углям прошла...
И мой золотой уголёк не погублен.

* * *

Посиди — помолчи...
и не день и не два...
Может быть, и найдёшь
драгоценны слова,
а найдёшь — побежит
восхищённая дрожь.
Драгоценность
не спутать ни с чем,
коль найдёшь,
заискрит,
зазвенит —
не услышать нельзя.

* * *

Сегодня муха ожила,
и ласточка развеселилась.
Нас птичка русская спасла,
которой я с утра молилась.

Мир проживёт без слов моих,
как жил без моего дыханья.
Но всё ж порою жаль иных,
не знающих души порханья.

Бывает день, бывает час... —
бывают страшные мгновенья:
Лишь Слово и спасает нас
своим пречудным заступленьем.

ТАТЬЯНА БАТУРИНА



ДОРОЖНЫЙ МОТИВ

* * *

На ледовом, на каменном сломе зимы
В талом свете её минованья
Март малюет в снегах голубые дымы —
Как туманны его малеванья!

И печалит, и радует дымная синь.
Отчего в ней такая услада?
Иль распутица водит бездомных разинь
По околице райского сада?

Голубые дымы — это марта молва
О замёрзших, забытых, заблудших
В окаянной зиме, это сон однова
О возлюбленных, истинных, лучших...

Не о нас ли?
Так, стало быть, умерли мы...
Кто же это глядит с отдаленья,
Как блуждают в снегах голубые дымы?
Кто сияет в дыму обомленья?

БАТУРИНА Татьяна Михайловна родилась в Сталинграде. Журналист, поэт, прозаик, учёный, кандидат филологических наук. Автор более 25 книг поэзии и прозы и ряда научных работ. Главные темы её творчества: Бог, Родина, родительский дом, любовь и поиски гармонии бытия, уроки прошлого, настоящее и будущее. Член Союза писателей России с 1979 года.

С того ли, с сего ли потух окоём,
Вскипела окрестность,
И знойную томность омыла дождём
Родная небесность.

Я чайку прикрыла ладонью на миг,
Она встрепенулась,
Сквозь ливень вспорхнул в небеса её лик —
Ко мне не вернулась,
Исчезла за струйным нарядом дерев..
Я тоже исчезну:
К благим небесам возлечу нараспев
Сквозь мокрую бездну!

АЛЕВТИНА ИСТОМИНА



Я И ДРУГИЕ МАМЫ

РАССКАЗЫ

СЕРЁЖКА

Дарить мне подарки, особенно хорошие и значимые вещи — это всё равно, что взять и выбросить их на помойку. Если вам хочется подарить мне что-нибудь хорошее, просто выбросьте это из головы, и подарок свой туда же отправьте.

Я уже говорила, что была цыганкой в прошлой жизни. Предположительно. А теперь расплачиваюсь за все украденные украшения.

Пришла на работу в двух серёжках, ухожу в одной. Им от роду три дня. Новенькие, подаренные от души. Я как увидела пустое ухо, так сразу выть захотелось от беспомощности своей. Обшарила весь холл, раздевалку и душевую кабину. Все верхнюю одежду по ниточке разобрала. Полотенце, которым вытиралась, под микроскопом рассмотрела.

Не бывает так. Так не должно быть, что им три дня, а их уже нет. Несправедливость какая-то. Это даже для меня слишком круто.

План А: Куплю на “Авито” одну, наверняка не одна я такая. Тык-тык на сайте. Напрасно — я одна такая. Уникальная.

План Б: Ладно, куплю ещё комплект, будет три, наверняка потеряю ещё одну. Три раза обошла все возможные места, сникла.

Часа два прошло. И я подумала: почему так просто сдаюсь? Из всех сил буду на ладонке представлять её и чувствовать радость. Прямо как заору:

ИСТОМИНА Алеwtина (УСЕНКО Алеwtина Андреевна) родилась в 1983 году в Анапе. После школы окончила с красным дипломом Российский государственный университет физкультуры, спорта, молодёжи и туризма. Работает тренером по волейболу. Живёт в Москве. Выпустила книгу рассказов “Босиком по лужам”.

“Нашлась! Ура!” Нужно почувствовать эту вибрацию радости. Будто, правда, вот она.

Если я мылась, она могла в сток провалиться. Да?

— Александр! Умоляю, сделайте что-нибудь.

Александр — это наш технический персонал. Мастер своего дела. Он вооружился какой-то шутовщиной, сразу видно — для вылавливания серёжек из канализационных труб. А я стою и не сдаюсь. Я вижу её на ладони. Грязную такую, без застёжки. И не отпускаю её. Если я махну рукой и скажу своё дебильное: “Ничего страшного”, — то всё, понимаете, конец.

А я держусь из всех сил. За свой спортивный топ. Почему-то трясу его — и вдруг она выпадает прямо из топа. Подействовало, сработало!

Я не сдаюсь.

АРИШКА

Неужели двенадцать лет назад я вот так же сидела на кухне в семь утра и недоумевала, почему мой муж пошёл чинить стиральную машинку к соседям вместо того, чтобы везти меня в роддом?

Это наша фирменная история.

Аришка научила меня летать. Быть лёгкой. Гибкой. Искать нестандартные решения. Менять моё “нет” на “да”.

Она прибирается лучше меня, если найдёт вдохновение. Мне остаётся только помогать это вдохновение искать, пинками иногда.

Я обожаю читать, она ненавидит.

Но! У неё всё по полочкам, она с самого детства знает, чего хочет. Уже в годик она точно знала, какие ей нужны носки, жёлтые или фиолетовые. Хотя, мне кажется, в этом возрасте тебе должно быть фиолетово, какие на тебе носки.

Она самостоятельная. Самодостаточная. Чёткая (именно этот эпитет почему-то подходит как никакой другой). С первого класса рюкзак она собирает себе сама, а Варю, мне так кажется, и в институт я собирать буду. Прости, Варя.

Она весёлая. Добрая, красивая, нежная. А в детстве была колючим ёжиком. Шустрым, деловым и вечно занятым своими делами. Даже на ручках сложно было подержать.

— Мне некогда, мама.

Я обнимаю тебя, моя большая девочка. Я каждый год вспоминаю, как ты появилась. Горластая. Крикастая. С глазами, как спелые вишни, и ирокезом на голове.

Такая красивая и любимая.

— Вы из роддома сразу в парикмахерскую?

Наш крутой подросток, просто будь счастливой каждый день!

ДОМАШНЯЯ РАБОТА

Самый страшный монстр — это домашка, набрасывается на меня, как только я переступаю порог. В планах у меня был ужин. Видимо, отменяется. Ненавижу уроки. Пытаемся с Аришей разобраться, Варю вдруг заклинило: “Я птичка, я птичка...” — и так сто четыре раза, и сияет, как медный таз. Потом легла на пол и давай ножками топать и хитро улыбается, ей тоже эта домашка по барабану.

Раз двести пропихнул телефон и вдруг вырубился. В группе “садик” жаркая дискуссия, которая длится вторые сутки, на повестке дня — кармашки на шкафчик за двести рэ или за триста. Психанула, написала: “Вся эта активность из-за 100 р.?”

Замолчали. Ответить во все группы просто физически невозможно. По предварительным подсчётам, их около двадцати.

Семь минут разговора по телефону, а в комнате будто кто-то взорвал пакеты с шарфами и шапками. Вернее, не “кто-то” и не “будто”, а сами знаете, кто раскидал все мои шарфы и шапки.

Сразиться с грязной посудой, ликвидировать последствия “взрыва”, расправиться с ужином, управиться со стиркой, нечаянно перевернуть горшок.

— Мама устала и хочет полежать, — и брякнуться прямо посреди всего этого безобразия.

А потом, когда всех уложишь спать, — включить музыку, заварить чай и просто сидеть.

Сидеть и даже не думать, тихонечко так сидеть.

Если вам страшно, так бывает не всегда. Если спросите, хотела бы я приходиться домой и слышать тишину — нет!

Я хочу всего этого, того, что есть сейчас. Просто нужно вовремя подзамяться.

И находить время для себя.

— Тебе почитать?

— Нет, мам, иди, отдохни и сама почитай, ведь ты так хотела!

МЫ

— Давай сбежим вдвоём куда-нибудь, а? Такая возможность выпала. Поужинаем, в кино ходим?

— Ура-а-а! Свидание! Я надену то платье!

— Договорились! Чёрт, только мне вставать завтра ни свет, ни заря и ехать двести пятьдесят км.

— Ну, давай просто в кино ходим, а?! По-быстрому. А то я вспомнила, у меня завтра мероприятие важное на работе. Буду ночью готовиться. Ещё нервничать буду.

Стоим на кассе, складываем провизию в четыре пакета и, как идиоты, ржём. Кассир слегка напряжена и посматривает: чо ржут, может, деньги забыли? Это ей повезло ещё, что мы на камень-ножницы-бумага не скидывались, кто платить будет.

А нас не остановить. На свиданку собрались. Трясу этими пакетами из супермаркета: вот она и киношечка тебе, вот он, рестораник! Дома жуй, дома пей.

СОПЛЯ

— Вот так встреча!

Они обнимаются на ходу в трамвае.

— День рождения? Ну, сколько тебе стукнуло, рухлядь? Всего восемьдесят три? Так ты ещё совсем сопля! — и старшая энергично так шлёпнула младшую подругу по плечу.

— Мы с тобой, видишь, какие модные. Меня нынче внуки на все выпускные зовут. Надень, мол, бабуля, свой брусничный костюм и ордена свои надень. Так нет у меня орденов, милые, говорю.

— Где ж они, потеряла?

— Не ордена это, а медали.

— Ну, всё равно, надень. А я, как открою шкаф, там у меня костюмы и платья все по цветам — кремовые, вишнёвые, лазурные...

— Что нам ещё нужно с тобой, блондинистым? — и младшая ловко заправляет седой локон под берет.

— Куда направляешься?

— За путёвкой еду. От завода направляют. Целых восемнадцать дней буду гулять, читать, мечтать, дышать морским воздухом, — младшая даже зажмурилась от удовольствия.

А я сидела, рот до ушей, крутила головой, любовалась ими, радовалась и ловила каждое слово. Это же круто, что в восемьдесят три для кого-то ты ещё совсем сопля.

СКАЗОЧКИ

— Мамочка! Сказочку! Читай, читай!

— Ага, выбирай!

— Жили-были старик со старухой... нужно в магазин завтра, молоко, сахар...

— Что, что такое? Какое молоко?

— А-а-а, стоп! Ой, прости. — Моргаю усиленно. — Ну, жили они не тужили, и была у них внучка...

Веки, как свинец... Когда же наша бабушка навестит своих внучек... Надо было развесить бельё, да и фиг с ним... Квитанции найти... И фотки на пропуск до сих пор не отправила...

— А дальше, дальше что?

— А-а-а? Прости, прости. Пошла она в лес с подружками... Такси надо бы заказать заранее на завтра... Uber kids заранее нельзя заказать.

— Мамочка, ну, какое такси, они пешком шли ведь... Не спи. Читай, читай дальше...

Бывает, я отрубаясь во время чтения. И несу всякую чушь. Варя смотрит на меня с большим удивлением. Иногда смеётся до слёз. Иногда сердится, что я так странно засыпаю. Я вздрагиваю и помню лишь огрызок фразы, которую я бормотала, мне дико смешно...

Только умоляю, не говорите мне, что так не умеете. Скажите, что не только я обладаю этой странной суперспособностью, да?

ПРЫЖОК

Я всегда хотела полетать на этой дурацкой чугуевской резинке. Знаете, такая огромная рогатка. Тебя помещают в жилет-трусы, крепко затягивают со всех сторон и выстреливают в небо.

Передо мной был мужчина. Он кричал благим матом на весь пляж. Отборным русским матом. Почему меня это не остановило? Если бы я сто раз подумала перед прыжком, я бы передумала, честно признаюсь. Но я решила даже и не думать.

В свободном падении и вверх тормашками посещают мысли, что всё-таки надо было сначала подумать. А потом уже было не до дум. Улетаешь всё выше, и мысли вместе с желудком. Или он всё-таки выше.

Если вы потом планируете вечером выпить клубничную “маргариту”, после резинки этой, ну, она будет почему-то уже не такая вкусная.

Не резинка, а “маргарита”.

Вкуснее всего будет душ и спать, чтобы скорее забыть, как желудок перепрыгивает через мысли.

Но, если подумать, мне понравилось.

ПРОСПАЛИ

Если ранним утром непривычно тихо, значит, мы проспали школу. Выбраться из кровати так, чтобы Варя не заметила, нет никакой возможности. Она катапультируется оттуда со скоростью света, отчаянно шлёпает босыми ногами и включает режим “плаксивый хвост”. Ни на какие уговоры: “Просто ещё немножко полежать”, — не поддаётся. А мне нужно собрать Арину в школу.

Мир катится под откос — к сырникам, оказывается, нет сгущёнки, это раз. Вы знали, что сырники без сгущёнки — это гадость? Я постоянно забываю. И, чтобы вы понимали масштаб трагедии, однажды мне пришлось

варить варенье из замороженных ягод за девяносто секунд, потому что сырники без варенья — это тоже гадость, пустая трата времени и творога.

Отсутствие варенья в нашем доме может стать началом новой жизни, холостой. Но это уже про другого члена семьи. Дажинсы, те единственные из десяти пар, не высохли. Хотя мать и обещала, что они просохнут за ночь. Они не сдержали своего обещания, и мать тоже. Это два. Позвонить в ЖЭК и выяснить, до какой осени они так слабо топят батареи.

Третье и самое страшное — у Вариного коня пропало платье. Лёг в платье, а проснулся без. Я, конечно, виновата. Перед сном обещала это платье выкрасть, чтобы постирать. И сделала это опрометчиво во всеуслышание. Так как добровольно оно не сдавалось в стирку. Цепкие Варины руки крепко держали коня и платье с кусками грязи.

Хлюпал нос: “Это девочка, ей нельзя без платья!”

Оказалось, что платье в чемоданчике, а он в кукольной кровати под куклами. А кровать под сушилкой для белья, завешанного этим самым бельём.

Я терпеливо продолжаю петь оду йогурту и сырникам со сметаной. Складываю Арише еду в контейнеры. Начинаю подозревать, что в классе учится тысяча прожорливых одноклассников, потому что полный контейнер винограда бракуется как малогабаритный...

Ещё полчаса активных сборов, и Ариша с Ромой отправляются в школу. Мы с Варей выдыхаем.

Нам нужно одеть коня, меня, Варю и бежать в детский сад.

ОГУРЦЫ

Бабушка впереди меня в аккуратном пальто из тех времён. Ей нужны солёные огурцы. Может быть, она их съест целиком или мелко порежет в оливье.

— Мне грамм сто!

Продавщица с идеальной причёской странно двигает носом.

— Там всего две штучки выйдет, — кривится она.

— А мне как раз столько и надо!

Идеальная причёска ковыряется в ведре с огурцами, брезгливо расправляет пакет на чаше весов.

— Сорок четыре рубля!

Бабушкин чёрный кошелёчек трогательно звучит от щелчка шариков-пеллудчиков. Внутри пятьдесят рублей бумажкой и мелочь.

— Тогда мне ещё один! — произносит она так, словно речь идёт не об огурцах, а о драгоценных перстнях. Продавщица, выдыхая, шипит.

На красивой ладони, слегка деформированной временем, мерцают монетки. Они кажутся сокровищами. А она не из тех бабушек, которых хочется взять на ручки. Это парица, и она спешит в своё царство на обед.

Рассол пролился по чаше весов. Продавщица сгребает с красивой ладони шесть рублей мелочью и пятьдесят бумажкой, завязывает нервный узел на пакете с тремя огурцами и почти швыряет в сумку бабушке. Та поворачивается, уходит.

— Стой, мать!

Бабуся возвращается, продавщица вытаскивает из её сумки пакет с огурцами и засовывает его в дополнительный пакет.

МЕТРО

В метро жизнь. Если тебе скучно — езжай и смотри не в телефон, а во все глаза.

Варе уступили место. Оно очень узкое и тесное, там, где три сиденья. Посередине.

— Мама, ты садись, а я к тебе на ручки.

Это всегда умиляет пассажиров. Не то, чтобы Варя заботится обо мне, ей просто кажется, что я сильно далеко от неё, если я стою, а она сидит.

Хотя, может, я и ошибаюсь. Недавно она сказала вот что: “Я сяду к тебе на ручки, хочу, чтобы ты тоже отдохнула!” Мне было жуть как приятно.

Я поправляю Варюшины ножки, чтобы она не испачкала бабушку справа.

— Не волнуйся, милая! Своих детей вырастила, и внуков, и правнуков.

— Вот это да! У вас и правнуки уже?

Бабушка не выглядит дряхлой.

— Дочку заставила родить в семнадцать, только бы не аборт! Потом её сына воспитывала. Как своего. Он до сих пор в День матери звонит мне первой, а не ей. “Ты моя мама, ба”. А дочь не прикоснулась к его воспитанию. Да что и говорить, я сама выросла без матери. Хотя какая разница, кто занимается с ребёнком. Главное, чтобы люди хорошие. Нельзя баловать их. И деньгами тоже. Мой внучок потерял как-то сто рублей, плакал навзрыд. “Ты, ба, заработала, а я...” — ничего, милый, бывает. А он мне даже мальчишкой помогал. Я дома убирала, дачи, везде с собой его таскала. А сейчас он помогает мне. Уже семьёй обзавёлся. Тридцать ему почти. А правнучке два годика. Дети — это хорошо, внуки — счастье, а правнуки — я не знаю, как и сказать уж. Рыдала я над этим комочком, словно впервые на руках такую крошку держала. Не баловать их главное, не кутать. Да и слишком от микробов не уберегать. Мои даже с пола поднимали и ели, ничего, это не страшно. Иммуитет ведь — это не йогурты да кефиры всякие, это другое, запомнила?

— Запомню.

— Это когда дети босые бегают и не укутанные. Да под дождём без зонта. Никогда зонта у меня не было, и всё нипочём. А до того, как попала в детский дом, болела я страшно. А там — такая круговерть, танцы, гимнастика — всегда в движении. И болеть некогда, да и не возился там с нами особо никто, третью пару носков не надевал, молочко не подогревал. И здорова я до сих пор, хоть семьдесят два мне стукнуло.

— Выглядите моложе.

— Ношусь больше молодых. Анализы все сдала, жить ещё и жить. Только глаза вот не видят. Мужчина сидит напротив, вижу, да, а лица нет у него. С сетчаткой что-то. Дорогу перехожу — не вижу, на какой свет. Особенно днём не вижу. Вот так руку выставляю вперёд и иду, а что поделоть?.. Так что не ругайтесь на бабушек, которые идут на красный свет.

РАСКРЫТА ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

Пользуйтесь на здоровье.

Вдруг исхудала, ну, вдруг, а? Радуйся прессу и ножкам-палочкам.

Если наоборот — глубокому вырезу платья. Если брюки не застёгиваются даже лежа, наслаждайся лицом, остальное — прятать.

А лицо, оно от лишнего веса только краше. Кожа гладенькая такая, натянута.

Загорела — кайфуй, наоборот — это аристократическая бледность.

У меня знакомая есть, которая в любой свой жизненный период остаётся на высоте. Она пользуется именно этим способом.

Голова грязная — красивый головной убор, платьице скромное — ярче губы, сердце разбитое — украшениями завесь его.

Вот и всё. Просто ведь.

А у вас что сегодня? Красивая шапка, красная помада или классные украшения?

У меня декольте и лицо гладенькое.

МАМА

Если я размораживаю и драю холодильник, значит, приезжает мама.

У меня несколько примет. Если я тру с высунутым языком зеркало в ванной — значит, гости неожиданные нагрянут. И прямо сейчас они звонят

в домофон, а я не открываю, потому что тру. Если глажу одежду прямо на кровати без гладильной доски — просто кое-кто уже на пороге объявил, что нужна срочно именно та кофта. Я тоже такое практикую, поэтому смиренно разглаживаю.

Если я скачу на одной ноге с выпученными глазами и мокрой головой — значит, я всё ещё верю в телепортацию. Если на вопрос в СМС: “Ты где? Я уже на месте”, — упорно молчу, значит... Я до сих пор скачу с мокрой головой и верю в телепорт.

Но холодильник — случай особый. Полночи накануне приезда мамы я громыхаю им. Куски антарктических глыб с грохотом падают в пропасть и не дают спать домочадцам. Конечно, все возмущены.

А я? Я говорю, что это особый день! Все должны быть к нему причастны, и немножко нужно потерпеть. Во-первых, разморозка — это не так часто, это знаменательное событие. Во-вторых, это разморозка холодильника, который по frost. Откуда тогда в нём лед, кто знает?

В процессе оттаивания я понимаю, что он уже не так хорош. И было бы классно взять и выкинуть его прямо сейчас. А завтра встать немного пораньше, часа в три утра, и купить новый. Тем более, мне нужен побольше. Это я вычислила по тревожному маминому голосу, который настойчиво спрашивает, а точно двадцать три кг багажа и десять ручной клади, сто процентов? Не потому, что у неё много вещей, нет.

А потому, что вместе с мамой нелегально в чемодане прилетают семнадцать кур, свинья и четверть коровы, и стая хамсы, так мне кажется. Я ещё умалчиваю про бочку варенья, ведро мёда, про стаю уток, косяк судаков, ящик домашних пельменей — самолет “Анапа-Москва”, но в термопакете они отлично себя чувствуют.

Вот почему, понимаете, я размораживаю холодильник и выбрасываю всё лишнее. Чтобы с комфортом разложить этих аппетитных переселенцев с юга России в её столицу. Такое счастье распахнуть двери и разместить их в просторных прохладных и чистых апартаментах. Добро пожаловать в мой холодильник!

А вы как готовитесь к приезду или приходу мамы?

ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

Пойдём, мама, я покажу тебе мою Москву.

Мы немного погуляем в центре, позавтракаем и обязательно пройдемся по магазинам. Нам нужны подарки для папы и бабушки, тёти, дяди и сестрёнок... и про кошку не забудь. Хотя возвращение мамы будет самым лучшим для них всех подарком.

Мой встроенный в голову навигатор не ладит с обычным, я мучительно долго планирую маршрут. А потом воодушевлённо машу рукой — идём туда, Москва, она вся красивая в центре, что-нибудь увидим. Спонтанность лучше всяких планов. Главное, мягко маневрировать в толпе, создавая ощущение, что ты в этом потоке. Так и задумано. Скользить и сливаться с толпой.

Мы начали свой день с яиц Бенедикта, и вдруг нам в 11:45 налили по бокалу розе.

— Хорошего утра, — будто специально сказала официантка. И высокий бокал на тонкой ножке замер на полпути, игриво сверкая пузырьками. Я посмотрела на часы. Почти полдень. И немного отлегло. Можно. Двенадцать же.

— Прекрасного дня!

Потом мы снова гуляли и радовались солнцу. Оно, как и пузырьки, тоже очень радует.

Очнулись, когда покупали два килограмма фарша в Елисейском, всякие шоколадки с матрёшками, конфеты с видами Москвы и почему-то крем для ног. А также просто всякую съедобную ерунду, потому что там нарядно и красиво, и хочется всё съесть. Там уже Новый год.

— И что, — говорю я, распределяя пакеты между четырьмя руками, — с этим всем добром мы идём в Зарядье?

— Да ну эти парки, — говорит мама, — я есть хочу, суп хочу, домой хочу.

В этом вся мама. Но моя программа-минимум не могла закончиться на этом. Моя Москва должна быть чуть шире. Она не должна ограничиться яйцами Бенедикта и просто прогулкой.

Мы отправились в магазин, там лестница красивая и просто погреться. Периодически я ставила пакеты где-нибудь, а потом вспоминала про них и...

— А мясо-то, мясо где моё?!

— Наверное, ты его оставила в примерочной.

Вы обязательно спросите про тот фарш, я знаю. Четыре котлеты, если вам о чём-то это говорит, пришлось старательно переваривать в тот вечер.

ДОМ

Врываешься и первым делом принохиваешься. Водишь носом — чужие запахи: новый стиральный порошок, незнакомые мамины духи. Непривычно. Слегка тревожно. И даже немножко ревнуешь, что не ты подарил эти духи. Затем сканируешь предметы. Новый уют, микроволновка, цветные бокалы. Непривычно. Красиво, но не то. Цепляешься глазами за знакомые предметы. Привет, старые друзья, я помню ваши складочки-морщинки. Совсем не изменились, от этого тепло так. Мир перестаёт дрожать. Приходишь в гости к детству после разлуки.

И вот именно этот момент запоминается больше всего — эта игра в новое и старое.

САМОЕ КЛАСНОЕ

Это ждать маму с работы.

Даже сейчас, когда я попадаю домой, я снова превращаюсь в маленькую меня.

Ждать маму с работы — это самое лучшее дело на свете. Прислушиваться к шагам на лестнице, к разговорам в подъезде, а потом услышать мамин голос среди соседских и с третьего этажа на первый радостно голосить: “Мамуля-я-я!” Да так, чтобы скорее от неё отстали все и поняли, как её сильно ждут дома.

Потому что она — добрый доктор Айболит, и везде её все ждут.

У нас как-то стояло трюмо возле двери. А до глазка я не доставала, надо было стул тащить или балансировать на одной ноге и мониторить в глазок, не идёт ли мама.

Тут очень важно поймать этот момент, когда остаётся ей подняться последний пролёт перед дверью. А ты, как чёрт из табакерки, выглядываешь в открытую дверь: “Сюрприз!”

Грохнула я это трюмо однажды, огромное зеркало вдребезги. Сижку, рыдаю от страха. А чего бояться, меня вообще ни за что никогда не ругали. Никогда. Я не понимаю, как так? Я всегда была для всех своих домашних ребёнком с большой буквы.

Не ругали даже тогда, когда очень следовало. Будто зеркало это противное само разгромилось, а я тут ни при чём.

Я всегда была права. Даже когда нет, а это хуже всякой отравы. Совесть, она такая разъедающая, что не оставит места живого на тебе, если что не так. Тройку получила, наверное, что-то с учителем не так.

Мама всегда меня защищает.

До того защищает, что я не выдерживаю:

— Да сама я разленилась, сама виновата, привыкла, что всё прощается. Вот и не подготовила домашку, обнаглела, говорю, так и надо мне, тройбан этот только на пользу, сейчас как всё выучу с новой силой, вот увидишь.

Отвлеклась я.

Ещё лучше — ждать маму прямо возле дома, когда гуляешь. Теперь уже с детьми. И вот тут, когда мама появляется из-за угла, нагруженная клубникой и помидорами, несёмся мы теперь уже втроём: “Мама-а-а, бабушка-а-а...” — и набрасываемся на неё на полпути. Выхватываем кучу пакетов с продуктами и параллельно ворчим, куда, мол, столько набрала, разве нельзя было вместе сходить?..

И тут же восторгаемся тем, какая клубника обалденная, малина и помидоры — просто очуметь. Ягоды пробуем тут же, минуя их мытьё. Животы не заболят, нет.

Честно говоря, я жутко всегда расстраиваюсь, что мама идёт на рынок без меня. Как и в детстве, я обожаю ходить вместе. И пока Варя ещё слишком мала, Ариша любит ходить с бабушкой. Без меня. Потому что я мешаю покупать им всякую ерунду. Мы с Варей чувствуем себя такими одиночками, когда заговорщики уходят скупать половину Анапы.

Как же я уже соскучилась, мама...

АЛЕКСАНДРА ИРБЕ



...А БАБУШКА ВСЁ ПЕЛА

МАТУШКА

Мне долго прослужил её совет:
“Не в том секрет, чтоб приближаться к свету,
а в том, чтобы в себе приметить свет,
его хранить и с ним идти по свету”.

Двор монастырский... Лестница крута
в прохладе келий.
На душе — усталость.
Мне — восемнадцать.
В сердце — духота.
(А я тогда и вправду задыхалась!)

По небу — мерный звон колоколов,
а по земле — тропинки, клумбы, грядки.
Хотелось, чтобы приняли без слов
и чтобы приютили без оглядки.

Сбежать хотелось от понятия “жизнь”
и, будто вечность, простоять на пирсе
над морем тем, которое кружит,
бросает в бездны и бросает в выси.

ИРБЕ Александра – выпускница Литературного института им. Горького, член Союза писателей России. Лауреат конкурса “Золотой микрофон”, Грушинского фестиваля в номинации “Поэзия”, конкурса на “Лучшее стихотворение года” журнала “Литературная учёба”, обладатель гран-при фестиваля Ю. Визбора “Горные вершины”, автор пяти поэтических книг. Подборки стихов печатались в журналах “Литературная учёба”, “Юность”, “Москва”, “Московский вестник”, “Кольцо А”, “Млечный путь” и др.

Пускай другие плещутся, плывут,
ждут кораблей, с морской пучиной спорят,
смеются, плачут, спорят, водку пьют
и по ночам любимых беспокоят.

Пускай они!.. Но тут она вошла:

— Ты дочь ко мне?

— Хочу у вас остаться!

— Ты верующей сколько лет была?

Молчу... Потом приходится признаться.

— Сюда не жить приходят — отдыхать!

И отдых тут не так уж и обычен:

на службу в пять приходится вставать.

Взгляни на двор!.. Он тоже не вторичен!

Ты грядки полешь? ...Я опять молчу.

— Переночуй!.. А там... домой с рассветом.

Все, что дано нам в жизни, по плечу.

Ты вспоминай, пожалуйста, об этом.

И в том и суть, чтоб в мире сеять свет.

И в том и путь, чтоб через все тревоги,

через десятки самых разных лет

и не по общей — по своей дороге!..

Двор монастырский... Звон колоколов...

Сиянье белых стен над речкой сонной.

Ах, матушка, я б заглянула вновь,

но даже имя не сумею вспомнить.

Ах, матушка, мне дорог твой завет,

но сил почти для жизни не осталось.

Спокоен стал и холоден мой свет,

и давит грудь душевная усталость.

Нет... я сбежать от жизни не хочу!..

Но многое, о чем приятно вспомнить,

и многие, о коих я молчу,

давно ушли из наших дней и комнат.

И — уж прости — не радостен уход.

Я знаю, что по силам и дается,

но каждый новый, каждый светлый год,

в нем кто-то не спешит, а остается.

И как дать силы, сколько нужно рук,

чтоб те, кого люблю, в кого я верю,

не замыкали этой жизни круг,

а в Новый год распахивали двери?!

* * *

Был жаркий день... А бабушка все пела

(на дольний мир раскинув два крыла),

она впервые пела, как хотела,

она впервые пела, как могла.

Шутила дочь: “С ума сошла, старуха!

И голос-то совсем уже не тот.

Вчера твердила: мол, не слышит ухо.

Сегодня, вон, расселась... и поет!”

И муж ворчал: “Но, дескать, ты распелась!
Здоровье, что ли, мать, побереги!..”
А самому сказать ему хотелось:
“Хоть отмерли у бабы две ноги,

а как поет!.. И хороша, как прежде!”
И, покурить, пристроясь у крыльца,
он примечал и красоту, и нежность
ее тоской изрытого лица.

Она же пела все верней, все проще.
И, точно бусы, звуки из груди
выстраивались в те леса и рощи,
которые остались позади.

И слушал куст рябины и брусники,
плетень, обнявший яблоню слегка:
и солнечные блики, блики, блики
всё больше заполняли облака.

Закат алел... А бабушка всё пела.
Дочь мылась в бане, муж готовил щи.
А песня, точно ласточка, летела,
искрилась, точно пламя от свечи.

Теперь в саду один остался — мальчик,
песочный замок строивший впотьмах;
он чудным был смятением охвачен,
он растворялся в звуках и в мечтах.

То шел в огонь, плечо приставив другу,
то на корабль пиратский залезал,
то в цирке мчал на лошади по кругу,
то на ракете к звездам улетал.

Закат погас... А бабушка всё пела.
Еще поет — уже прошли года.
Поет легко, свободно, неумело,
через озера, горы, города.

И двор утих... И яблони не стало...
И баня покосилась на плетень...
Но бабушка петь в небе не устала,
одна поет... Над миром... Целый день.

И прислонившись к серенькой калитке,
я вспоминаю замок из песка,
бросаю милой бабушке улыбки,
через века бросаю — в облака.

Теперь скажу немного про искусство
(я выучила бабушкин урок):
искусство там, где заполняют чувства
валторны наших дней и наших строк

уже не для похвал и не для славы
(и не в ферзях спортивный интерес),
они не бередают — а лечат раны,
и оттого касаются небес.

ВАЛЕНТИНА КОСТИШАР



А ЭТО — МЫ

* * *

Советский фильм...

А это — мы,
Из нашей тягостной зимы
Она в свою весну вернулась.
Наивная, как детский сон, —
Весёлый труд, и дня начало.
Простая жизнь, где ясно всё,
Где есть пример для идеала.
В который верилось без слов —
О нём и пелось, и мечталось...
Цветные платья...

Вальс...

Любовь,
Какая больше не случалась.
Уборка хлеба. Ширь полей.
Как будто не было печали.
Жила бы Родина — и ей
Мы нашу юность посвящали.
Последний кадр... Весна... Идём
Рука в руке на праздник Мая...
Советский фильм,
где мы поём,
о будущем ещё не зная.

КОСТИШАР (Поспелова) Валентина Викторовна родилась в с. Моша Архангельской области. Филолог, педагог. Автор множества поэтических книг. Лауреат Есенинской премии. Член Союза писателей России.

ВОСПОМИНАНИЕ

Лица на фото по стенам развешаны —
Те, что не знали меня...
Вечер подходит.

И тесто замешано.

Свет от печного огня.
Мама у печки колдует над ужином,
Пламя румянит лицо.
Окна замёрзшие.

Стены остужены.

Заиндевело крыльцо.
Выйду — и скрипнут ступени морозные,
Снег размести нелегко.
Зимние звёзды, далёкие, поздние,
В небе дрожат высоко.
Что же запомнится девочке маленькой?
Холод, в узорах стекло.
Старые дратвой прошитые валенки
Долго держали тепло.

РОДНОЕ

Северной станции имя невзрачное.
В белом черёмуха

бродит без сна.

Бьётся под мостиком речка невзрачная,
Птица вверху —

на всё небо одна.

В ноги — цветущее море зелёное,
Вкус иван-чая, ромашки по грудь.
Поезд отходит.

В окошко вагонное

Эхом летит — “Позвони, не забудь...”
Вдохом и выдохом — небо безбрежное,
Бабочек, пчёл и стрекоз кутерьма.
Вот и в душе

просыпается нежное

Что-то, а что — не пойму и сама.

День, как мираж —

сам живёт ощущением,

Время — обманчивых чисел расклад.

Стать бы

счастливым природы творением

И без дороги пойти наугад.

ТАТЬЯНА ЖАРИКОВА



ПУТЬ НА ЭШАФОТ

К 170-ЛЕТИЮ КРУЖКА ПЕТРАШЕВСКОГО

В повести “Путь на эшафот” использованы воспоминания петрашевцев, Ф. М. Достоевского, Авдотьи Панаевой, материалы судебного дела петрашевцев и произведения Ф. М. Достоевского.

ГЛАВА ПЕРВАЯ ЛИПРАНДИ У МИНИСТРА

Министр внутренних дел России Лев Алексеевич Перовский охотно принял чиновника особых поручений генерал-майора Ивана Петровича Липранди на другой же день после того, как тот попросил его об аудиенции. Министр хорошо знал Липранди. Познакомились они ещё в 1814 году в Париже во время Заграничного похода русской армии, когда Иван Петрович присматривался к методам агентурной работы шефа тайной полиции Франции Видока.

В России пути их разошлись, но Лев Алексеевич слышал, что Липранди разоблачил в России тайное “общество булавок”, знал, что тот был секретарём, казначеем и госпитальером масонской ложи Иордана. А когда в 1841 году Его Императорское Величество Николай назначил Перовского министром внутренних дел, тот сразу же пригласил генерал-майора в отставке Липранди к себе на службу чиновником особых поручений.

ЖАРИКОВА Татьяна (Алёшкина Татьяна Васильевна) окончила Литературный институт им. М. Горького, член Союза писателей России с 1990 года, автор восемнадцати книг прозы и публицистики, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Литературной премии имени Льва Толстого и др. Имеет Благодарность Президента РФ В. В. Путина.

Журнальный вариант.

Нельзя сказать, что Липранди нравился министру. Был Иван Петрович всегда мрачен, неразговорчив, необщителен. В молодости слыл бретёром. Лев Алексеевич слышал, что Сильвио, герой рассказа Пушкина “Выстрел”, списан с Липранди, который имел репутацию безрассудного храбреца и в то же время расчётливого и умного человека.

Министр Перовский смог оценить за семь лет службы ум и расчётливость своего чиновника особых поручений.

Генерал-майор Липранди вошёл в кабинет министра в генеральском мундире, как всегда, строгий, подтянутый. Худощавое лицо его было по-обычному хмурым. Волосы и усы, когда-то чёрные, теперь густо серебрились.

Перовский вышел из-за стола навстречу генералу ввиду особого расположения к нему. Они пожали друг другу руки, и министр указал рукой на кресло, приглашая Липранди расположиться в нём, а сам направился на своё место за стол.

Лев Алексеевич и внешне, и по сути своей был человеком добродушным. Липранди знал, что сейчас министр спросит о его здоровье (вопрос этот был ему с некоторых пор неприятен, ведь лета его приближались к шестидесяти), осведомится о его жене, о трёх сыновьях-подростках, и приготовил на все эти вопросы скорый ответ.

Так и случилось. Ответив, что дела у всех идут хорошо, здоровья своего он пока не ощущает, не знаком пока с болезнями и не собирается с ними дружить, он перешёл к делу.

— В Петербурге нами обнаружено тайное общество, — сказал он спокойно.

Министр Перовский до этого слушал Липранди с добродушной улыбкой, откинувшись на высокую спинку своего кресла, но услышав об обществе, сразу напрягся, выпрямился в кресле, облокотился о стол, весь подавшись к Липранди, и спросил быстро:

— Что за общество? Где оно собирается?

— Каждую пятницу в доме Буташевича-Петрашевского...

Министр с некоторым чувством разочарования снова откинулся на спинку кресла. Он знал о многих кружках Петербурга, знал, что по пятницам у богатого дворянина Петрашевского собираются молодые люди, спорят, философствуют, пьют вино. Лев Алексеевич сам в молодости был членом тайного общества “Союз благоденствия”, где молодые офицеры спорили о будущем России, мечтали содействовать её благоденствию.

— А-а, вы об этом Петрашевском? — сказал он. — О его тайном обществе весь Петербург знает. Каждый желающий может посещать его пятницы.

— Мне стало известно, — проговорил в ответ Липранди, — в последнее время там появляются офицеры, даже гвардейцы. Критикуют правительство, призывают к бунту, Его Императорское Величество называют богдыханом.

Министр Перовский снова выпрямился, снова облокотился о стол.

— Это уж серьёзно!.. — Он умолк на некоторое время, обдумывая, как поступить, и ответил спокойно. — Но дело политическое. Им должно заниматься Третье отделение.

— Вы же знаете, как Государь относится к тайным обществам, — ответил быстро Липранди. — Граф Орлов не откажется от такого подарка, чтоб заслужить очередную благодарность императора.

— Это так! — покачал головой Перовский.

— Я подготовил агента. Он войдёт в это общество и будет докладывать обо всех их намерениях и планах.

— Это интересно... — задумался на миг министр. — Может, нам удастся оставить с носом графа Орлова...

— И доказать Его Императорскому Величеству, — подхватил Липранди, — что тайная полиция состоит из одних ничтожеств.

— Ну да, если получится, мы будем выглядеть в глазах Государя спасителями Отечества...

— В свете ходят разговоры, что Государь намеревается возвести вас в графское достоинство...

Министр вновь откинулся на спинку кресла и посмотрел на Липранди долгим взглядом. Действительно, он сам через одного знакомого князя довёл до императора свою мечту стать графом. И, по словам князя, государь благосклонно отнёсся к его мечте. Значит, об этом уже известно в свете?

Под взглядом министра генерал опустил глаза и смахнул соринку со своих брюк.

— Через месяц жду от вас, Иван Петрович, — принял решение Перовский, — списки членов этого тайного собрания и доклад об их деятельности.

— Будет сделано! — ответил Липранди с готовностью и бодро.

— Я должен буду доложить Государю об этом деле... А если он прикажет передать дело в Третье отделение?

— Попросите оставить у нас... Ведь наш агент подвергается опасности. Попросите Его Величество, чтоб он пока ничего не сообщал графу. Тот, как всегда, рьяно возьмётся за дело, и мы останемся с носом...

ГЛАВА ВТОРАЯ ЗНАКОМСТВО С ПЕТРАШЕВСКИМ И ЕГО КРУЖКОМ

Молодые литераторы, приятели Фёдор Михайлович Достоевский и Алексей Николаевич Плещеев, сидели в кондитерской за столом у окна. Здесь они частенько бывали, пили кофе, читали газеты. Вот и сейчас они зашли сюда, чтобы узнать новости.

В кондитерскую вошёл странный господин с неряшливой бородой, в необычно широкополой шляпе и широчайшем плаще и направился к прилавку. Плещеев, увидев его, молча свернул газету, бросил её на стол, поднялся и тоже пошёл к прилавку. Достоевский мельком взглянул ему вслед, дочитал заинтересовавшую его заметку, тоже свернул газету, оставил на столе и неторопливо двинулся к выходу мимо Плещеева, который что-то быстро говорил странному господину, а тот молча принимал пачку папирос у продавца.

Достоевский на ходу кинул Плещееву:

— Я пошёл!

— Сейчас догону! — отозвался Плещеев.

Достоевский вышел на улицу из кондитерской и потихоньку двинулся по улице. Он не видел, что сразу следом за ним вышли Плещеев со странным господином.

— Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить? — услышал за своей спиной Достоевский.

Он растерянно обернулся.

— А вы, собственно... — пробормотал он. — Простите...

— Это господин Буташевич-Петрашевский, Михаил Васильевич, — весело подхватил Плещеев, понимая, почему растерялся его приятель. — Я тебе рассказывал о его пятницах.

Достоевский протянул руку Петрашевскому:

— Рад знакомству...

— Приходите ко мне в пятницу, — предложил Петрашевский. — Буду рад.

— Как только освобожусь, загляну.

— Я его непременно приведу, — сказал Плещеев.

— На днях прочитал вашу повесть “Двойник”, — с интересом разглядывая Достоевского, произнёс добродушно Петрашевский, — “Бедные люди” прочитал ещё раньше... Убедительно хорошо!..

В пятницу в квартире Петрашевского, как всегда, собрались молодые люди. Были здесь поэты Дуров и Майков, купец Черношвитов, молодой Миловский чиновник Антонелли, поручик Григорьев. Богатый помещик Спешнев, очень обаятельный внешне мужчина с тонкими ухоженными усами, сидел за столом, держа руку на колокольчике. Возле него стоял Петрашевский

и что-то рассказывал ему. Было здесь ещё несколько человек. Все гости расположились так, как кому удобно: кто-то сидел на стульях, кто-то стоял у шкафа, рассматривая книги, кто-то разговаривал.

— Слышали, господа, — сказал громко поручик Григорьев, — Филиппов сутки на гауптвахте высидел?

— По какому случаю? — удивился Антонелли.

— А по случаю статьи, — пояснил Григорьев, — в ней он что-то насчёт театра сбрендил...

— А цензор что? — спросил поэт Дуров. Он недавно написал повесть, показал цензору. И теперь разговор о цензуре его сильно заинтересовал.

Григорьев засмеялся:

— Чуть не умер от трусости.

— Этот цензор поиздевался над моей повестушкой, — подхватил Дуров. — Просто узнать нельзя: из учителя сделал монаха, из дедушки сотворил бабушку.

— Зачем это? — смеясь, спросил Григорьев.

— Это, говорит, у вас тёмные личности, а у меня, мол, жена и дети. Мне, говорит, батенька, до пенсионера восемнадцать месяцев осталось... Влезьте-ка в мою шкуру, по-иному запоете...

— Потеха! — засмеялся Антонелли.

В открытую дверь комнаты вошли Плещеев и Достоевский. Петрашевский оторвался от Спешнева, взглянул на вошедших и быстро пошёл им навстречу.

— Фёдор Михайлович, рад вас видеть! Господа, кто не знаком, прошу любить и жаловать известного литератора Фёдора Михайловича Достоевского.

К Достоевскому, имя которого было уже известно в Петербурге, с приветствием подходят Григорьев, Дуров, Антонелли, здороваются за руку.

Спешнев поднимается за столом и выходит навстречу Достоевскому.

Гости Петрашевского по очереди жмут руку Достоевскому, представляются.

— Поручик Григорьев, Николай Петрович... Читал, наслышан.

— Пётр Дмитриевич Антонелли. С нетерпением жду новых повестей.

— Сергей Фёдорович Дуров.

Достоевский улыбнулся Дурову, задержал его руку в своей и прочитал стихи Дурова:

— *О род людской, как жалок ты!
Кичась своим поддельным жаром,
Ты глух на голос нищеты,
И слёзы льёшь — перед фигляром!..*

Ваш усердный читатель. Рад знакомству!

— Я восхищён вашими сочинениями! — искренним тоном сказал Достоевскому Спешнев и представился: — Николай Александрович Спешнев!

Петрашевский указал Достоевскому на диван:

— Садитесь сюда, Фёдор Михайлович! Сейчас вам с Плещеевым принесут чаю.

— Лучше сразу вина, — засмеялся Плещеев.

— Вино потом, — серьёзно ответил Петрашевский и попросил служанку принести чай.

В этот момент в зал вошёл гвардейский поручик Момбелли, Петрашевский повернулся к нему и радостно поприветствовал:

— Давненько вас не видать, Николай Александрович, что нового?

— Главные новости ныне из Франции. Революция разгорается. Дело там принимает серьёзный оборот. Вы читали?

— Я полагаю, — подхватил Петрашевский, — всё будет зависеть от того, кто овладеет движением.

— И вся суматоха кончится лишь переменой министерства, — скептически заявил Спешнев.

— Ну, нет... — возразил Петрашевский, — этим не удовлетворятся... Подготовка шла несколько лет...

— Прав оказался банкир Лафитт, когда после революции тридцатого года заявил: “Отныне будут царствовать банкиры”! — проговорил Момбелли.

— Доцарствовались! — проговорил Петрашевский. — Всем надоела власть банкиров и коррупционеров.

— А я согласен с королём Луи-Филиппом, — заявил Григорьев. — Парижане никогда не делают революций зимой.

— Посмотрим, кого король поставит во главе правительства вместо ненавистного всем Гизо, — сказал Момбелли.

— Кого бы ни поставил, толку не будет, — уверенно заявил Спешнев. — Настоящие-то явятся потом. Теперь их никто не знает, да и они сами себя не знают...

Служанка принесла чай и подала Достоевскому и Плещееву.

— А что вы думаете, — засмеялся Антонелли, — вдруг король Луи-Филипп к нам сбежит — откроет женский пансион на Васильевском острове и меня возьмёт управляющим...

Несколько молодых людей подхватили смех Антонелли, а Петрашевский обратился к Достоевскому, который молча пил чай, сидя на диване.

— А вы какого мнения, Фёдор Михайлович, ужели во Франции всё кончится вздором? Не вспыхнет революция?

— Может, и вздором, а может, революцией... — ответил Достоевский. — То, что происходит во Франции, меня мало занимает.

— Как же так? — удивился Петрашевский. — На парижских улицах решаются общечеловеческие победы и поражения. Как же можно оставаться равнодушным?..

— Мне поистине всё равно, кто у них будет, — ответил Достоевский. — Луи-Филипп или какой-нибудь Бурбон, или республика... Кому от этого будет легче?

— Народу! — ответил Спешнев.

— Народ на некоторое время удовлетворится якобы его победой, — спокойно возразил Достоевский, — и пойдёт на ту же самую работу, прибыльную только для одного буржуа, а жить ни на волос не будет лучше...

— Да, на это возразить нечего, — согласился Спешнев. — Надо всё в корне менять!

— Задачи новой истории или тех людей, которые делают историю, гораздо проще, скромнее и плодотворнее, — проговорил Достоевский.

— Господа, — вмешался в разговор Дуров, — тема нашего заседания сегодня, кажется, касается журналов в России, а не революции в Париже.

— Отто-так! — кивнул головой купец Черносветов. Разговор о революции во Франции ему был мало интересен.

— Хорошо! Начинаем! — согласился Петрашевский и направился к столу.

Спешнев сел за стол и придвинул к себе колокольчик. В это время в зал стремительно вошёл студент Филиппов, сунул руку стоявшему возле двери Момбелли и спросил:

— Я, кажется, не опоздал?

— В самый раз, — ответил Момбелли с улыбкой, пожимая руку Филиппову, которого все петрашевцы любили.

— Умница этот Достоевский, — сказал тихонько Петрашевский Спешневу, когда тот сел за стол.

— Мне он очень понравился... — поддержал Спешнев. — Так у него всё просто, ясно, видно, что сам додумался...

— Это не фразёр, как многие из нас грешных... — улыбнулся Петрашевский.

Спешнев позвонил в колокольчик, призывая к тишине, и громко обратился к Петрашевскому:

— Михаил Васильевич, мы вас слушаем!

Петрашевский повернулся лицом к слушателям и начал говорить о пользе журналов для пропаганды своих идей.

— Публика наша в настоящее время привязана к беллетристическому роду литературы, — говорил Петрашевский. — Отстав от чтения стихов, она

сделала большой шаг в общем прогрессе... Но журналистика важнее беллетристики. Журналистика на Западе имеет такой вес потому, что всякий журнал там — отголосок какого-нибудь отдельного слоя общества. Нашим сочинителям недостает образования. Всякий со школьной скамьи уже воображает себя великим писателем. В литературе нашей преобладает только дух спекулятивности, а не желание передавать своим читателям истину, идеи, хотя бы немного человеческие.

Черносвитов, слушая, кивнул, проговорив:

— Отто-так!

Достоевский слушал Михаила Васильевича с одобрением. Он тоже считал, что журнал такой нужен. Не нравились ему только некоторые насмешливые выпады в сторону литераторов, которые он невольно относил на свой счёт. Слушая, он разглядывал Петрашевского. Был тот среднего роста, полноват несколько, на вид весьма крепок, на одежду свою он, видимо, совершенно не обращал внимания. Тёмные волосы его были растрёпаны, в беспорядке, борода, соединявшаяся с бакенбардами, придавала круглоту его лицу. Говорил он, прищуривая свои чёрные глаза, и смотрел не на гостей, а как бы вдаль. Лоб у него был большого размера, нахмуренный. Говорил он голосом низким и негромким, уверенно, серьёзным тоном, но иногда придавал голову некоторую насмешливость и иронию.

— На Западе журнал — не спекуляция какого-нибудь одного лица, — продолжал Петрашевский, — но орган передачи всех идей и всех мыслей целого общества, содержащего этот журнал на акциях. И нам нужен такой журнал, чтоб распространять наши мысли в обществе...

— А цензура? Забыли о цензуре? — спросил Майков.

— Цензура не будет мешать, — ответил Петрашевский. — Цензорам надо представить истину в таком виде, чтобы они эту истину не могли бы принять за что-нибудь другое, кроме как за истину. И тогда цензоры не будут препятствовать.

— Журнал на акциях — химера, — уверенно возразил Майков. — И на цензора действовать убеждением глупо, не выйдет толка. Надо, наоборот, вокруг пальца цензоров обводить, чтоб хоть одна идея проскочила...

— А лучше всего редактору журнала быть в дружбе с цензорами и властями, — заметил Дуров. — Тогда, какую бы статью он ни захотел поместить, всякую пропустят.

Антонелли внимательно слушал разговор, переводил взгляд то на одного, то на другого говорящего.

— С кем его создавать, журнал-то! — Григорьев вскочил и заговорил горячо. — Все сочинители — люди тривиальные, убивающие время в безделье и гордящиеся своими доблестями больше какого-нибудь петуха...

— Не все такие, — попытался охладить его пыл Плещеев.

Но Григорьев не услышал его, продолжил так же горячо:

— Хоть, например, тот же Майков или Дуров посещают наши собрания уже два года, могли бы, кажется, пользоваться книгами Петрашевского и хоть наслышкой образоваться, но они не читали ни одной порядочной книги, ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвециуса.

— Не надо бранить литераторов, которые принадлежат к нашему обществу, — остановил Григорьева Спешнев. — Их большая заслуга, что они разделяют наши идеи.

Достоевский перевёл взгляд на Спешнева, который заинтересовал его сразу, как только он вошёл с Плещеевым в зал. Был Спешнев высок ростом, строен, красив, с тёмно-русскими кудрями до плеч, с большими серыми грустными глазами, в которых, несмотря на грусть, явственно сквозила какая-то спокойная, но холодноватая сила. Чувствовалось, что он умён, богат, образован. С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя.

Петрашевский спокойно выслушал возникший спор и закончил:

— Я убеждён: журнал нам необходим. Нужно начинать вести пропаганду через печать. Пора приспела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПЛЕЩЕЕВ О ПЕТРАШЕВСКОМ

Заседание у Петрашевского закончилось около трёх часов ночи, завершилось, как всегда, ужином с вином. Обсудив журнал, так и не придя ни к какому выводу — надо или не надо создавать журнал, и кто его будет делать, — гости по приглашению Петрашевского перешли в столовую. Там посреди зала стоял большой раздвинутый и накрытый белой скатертью стол, на нём кипел самовар, стоял чайный прибор, вино в гранёных графинах и разные закуски. Гости пили, ели, сидели и стояли кучками, говорили тихо, прохаживались и уходили. Всякий распоряжался сам, что кому нужно было, то и брал.

Достоевский с удивлением услышал здесь, что его приятеля Алексея Плещеева все зовут Андре Шенье. Он действительно был похож на портрет французского поэта: блондин, приятной наружности. “Бледен лик его туманный”, — вспомнились стихи и подумалось, что, впрочем, столь же туманно было и направление этого идеалиста в душе, человека доброго и мягкого характера. Плещеев сочувствовал всему, что казалось ему гуманным и высоким, но определённых тенденций у него не было, а примкнул он к кружку Петрашевского, видимо, потому, что видел в нём более идеалистические, чем практические стремления.

Вышли от Петрашевского Достоевский с Плещеевым вместе, как и пришли. На улице Достоевский спросил:

— Кто такой этот красавец Спешнев?

— Николай Александрович очень богатый помещик из Курской губернии. Коммунист. Последователь Вейтлинга.

— Богатый помещик и коммунист? — удивился Достоевский.

— И такое бывает, — засмеялся Плещеев. — Он вообще загадочный человек. Романтическое происшествие в его жизни заставило его провести несколько лет во Франции. Там он и познакомился с учением Вейтлинга.

И Плещеев рассказал Достоевскому, что Спешнев в двадцать один год гостил в деревне у своего приятеля, богатого помещика Савельева, и влюбился в его молодую и красивую жену. Взаимная страсть молодых людей начала принимать серьёзный оборот, и тогда Спешнев решил покинуть дом Савельевых, оставив его жене письмо, объясняющее причины его неожиданного отъезда. Но госпожа Савельева, когда муж ненадолго отлучился, уехала из своего имения, разыскала Спешнева и отдалась ему навсегда.

— Она бросила своих детей и сбежала с ним за границу. Жили там четыре года, родили двух детей. А потом она повесилась, — закончил свой рассказ Плещеев.

— Повесилась? Почему? — удивился Достоевский.

— Ревновала. Он, вишь, красавец. Женщины от него без ума. Она повесилась, а он сюда.

— А дети?

— Дети его с матерью в деревне.

— Мне он показался умным человеком.

— Умница, но безбожник, атеист, как и все коммунисты.

— Это жаль! Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестаёт быть русским.

— Ну да, не православный не может быть русским... А ты ему понравился!

— Почему ты так решил?

— Я слышал, как он это сказал Петрашевскому.

— По-моему, и Петрашевский безбожник. Насмехается над религией.

— Ничего. Он хороший человек. Он даже не человек, а олицетворенное... ну, как бы это сказать? Самопожертвование... вечно хлопочет, только не о себе. При большом состоянии живёт, как попало, всё у него идёт зря, точно он на станции...

— Я назвал бы помешанным того человека, который не отдаёт себе отчёта в своих поступках, — сказал на это Достоевский.

— Может быть, Михаил Васильевич в чём-то заблуждается, но заблуждение его совершенно логично; он стоит на почве легальности, заметьте — формальной легальности... Мне известны некоторые факты из его жизни. Всё это, коли хотите, странно, эксцентрично, а придаться не к чему...

— Говорят, что он в своей деревне фаланстер по системе Фурье устраивал?

— Было дело, — засмеялся Плещеев. — Одна из его деревушек на болоте, избы подгнили, лес хоть под боком, да господский. Староста пришёл просить брёвен на починку развалившихся лачуг. Тогда Петрашевского осенила гениальная мысль, и он повёл беседу с крестьянами: не лучше ли будет им вместо того, чтобы подновить свои избы на заведомо нездоровом месте, выстроить в бору, на сухой почве, одну просторную новую избу, где бы поместились все семь семейств. Каждое в отдельной комнате, но с одной общей кухней для стряпни и такой же залой для общих зимних работ и посиделок, с надворными пристройками и амбарами для домашних принадлежностей, запасов и инструментов, которые также должны быть общими, как и вообще всё крестьянское хозяйство. Петрашевский долго развивал все выгоды такого общежития, обещая, конечно, всё устроить на свой счёт, купить заново все необходимые сельские орудия и домашнюю утварь: горшки, чашки, плошки. Староста слушал, “уставясь в землю лбом”, — рассказывал сам Петрашевский, — с той сосредоточенною миною русского мужика, по которой никак не узнаешь, понимает ли слушающий, что ему говорят, или думает о говорящем: “Ничего-то, брат, ты сам не понимаешь и только вздор городишь”. Он только низко кланялся при перечислении всех благ, какими барин собирался наградить своих верноподданных в их новой жизни, и на все его вопросы: “Ведь так будет не в пример лучше и выгоднее?” — отвечал: “Воля ваша, вам лучше знать, мы люди тёмные, как прикажете, так и сделаем”. Петрашевский напрасно старался добиться от него самостоятельного мнения об удобствах такого общежития, напрасно ждал, когда в его верном Личарде “новгородская душа заговорит московской речью величавой”; Личарда только кланялся и повторял: “Вы наши отцы, как положите — так и будет”. Нежелание мужиков изменить исконный, заповедный образ жизни было очевидно, хотя и не высказывалось прямо. Но оно было так естественно, что барин не удивлялся этому, хотя и решил всё-таки привести в исполнение свою идею, надеясь, что, испытав на деле все удобства нового рода жизни, они оценят заботы об улучшении их быта. От вековых привычек отстать нелегко. Крестьяне — те же дети, которых надо силою приучать к порядку, чистоте, опрятности. Петрашевский положил осчастливить детей природы вопреки их желаниям. “Не вытащить их из болота, так они и совсем в нём завязнут”, — говорил он, и начал строить в лесу фаланстерию. Работа подвигалась быстро, и к зиме всё было готово. Беседы и разъяснения шли своим чередом во время постройки. Несколько раз Михаил Васильевич водил стариков в готовящееся для них помещение, знакомил их предварительно с его планом и расположением комнат, с новыми порядками, каким надо было следовать в общежитии, спрашивал, довольны ли они? Они ходили за ним по постройке с видом приговорённых к тюремному заключению, бормотали угрюмо: “Много довольны! Как будет угодно вашей милости!” При свидании со мной Петрашевский не раз сообщал мне о ходе дела, обещал рассказать подробнее, как они начнут жить в новой обстановке с Рождества 1847 года.

— Жизнь в таком фаланстере представляется мне ужаснее и противнее всякой каторги... — вставил Достоевский. — И что же дальше?

— Прошло Рождество, но он не показывался в Петербурге, — продолжил свой рассказ Плещеев. — После Нового года я узнал, что он приехал, но ко мне не являлся. Ещё через неделю я случайно столкнулся с ним на Невском.

— Что же ты не заходишь ко мне? Ведь ты же знаешь, как меня интересует твоя попытка, — сказал я.

Он казался сконфуженным и отвечал как-то неохотно:

— Да что, братец! Ты и представить себе не можешь, какие это дикари, сущие звери. Что они со мной сделали!

— Что же? Отказались переселиться в твою фаланстерию?

— Как же смели бы они это сделать, когда им приказывал барин?

— Так что же, наконец?

— Вообрази: накануне переезда я ещё раз обошёл с ними всю постройку, назначил каждой семье её помещение, указал на все его удобства, выгоды, передал всю утварь, какую закупил для них, все инструменты, велел перевести с утра скот и лошадей в новые хлева и конюшни, перенести весь скраб и запасы в амбары. С сознанием исполненного долга и доброго дела оставил я их, обещая на другое же утро приехать к ним на новоселье из дома лесничего, где я обыкновенно жил во время моих поездок...

— Ну, и что же? — спросил я, видя, что он остановился на последних словах, высказанных прерывающимся голосом.

— Приезжаю рано утром и нахожу на месте моей фаланстерии одни обгорелые балки. В ночь они сожгли её со всем, что я выстроил и купил для них.

— Все эти теории не имеют для России никакого значения, — сказал Достоевский, — в русской общине, в артели давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона, Фурье и его школы.

— Тут хоть понятны его действия: хотел всем показать, что теория Фурье верна, — продолжил Плещеев рассказ о Петрашевском. — Но, бывало, он выкинет такое, что чёрт его разберёт, зачем он это сделал.

— И что же это? — с улыбкой спросил Достоевский.

— Однажды он переоделся в женское платье и пошёл на службу в Казанский собор.

— Бороду хоть сбрил? — засмеялся Фёдор Михайлович.

— Нет. В усах, бороде и в женском платье.

— Его не арестовали?

— Намеревались. Квартальный подходит к нему и говорит: “Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина?”

— И что же Петрашевский?

— А тот в ответ: “Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина!” Квартальный растерялся, отошёл за подмогой, а Петрашевский — в толпу и скрылся.

— Он не объяснил, зачем он это сделал?

— Нет. Сам чёрт не разберёт, чего он добивался...

— Кем он работает?

— Переводчиком в Министерстве иностранных дел. Кстати, библиотеку свою из запрещённых книг он сформировал там. Его посылают переводчиком на процессы иностранцев, при составлении описей их выморочного имущества он выбирает из их библиотек все запрещённые иностранные книги, подменяет их разрешёнными.

— Видно, что образован он хорошо.

— Он закончил Царскосельский лицей, как и Спешнев, и Московский университет.

— А приглашает он к себе зря...

— Да какое же нам-то дело? Тут ничего нет общего; всякий отвечает сам за себя... Виноват ли я в том, что мой гость доврётся до чёртиков?

— Я заметил, среди его гостей есть люди весьма горячие...

— Есть, есть такие! Поручик Григорьев, например, и поручик Момбелли. Оба горячи, но умницы. А студент Филиппов хоть и молод, но сдержан. Весь в себе... Между прочим, они вместе со Спешневым по средам ходят к Дурову на литературно-музыкальные вечера.

— Сергей Фёдорович пригласил меня. Схожу непременно... А идея Петрашевского насчёт журнала мне понравилась. Только цензура будет препятствовать...

— Петрашевский знает, как обходить цензуру. Он уже это делал не раз, когда издавал “Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка”.

И Плещеев рассказал, как Петрашевский издавал этот словарь.

Узнав, что некий Кириллов намерен издавать с чисто коммерческими целями “Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка”, Петрашевский пришёл к нему и предложил себя в сотрудники, прося, и то только для того, чтобы не возбудить подозрения, весьма умеренного вознаграждения. Предприниматель, обрадовавшись столь выгодному предложению, предоставил Петрашевскому объяснение выбранных им слов. Петрашевский с жадностью схватился за случай распространить свои идеи при помощи книги, на вид совершенно незначительной. Он расширил весь её план, прибавил к обычным существительным имена собственные, ввёл своей волей в русский язык такие иностранные слова, которых до тех пор никто не употреблял, — всё это для того, чтобы под разными заголовками изложить основания социалистических учений, перечислить главные статьи конституции, предложенной первым французским учредительным собранием, сделать ядовитую критику современного состояния России и указать заглавия некоторых сочинений таких писателей, как Сен-Симон, Фурье, Гольбах, Кабэ, Луи Блан и др. Основная идея Фейербаха относительно религии выражена без всяких околочностей в статье о натурализме. Петрашевский дошёл до того, что цитировал по поводу слова “ода” стихи Беранже.

— А цензура? — спросил Достоевский.

— Словарь, для отвлечения цензуры, он посвятил великому князю Михаилу, брату императора Николая.

— И что же, статьи из-за этого посвящения цензоры не читали?

— Читали, конечно, читали. Цензуровали этот лексикон, выходивший небольшими выпусками, разные цензоры, а потому если один цензор не пропускал статью, то она переносилась почти целиком под другое слово и шла к другому цензору и таким образом протискивалась через цензуру, хотя бы и с некоторыми урезками. Притом Петрашевский, который сам держал корректуру статей, посылаемых цензуре, ухитрялся расставлять знаки препинания так, что после получения рукописи, пропущенной цензором, он достигал, при помощи перестановки этих знаков и изменения нескольких букв, совершенно другого смысла фраз, уже пропущенных цензурою.

— А что же основатель лексикона Кириллов? Соглашался с ним?

— Кириллов был офицером, совершенно благонамеренным человеком с точки зрения цензурного управления и совершенно не соображавшим, во что превратилось в руках Петрашевского его издание... Успели выйти только два выпуска словаря, до слова — “орден рыцарский”, и продано было лишь несколько сот экземпляров, как полиция арестовала все остальные, лежавшие в книжных лавках. Цензор был представлен в верховный цензурный суд. Я не знаю, какая судьба постигла его. Это был очень боязливый и робкий человек. Он несколько раз говорил Петрашевскому, что его статьи доводят его до головокружения от панического страха. Но Петрашевский уверял его, что он нигде не переступил границ, указанных в тексте цензурного устава.

— Да, ловко он обходил цензоров.

— Вот я и пришёл... — Плещеев остановился около подъезда четырёхэтажного дома. — Спокойной ночи, Фёдор Михайлович!

— Спокойной ночи! А мне что-то совсем спать не хочется.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ У ДУРОВА

Новые знакомые уговорили Достоевского прочитать на литературно-музыкальном вечере у поэта Дурова свежую, только что написанную главу из “Неточки Незвановой”. Вечером в среду к Дурову, как обычно, приехали Спешнев, поручики Момбелли и Григорьев, студент Филиппов. Литератор Александр Пальм снимал квартиру вместе с Дуровым. Он тоже присутствовал при чтении.

Читал Достоевский негромко. Он видел, что новые друзья его не отвлекаются, не переговариваются, чувствовал, что слушают они не из-за вежливости, а потому, что им действительно интересно, что он написал, и это воодушевляло его.

— Теперь я расскажу одно странное приключение, — Достоевский перевернул в тетради последний лист главы и продолжил читать, — имевшее на меня слишком сильное влияние и резким переломом начавшее во мне новый возраст. Мне минуло тогда шестнадцать лет, и, вместе с тем, в душе моей вдруг настала какая-то непонятная апатия; какое-то нестерпимое, тоскливое затишье, непонятное мне самой, посетило меня. Все мои грёзы, все мои порывы вдруг умолкли, даже самая мечтательность исчезла как бы от бессилия. Холодное равнодушие заменило место прежнего неопытного душевного жара. Даже дарование моё, принятое всеми, кого я любила, с таким восторгом, лишилось моей симпатии, и я бесчувственно пренебрегала им. Ничто не развлекало меня, до того, что даже к Александре Михайловне я чувствовала какое-то холодное равнодушие, в котором сама себя обвиняла, потому что не могла не сознаться в том. Моя апатия прерывалась безотчётною грустью, внезапными слезами. Я искала уединения. В эту странную минуту странный случай потряс мою душу и обратил это затишье в настоящую бурю. Сердце моё было уязвлено... Вот как это случилось...

Достоевский закрыл тетрадь, положил на стол и взглянул на молча слушавших его молодых людей. Они начали шевелиться.

— Поразительно глубоко, — вздохнул Филиппов.

— Заинтриговали вы нас, Фёдор Михайлович, — проговорил Момбелли. — Что же это за странный случай, который так потряс её душу. Расскажите, не томите!

— Это я расскажу в следующей главе, — ответил Достоевский. — Перескажу, а потом вам неинтересно будет читать.

— Мы надеемся, что вы прочитаете эту главу нам, — сказал Дуров.

— Непременно, — согласился Достоевский. — Как закончу, скажу.

— Спасибо, Фёдор Михайлович! — заговорил Спешнев. — Заставили вы нас погрузиться. Какие великодушные идеи в каждой вашей повести!

— Без великодушных идей человечество жить не сможет, — вставил Дуров. — Быстро угаснет...

— Без идеалов, без определённых хоть сколько-нибудь желаний лучшего, — подхватил Момбелли, — никогда не может получиться никакой хорошей действительности.

— Ну да, — согласился Дуров. — Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда её.

— Вот такие идеи должен нести наш журнал, — вскричал Филиппов, видимо, для того, чтобы его слова лучше дошли до его старших приятелей, — справедливость, жажда добра для народа, сострадание к его нуждам!

— В России десятки миллионов страдают, — страстно заговорил Момбелли, когда Филиппов умолк, садясь на стул, — тяготеют жизнью, лишены прав человеческих, зато небольшая часть привилегированных счастливых нахально смеётся над бедствиями ближних, истощается в изобретении роскошных проявлений мелочного тщеславия и низкого разврата, прикрито-утончённой роскошью. России нужна республика! Нам надо готовить её!

— Я заканчиваю писать “Солдатскую беседу”, — произнёс Григорьев, воспользовавшись небольшой паузой после слов Момбелли о республике, — где рассказываю о судьбе крепостного, насильно сданного в рекруты. Скоро прочитаю здесь. Надеюсь, мы её опубликуем в нашей типографии?

— Обсудим и решим, — солидным тоном заявил Филиппов. — Я убеждён, Фёдор Михайлович будет с нами сотрудничать.

— Господа, — обратился ко всем Дуров, — типография наша будет тайной. Надеюсь, что о ней никто не узнает за пределами нашего кружка.

— Петрашевского тоже не надо посвящать в это... — заговорил уверенным тоном Спешнев. — Мы будем готовить социалистическую республику, в которой будут все равны. Не будет ни буржуев, ни крепостных, ни пролетариев.

— Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, — с некоторым сомнением в голосе сказал Дуров, — именно он провозгласил, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. А как же быть с Богом? Ведь народ — это тело Божие.

— Ну да, — согласился Спешнев, — в этой формуле есть резон. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него как в единого истинного. Никогда ещё не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый.

— Но у нашего народа уже есть свой Бог — Христос! — сказал Дуров. — И своя религия — Православие!

— Это общий Бог, — возразил Спешнев. — Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особеннее его бог.

— Никогда еще не было народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. Ты предлагаешь вернуться к язычеству? — спросил Дуров. — Верить в Перуна? Но тогда он был не один.

— Когда у многих народов становятся общими понятия о зле и добре, — стал разъяснять Спешнев, — тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был отделить зло от добра, напротив, всегда позорно и жалко смешивал их.

— А как же тогда быть? — спросил Филиппов.

— Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, — продолжил Спешнев, будто не услышав вопрос студента. — А всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения, пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов.

— Где же нам взять такого бога? — воскликнул Дуров.

— Если великий народ не верует, что в нём одном истина, если не верует, что он один способен и призван всех спасти своею истиной, — говорил спокойно и убеждённо Спешнев, — то он тотчас же перестаёт быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ.

— Где эта истина, по-вашему? В чём вера? — выпалил Момбелли.

— Истина эта и в то же время особая религия — коммунизм, — ответил уверенно Спешнев.

— Опять фаланстеры? — протянул разочарованно Момбелли. — Петрашевский попробовал осуществить со своими мужиками, а они спалили его прекрасный фаланстер.

— Фаланстеры — это фурыеризм. Утопия! — бросил с некоторой иронией Спешнев и добавил убеждённо: — Коммунизм — это когда все равны...

— У народа есть Бог — Христос! — заметил Дуров. — В другого Бога он не поверит.

— Сергей Фёдорович, если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? — спросил Спешнев.

— Я бы остался с Христом! — вставил молча слушавший спор Достоевский.

— А вы, Сергей Фёдорович? — не отставал от Дурова Спешнев. — Веруете вы сами в Бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в её Православие, — отчеканил Дуров. — Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую...

— Вы искушаете нас, Николай Александрович! — перебил Дурова, обратился к Спешневу Григорьев.

— Хотите сказать, что во мне дьявольская сущность? — со смешком спросил Спешнев.

— Ну, нет, ваш атеизм, Николай Александрович, не допускает существования Бога, а значит и дьявола, — засмеялся в ответ Григорьев.

— Я думаю, что если дьявол существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию, — серьёзно заявил Спешнев.

— Как и Бога! — вставил Достоевский.

— Значит, вы согласны, Фёдор Михайлович, что Бога создал человек, а не Бог человека.

Спешнев произнёс это убеждённо и одобрительно, не как вопрос, а как положительное утверждение.

Достоевский смутился, опустил голову и, не зная, чем убедительно ответить Спешневу, промолчал.

ГЛАВА ПЯТАЯ У МАЙКОВА

На другой день после вечера у Дурова Фёдор Михайлович Достоевский отправился к поэту Аполлону Майкову, с которым он был знаком много лет, частенько навещал его, знал его взгляды на всё, происходящее в России, знал, как он принимал близко к сердцу невзгоды и страдания народа, поэтому хотел предложить ему вступить в тайный кружок, который организывает Спешнев, и писать статьи для публикации в тайной типографии. Достоевский был уверен, что Майков поддержит его.

Аполлон Николаевич был дома. Встретил Достоевского радостно. Был он, как отметил Фёдор Михайлович, в каком-то возбуждённом состоянии, таким его Достоевский видел редко.

— Марь Семёновна, чайку нам принеси! — крикнул он хозяйке и повёл Достоевского в свою комнату.

На столе у него в беспорядке лежали бумаги с перечёркнутыми накрест строками.

— А я пишу! — поделился он радостно с Достоевским. — Наконец-то муза посетила! В этом году она мною брезговала... Послушай, что я только написал. Это из поэмы “Жрец”!

И он начал читать:

*О, злые чары женской речи!..
Благоухающие плечи
Пред ним открыты... ряд зубов
Белел, как нитка жемчугов...
Густые косы рассыпались
Из-под повязки — и, блестя,
Серёжки длинные качались,
По ожерелью шелестя...
И этот блеск, и этот лепет,
И страстный пыл, и сладкий трепет
В жреце всю душу взволновал:
Окаменел он в изумленье,
Но вдруг очнулся от забвенья
И с диким криком убежал!*

— Ну как? — победно взглянул Майков на Достоевского и бросил лист на стол.

— Вижу, нелегко тебе дались эти сладкие звуки, — указал Достоевский на скомканные листы на полу и взял исчерканный лист со стола.

— Да, почеркать пришлось, но зато как звучно, как зримо и слышимо:

*...и, блестя,
Серёжки длинные качались,
По ожерелью шелестя...*

— *И этот блеск, и этот лепет,
И страстный пыл, и сладкий трепет,* —

подхватил, читая, Достоевский.

Хозяйка принесла на подносе чай и печенья. Майков сдвинул на столе в сторону бумаги, освободил место для подноса и указал Фёдору Михайловичу на стул. Они сели. Достоевский проводил глазами ухודившую из комнаты хозяйку и спросил:

— Нас никто не подслушает?

Майков машинально взглянул на приоткрытую дверь, встал, плотно прикрыл её и только тогда ответил:

— Нет. А что?

— Я хотел сказать тебе нечто важное... Отнесись к этому самым серьёзным образом...

— Можешь говорить спокойно...

— Мы, несколько человек, решили составить общество... тайно. И я хочу, чтобы ты был с нами...

— Что за общество? Кто в него входит?

— Организатор общества — Спешнев! Входят в него разные люди: литераторы, студент, два офицера, двое учёных... Это даёт нам возможность распространять революционные идеи в большом слое общества. Собираемся мы у поэта Дурова под видом литературно-музыкальных вечеров...

— Но с какой целью? — удивился Майков.

— Цель наша — подготовить и произвести переворот в России... Мы будем печатать книги, статьи. У нас уже есть типографский станок...

Майков растерянно и испуганно со стуком поставил свою чашку на блюдце.

— Станок? О нём же сразу узнают в полиции. Кто-то ведь его делал...

— Не узнают... — ответил уверенно Достоевский. — Делали его по чертежам, по частям, в разных местах... Ну как, вступаешь?

— Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать, — горячо и быстро проговорил Майков. — Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?

— Мы не должны наблюдать со стороны, когда страдает народ, страдает вся Россия! — так же горячо, с некоторым разочарованием, что другу приходится доказывать очевидное, то, что тот не раз говорил сам, перебил Достоевский. — Справедливости нет, правды нет! Правительство утонуло во взяточничестве! В такое время позорно заботиться только о себе, о своём здорье! Подумай хорошенько...

— Нет, нет. И вам не советую... — стоял на своём Майков. — Бросьте! Это верная гибель!

— Ну, хорошо... — грустно бросил Достоевский, решив, что Майкова уговорить невозможно: невольник — не богомольник. — Надеюсь, об этом разговоре никто не узнает?

— Это я обещаю... — с облегчением выдохнул Майков. — Но повторяю, бросьте вы это дело...

— Кто же без нас это сделает? — промолвил с горечью Достоевский.

— Мой знакомый из Министерства внутренних дел сказал мне, что к Петрашевскому заслан шпион. Будьте осторожны...

ГЛАВА ШЕСТАЯ СНОВА У ДУРОВА

В очередную среду снова собрались у Дурова. Были здесь сам хозяин, Филиппов, Момбелли, Достоевский, Григорьев, Пальм и ещё два молодых человека, не знакомых Достоевскому. Не было только Спешнева. В ожидании его заговорили о красоте. Начал разговор хозяин. Он только что прочитал рассуждение французского философа о красоте и был под впечатлением прочитанного.

— Господа, я убеждён, поклонение красоте должно быть культом всякого рационально развитого человека, — заявил Дуров. — Физическая красота непременно предполагает совершенство интеллектуальное...

Достоевский, слушающая Дурова, вспомнил слова Майкова о засланном к ним шпионе, подумал:

“Нет, Дуров не может быть шпионом. Кто же тогда?”

— А разве нет красивых дураков и дур? — засмеялся поручик Григорьев. Достоевский перевёл взгляд на Григорьева.

“А если Григорьев? Офицер, а такие речи? Почему?”

— Почти нет, — ответил Дуров и стал излагать положения прочитанной статьи. — Посмотритесь хорошенько, и вы откроете, что они вовсе не глупы: в них есть все зачатки для великолепного умственного развития. Винаваты ли они, что, вследствие нелепого нашего воспитания, зачатки так и остались зачатками... Это я могу подтвердить многочисленными наблюдениями.

— Над кем это? — выдал со смехом студент Филиппов. — Уж не над тем ли квартальным надзирателем, которым вы на днях в Пассаже любовались...

“Может, Филиппов? Надо с ним поговорить”, — подумал Достоевский.

— Ну-ка, ну-ка! — подхватил слова Филиппова Григорьев.

— Вообразите, господа, — смеялся Филиппов, — где нынче Адонисы отыскиваются — в полицейском мундире!

Все дружно и благодушно подхватили смех студента.

— Ай да Сергей Фёдорович! — смеялся и Момбелли. — В квартального влюбился!..

“Момбелли тоже исключать нельзя... Гвардейский офицер!.. Но говорят, у него свой кружок был. И крайне радикальный. Надо с каждым поговорить!” — решил Достоевский.

— Вы шутите, господа, — произнёс Дуров, — а я говорю серьёзно. Конечно, квартальный — это смешно... И он, наверное, глуп, как пробка, но ведь он же и не красавец: видный, статный мужчина, годится в гвардию — и только. А глаза у него совсем бараньи. Это несколько не опровергает моего положения; я говорю о совершенной красоте... гармонической... Возьмите нашего Спешнева...

В это время в комнату вошёл Спешнев.

— Я слышу, речь обо мне... — улыбнулся он.

— Лёгок на помине, — заметил Григорьев.

— Мы речь вели о совершенной красоте, — пояснил Дуров. — Я утверждал, что красота физическая всегда идёт рядом с красотой интеллектуальной.

— То есть красота присуща всему здоровому? — спросил Дуров, здороваясь со всеми по очереди за руки.

— А я думаю, что красота — это страшная и ужасная вещь! — брякнул вдруг Филиппов. — Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог загадал одни загадки.

— Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь, — подхватил Спешнев. — Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей.

— Если лишить человека идеала красоты, затоскует он, умрёт, с ума сойдёт, убьёт себя или пустится в языческие фантазии, — продолжил свою мысль Дуров.

— Мне часто приходит в голову: что уму представляется позором, то сердцу — сплошь красотой, — отметил Спешнев, садясь на диван.

— О какой красоте вы толкуете, — заговорил вдруг с возмущением Момбелли, обращаясь ко всем. — Сейчас началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда. Всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно, убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана.

— Я не знаю различия в красоте между какою-нибудь сладострастной, зверской штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества, — проговорил Спешнев как-то задумчиво и серьёзно. — И в том, и в другом я вижу совпадение красоты, одинаковость наслаждения...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ФИЛИППОВ

От Дурова Достоевский вышел на улицу вместе со студентом Филипповым. Ему хотелось поговорить с ним. Они вышли на освещённую уличными фонарями набережную и осторожно направились по ней, стараясь не упасть на скользком льду. С вечера был небольшой дождь, потом подморозило, и улицы Петербурга стали скользкими. Шли неторопливо, разговаривали о Спешневе.

— Ты не находишь, Фёдор Михайлович, — сказал Филиппов, скользя по льду сапогами, — что в словах Спешнева есть какое-то ужасное обаяние?

— И сам он, как Мефистофель, красив, умён... — согласился Достоевский.

— Мне кажется, что если он верует, то не верует, что верует. Если же он не верует, то не верует, что не верует, — проговорил Филиппов, имея в виду отношение Спешнева к Богу.

— Да, он опасен и очарователен одновременно... — подтвердил Достоевский и спросил о другом: — Ты ещё не опробовал печатный станок?

— Как только подготовим несколько статей, я соберу его, отпечатаю и сразу разберу на части. Не дай Бог, кто-то увидит и донесёт...

— А если обыск?

— Части его я прячу в разных местах, даже если обыск будет, полицейские не догадаются, что это части типографского станка.

— Что-то ты сегодня бледный? — спросил Достоевский.

— Поневоле станешь бледный... коли есть нечего... — весело ответил Филиппов.

— Тебе вроде бы Спешнев деньги давал?

— Я их все на станок истратил.

— У меня тоже в кармане блоха на цепи, но на ужин на двоих хватит. Пошли в трактир.

Они направились к трактиру, над дверью которого горел фонарь, освещающая вывеску со словом "Трактир". Достоевский бывал в нём частенько.

— Эх, мне бы сейчас рублей 15–20 на кое-какое дело... — вздохнул Филиппов.

— Мне не 20 или даже не 50 рублей нужны, а сотни, — отозвался Достоевский. — Я должен отдать портному, хозяйке, возратить долг брату, и ещё, ещё... А всё это более 400 рублей.

— А ты к Спешневу обратись, — посоветовал Филиппов. — Он к тебе хорошо относится. Знает, что отдашь. Твои повести охотно публикуют.

— Я его мало знаю, да, по правде, и не желаю ближе с ним сходить-ся... — ответил Фёдор Михайлович. — Этот барин чересчур силён, не чета Петрашевскому.

Достоевский и Филиппов вошли в трактир. Там было шумно, многолюдно. Они остановились на пороге, стали высматривать свободные места за столами. К ним подскочил знакомый Достоевскому половой, в розовой рубашке, в чистом переднике, с жирно намазанными волосами, с умильной улыбкой.

— Я вижу, Сенька, места для нас нет, — обратился к нему Достоевский.

— Для вас, Фёдор Михалыч, завсегда отыщем, — с готовностью проговорил половой и пригласил за собой: — Идёмте!

Достоевский и Филиппов пошли за половым меж столов. Тот подвёл их к освободившемуся столу, смахнул с него полотенцем крошки и указал на стулья. Достоевский с Филипповым стали располагаться за столом.

— В кабинетике игра идёт. Есть интерес? — спросил половой. — Или сперва откушаете?

— Сначала откушаем. Принеси-ка нам, любезный, что-нибудь плотненько поужинать.

Половой быстренько убежал на кухню, ловко лавируя меж тесно расставленными столами.

— Встретил я недавно одно несчастное существо, — обратился к Филиппову Достоевский, — хотел помочь, а сам сир и убог. Жду, когда “Честного вора” напечатают... Кстати, ты не знаешь никого, кто бы мог порекомендовать молодую девицу в горничные?

— Обратись к Спешневу, для него это дело плёвое. Он всех знает, и его все знают.

— Всё в Спешнева упирается. Боюсь я его, он веру во мне поколебал.

— Давеча он убедительно о народной вере говорил.

— И Белинский в своём письме Гоголю о том же говорил, — вспомнил Достоевский о письме Белинского, которое Петрашевский просил прочитать в пятницу. Фёдор Михайлович знал, что студент хорошо знаком с этим письмом. — Помнишь: “По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почёсывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ”.

— А у меня из головы не выходят такие слова Белинского: “Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? — Попов. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?”.

— Страшно! Жутью веет от такого сознания...

— А ведь это так! Спорить с этим нельзя.

— Я как-то сказал: атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестаёт быть русским. Теперь думаю: так ли это?

— Я с этим не соглашусь... Мы же знаем, как вбивали религию в душу русского народа. Он это помнит, пусть не умом, душой помнит.

— Ну да, кровушки народной было пролито немало...

Половой принёс мясо на тарелках, графин вина, налил вина в стаканы. Достоевский поднял свой:

— За наше дело!

Они стукнулись стаканами, отпили по несколько глотков и принялись есть. Филиппов, хоть и был голоден, старался есть не спеша, сдерживал себя.

— Мне подумалось, а что ежели и вправду Бога нет? — сказал он. — Ведь у каждого народа свой бог! Как же так? У кого истина? В чём она?

— Христос не ответил на этот вопрос.

— Да, он мог бы ответить: “Я есть истина!” Но Пилат не поверил бы ему. Белинский не поверил, Спешнев не верит, Петрашевский... Тёмными их не назовёшь...

— Вот и мы засомневались.

— А если Бога и бессмертия нет, то, значит, мы сами человеко-боги и можем с легким сердцем перескочить всякую нравственную преграду раба-человека. Для бога не существует закона! Где станет бог — там уже место божие! Где стану я, там станет бог... Значит, “всё дозволено”, и шабаш!

Студент оторвался от еды и поднял вверх нож, стукнул торцом его ручки по столу, словно ставя точку.

— Всё это очень мило, — засмеялся Достоевский, — только если захотел мошенничать, зачем бы ещё, кажется, санкция истины?

— Таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...

— Если человечество отречется поголовно от Бога, — медленно проговорил Достоевский, словно обдумывая каждое слово, — то само собою падёт всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое.

— Фёдор Михайлович, как ты думаешь, — начал очень серьёзно студент, — как бы поступил Наполеон, ежели не было бы у него Тулона, чтобы карьеру начать, а была бы на пути просто-запросто старушонка, которую надо убить, чтоб из сундука у неё деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?). Ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было?

Вместо ответа Достоевский взял графин за горлышко и молча разлил оставшееся вино. Филиппов, тоже молча, смотрел на него.

— Я бы не решился! — ответил Достоевский.

— Это ты, ты сейчас так думаешь, когда карьера пошла... — быстро заговорил Филиппов, хватая со стола и поднимая свой стакан. — Но представь, что нет у тебя ни “Бедных людей”, ни славы, и ты знаешь, всё это будет, но надо для этого убить жалкую старушонку, решился бы ты на это?

— Так можно и себя убить! — ответил Достоевский шутливым тоном и стукнул своим стаканом по стакану студента.

Но Филиппов не захотел превращать серьёзный для него разговор в шутку, и он продолжил прежним каким-то мрачно-серьёзным тоном.

— Ты сам знаешь, Фёдор Михайлович, что кто крепок и силен умом и духом, тот и властелин! Кто много посмеет, тот и прав. Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!

— Не так... Если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными, — тоже серьёзно попытался возразить Достоевский, сам-то не особо веря своим словам.

— Чтобы общество устроить нормально, нужна власть, — страстно продолжил Филиппов, — а она даётся только тому, кто посмеет наклониться и взять её. Тут одно только, одно: стоит только посметь! Тут один вопрос: смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею...

Достоевский поднял стакан с остатками вина и проговорил задумчиво:

— Тварь ли я дрожащая...

Филиппов протянул к нему свой стакан и звонко стукнул о край:

— За тех, кто право имеет!

Они допили остатки вина. Увидев, что они поужинали, к их столу подошёл половой и начал собирать пустые тарелки и стаканы.

— Извольте что-нибудь ещё?

— В кабинет... — ответил Достоевский.

Он расплатился, осталось у него всего два рубля, две бумажки, и предложил Филиппову:

— Пошли в картишки перебросимся.

— Я не игрок.

— А я грешен... Пошли, посидишь так. Вдруг у тебя лёгкий глаз... Выигрыш от везения зависит.

В отдельном кабинете за круглым столом сидело пять игроков. Позади них стояло несколько человек наблюдателей за игрой. Достоевский с некоторыми игроками был знаком. Они, увидев его, приветствовали с улыбками и пригласили к столу. Один из них выдвинул стул из-под стола и указал на него Достоевскому. Фёдор Михайлович сел и стал наблюдать за заканчивающейся партией. Играли в стуколку. Один из игроков обремизился, не сделал ни одной взятки, и когда выигравший сгрёб с середины стола к себе все ассигнации, проигравший с огорчённым видом бросил на стол сумму выигранного счастливым банком.

— Ставки, господа! — произнёс один из игроков и стал тасовать карты.

Все игроки, и вместе с ними Достоевский, бросили в центр стола по одному рублю, и один игрок стал раздавать карты по три листа каждому.

Достоевский приоткрыл свои карты за уголки, увидел, что пришли ему козырная дама и семёрка с девяткой. Когда дошла очередь до него решать играть или сбрасывать карты, он стукнул костяшками пальцев по столу, указывая, что готов играть. Он надеялся, что к его даме придут козыри или тузы.

Три человека остались в игре. Достоевский сбросил семёрку с девяткой, в прикупе ему пришли козырная восьмёрка и простой король. Шанс на выигрыш был минимальный. Достоевский заволновался. Если у кого-то из игроков туз с королём козырные, то он обремизится, и ему придётся ставить двенадцать рублей, а у него было всего один. Можно опозориться! Первый заход, как и положено, был с туза козырного. Достоевский сбросил козырную восьмёрку, а третий игрок — козырного короля. Фёдор Михайлович вздохнул

с облегчением. Его дама осталась старшей. Одна взятка обеспечена. Повезло! Но неожиданно и простой король его оказался старшим. Один из троих игравших остался без взятки и вынужден был выставить на кон 12 рублей — столько было в банке. А Достоевский за две взятки получил восемь рублей. Придвинув к себе выигранные деньги, он с победной улыбкой оглянулся на Филиппова. Тот одобрительно похлопал его по плечу, поздравил с почином.

Играли часа два. Достоевский то проигрывался почти до конца, то выигрывал довольно большую сумму. Филиппову надоело наблюдать за игрой, он хотел уйти, но Достоевский задержал его, сказав, что доиграет последнюю партию, и они уйдут вместе. Ему на этот раз пришёл козырной король. Он надеялся, что в прикупе будет хоть один “kozyрёк”, тогда за ним будет одна взятка, и он выиграет и будет в выигрыше. Перед ним на столе лежало всего четыре рубля. Но в прикупе у него оказались два простых валета. “Если у кого-то туз козырной, то пропал!” — с трепетом подумал он, чувствуя жар во всём теле. Зашли с туза. Король сразу был бит. И валеты не помогли. Ремиз. Нужно ставить шесть рублей да рубль ставки, а у него всего четыре рубля. По местным правилам, он должен был поставить оставшиеся деньги на кон и выйти из игры. Огорчённый Достоевский сдвинул четыре ассигнации на середину стола и поднялся, взглянул разочарованно и убито на Филиппова и с надеждой спросил у того:

— У тебя трёх рублей нет?

— Откуда? — развёл руками Филиппов. — Не огорчайтесь вы так, Фёдор Михайлович!

Потухший взгляд Достоевского упал на серебряную цепочку карманных часов, торчащую из кармана студента, он протянул руку к цепочке и кинул быстро:

— Дайте часы!

— Не могу... — смутился Филиппов. — Подарок! Идёмте, Фёдор Михайлович. Поздно уже!

— Дайте часы! Я верну! — настаивал Достоевский.

Филиппов с сомнением и тревогой достал часы из кармана и протянул Достоевскому. Тот схватил их и поставил на кон.

Один из игроков взял часы, открыл крышку, повертел их, рассматривая, и вымолвил спокойно:

— Больше десяти рублей не дадим.

— Они почти тридцать рублей стоят! — воскликнул Филиппов.

— Сказано, десять рублей, — поддержали другие игроки. — Хотите — играйте, хотите — забирайте.

— Играем! — быстро брякнул Достоевский.

Игрок стал сдавать карты. Достоевский был на этот раз последний в очереди на вступление в игру. Перед ним три человека стукнули, вошли в игру. Достоевский, весь трепеща, осторожно, медленно открывал уголки карт, лежащих перед ним на столе вверх рубашками. Первая не обрадовала. Простая десятка! Вторая ещё хуже — восьмёрка. Очень медленно, с трепетом открывал уголок третьей карты: дама! Простая дама! Шансов никаких.

— Пас, — хрипло выдавил из себя Достоевский и сбросил карты. “Пролетели часы!” — мелькнуло в голове.

Сдающий карты тоже неожиданно стукнул по столу. Играющих стало четверо, а взятки три. “Значит, кто-то обремизится!” Появилась надежда. Достоевский с плохо скрываемым возбуждением и лихорадкой во всём теле следил за игрой. Когда один игрок взял две взятки подряд, он выдохнул с облегчением. Без взяток остались двое. Оба выставили на кон по двенадцать рублей.

Снова сделали ставки и раздали карты. Достоевский, кажется, в полуобморочном состоянии открывал свои карты. Первым оказался простой туз. Это совсем неплохо! Второй — козырная дама! Достоевский радостно затрепетал, открывая третью, но с ней не повезло. Шестёрка! Перед Достоевским стукнул только один игрок, двое сбросили карты. Следующий игрок после Достоевского, поразмыслив, тоже пасанул, но сдающий остался в игре. Трое!

Достоевский сбросил шестёрку, в прикупе получил бубнового короля. С разочарованием смотрел в свои карты. Проигрыш почти обеспечен! Дама козырная вне игры, она сразу будет бита. Надежда на туза, да и то призрачная — на то, что у двух игроков есть такая масть. Если нет у одного, “убьёт” туза козырной, пропали часы, и позор на сорок два рубля, которые лежали на кону. Их будет нужно ставить на кон для следующей игры.

Как и предполагал Достоевский, первый заход — с козырного туза, дама его ушла без следа. Следующий заход — с бубновой дамы, Достоевский “убил” её своим королём, думая, что третий игрок “убьёт” его короля либо тузом, либо козырьком. Но что это? Игрок сбросил бубнового валета. Достоевский еле сдержался, чтобы не вскричать от неожиданной радости. Часы Филиппова спасены! И туза его не смогли “убить”. Заход был его, у одного из игроков пропал туз другой масти, а у третьего не оказалось козыря. Две взятки!

Достоевский схватил со стола часы и протянул Филиппову. Он от волнения не заметил, как в кабинет вошёл половой, и не сразу понял его слова: — Господа, прошу меня извинить, — громко произнёс половой. — Трактир закрывается.

Достоевский с довольной улыбкой сунул в карман выигранные ассигнации и поднялся.

Только на улице, когда он чуть не упал, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре, Фёдор Михайлович немного пришёл в себя. Остановился под фонарём, вынул из кармана ассигнации и стал считать.

— Азартный вы человек, Фёдор Михайлович! — сказал Филиппов. — Так можно и жену проиграть.

— Слава Богу, не женат... — буркнул Достоевский.

Пересчитав деньги, он радостно воскликнул:

— Двадцать два рубля... Вот так: не было ни гроша, и вдруг...

Он взял две купюры по рублю, а остальные протянул Филиппову. Тот не взял.

— Бери, бери. Без твоих часов их бы не было... — сказал Достоевский. — Ты говорил, что нужно двадцать рублей. Вот они... Я знаю, ты их потратишь на доброе дело... А у меня как было два рубля перед игрой, так и осталось. Зато вечер провёл с наслаждением.

Филиппов неуверенно, сомневаясь, что он правильно делает, взял деньги у Достоевского.

— У тебя случайно нет знакомых в министерстве внутренних дел? — спросил Фёдор Михайлович, когда они, скользя по льду, двинулись по домам.

— Нет. А зачем? Я поспрашиваю у друзей...

— Я пишу рассказ... Хотел проконсультироваться...

На перекрёстке они попрощались, пожали друг другу руки, и Достоевский направился к своей улице.

“Нет... Филиппов не шпион!” — уверенно подумал он.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ПИСЬМО БЕЛИНСКОГО

Через месяц генерал-майор Липранди вручил министру внутренних дел Перовскому папку со списком посещавших тайное общество Петрашевского и с подробными докладами агента обо всех выступлениях и разговорах на его вечерах.

— Можно докладывать Его Императорскому Величеству? — спросил Петровский, принимая папку.

— Погодите ещё месяцик, — ответил Липранди. — Торопиться некуда. Больше информации соберём.

Достоевский в очередную пятницу у Петрашевского читал письмо Белинского Гоголю. За столом, как обычно, сидел Спешнев. Фёдор Михайлович стоял возле стола с листами в руке. Достоевский на вид был болезненный,

бледный, щупленький, и казалось, что такой человек будет и читать робко, неуверенно. Но во время чтения произошло его преобразование, читал он страстно, убеждённо. Читая письмо Белинского, Достоевский слышал его страстный голос, видел его худощавое лицо с высоким лбом. У Петрашевского в тот вечер, как никогда, было много гостей, больше двадцати должно быть. Сидели в креслах вдоль стен, на диване, вокруг стола, за которым на президентском месте был Спешнев. Он слушал, поглаживая пальцами ручку колокольчика в виде статуэтки богини. Кое-кто стоял в двери в соседнюю комнату, где они вели свой разговор, но услышав чтение интересного письма, вышли сюда.

С другой стороны возле Фёдора Михайловича сидел Черносивитов, одноногий купец из Сибири, широколицый, скуластый, с монгольскими глазами. Он недавно приехал из Иркутска, где, как говорили, имел большое влияние на генерал-губернатора. Высокий студент Филиппов стоял возле книжного шкафа с открытой книгой в руках и улыбался, поглядывая на слушателей так, словно это он написал письмо. Содержание писем он знал почти наизусть и теперь, вероятно, следил за текстом. Достоевский выделял интонацией наиболее острые мысли Белинского:

— Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в петицизме, — читал в полной тишине Достоевский, — а в успехе цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства собственного достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе.

— Вот это верно! — не удержавшись, восторженно воскликнул Филиппов.

— Тише ты! — шикнул на него Спешнев. — Дай послушать!

— Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь — уничтожение крепостного права... — читал Достоевский

— Сила, сила нужна: без силы ничего не возьмёшь; а силу надо добывать силой же! — снова крикнул Филиппов.

— Отто-так! — поддержал его Черносивитов своей обычной присказкой.

— Вот! Вот она сердцевина! — воскликнул поручик Момбелли.

Все зашевелились, стали возбуждённо переговариваться. Спешнев поднял колокольчик и начал звонить в него, пока снова не установилась тишина.

— “А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого Вы нашли в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правового, и виноватого? — продолжил чтение Достоевский. — Да это и так у нас делается зачастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться...”

— Вот где сердцевина всего! — обратился Петрашевский к Момбелли.

Спешнев снова позвонил в колокольчик.

— Господа! Так мы письмо до рассвета не дочитаем!

— “Теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех её издания в свет искупить новыми творениями, которые напоминали бы Ваши прежние”, — закончил чтение Достоевский.

Фёдор Михайлович положил последний лист на стол и сел рядом со Спешневым. Все сразу начали шевелиться, переговариваться.

— Отто-так! — радостно произнёс Черносивитов, покачивая своей большой головой.

— Господа! — заговорил горячо Момбелли. — Белинский правильно сказал, в настоящее время всех передовых людей занимают три вопроса: освобождение крестьян, улучшение судопроизводства и утверждение полной гласности, отмена цензуры. Я считаю, что самый важный вопрос, что идеей каждого должно быть освобождение крестьян.

— Как можно достичь этого? — неуверенным тоном спросил Антонелли.

— Правительство не может этого сделать, потому что освободить без земли нельзя. Восстание крестьян неизбежно, — уверенно заявил Момбелли. — Они достаточно сознают тягость своего положения, и мы обязаны способствовать скорейшему возникновению бунта. Только с помощью бунта можно освободить крестьян.

— Я не могу согласиться с тобой, — возразил ему Петрашевский. — По моему мнению, вопрос первой важности есть вопрос о судопроизводстве...

— Почему? — спросил Момбелли

— По двум основаниям. Во-первых, вопрос об освобождении крестьян касается только двенадцати миллионов крепостных... А улучшение судопроизводства касается всех сословий. Потребность справедливости, суда правого есть общая потребность, а при настоящем судопроизводстве с закрытыми дверями оно не достигает цели...

— Не статистика, не цифры определяют потребность народа, — убеждённо и страстно перебил Момбелли. — Они определяются наибольшей справедливостью — вот мерило потребности! Справедливость нарушается существованием крепостного сословия, не имеющего никаких юридических прав, а потому вопрос первой важности есть освобождение крестьян.

— Я не закончил... И второе основание — то, что настоящее экономическое положение страны не выпрает при освобождении крестьян, — стоял на своём Петрашевский. — Оно может повлечь за собой столкновение сословий.

— И это хорошо! Нужен бунт! — воскликнул Момбелли.

— Бунт гибелен, как сам по себе, так и по своим последствиям, — спокойно возразил Петрашевский. — Улучшение же судопроизводства представляет обществу необходимые права и тем содействует его развитию, его движению вперёд.

Достоевский внимательно слушал, глядя то на Петрашевского, то на Момбелли.

— Допускаю действительность твоих опасений и полагаю, что они устраняются временной диктатурой, — обратился к Петрашевскому Спешнев.

— Я против любого диктатора! — возразил ему вдруг запальчиво Петрашевский. Момбелли он отвечал спокойно, несмотря на то, что тот говорил петушком. — Я первый бы поднял на него руку!

— Но есть иная диктатура! — спокойно произнёс Спешнев ему в ответ. — Диктатура угнетённых!

Достоевский перехватил внимательный, чуть прищуренный взгляд Черносвитова на Спешнева.

— Беда нам, русским, — как-то задумчиво вмешался в разговор Черносвитов. — К палке мы очень привыкли. Она нам нипочём.

— Палка-то о двух концах, — ответил Спешнев.

— Это так! — согласился Черносвитов. — Да другого-то конца мы сыскать не умеем.

— Ничего, съедем! — уверенно ответил ему Спешнев.

— До всего можно дойти путём закона, путём реформ, — сдержанно произнёс Петрашевский. — Реформы судопроизводства не следует требовать! Нужно всеподданнейше просить об этом.

— Так к нам и прислушались, — по-прежнему горячо возразил Момбелли и спросил: — Мало ли вы просьб написали?

— Правительство и отказавши, и удовлетворивши просьбу поставит себя в худшее положение, — невозмутимо ответил ему Петрашевский. — Отказавши — вооружит людей против себя, а идея наша будет идти вперёд.

— А ежели исполнит?

— Этим оно ослабит себя и даст возможность требовать другие реформы, и снова наша идея идёт вперёд.

— Только всеподданнейшими просьбами мы не уйдём вперёд! — взволнованно вступил в разговор студент Филиппов. — Нужно действовать! Власть даётся только тому, кто посмеет поклониться и взять её. Тут одно только, одно: стоит только посметь!

— Отто-так! Кто много посмеет, тот и прав, — поддержал его Черносвитов. — Кто на большее может плюнуть, тот и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее!

— Николай Александрович, вы поосторожней с Черносвитовым, — шёпотом обратился Достоевский к Спешневу. — Мне кажется, он шпион. Слишком он остро говорит всегда...

— Бросьте вы, всё вам шпионы мерещатся, — улыбнулся Спешнев в ответ. — Насмотрелся человек на мерзость самодержавную, вот и говорит...

— Я и предлагаю действие! — ответил Филиппову Петрашевский. — Не поднимать же восстания, когда общество не готово к нему.

— Надо готовить!

— Нельзя предпринимать восстания, не будучи уверенным в совершенном успехе, — назидательно возразил студенту Петрашевский.

— Надо усиливать пропаганду! — снова заговорил Момбелли. — Невежество нашего царя-богдыхана и его министров не даёт надежды ни на какие нововведения.

— Прежде надо изменить правление, нужна конституция, которая дала бы свободу крестьянам, открытое судопроизводство, свободу книгопечатания, — всё так же мирно, но уверенно произнёс Петрашевский.

— Что же нам делать для этого? — тихо спросил Антонелли.

— Надо нам стараться производить переворот убеждением, — ответил поручик Григорьев. — Я уверен, что всё зависит от народа, без него мы не продвинемся, не уйдём вперёд.

— А нам что делать? — допытывался Антонелли.

— Надо нам сблизиться с народом! — продолжил Григорьев. — Для этого искать встречи с простыми людьми, говорить с ними...

— Первое, с чего нужно начать, — снова заговорил Петрашевский, — это распространять наши взгляды в своём кругу. Надо перетягивать на свою сторону людей разных сословий, людей специальных познаний: учёных, архитекторов, ремесленников, писателей, военных, взять в свои руки университет, Лицей, военные училища и гимназии.

— Как же это сделать? — не отставал Антонелли.

— Для этого все мы должны вести жизнь деятельную, составлять кружки и действовать не по случаю, а систематически...

— Господа! Прошу внимания! Кто из вас скажет, что это такое? — показал на своей ладони кусочек неопределённого вещества, в составе которого заметна солома, мякина, какая-то шелуха.

Филиппов взял двумя пальцами кусочек, повертел его, понюхал, потом, безразлично морщась, возвратил кусочек поручику.

— Это же конский помёт! — фыркнул он. — Мы о серьёзном судачим, а ему лишь бы шутки шутить!

— Нет, господа, это не шутки! — сердито ответил Момбелли. — Этот навоз — хлеб! Этим хлебом питаются крестьяне Витебской губернии. В его составе вовсе нет муки. Одна мякина, солома да какая-то трава...

— Не может быть! — воскликнул Антонелли.

— Надо бы нашего чадолобивого императора на несколько дней посадить на пищу витебского крестьянина! — негодуя воскликнул Момбелли.

— Фёдор Михайлович, у меня к вам разговор есть, — тихонько обратился к Достоевскому Спешнев. — Не могли бы вы заглянуть ко мне в воскресенье часиков в двенадцать?

— Хорошо. Я приеду!

Достоевский потихоньку поднялся и подошёл к Петрашевскому, а Черносвитов тут же пересел на место Достоевского к Спешневу.

— Михаил Васильевич, не пора ли чаю подать? — обратился Достоевский к Петрашевскому.

— Чай готов. Доспорим и перейдём, — ответил Петрашевский.

А Черносвитов заговорил со Спешневым:

— Вы, видимо, знаете: я человек приезжий. Живу в Сибири. В Петербурге ненадолго... Меня вот что интересует, Николай Александрович. Не верится мне, что в России нет тайного общества.

— Почему так? — спросил Спешнев.

— Пожары 1848 года! Отчего? Бунты в низовых губерниях. Не существует ли в Петербурге тайного общества? Нет ли его в гвардии?

— О гвардии я судить не берусь, — ответил Спешнев.

— А в Петербурге?

— Рафаил Александрович, разве можно назвать общество тайным, если оно явное для всех? — улыбнулся Спешнев.

— Понимаю, понимаю, — засмеялся в ответ Черносивитов. — Простите за назойливость!

Черносивитов поднялся, сильно хромая, пошёл к книжному шкафу, достал одну книгу и открыл её. К нему подошёл Петрашевский.

— Интересуетесь?

— Хотелось бы посмотреть, пока время есть. У вас, говорят, можно брать с собой?

— Это можно.

— А какая цель у ваших собраний?

— Пропаганда социальных идей.

— Идея — хорошо, но надо делать. Ведь есть, видимо, тайное общество?

— Нет никакого общества...

— Меня-то бы мог принять в тайное общество.

— Я враг всяких тайных обществ.

— Но, Михаил Васильевич, действуя таким образом, не принося никакой пользы, можно погибнуть...

— От распространения идей — большая польза!

— В числе ваших знакомых есть люди с тёплой душой — Спешнев, Достоевский. Давайте потолкуем. Ум хорошо, а два лучше, может, вы отстанете от своего взгляда. Пригласите их в кабинет.

— Хорошо, потолкуем, когда закончим.

После того, как гости поужинали, выпили вина и стали расходиться. Петрашевский пригласил в свой кабинет Достоевского, Спешнева и Черносивитова.

Когда они остались вчетвером, изрядно подвыпивший Черносивитов заговорил с раскрасневшимся лицом:

— Мы сделаем смуту! Мы сделаем такую смуту, что всё поедет с основ.

— А надо ли, чтоб всё ехало с основ? — спокойно спросил Петрашевский.

— Вы боитесь, вы не верите, вас пугают размеры?

— Угадали.

— Нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Но вы-то — гений вроде Фурье; но смелее Фурье, сильнее Фурье...

— Эх вы хватили! — усмехнулся Петрашевский.

— Как вы сделаете смуту? — спросил Спешнев.

— Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны! Мы проникнем в самый народ. Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над Богом, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развлек своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши.

— Это с ними вы хотите сделать смуту? — удивился Петрашевский.

— Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! — продолжил, не отвечая, Черносивитов. — Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмём?

— Народ не так прост, — покачал головой Петрашевский.

— Разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в людях идею о Боге, — вставил Спешнев. — Вот с чего надо приняться за дело!

— В русском народе до сих пор нет цинизма, хоть он и ругается скверными словами, — возразил ему Достоевский.

— Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: “двести розог или тащи ведро”, — нервно заговорил Черносивитов. — Русский бог уже спасовал пред “дешёвкой”. О, дайте, дайте, возрасти поколению!

— И вы рады этому? — с некоторым ехидством спросил Петрашевский.

— Вы думаете, я этому рад? — страстно обратился к нему Черносивитов. — Когда в наши руки попадёт, мы, пожалуй, и вылечим... Если потребуется, мы на сорок лет в пустыню выгоним... Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь — вот чего надо! А тут ещё свеженькой кровушки подпустить, чтоб попривык.

Петрашевский в ответ засмеялся.

— Чему вы смеетесь? — удивлённо спросил Черносвитов.

— Уж больно вы фантастически завернули. Даже кровушки захотелось.

— Раскачка такая пойдёт, какой ещё мир не видал... — продолжил страстно Черносвитов. — Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...

— Если в России бунт начинать, то непременно, чтоб с атеизма, — вставил Спешнев. — И всё к одному знаменателю — полное равенство. Каждый принадлежит всем, а всё — каждому.

— Отто-так! Хорошо сказано, — согласился, успокаиваясь, Черносвитов..

— Значит, все рабы и в рабстве равны? — спросил с сарказмом Петрашевский.

— Отто-так!

— А как же образование, науки? — обратился к Спешневу Достоевский.

— Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов, — спокойно и убеждённо, как о давно решённом деле, ответил Спешнев. — Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы.

— Отто-так! — воскликнул Черносвитов. — Цицерону отрезывается язык, Копернику выкальвают глаза. Шекспир побивается камнями.

— Всякого гения надо тушить в младенчестве, — подтвердил Спешнев.

— И далеко вы уйдёте без науки и образования? — с нескрываемым ехидством спросил Петрашевский.

— И без науки хватит материалу на тысячу лет, — невозмутимо ответил Спешнев. — Надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает — послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Необходимо лишь необходимое.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ У СПЕШНЕВА

В воскресенье, как и договаривались, Фёдор Михайлович пришёл к Спешневу, намереваясь попросить у того денег в долг, чтобы выкупить из дома свиданий девушку Союю и расплатиться со всеми накопившимися долгами. Спешнев встретил его радушно и повёл к себе в кабинет, говоря на ходу:

— Пока накрывают стол, мы побеседуем немного в моём кабинете, а потом продолжим разговор за чаем.

Они вошли в кабинет, и Спешнев указал рукой на кресло, приглашая сесть. И сам сел напротив.

— Фёдор Михайлович, я не буду церемониться, свои люди, начну с деликатного вопроса.

— Конечно, конечно, Николай Александрович!

— Пригласил я вас не только, чтоб побеседовать о важном общем деле... Да и просто побеседовать, согласитесь, приятно с умным человеком... У меня к вам одно деликатное дельце, хочу сразу покончить с ним.

— Я готов... содействовать, что в силах...

— Это вам будет несложно. Я прошу вас не обижаться на Филиппова, он проговорился, что вы сейчас... в некотором роде, в затруднительном финансовом положении...

— Это он зря сказал! — пробормотал Достоевский, но в душе порадовался, что не ему придётся начинать этот разговор.

— Не сердитесь на него, он вас любит. Я, как вам известно, свободен в средствах, и для меня ничего не стоит одолжить вам пятьсот рублей...

— Благодарю вас... Впрочем... Ну да... — забормотал, смущаясь, Фёдор Михайлович. — Меня охотно печатает и Некрасов в “Современнике”, и Краевский в “Отечественных записках”, сейчас я пишу большую повесть, и роман замыслил, надеюсь, со временем верну вам долг.

— Не заботьтесь вы об этом, Фёдор Михайлович! Я в деньгах никогда не нуждался. Прошу вас, дайте мне честное слово, что вы никогда мне не напомните о вашем долге.

— Я не могу взять денег без заёмного письма.

— Заёмное письмо приму, но о долге никогда не поминайте... Дайте честное слово, иначе обидите...

— Даю слово!

— Вы вроде бы хлопчете о месте горничной для вашей знакомой. Сколько ей лет?

— Восемнадцать!

— Совсем юная... Это хорошо. Княгиня Волконская ищет горничную.

— Княгиня? — воскликнул с удивлением Достоевский.

— Да... А что такое?

— Она хотела... О таком она даже не мечтала... Да и я...

— Надеюсь, она не разочарует княгиню?

— Что вы!.. Что вы!.. — засуетился радостный Достоевский. — Она будет счастлива и вечно вам благодарна за такое место!

— Человек — существо неблагодарное. Через год забудет... Примет как должное.

— Не все же такие?

— Все-все! Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко доходил до страстных помыслов о служении человечеству... А между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чём знаю из опыта.

— Вы наговариваете на себя, Николай Александрович! Всего три минуты назад вы, сами не знаете, как выручили меня. А я ведь даже не просил у вас денег. Сами предложили, как я понимаю, из-за любви к ближнему.

— Может быть, я с каким-то тайным умыслом помог вам... — с небольшой усмешкой засмеялся Спешнев.

— Скажете, хлопотали о месте горничной моей знакомой тоже с тайным умыслом? Кто же в это поверить?

— Что касается любви к ближнему, то я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо своё — пропала любовь.

— Неужто вы так не верите в жизнь? Это ужасно!

— Не веруй я в жизнь, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, а я всё-таки захочу жить, и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю!

— Разве можно понять такое сочетание, — удивился Достоевский, — отчаянный взгляд на ближнего и жажда жизни?

— Я спрашивал себя много раз, — заговорил задумчиво Спешнев. — Есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту иступлённую и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого.

Спешнев умолк. “Не для этого же разговора пригласил он меня к себе, — подумалось Достоевскому. — И про моё бедственное положение с деньгами он тогда не знал. Ведь разговор с Филипповым был после его приглашения”.

Николай Александрович, словно прочитал мысли Достоевского, заговорил:

— Пригласил я вас, Фёдор Михайлович, совсем для другого разговора... Мы уже фактически составили тайное общество, подготовили тайную типографию. И я рад, что вы с нами... Я ещё за границей набросал вот этот текст, — показал он истрёпанный лист. — Это заявление о вступлении в такое общество. Посмотрите, — протянул он лист Достоевскому. — Это проект. Вы можете его поправить...

Достоевский взял лист и стал читать про себя: “Я, нижеподписавшийся, добровольно, в здравом размышлении и по собственному желанию, поступаю в Русское общество и беру на себя следующие обязанности, которые в точности исполнять буду:

1. Когда Распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принимать полное и открытое участие в восстании и драке, то есть что по извещению от комитета обязываюсь

быть в назначенный день, в назначенный час в назначенном мне месте, обязываюсь явиться туда и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием, принять участие в драке и как только могу споспешествовать успеху восстания.

2. Я беру на себя обязанность увеличивать силы общества приобретением новых членов. Впрочем, согласно с правилами Русского общества, обязываюсь сам лично больше пятерых не аффилировать.

3. Аффилировать, то есть присоединить к обществу новых членов, обязываюсь не наобум, а по строгом соображении, и только таких, в которых я твёрдо уверен, что они меня не выдадут, если б даже и отступились после от меня; что они исполнят первый пункт и что они действительно желают участвовать в этом тайном обществе. Вследствие чего и обязываюсь с каждого мною аффилированного взять письменное обязательство, состоящее в том, что он переписет от слова до слова сии самые условия и подпишет их. Я же запечатанное его письменное обязательство передаю своему аффилтору для доставления в Комитет, тот — своему, и так далее. Для сего я и переписываю для себя один экземпляр сих условий и храню его у себя, как форму для аффилиации других”.

Фёдор Михайлович прочитал и взглянул на Спешнева, который молча ждал, разглядывая лицо Достоевского во время чтения.

— Ну как? — спросил Спешнев, стараясь не выказывать своего нетерпения.

— Нужно подредактировать... — задумчиво проговорил Достоевский и, вздохнув, добавил: — Сделать яснее и проще.

— Я верил, что вы согласитесь! Я верил в вас! — заключил Спешнев.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ

Достоевский сразу же после посещения Спешнева с его деньгами в кармане помчался в публичный дом, чтобы выкупить Соню и сказать ей, что она может стать горничной даже не в номерах, а у княгини Волконской. Правда, для этого ей нужно будет поменять жёлтый билет на обычный паспорт. Но это несложно. Можно сделать за неделю. За это время синяки с её молодого лица сойдут. Но он не знал, что шулер его опередил всего на полчаса.

В то время, когда Достоевский, счастливый, брал извозчика, шулер в комнате хозяйки публичного дома Лемке протягивал ей ассигнации:

— Вот тебе тридцать сребреников за Соню, старая карга!

Лемке невозмутимо и молча пересчитала деньги.

— Можно забирать? — нетерпеливо спросил шулер.

— Иди, молодой козёл, забирай свою шлюху... — пробормотала Лемке удовлетворенно.

Шулер, весело посвистывая, взбежал по лестнице на второй этаж. Шёл по коридору, так же посвистывая, остановился возле двери с цифрой “5” и, постучав в неё дважды, распахнул дверь ногой.

Соня сидела на стуле возле окна и вышивала на пальцах. Синяки у неё под глазами стали немного бледнее.

— Собирайся! — бросил весело шулер.

— Куда?

— Я тебя выкупил. Собирайся!

— Я с тобой не пойду! — ошаршила его Соня, оставаясь сидеть у окна.

— Я деньги заплатил твоей старухе! — возвысил голос шулер.

— Забери назад! — кротко и спокойно ответила Соня.

Достоевский остановил извозчика возле публичного дома и, довольный предвкушением встречи с Соней, представляя, как обрадует её, бодро и весело выскочил из саней и направился к двери. Перед самым его носом вдруг распахнулась дверь, из публичного дома выскочил взбудораженный шулер и бросился бегом по улице.

Достоевский растерянно проводил его взглядом и быстро вошёл в прихожую. И первое, что услышал он и увидел, это то, как возбуждённый швейцар кричит хозяйке дома:

— У него руки в крови!

Хозяйка и швейцар бросились к лестнице на второй этаж, Достоевский — за ними. В коридоре Фёдор Михайлович обогнал толстую хозяйку и неуклюжего швейцара и распахнул дверь в комнату Сони.

Там на полу лежала окровавленная Соня. Достоевский кинулся к ней, поднял с пола на руки и крикнул в сторону швейцара и Лемке, остолбеневших в двери.

— Доктора!

Швейцар тут же убежал за доктором.

Достоевский осторожно опустил Соню на кровать. Она что-то хотела сказать ему, но только хрипела. Из рта у неё текла кровь.

— Соня, Соня, не умирай! Я деньги принёс! Я тебя возьму отсюда.

Соня медленно подняла руку к лицу Достоевского, коснулась слегка его щеки, хотела что-то сказать, но рука её беспомощно упала на постель, потом по инерции безжизненно свесилась с кровати. Одновременно голова Сони как-то вяло откинулась и медленно стала сползать по подушке. От увиденного и пережитого лицо Достоевского перекопилось, потемнело в глазах. Он захрипел, упал на пол тут же возле кровати и начал биться головой о доски пола.

Лемке бросилась к нему, попыталась удержать в руках его голову. Из рта у него шла ужасная пена.

В этот же воскресный день министр внутренних дел Перовский встретился с генерал-майором Липранди, который принёс ему новую папку с материалами о кружке Петрашевского. Перовский с интересом просматривал доклад агента, слушая Липранди.

— Пришла пора докладывать Его Императорскому Величеству о кружке Петрашевского. Как видите, агент подробно описал последнее заседание кружка, на котором литератор Достоевский читал возмутительные письма Белинского к Гоголю...

— Я читал эти письма... И что? — спросил Перовский. — Думаю, что и Третье отделение хорошо знакомо с ними.

— После чтения были не только возмутительные речи, но и прямой призыв к бунту против государя, — вкрадчиво ответил Липранди.

— Достоевский — это тот литератор, который написал роман “Бедные люди”? — осведомился Перовский.

— Он самый.

— На месте графа Орлова я бы сразу после этого романа приказал назначить за ним тайное наблюдение... — спокойно произнёс Перовский. — Значит, был призыв к бунту?

— Не только призыв, но и обсуждался план восстания. Говорилось, с чего начать, как организовать бунт. Там всё описано, — кивнул Липранди в сторону папки.

— Отлично! Я всё внимательнейшим образом прочитаю и доложу Государю.

Достоевский, ослабленный приступом эпилепсии, забрёл поужинать в трактир. Он не хотел заказывать спиртного, но, потрясённый убийством Сони, в смерти которой винил себя, Фёдор Михайлович всё-таки попросил полового принести ему не вина, которое он обычно пил, а полуштоф водки. Удивлённый таким заказом Сенька принёс полуштоф и налил водки в стакан. Достоевский выпил и обхватил голову руками. Перед глазами его всё стояла откиннутая на подушке голова Сони с окровавленными губами. “Что она мне хотела сказать? — думал он мрачно. — Я предал её, предал!” Он не видел, как к его столу с косушкой в руке подошёл пьяненький бывший чиновник Мармеладов с отёкшим от постоянного пьянства лицом и с припухшими веками. Одет он был в оборванный фрак, на котором осталась лишь одна пуговица. Достоевский обратил на него внимание и поднял голову только после того, как тот заговорил, обращаясь к нему:

— Осмелюсь ли, милостивый государь, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Я — Мармеладов, титулярный советник.

Достоевский глянул на него, сдвинул на столе в сторону тарелки с остатками еды, свой полуштоф, освобождая место для косушки и стакана Мармеладова.

Тот пьяно опустился на стул напротив Достоевского.

— Вы, сударь, не презирайте меня: у нас в России пьяные люди — самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные.

Достоевский молча, рукой подозвал пологого. Тот быстро подошёл к их столу.

— Поесть ему принеси, — приказал Достоевский.

Когда половой убежал на кухню, Фёдор Михайлович налил в стаканы из своего полуштофа и кивнул Мармеладову на его стакан. Тот взял и, не чокаясь, быстро выпил, схватил с тарелки хлеб, понюхал его и положил обратно. Достоевский отпил из своего стакана.

— Бедность не порок, милостивый государь, — заговорил Мармеладов. — Но нищета — порок-с. За нищету метлой выметают из компании человеческой. Я вот уже пятую ночь ночую на Неве, на сенных барках, среди нищих и бродяг!

Половой принёс тарелку с едой и поставил перед Мармеладовым. Тот взял вилку и начал жадно есть, при этом говоря:

— Знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки жены своей пропил, а живём мы в холодном углу, и она в эту зиму простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас двое. И дочь на выданье. Детишки по три дня корки не видят! Как бы дочери на панель не попасть...

— А я человека убил... — с тоской в голосе произнёс Фёдор Михайлович.

Мармеладов перестал есть, посмотрел с удивлением и страхом на Достоевского.

— Иного человека... — пробормотал он. — Сам Господь велел...

— Господь заповедал: не убий!.. Не я убил, не я...

— За что же... такая маета?

— Я мог спасти... И не спас... Не спас...

Такая тоска чувствовалась в его голосе, что Мармеладов взял недопитый стакан с водкой Достоевского и протянул ему, приговаривая дружелюбно и доброжелательно:

— Ты выпей, выпей... Маета пройдёт...

Достоевский быстро выпил остатки водки, закашлялся, потом медленно выговорил:

— Каждый человек несёт ответственность перед всеми людьми за всех людей и за всё...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ВСЁ РЕШЕНО

Император Николай принял министра Перовского с докладом в понедельник утром. Одним из последних текущих дел в докладе министерства внутренних дел было дело Буташевича-Петрашевского.

— И ещё одно неприятное дело, — доложил Перовский, пододвигая по столу к императору папку с донесениями агента. — Мои люди выявили тайное общество под руководством дворянина Буташевича-Петрашевского.

Император Николай взял папку и открыл её.

— Цель общества? — спросил он.

— Подготовка восстания.

— Это дело Третьего отделения, почему не передали? — строго спросил император.

— Мои люди случайно вышли на это сборище, — почтительно ответил Перовский. — Думали, дело уголовное. Внедрили агента. А там... Собрали материал... Посмотрите!

— Передам графу Орлову.

— Ваше Величество, позвольте мне ещё некоторое время последить за поведением этих заговорщиков, и я обещаю доложить Вашему Величеству не только об их разговорах, но и о мечтах, грезящихся им во сне.

— Посмотрю и решу!

Достоевский и Момбелли встретились в этот день в Летнем саду, встретились по просьбе Фёдора Михайловича. Ему не давали покоя слова Майкова о том, что к ним внедрён шпион. Кто этот человек? Внедрён он в кружок Петрашевского? Или он посещает и тайное общество Спешнева?

Момбелли удивил болезненный вид Достоевского, и он сразу же после приветствия спросил у него:

— Что-то вы, Фёдор Михайлович, мрачны в последние дни. Тяготит что-то?

— Неладно у меня всё идёт... — вздохнул Фёдор Михайлович. — Неладно...

— Не грустите! — посочувствовал Момбелли. — *Всё проходит. И это пройдёт.*

— Не пройдёт! У меня теперь есть свой Мефистофель...

— Вы о Спешневе?

— Почему вы догадались? — спросил Достоевский, удивляясь прозорливости Момбелли.

— Вы подписали Заявление о вступлении в Русское общество? — спросил тот напрямик.

— Пока нет. Но я его читал...

— Подпишите?

— Подпишу!

— Вы его внимательно читали? Всё принимаете? — допытывался Момбелли.

— Принимаю. Теперь я с ним до конца.

— Я тоже подпишу. Я ведь пытался ещё до него создать своё общество... Не получилось...

— Почему? — поинтересовался Достоевский.

— Мне Спешнев разъяснил, почему. Он сказал: “Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются? Всё это чиновничество и сентиментальность — всё это клейстер хороший, но есть одна штука ещё лучше...”.

Момбелли умолк. Некоторое время они прогуливались молча.

— Он пояснил, что это за штука? — не выдержал паузы Достоевский.

— Да... Говорит: “Подговорите четырёх членов кружка ужокошить пятого, под видом того, что тот донесёт, и тотчас же вы их всех пролитую кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчётов спрашивать”.

— И вы согласились?

— Сначала страшно стало, а потом подумал: “А ведь он прав!” Не будет тесного сплочения, не победит нашему восстанию...

— А я вот что думаю, — сказал Достоевский. — Допустим, восстание победило. Власть в наших руках, а дальше что?

— А дальше свобода, все равны! Конец самодержавия! — воскликнул Момбелли.

— Люди не могут быть никогда свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики, — возразил Достоевский.

— Неправда, человек рождён быть свободным.

— Какая свобода? Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем поклониться. Так было всегда!

— Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть людей для их счастья. Эти силы — чудо, тайна и авторитет.

— Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твёрдого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле.

— Мы заставим людей работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками.

— А куда денется порок?

— О, мы разрешим им и грех, люди слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — всё, судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. Они будут свободны!

— Разве это свобода? Разве нужен бунт ради такой свободы? Посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни, безбожные и глупые, не понимаем, что жизнь есть рай, стоит только нам захотеть это понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей...

“Нет, — решил Достоевский после этой встречи. — Момбелли — революционер-романтик, чудака, но не шпион!”

Император Николай после встречи с министром Перовским вызвал руководителя Третьего отделения графа Орлова. Императора возмутило то, что тайная полиция так плохо работает, что упустила из виду тайное собрание, о котором знает весь Санкт-Петербург. Николай стоял у окна, смотрел на заснеженную площадь, когда его адъютант доложил:

— Граф Орлов, Ваше Величество!

Император кивнул. Адъютант скрылся за дверью, а вместо него появился граф Орлов в парадном мундире с орденами и звёздами, кучерявый, как всегда, и седоусый.

— Здравия желаю, Ваше Величество! — бодро поприветствовал он императора.

Николай протянул ему навстречу руку. Орлов почтительно пожал её. По тому, что император не ответил на его приветствие, граф понял, что Николай чем-то озабочен и не доволен им.

— Что вы знаете о дворянине Буташевиче-Петрашевском? — хмуро спросил император.

— Господин Петрашевский месяц назад подал в петербургское дворянское собрание записку, в которой предлагает учредить кредитные земские учреждения, земельные банки, понизить проценты по залогоу имений в казённых кредитных установлениях, улучшить формы судопроизводства и надзор за администрацией, — услужливо ответил граф Орлов, понимая, что не этого ответа от него ждёт государь.

— А что вы знаете о его тайном обществе?

— Вы имеете в виду его пятницы? Мои люди были у него. Там одни беседы... Господин Петрашевский противник тайных обществ. Вход к нему свободный.

Император быстро подошёл к столу, взял папку Перовского и протянул графу.

— Ознакомьтесь с донесениями агента министра Перовского.

Граф Орлов взял папку и заговорил учтиво:

— Я уверен, господин Перовский, чтобы возвысить своё ведомство, наговаривал всякого вздора. Дело это совсем не так значительно. Я убеждён, что не надо разукрашивать его особенно в глазах иностранцев. Если принять некоторые патриархальные меры против главных вождей, можно прекратить дело без шума и скандала.

— Ознакомьтесь и арестуйте всех, кто в списке, — строго приказал Николай. — Всех, кто бывал у Петрашевского! И тихо, без шума! Слишком много там детей важных особ.

Достоевский, возвращаясь домой после встречи с Момбелли, увидел Антонелли возле подъезда своего дома. Тот стоял, облокотившись о парапет

набережной, и, судя по всему, явно поджидал его. Антонелли был мелким чиновником в министерстве иностранных дел, где служил Петрашевский, был не особенно-то активным и заметным членом кружка Петрашевского и никогда не претендовал на близкие отношения с Достоевским. Поэтому Фёдор Михайлович удивился, увидев его возле своего подъезда. Антонелли встретил его с улыбкой.

— А я вас повсюду ищу, — проговорил он, когда Достоевский подошёл к нему.

— Меня? Зачем?

— Хотел пригласить вас к себе. Завтра у меня наши собираются... — слишком любезная и заискивающая улыбка и тон голоса Антонелли показались Достоевскому подозрительными. Почему малознакомый человек приглашает его к себе?

— К сожалению, не могу быть, у меня будут гости, — отказался он.

— Так нельзя ли и с гостями вашими? Отложите свой вечер... — предложил Антонелли.

Достоевский внимательно посмотрел в лицо Антонелли. Тот отвёл глаза.

— Я не могу отложить, у меня приглашены гости... — сказал Достоевский и добавил: — И потому, что я живу на Васильевском острове, и ежели чрез несколько дней разведут мосты, то я не в состоянии буду проститься перед их отъездом с добрыми знакомыми.

— Вы можете предупредить приглашённых вами, — настаивал Антонелли. — Вероятно, все ваши гости — общие знакомые, бывают у Петрашевского.

— Кроме моих гостей, будут гости моих товарищей, а из общих знакомых будут весьма немногие.

— Кто из них будет?

— Будут Григорьев, Плещеев, Момбелли, Дуров и вы, ежели сделаете мне честь посещением, — Фёдор Михайлович решил пригласить к себе Антонелли, чтобы поближе узнать, что это за человек.

— Кто ещё будет у вас?

— Будет мой брат, которого вы как-то видели.

— А из гостей ваших товарищей?

— Будет один господин, хотя и светский, но служащий в духовном ведомстве, человек не без влияния на своём месте.

— Благодарю вас, я приеду. До завтра!

Антонелли попрощался за руку с Достоевским и быстро, не оглядываясь, пошёл по набережной.

Достоевский проводил его взглядом и направился ко входу в подъезд.

“А если Антонелли шпион?” — подумалось вдруг ему.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ АРЕСТ

Достоевскому не спалось. Мысль о том, что Антонелли шпион, не давала ему уснуть. Он лежал под одеялом с открытыми глазами и думал о нём. Ему вспомнилось, с каким вниманием и напряжением смотрел Антонелли на поручика Момбелли, когда тот после чтения письма Белинского Гоголю вдруг в споре заявил, что нужен бунт для освобождения крестьян.

Достоевский нервно повернулся в постели на бок.

Вспомнилось, как тогда Антонелли спросил у Момбелли: “Как можно достичь этого?” — и Момбелли простодушно ответил: “Только с помощью бунта можно освободить крестьян”.

Перед мысленным взором Достоевского явственно всплыла картина, как, когда в кабинете Петрашевского уединились четверо: Петрашевский, Спешнев, Черносвитов и он, — в открытой двери кабинета боком к ним стоял Антонелли и делал вид, что разговаривает с молодым офицером.

Достоевский взволнованно сел на кровати. “Да, точно! — подумал он. — Антонелли — шпион!”

Решив для себя эту загадку, Достоевский лёг на кровать и укрылся одеялом. “Надо завтра срочно сказать всем об этом!”

Подумалось вдруг, что он напрасно посчитал шпионом поручика Григорьева, вспомнилось, как они обсуждали “Солдатскую беседу”, которую Григорьев, как только закончил писать, показал Достоевскому.

Фёдор Михайлович прочитал рассказ поручика, считал его удачным, талантливым и горячо советовал писать о солдатской службе, как можно больше писать. Настоящая жизнь русского солдата ещё никем не описана. И теперь Достоевский вспоминал разговор, думал о рассказе. Как здорово вышел у Григорьева старый солдат: как живой перед глазами стоит. Кажется, слышишь слова его: “Нет, братцы, знать, царь-то наш не больно православных русских любит, что все немцев к себе берёт. Куда ни оглянешься, ан все немцы: и полковые командиры немцы, да и полковники-то все немцы, а уж если и выберется из русских, так уж и знай, что с немцами всё якшался, оттого и попал в знать, что грабить нашего брата больно наловчился; ах, они мерзавцы! Ну, да погоди ещё! И Святое Писание гласит: *первые будут последними, а последние первыми!*” И ведь точно как: некуда приткнуться русскому человеку, если немец тебя не поддержит...

Думая так, Фёдор Михайлович заснул. Но, кажется, недолго спал. Сквозь сон почувствовал какое-то движение в комнате, показалось, вошли какие-то подозрительные люди. Непонятно было, то ли сон это, то ли явь. Брякнуло что-то, и Достоевский испуганно открыл глаза, поднял голову над подушкой и услышал негромкий мягкий голос в полумраке:

— Вставайте!

Произнёс это офицер. Рядом с ним Фёдор Михайлович разглядел знакомого частного пристава с пышными бакенбардами. Около двери темнел ещё один человек, по-видимому, солдат.

— Что случилось? — спросил растерянно Достоевский, ничего не понимая спросонья. Ему казалось, что он спит, сон это.

Хотелось проснуться.

— Господин Достоевский Фёдор Михайлович? — вместо ответа так же мягко спросил офицер.

— Да...

— По повелению Его Императорского Величества вы арестуетесь...

Достоевскому показалось, что офицер говорит это с сожалением, и промелькнула вначале мысль, не шутка ли всё это. Фёдор Михайлович перевёл взгляд на пристава и понял: не шутка.

— Нам предписано произвести у вас обыск и доставить вас в Третье отделение, — закончил офицер.

— Позвольте же мне... — пробормотал Достоевский, и офицер перебил его предупредительно:

— Одевайтесь, одевайтесь. Мы подождём... — и взглянул на пристава.

Тот быстро и уверенно зажёл свечу и указал на печь солдату, по-прежнему стоявшему у двери:

— Начинай оттуда.

Солдат взял табурет, поставил его к печи. Брякая саблей, влез на него, ухватился за грядущку рукой, опёрся носком сапога о край гарнушки и заглянул на печь.

А пристав открыл книжный шкаф и стал выкладывать на пол книги.

Достоевский торопливо одевался, събдывая нижнего белья.

Офицер отвернулся от него, подошёл к письменному столу, где лежали книги, стопка чистой бумаги, начатая рукопись, взял наполовину исписанный листок, поднёс к своему лицу, прочитал вслух:

— Но мне стало так грустно от её внимания, так тяжело от её ласок, так мучительно было смотреть на неё, что я попросила, наконец, оставить меня одну. — И обернулся к Достоевскому: — Продолжение “Неточки Незвановой”? — спросил он с улыбкой.

Фёдор Михайлович суетливо натягивал брюки, путался в штанине. Услышав вопрос жандарма, ответил хрипло:

— Да...

Майор Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Чудинов получил вчера секретное предписание, в котором приказано было ему в четыре часа пополудни арестовать отставного инженер-поручика и литератора Фёдора Михайловича Достоевского, опечатать все его бумаги и книги и доставить в Третье отделение. Предписывалось строго соблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было сокрыто. Чудинов удивлён был сильно, когда получил эту бумагу. Имя Достоевского было знакомо ему. Читал его произведения. Нравились. Слышал, что автор — бывший офицер, совсем ещё молодой человек. И вдруг — злоумышленник! Горько стало. Хороший литератор. Но, может, чепуха какая, простой поклёп? Просмотрят бумаги да отпустят. Бывало такое.

Майор Чудинов, держа в руках листок, искоса, с любопытством разглядывал Фёдора Михайловича. Роста Достоевский был чуть ниже среднего, но широкоплечий. Светловолосый, конопатый, глаза, вероятно, чрезвычайно живые. Ишь, как по комнате мечутся.

Солдат вдруг оборвался с печи, грохнулся спиной на стул и загремел вместе с ним на пол, под ноги к Достоевскому. Фёдор Михайлович отскочил, от неожиданности споткнулся, чуть не упал. “Нервный!” — мелькнуло в голове офицера.

— Мать твою... — рявкнул пристав. — Растяпа!

Солдат, виновато морщась и потирая ушибленный бок, поднялся с пола.

— Ну, что там? — сердито спросил пристав.

— Ничего, — виновато развёл руками солдат.

Майор Чудинов не смотрел на них, читал листок.

— Позвольте узнать, — учтиво взглянул он на Фёдора Михайловича, — сколько частей будет в романе?

— Шесть...

— Видел я первую часть в “Отечественных записках”... Прочесть не успел, дела... Думал, выйдет весь роман, разом прочту. А “Белые ночи” читал, “Хозяйку” тоже... с душой написаны. Напрасно господин Белинский ругал повесть, напрасно... — говорил неторопливо Чудинов. Увидев, что Достоевский оделся, попросил:

— Позвольте письма ваши?

— Там, в столе, — кивнул Достоевский.

Он успокоился, смотрел с насмешкой, как пристав шарит его чубуком в печке, в золе.

Майор Чудинов выдвинул ящик стола и начал выкладывать письма. Нечаянно столкнул со стола старый погнутый пятиалтынный. Достоевский крутил его в руке всегда, когда писал, обдумывал слова и поступки героев романа. Монета глухо звякнула о деревянный пол, подпрыгнула и покатила по полу. Солдат быстро нагнулся, поднял её. Пристав выхватил из рук солдата монету и стал разглядывать возле свечи.

— Уж не фальшивый ли? — усмехнулся Достоевский.

— Это, однако же, надо исследовать... — пробормотал пристав и сунул пятиалтынный в карман.

Офицер сложил письма, бумаги Достоевского, рукопись неоконченного романа в стопки и приказал солдату:

— Свяжи!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ПЕТРАШЕВСКИЙ

Последние гости ушли от Петрашевского в три часа ночи. Михаил Васильевич, оставшись один, бродил по просторному кабинету, обдумывал статью, которую решил написать на основе своей речи, произнесённой сегодня. Речь вызвала споры, и теперь Петрашевский вспоминал возражения Дурова, Момбелли, Григорьева, продолжал спорить с ними мысленно и, когда приходила в голову особо интересная мысль, быстро подходил к столу и записывал.

Говорил он в этот вечер о том, как должны поступать литераторы, чтоб вернее действовать на публику. Жаль, мало народу пришло в этот вечер.

Из литераторов были только Дуров да Майков. Плещеев должен был поддержать, но и он не явился, хотя знал, что разговор должен пойти о литературе.

Петрашевский продолжал теперь спор в одиночку, теребил свою длинную бороду, стоя у стола, обдумывал, как точнее записать свои мысли.

Размышления прервал звон колокольчика. Михаил Васильевич недовольно поморщился: поздновато кто-то явился. Он вышел в коридор, открыл и увидел на лестничной площадке управляющего Третьим отделением генерала Дубельта с офицером в голубом и двумя жандармами.

— Ба, Леонтий Васильевич! — воскликнул Петрашевский, раскидывая руки, словно собирался обнять Дубельта. — Собственной персоной!.. Что же вы так поздновато, — укоризненно продолжал он, отходя вглубь коридора, чтобы пропустить жандармов. — Часика бы на три пораньше... Гости были. Я ведь, как вам известно, по пятницам принимаю...

— Господин Петрашевский? — строго спросил, входя, генерал. — Одевайтесь!

— По-моему, я одет, — оглядел себя Михаил Васильевич. После ухода гостей он переоделся в домашнее. — Ночью я иначе не одеваюсь!

— Вы не знаете, куда вас повезут...

— Догадываюсь, — перебил, усмехаясь, Петрашевский.

— ...и перед кем предстанете, — закончил Дубельт.

— Неужто перед самим... — с наигранным испугом поднял Михаил Васильевич глаза к потолку.

— Не паясничайте... Прошу одеваться!

— Тогда надо... тороплюсь, — двинулся Михаил Васильевич в комнату.

Генерал стал рассматривать книги, разбросанные по столу и по полкам. Петрашевский, увидев это, обратился к нему насмешливо:

— Леонтий Васильевич, ради бога, не смотрите этих книг!

— Почему же? — откликнулся Дубельт

— Потому что у меня, видите ли, есть только запрещённые сочинения.

При одном взгляде на них вам станет дурно.

— Почему же вы бережете такие книги?

— Это дело вкуса!

Дубельт сердито приказал:

— Обыскать!.. Все бумаги, письма, книги связать!

Петрашевский догадался, что генерал сердит потому, что ожидал, что появление его вызовет трепет, испуг, а его встретили с иронией.

— Леонтий Васильевич, — крикнул он из комнаты по-прежнему насмешливо, — не смогут жандармы приказ ваш выполнить! Книг у меня столько, что бечёвки не хватит.

Генерал ответил не сразу. Видимо, обдумывая ответ, он произнёс в тон Петрашевскому:

— Мы знали, куда ехали. Запаслись!

Обыск продолжался часа два. Бумаги и письма взяли с собой жандармы. Квартиру опечатали и вышли на улицу.

Утро было серенькое, туманное. Дождик перестал. Тихо. Фыркнула лошадь. У подъезда стояла карета. Кучер, дремавший на облучке, услышав шаги, стук двери, поднял голову и стал расправлять вожжи:

— На Фонтанку! К Цепному мосту, — бодро бросил ему Петрашевский и по-хозяйски, первым, полез в карету.

Жандармский офицер удержал его за локоть.

— Не торопись!

Пропустили вперед жандарма с двумя пачками бумаг. Потом офицер подтолкнул к двери Петрашевского.

В Третьем отделении поднялись в большой зал, где было многолюдно и всё знакомые лица: Достоевский, Момбелли, Дуров, все вчерашние гости, всего, наверное, десятка три будет, и между ними господа в голубых мундирах.

С удивлением увидел младшего из братьев Достоевских, Андрея. Петрашевский познакомился с ним, когда навещал Фёдора Михайловича, но у себя Андрея никогда не видел. Вероятно, взяли его по ошибке, вместо Михаила.

Возле одной двери столпилось несколько человек вокруг невысокого лысого чиновника, у него был какой-то список в руках.

Момбелли увидел вошедшего Петрашевского и энергичным жестом пригласил его к группе вокруг лысого чиновника. Достоевский тоже поманил к ним рукой Михаила Васильевича.

— Недосуг мне, господа, — громко ответил Петрашевский, снимая свою широкополую до нелепости шляпу и кланяясь. — Спать хочется зверски, вздремну малость.

Он расстегнул широкий плащ, устроился в кресле у окна и надвинул шляпу на глаза.

Напрасно не подошёл он к ним. Мог бы увидеть в списке, по которому лысый суетливый чиновник проверял арестованных, перед именем Антонелли надпись карандашом: “агент по найденному делу”. Но не узнал этого Петрашевский, и сказать ему не успели. Голубые мундиры вдруг засуетились, отводя арестованных, друг от друга, и замерли. В зал вошёл шеф жандармов граф Орлов. Вслед за ним — несколько офицеров, звеневших шпорами и сверкавших эполетами с золотым и серебряным шитьём. Орлов остановился. Лысый чиновник со списком суетливо подскочил к нему и что-то тихо проговорил.

— Сколько всего арестовано? — спросил Орлов.

— Тридцать четыре, ваше сиятельство.

Граф Орлов повертел в руке список и ступил два шага вперёд.

— Изволили, господа, незаконными делами заниматься? — строго спросил он, сердито оглядывая в тишине арестованных.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — громко произнёс Петрашевский, отодвигая пальцем шляпу на затылок.

Все разом повернулись к нему. Кто-то коротко хохотнул. Михаил Васильевич по-прежнему сидел в кресле и невинно глядел на графа Орлова.

— Встать! — рявкнул граф.

Один из жандармов подскочил к Петрашевскому, намереваясь силой поднять его, но Михаил Васильевич оттолкнул его и встал сам.

— Кто такой? — грозно глядел на него граф.

— Титулярный советник Михаил Васильевич сын Буташевич-Петрашевский, — спокойно ответил Петрашевский.

— А-а, главный возмутитель?! Что вы сейчас имели в виду? — сердито спросил граф.

— Вы о Юрьеве дне?.. Сегодня же двадцать третье апреля, Юрьев день... Это я имел в виду, — невинно развёл руками Петрашевский.

Граф Орлов отвернулся от него и уже без пафоса произнёс, что специальная комиссия произведёт строжайшее расследование всех поступков и намерений арестованных. Проговорив это, граф Орлов поспешно направился к выходу, словно опасаясь, как бы ещё какую насмешку не услышать в ответ. Офицеры зазвякали шпорами следом.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

— Господин Достоевский! — громко произнёс жандарм, появляясь в дверях комнаты, куда только что вошёл генерал Дубельт.

Фёдор Михайлович слегка вздрогнул, поправил жилет и откликнулся:

— Я здесь.

На мгновенье все примолкли.

— Прошу! — указал рукой на дверь жандарм.

В комнате генерал Дубельт сидел за столом. Худощавое лицо его с широкими усами, распустившимися по обеим щекам и слившимся с бакенбардами, было доброжелательным.

— Достоевский? — спросил Дубельт и, не дожидаясь ответа, указал на кресло.

Фёдор Михайлович осторожно опустился в кресло. Генерал наблюдал за ним с улыбкой, потом заговорил с ноткой сожаления в голосе:

— В числе прочих вам хорошо известных лиц вы арестованы как соучастник преступных намерений, направленных против могущества и спокойствия Российского государства. Следствие обнаружит во всей полноте степень вашего участия в сих намерениях, теперь же мы вынуждены препроводить вас для заключения в крепость... Поручик! — обратился он к стоявшему у окна офицеру. — Арестованного препроводить в Петропавловскую крепость.

Федор Михайлович поднялся. Встал и Дубельт.

— Сожалею, что и вы, господин Достоевский, среди этих... прочих... Сожалею... А могли бы послужить достойным образом отечественному просвещению...

Фёдор Михайлович, всплыв, перебил:

— Служил и служу... Как могу и нахожу нужным...

— Нужным-с? — переспросил с удивлением Дубельт. — Для кого же это нужно? Впрочем, я ещё буду иметь возможность услышать от вас объяснения насчёт ваших нужных поступков... Извольте следовать с поручиком...

Петрашевского поместили в камере номер один Алексеевского рavelина Петропавловской крепости. Выдали старый арестантский халат, большие туфли без задников, и теперь Михаил Васильевич, посвистывая, бродил по камере, разглядывал стены, койку с ветхим матрацем, стол, зарешёченное окно с закрашенными нижними стеклами, вентилятор. Подошёл к окну, потрогал пальцем отставшую от стены окраску, висевшую лоскутами. Услышав голоса за дверью, поднял голову, прислушался. Шаги в коридоре замерли возле двери его камеры. Донеслось позвякивание ключей, потом ключ заскрёбся в двери, звякнул засов. Первым вошёл комендант крепости Набоков, толстый пожилой человек в генеральском мундире, за ним — высокий одноглазый старик, подполковник, и бородатый надзиратель.

— Как устроились? Всё ли имеете? — быстро и нетерпеливо проговорил генерал. — Я комендант крепости!

Он, видимо, ожидал, что Петрашевский ответит, что ничего не требуется, как это отвечали другие, и готов был тут же повернуться и выйти, но Михаил Васильевич ответил быстро, стараясь говорить недовольным и раздражённым голосом:

— Как это всё? Ничего я не имею! Чем вы гостей уважаемых встречаете? Сами видите, — указал он рукой на стол, — пустота! Где мадера, спрашивается? А рябчик? Учтите, я люблю поджаристый, с корочкой!.. И насчёт самоварчика похлопочите... Пастилы, варенья крымского не забудьте!

Толстый генерал смотрел на Петрашевского изумлённо, даже чуточку рот приоткрыл.

— Шутить изволите, — только и нашёлся он, что ответить, повернулся и вышел из камеры.

Достоевского в первые мгновения в крепости бил озноб. Он, сторбившись, прижав руки к груди, бродил по камере, тихонько постанывал, вспоминал, как солдат туго перетягивал рукопись недописанной части романа. “Неужели всё! Неужели та голова, которая создавала, жила вышею жизнью искусства, неужели та голова срезана с плеч моих?”

В коридоре шум был, голоса, ходили люди, хлопали дверьми, звякали засовами, но Фёдор Михайлович не слышал их, бродил по камере, постанывал, дрожал. Очнулся, когда дверь открылась и вошёл сердитый толстый генерал с длинным одноглазым подполковником. Показалось — вошли Дон Кихот и Санчо Панса. Но Дон Кихот почему-то был на вторых ролях, жался за спину своего слуги, который пыжился, выпячивал вперёд живот и хмурил брови, чтобы казаться сердитым.

— Я комендант крепости! — выпалил, надуваясь, Санчо Панса.

“Ну-да, он комендант, — мелькнуло в голове. — Он очень хотел быть губернатором... Но он комендант”.

— Как устроились? Всё ли благополучно?

— Зябко, — пробормотал Достоевский. Всё, что происходило сейчас, казалось ему галлюцинацией.

Сердитый Санчо Панса взглянул на старого, потерявшего где-то глаз Дон Кихота.

— Немедленно затопите печи, чтоб больше на холод не жаловались!

И быстро направился к двери, словно опасаясь услышать просьбу, выполнить которую не в силах. Видно, Санчо Панса очень хотелось остаться в глазах Достоевского справедливым. Через мгновение дверь захлопнулась, и стало казаться, что в камеру никто не входил, — всё это плод воображения. Фёдор Михайлович, опасаясь припадка, сел на койку, сжал голову руками, посидел так, потом прилёг, кутаясь в халат. Мысли, тяжёлые мысли давили, давили на него, мучили: “Что ждёт меня впереди?.. Тюрьма, ссылка, одиночество, нищета, бесприютное пребывание среди чужих и неведомых мне людей, вдали от братьев и друзей — надолго ли? И где именно? В каких заброшенных людскими местами, в холоде и голоде? И как это всё я вынесу?.. Скорей бы! Скорей узнать всё, во всех подробностях... Когда же будет допрос?.. Неужели я никогда не возьму пера в руки? Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мной, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в голове разольётся! Да если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках...”

Несколько дней его не тревожили. Молчаливый надзиратель приносил еду и забирал грязную посуду. Один раз в день выводили гулять по двору. День ото дня становилось теплее. Ветер приносил с воли запахи моря, весны. Трава во дворе всё сильнее зеленела, покрывала землю, становилась гуще. Достоевский срывал тонкие стебельки, нюхал, вдыхал густой аромат весенней земли, зелени. Пришёл с собой в камеру в кулаке траву и нюхал, наслаждался. Запах увядавшей травы становился ароматней.

Петрашевский тоже гулял по двору. Выводили по очереди. Никто друга друга не видел. Когда был ветер со стороны залива, Михаил Васильевич жадно вдыхал влажный морской воздух, улыбался, подставляя лицо ветру, который шевелил его густую бороду, слушал далёкий шум волн. Однажды он увидел лоскуток отlišней от стены краски возле дорожки, вспомнил краску в своей камере под подоконником, висевшую лохмотьями, поднял лоскуток и взглянул на охранника, который выводил гулять. Солдат не следил за ним, откровенно охучал. Бежать арестанту некуда. Петрашевский покрутил лоскуток и выбросил.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ПЕРВЫЙ ДОПРОС

Достоевского в первый раз привели в следственную комиссию дней через пять после ареста. Из пятерых, сидевших за столом, покрытым красным сукном, Фёдор Михайлович узнал управляющего Третьим отделением генерала Леонтия Васильевича Дубельта с его широкими распушившимися по щекам усами на бледном лице, толстого коменданта Петропавловской крепости генерал-адъютанта Ивана Андреевича Набокова, принятого им за Санчо Панса. Кроме них, за столом было ещё трое. Говорил, в основном, один из этих троих — лысый, бледный, седой, единственный в штатском платье, со звездой — член Государственного совета князь Павел Павлович Гагарин. Он говорил неторопливо, важно:

— Вы обвиняетесь в соучастии в тайном обществе господина Бугашевича-Петрашевского, которого главной целью было ниспровержение существующего порядка в государстве, пагубные намеренья относительно самой особы всемилостивейшего Государя Императора и замещение общественного устройства другим на основании социальных идей. К чему принято было приготовление умов распространением этих идей в России. На вопросы наши следует отвечать искренне... Что вас побудило познакомиться с Петрашевским?

— Знакомство наше было случайное, — ответил Достоевский. Слушал он, сидя перед комиссией, ссутулившись. За прошедшие тоскливые дни в

крепости Фёдор Михайлович продумал, как себя вести на допросе, приготовился. Главное, чтобы следственная комиссия поверила в искренность его раскаяния, в искренность его ответов. — Я был с Плещеевым в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты... Петрашевский с первого раза завлѣк моё любопытство. Мне показался он очень оригинальным человеком, но не пустым; я заметил его начитанность, знания.

— Часто вы посещали вечера его? — спрашивал по-прежнему только князь Гагарин.

— Вначале я бывал у Петрашевского очень редко. В последнюю же зиму стал ходить чаще...

— Сколько бывало людей на вечерах?

— Десять, пятнадцать и даже иногда до двадцати пяти человек.

— Охарактеризуйте нам Петрашевского как человека вообще и как политического человека в особенности.

Знал Достоевский, что об этом непременно спросят. И хорошо продумал ответ. Провокатор Антонелли, конечно, донёс всё о Петрашевском. Он даже работал в одном департаменте с Михаилом Васильевичем. Потому комиссии теперь известны взгляды Петрашевского, кто посещал его вечера, то, что говорилось на них. Но не мог знать Антонелли отношений Фёдора Михайловича с Петрашевским, не мог.

— Я никогда не был в очень коротких отношениях с Петрашевским, — заговорил Достоевский, — но мне бывало иногда любопытно ходить на его пятницы. Меня всегда поражали эксцентричность и страстность в его характере. Я думаю, что за всё время нашего знакомства мы никогда не оставались вместе одни, глаз на глаз... Я слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, чем благоразумия. Действительно, очень трудно было объяснить многие из его странностей. Нередко при встрече с ним на улице спросишь: куда он и зачем? И он ответит какую-нибудь такую странность, расскажет такой странный план, который он шёл только что исполнить, что не знаешь, что подумать о плане и о самом Петрашевском. Из-за такого дела, которое нуля не стоит, он иногда хлопочет так, как будто дело идёт обо всем его имени. Другой раз спешит куда-нибудь на полчаса кончить маленькое дельце, а кончить это маленькое дельце можно разве только в два года. Человек он вечно суетящийся и движущийся, вечно чем-нибудь занят. Читает много, уважает систему Фурье и изучил её в подробности. Кроме того, особенно занимается законоведением. — Достоевский умолк на мгновение и добавил: — Вот всё, что я знаю о нём как о частном лице. По данным, весьма неполным для совершенно точного определения характера, потому что, повторяю ещё раз, в коротких отношениях я с ним никогда не находился...

— А как политический человек? — переспросил князь Гагарин.

— А как политический человек... трудно сказать, чтоб Петрашевский имел какую-нибудь определённую систему в суждении, какой-нибудь определённый взгляд на политические события. Я заметил в нём последовательность в отношении только одной системы, да и то не его, а Фурье... Мне кажется, что именно Фурье и мешает ему смотреть самобытным взглядом на вещи. Впрочем, могу утвердительно сказать, что Петрашевский слишком далѣк от идеи немедленного применения системы Фурье к нашему общественному быту. В этом я всегда был уверен...

Всё это было так и не так. Полуправда. Петрашевский много раз бывал у Фёдора Михайловича. Говорили много, спорили. Не со всеми взглядами Михаила Васильевича соглашался Достоевский.

— Что представляло собой общество Петрашевского? Не было ли у него какой тайной, скрытой цели?

— Ходили к Петрашевскому обычно его приятели и знакомые. И среди них не было ни малейшей целостности, ни малейшего единства, ни в мыслях, ни в направлении мыслей. Казалось, это был спор, который начался один раз с тем, чтоб никогда не кончиться. Во имя этого спора и собиралось общество, — чтоб спорить и деспориться. Каждый раз расходились с тем, чтобы в следующий раз возобновить спор с новой силой, чувствуя, что не высказали

и десятой части того, что хотелось сказать. Без споров у Петрашевского было бы чрезвычайно скучно, потому что одни споры и противоречия и могли соединить разнохарактерных людей. Говорилось обо всём и ни о чём исключительно, и говорилось так, как говорится в каждом кружке, собравшемся случайно. Я говорю это утвердительно, рассуждая так: если бы и был кто-нибудь, желающий участвовать в политическом собрании, в тайном обществе, в клубе, то он не принял бы за тайное общество вечеров Петрашевского, где была одна только болтовня, иногда резкая, оттого что хозяин ручался, что она приятельская, семейная, и где вместо всего регламента и всех гарантий был один только колокольчик, в который звонили, чтобы потребовать кому-нибудь слова.

— Нам известно, что в собрании у Петрашевского 11 марта Толь говорил речь о происхождении религии, доказывая, между прочим, что она не только не нужна в социальном смысле, но даже вредна. Сделайте об этом объяснение!

— Я слышал о речи Толя от Филиппова, который сказал мне, что он на неё возражал. Самого же меня в этот вечер у Петрашевского не было.

Фёдор Михайлович хорошо помнил, как студент Филиппов, этот горячий, озорной и в то же время удивительно вежливый мальчик, восхищённо рассказывал о речи Толя. Достоевский охладил его, сказав, что восторгов его не разделяет, религия не только не вредна, но и играет важную роль в нравственном оздоровлении общества. Но комиссии не нужно знать правды о Филиппове.

— В собрании у Петрашевского 25 марта говорено было о том, каким образом должно восстанавливать подведомственные лица против власти. Дуров утверждал, что всякому должно показывать зло в его начале, то есть в законе и государстве. Напротив, Берестов, Филиппов и Баласогло говорили, что должно вооружать подчинённых против ближайшей власти и, переходя, таким образом, от низших к высшим, как бы ощупью, довести до начала зла. Подтверждаете ли вы это?

— И в тот раз меня у Петрашевского не было.

— Нам известно, что 15 апреля вы читали переписку Белинского с Гоголем. Объясните ваши отношения с покойным критиком Белинским.

Достоевский задумался: как объяснить его отношения с Белинским? Сложные были отношения. Сложнейшие! От трепета, восторга даже при упоминании имени великого критика до обиды на него, чуть ли не ненависти...

— Мы ждём вашего ответа: объясните ваши отношения с покойным критиком Белинским.

— Да, я некоторое время был знаком с Белинским довольно коротко. Это был превосходный человек — как человек. Но болезнь ожесточила, очерстила его душу и залила желчью его сердце, явилось самолюбие, крайне раздражительное и обидчивое. И вот в таком состоянии он написал письмо своё Гоголю... В литературном мире известно многим о моей ссоре и окончательном разрыве с Белинским в последний год его жизни. Известна также и причина нашей размолвки: она произошла из-за идей о литературе. Я упрекал Белинского, что он силится дать ей частное, недостойное название, низведя её единственно до описания, если можно так выразиться, одних газетных фактов. Белинский рассердился на меня, и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре и не виделись весь последний год его жизни...

— Почему же вы тогда читали письмо человека, взгляды которого не разделяли? — вкрадчиво спросил генерал Дубельт.

— В моих глазах эта переписка — довольно замечательный литературный памятник. И Белинский, и Гоголь — лица, очень замечательные. Отношения их между собой весьма любопытны, тем более для меня, который был знаком с Белинским... Я давно желал прочесть эти письма. Петрашевский случайно увидел в моих руках, спросил: "Что такое?" — и я, не имея времени показать ему эти письма тотчас, обещал их привезти к нему в пятницу...

Члены комиссии внимательно слушали Достоевского.

— Я дал обещание Петрашевскому прочитать письма, — говорил Фёдор Михайлович, глядя на Дубельта, — и уже не мог отказаться от него.

Петрашевский напомнил мне об этом обещании уже у себя на вечере. Впрочем, он не знал и не мог знать содержания писем. Я прочёл, стараясь не выказывать пристрастия ни к Белинскому, ни к Гоголю. При чтении слышны были иногда отрывочные восклицания, иногда смех, смотря по впечатлению. Я был занят чтением и не могу сказать теперь, чьи были восклицания и смех. Сознаюсь, что с чтением письма я поступил неосторожно...

— В собрании у Петрашевского Момбелли, говоря об освобождении крестьян, утверждал, что идеей каждого должно быть освобождение этих угнетённых страдальцев, но что правительство не может освободить их — без земель освободить нельзя. Освободив же с землями, должно будет вознаградить помещиков, а на это средств нет. Освободив крестьян без земель или не заплатив за землю помещикам, правительство должно будет поступить революционным образом. Поэтому выход один — бунт. Было это сказано?

— Весь этот разговор слышал. Слова Момбелли припоминаю. Он говорил с увлечением, но окончательного вывода, того, где сказано, что освободить нужно бунтом, не припоминаю и утверждаю, что разошлись без всякого разрешения этого вопроса. Всё кончилось большим спором... Момбелли признавал возможность внезапного восстания крестьян самих собой, потому что они уже достаточно сознают тяжесть своего положения. Он выражал эту идею как факт, а не как желание своё. Допуская возможность освобождения крестьян, он был далёк от бунта и от революционного образа действия. Так мне всегда казалось из разговора с Момбелли.

— Понятно, — потёр лоб князь Гагарин. — Тогда объясните нам такой вопрос... В опровержение сказанного Момбелли, Петрашевский говорил, что при освобождении крестьян должно непременно произойти столкновение сословий, которое может породить военный деспотизм или, что ещё хуже, деспотизм духовный. Что подразумевалось под военным деспотизмом и под деспотизмом духовным?

— Помню, что Петрашевский опровергал Момбелли. Ответа Момбелли ясно не припоминаю, хотя помню, что он пустился в довольно длинное развитие. Может быть, я был развлечён в эту минуту посторонним разговором. Не припоминаю совершенно, как было дело... и не могу ясно отвечать на этот вопрос... А Петрашевский говорил о необходимости реформ: юридической и цензурной прежде крестьянской — и даже вычислял преимущества крепостного сословия крестьян перед вольным при нынешнем состоянии судопроизводства. Но не упомяну хорошо, что означали слова “военный и духовный деспотизм”. Петрашевский говорил иногда темно и бессвязно, так что его трудно было понять.

— На том же собрании Петрашевский, говоря о судопроизводстве, объяснил: “Что в нашем запутанном и с предубеждениями судопроизводстве справедливость не может быть достигнута, и если из тысячи примеров и явится один, где она достигается, то это происходит как-то не нарочно, случайно...” Что вы на это скажете?

— Это... было...

— В этом же собрании Момбелли говорил, что перемена правительства не может произойти вдруг, что прежде нужно утвердить диктатуру. Было это сказано? — быстро спросил князь Гагарин, глядя пристально на Достоевского.

Всё так и было, но Фёдор Михайлович понял, какое это страшное обвинение Момбелли, да и всему кружку Петрашевского. Думал об этом в камере, догадывался, что Антонелли всё записал, донёс. Отвечать нужно. Не ответишь — всем будет хуже. И Достоевский заговорил:

— Несмотря на отдалённость времени, я старался собрать все мои воспоминания об этом вечере и никак не мог припомнить, чтоб были сказаны такие слова о нашем правительстве... Момбелли принимался говорить во всеулышание два раза. Первый раз он говорил о насущности крепостного вопроса, о том, что все заняты этим вопросом и что действительно участь крестьян достойна внимания. Во-второй же раз, отвечая Петрашевскому, он поддерживал своё мнение о том, что разрешение вопроса о крестьянах важнее требования юридической и цензурной реформ. И оба раза он говорил до-

вольно коротко, первый раз не более десяти минут и во второй раз не более четверти часа. Об этом воспоминания мои точны, и в оба раза начал и кончил только разговором о крестьянах, не вдаваясь в другие темы. В такой краткий срок он не мог бы коснуться ни до чего другого, кроме тем, на которые говорил. Но чтобы завести речь о таком пункте, как перемена правительства, да ещё вдаваться в подробности, то, естественно, должен был сказать хоть два слова о том, какую он имел в виду диктатуру. Говоря об этом, он вдруг перескочил бы от своей прежней темы к совершенно другой; кроме того, заговорил бы о таком пункте, о котором и слова не было до его речи. Он бы мог сделать это по какому-нибудь поводу, а повода ему дано не было. И, наверное, надо бы обо всём этом долго говорить, гораздо более четверти часа... Следовательно, если даже и было сказано что-нибудь подобное, то оно было сказано до того вскользь, мимолётом и с таким незначительным смыслом, что не удивительно, если я не только позабыл об этих словах, но даже пропустил их тогда в минуту самого разговора. Кроме того, и сказаны были, по моему мнению, не эти слова, а только что-нибудь подобное этим словам, например, что такое бывает вообще при перемене какого-либо правительства, а не нашего правительства. Словам Момбелли, если даже они и были сказаны, очевидно, придали преувеличенный смысл. Он не имел физической возможности для разговора на такую важную, новую тему, не говоря уж о неожиданности перескока на эту новую тему... Может быть, он и сказал это, хорошо не упомяну, но вскользь и вообще, а вовсе не как желание перемены нашего правительства... — Достоевский совсем запутался, пытаюсь выгородить Момбелли, и чувствовал, что комиссия видит, что он запутался. Пот выступил у него на висках. Он смахнул его ладонью и замолчал.

— Кроме указанных вами разговоров, не было ли говорено ещё чего-нибудь особенного в отношении правительства, и кто именно говорил? — спросил Дубельт.

— Я не помню более разговоров, чем-либо замечательных, кроме тех, на которые дал объяснения... Я говорю только о тех вечерах, на которых я сам лично присутствовал. Я знаю по слухам, что говорили Толь, Филиппов, и ещё был спор о чиновниках... Потом я был лично на двух вечерах, на которых толковалось о литературе. Потом, когда говорилось о вопросах: крестьянском, цензурном и судебном. В эти два раза я тоже присутствовал — и вот все речи и разговоры, которые я знаю, кроме не политических. Так, например, была речь Момбелли о вреде карт и о растлении нравов из-за игр. По его идее, карты, доставляя ложное и обманчивое занятие уму, отвлекают его от истинных потребностей, от образования и полезных занятий...

Когда Достоевский замолчал, члены комиссии переглянулись и закончили допрос, сказав, что в ближайшие дни продолжают разговор. О Спешневых, о вечерах у Дурова вопросов не было. Неизвестно, видимо, было о них комиссии. Антонелли не знал. Спешнев тщательно подбирал участников своего тайного общества.

Достоевский поднялся с тяжестью в голове. Такое бывало с ним, когда несколько часов не отрывался от рукописи. Посреди комнаты он вдруг остановился, обернулся к комиссии и быстро проговорил:

— Простите, я хотел узнать... Я видел брата, Андрея... там... Он арестован, но он ни разу не бывал у Петрашевского...

— Знаем, — ответил генерал Дубельт. Он стоял за столом, собиравшись выйти. — Андрей Михайлович арестован был по ошибке, вместо старшего брата... Он уже на свободе.

— А Михаил?

— В крепости.

— Но он всего дважды бывал...

— Разберёмся, — перебил его Дубельт.

— У него семья, дети... Они погибли без средств...

— Об этом ему надо было думать перед дверью в квартиру Петрашевского, — снова сердито перебил генерал Дубельт, отвернувшись, показывая, что разговор окончен, отодвинул стул с высокой спинкой и вышел из-за стола.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ РАЗРЫВ

На одном из вечеров у Панаевых собрались, как всегда, Белинский, Некрасов, Григорович, Тургенев, Дружинин, Боткин. Было объявлено заранее, что в этот вечер будет читать Достоевский главу из повести “Хозяйка”.

Достоевский волновался, когда начинал читать, как примут его новую вещь строгие критики. Повесть “Хозяйка”, когда писал, нравилась ему больше, чем “Бедные люди”, и он надеялся услышать восторженные отзывы.

К концу чтения голос его окреп, возвысился. Заканчивал Достоевский уже бодро, уверенно:

— Старик обхватил её могучими руками и почти сдвинул на груди своей. Но когда она спрятала у сердца его свою голову, таким обнажённым, бесстыдным смехом засмеялась каждая черточка на лице старика, что ужасом обдало весь состав Ордынова. Обман, расчёт, холодное, ревнивое тиранство и ужас над бедным, разорванным сердцем — вот что понял он в этом бесстыдно не таившемся более смехе...

Достоевский закрыл тетрадь и смущёнными глазами обвёл слушателей. Первым заговорил Белинский. При первых его словах отлегло на душе Фёдора Михайловича.

— Я в который раз убеждаюсь, что только Достоевский один может доискаться до таких изумительных психологических тонкостей, — сказал Белинский. — Таких тонкостей в русской литературе ещё не было.

— Я не в восторге от этой повести, — вдруг заявил Некрасов. — К повести “Господин Прохарчин” у меня много претензий, а эта “Хозяйка” вообще неудача: отдельные места хороши, а в целом ниже “Бедных людей”.

— Насколько я знаю, — обратился к Некрасову Белинский, — “Петербургский сборник”, который ты готовишь в типографию, держится на романе “Бедные люди”.

— И я уверен, что “Бедные люди” непременно обеспечат альманаху успех, — подтвердил Некрасов. — Но ни “Господина Прохарчина”, ни “Хозяйку” я не рискнул бы поставить в сборник.

— Да и роман “Бедные люди”, по-моему, многословен, растянут. Я бы его значительно сократил, выжал бы из него воду, — проговорил Тургенев.

— Меня удивляет, — глянул на Тургенева Панаев, — что вы так равнодушно относитесь к такой художественной вещи и не радуетесь появлению нового таланта.

— А меня удивляет, как вы щедры на похвалы, — с иронией парировал Тургенев, — чуть появится новичок в литературе, сейчас начинаете кричать: талант! Отыскиваете в его пробе пера художественность!

— Вы не видите в его романе художественности? — с удивлением спросил Панаев.

— Вы просто мало знакомы с истинно художественными произведениями в иностранной литературе, а если что и читали, то в слабом переводе, — отчеканил Тургенев. — Даже в Пушкине, в Лермонтове, если строго разобрать, немного найдёшь оригинальных художественных произведений. Когда их читаешь, то на каждом шагу натыкаешься на подражание гениальным европейским талантам, как, например, Гёте, Байрону.

— Ну-у, Иван Сергеевич запел свою песенку о Европе, — шутиливо оборвал его Некрасов.

— Да, Россия отстала в цивилизации от Европы, — не унимался Тургенев. — Разве у нас могут народиться такие великие писатели, как Данте, Шекспир?

— И нас Бог не обидел... Для русских Гоголь — Шекспир, — ответил Некрасов.

Тургенев снисходительно улыбнулся и заговорил с иронией.

— Хватил, любезный друг, через край! Шекспира читают все образованные нации на всём земном шаре уже несколько веков и бесконечно будут читать. Это мировые писатели, а Гоголя будут читать только одни русские, да и то несколько тысяч, а Европа не будет и знать даже о его существовании!

— Печальна участь русских писателей, Европа их не знает... — не скрывая ехидства засмеялся Некрасов.

— Право, обидно: даже какого-нибудь Дюма все европейские нации переводят и читают, — заявил Тургенев.

— Бог с ней, с этой европейской известностью, для нас важнее, если б русский народ мог нас читать, — серьёзно ответил Некрасов.

— Завидую твоим скромным желанием! — снова с насмешкой сказал Тургенев. — Не понимаю даже, как ты не чувствуешь пришибленности, пресмыкания, на которые обречены русские писатели? Ведь мы пишем для какой-то горсточки одних только русских читателей... Нет, только меня и видели; как получу наследство, убегу и строки не напишу для русских читателей.

— Это тебе так кажется, а поживёшь за границей, так потянет в Россию, — усмехнулся Некрасов. — Нас ведь вдохновляет русский народ, русские поля, наши леса; без них нам ничего хорошего не написать.

— Я не ожидал именно от тебя, Некрасов, чтобы ты был способен предаваться таким ребяческим иллюзиям.

— Это не мои иллюзии, разве не чувствуется это сознание в обществе?

— Нет, я в душе европеец, мои требования к жизни тоже европейские! Да и квасного патриотизма я не понимаю. При первой возможности убегу без оглядки отсюда, и кончика моего носа не увидите!

— Это ты предаёшься ребяческим иллюзиям. Поживёшь в Европе, и тебя так потянет к родным полям, и появится такая неутолимая жажда испить кисленького, мужицкого квасу, что ты бросишь цветущие чужие поля и возвратишься назад, а при виде родной берёзы от радости выступят у тебя слёзы на глазах.

— От твоих слов, Николай Алексеевич, у меня и вправду появилась жажда чего-нибудь испить кисленького, но не мужицкого... — засмеялся Тургенев и повернулся к Панаеву: — Не пора ли, Иван Иванович, шампанского подать?

— Погоди ты с шампанским! Мы ещё дела журнальные не обсудили, — остановил его Григорович.

— А разве шампанское помеха обсуждению? — засмеялся Тургенев. — Наоборот, веселее пойдёт... Иван Иванович, как дела у нас с “Современником”? Наш?

— Наш, наш “Современник”! — бодро ответил Панаев. — Плетнёв запросил четыре тысячи за него, еле уговорил на три.

— Нелепое запрещение издавать новые журналы развивает в литературе ростовщичество, но что поделаешь! — проговорил Некрасов. — Надо, господа, соглашаться — пусть подавится этими тремя тысячами!

— Хуже, господа, с цензурным комитетом, — произнёс с сожалением Панаев. — Там не утвердили редактором ни меня, ни Некрасова. Сказали — неблагонадёжные люди!

— Пусть Белинский редактирует, — предложил Григорович.

— О Белинском и слушать не захотели. “Северная пчела” уже несколько лет постоянно твердит о зловредном направлении его статей. Сколько доносов написано...

— Придётся брать кого-то со стороны, а это новые расходы, — вздохнул Белинский. — А я уже письменно отказался от сотрудничества в “Отечественных записках”.

— Надо цензору Никитенко предложить место редактора, — сказал Тургенев.

— Ну да, Александр Васильевич не откажется, — согласился Некрасов. — Проще будет статьи проталкивать... Я уже заказал печатные объявления об издании “Современника” во всех журналах и газетах.

— Не надо было этого делать, — сказал Панаев. — Это стоит очень дорого и вовсе не нужно.

— Нам с вами нечего учить Некрасова, — возразил ему Белинский. — Ну, что мы смыслим! Мы младенцы в коммерческом расчёте: сумели ли бы мы с вами устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом,

как он для своего сборника? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться. Нам уж в хозяйственную часть нечего соваться.

После вечера по дороге домой Фёдор Михайлович спросил у Григоровича о том, что его мучило:

— Что сказал обо мне Белинский за игрой в карты, когда Некрасов захотал?

— Некрасов не над тобой смеялся.

— И всё же... — настаивал Достоевский.

— Чепуха это! — отмахнулся Григорович. — Ты в тот момент как-то слишком раздражительно спорил, и Белинский спросил у Тургенева, что это с Достоевским? Говорит какую-то бессмыслицу, да ещё с таким жаром!.. Тургенев ему на это сказал, что ты вообразил себя гением, Некрасов поддакнул.

— А что же Виссарион Григорьевич? — похолодел Фёдор Михайлович, и на душе его стало тревожно. — Согласен с ними?

— Нет... Что ты! Просто грустно так пожал плечами и вздохнул, говоря: что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он вместо того, чтобы разрабатывать его, вообразит себя гением, то ведь не пойдёт вперед...

— Так и сказал? — переспросил грустно Достоевский.

— Да, и добавил: Достоевскому непременно надо лечиться, всё это происходит от страшного раздражения нервов. Должно быть, потрепала его, бедного, жизнь! Тяжёлое настало время, надо иметь воловы нервы, чтобы они выдержали все условия нынешней жизни.

— Может, он и прав... — печально пробормотал Достоевский.

После этого разговора Фёдор Михайлович стал избегать вечеров у Панаевых, да и встреч с Некрасовым и Тургеневым. О том, что происходило в кружке Белинского, ему пересказывал словоохотливый и болтливый Григорович. Однажды он сообщил, что Белинский написал о Достоевском Анненскому:

— Анненский читал нам с Некрасовым его слова...

— И что же он пишет? — встревожился Фёдор Михайлович.

— Пишет, что Достоевский написал повесть “Хозяйка”, — ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подбавивши немного Гоголя. Мол, Достоевский ещё написал кое-что после того, но каждое его новое произведение — новое падение... В столице отзываются враждебно даже о “Бедных людях”: я трепещу при мысли перечитать их. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!

— Прямо так и написал? — недоверчиво спросил раздавленный Достоевский.

— Дословно цитирую... А эти насмешники — Тургенев с Некрасовым — написали юмористические стишки вроде послания к тебе Белинского, читали их у Панаевых. Раздавали всем... Смеялись...

— И у тебя есть?

— Есть!

— Прочитай... раз уж все читали...

Григорович достал из кармана сложенный вчетверо листок, развернул его и взглянул на Достоевского, мол, может, не стоит читать.

— Читай, читай... — хмуро бросил Достоевский, понимая, что сейчас услышит насмешливые и ядовитые строки.

Григорович начал читать:

*Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыц,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.
Хоть ты юный литератор,
Но в восторг уж всех поверг:
Тебя знает император,
Уважает Лейхтенберг...*

*С высоты такой завидной,
Слух к мольбе моей склоня,
Брось свой взор пепеловидный,
Брось, великий, на меня!
Буду нянчиться с тобою.
Поступлю я, как подлец:
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец...*

Больше Фёдор Михайлович с Белинским не встречался.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ПЕТРАШЕВСКИЙ ДЕЙСТВУЕТ

Петрашевский ждал, что на третий день содержания в Петропавловской крепости ему предъявят обвинение. Знал, что по закону, если не будет этого, должны отпустить на поруки. Но прошли третьи сутки, прошли четвёртые — обвинения нет и выпускать не собираются. Петрашевский потребовал коменданта. Явился высокий худой одноглазый старик, который делал обход арестованных в первый день вместе с комендантом крепости.

— Вы меня звали? — спросил он.

— Я звал коменданта крепости, — строго объявил ему Петрашевский.

— Коменданта не велено звать к арестованным. Какая у вас нужда? Если что-то важное, я доложу коменданту.

— Важное? Конечно, важное. Важнее некуда! — рассердился Петрашевский. — Я нахожусь здесь пятые сутки, а мне до сих пор не предъявлено обвинение. По нашим законам, если арестованному не предъявлено обвинение на третьи сутки, то его должно отпустить на поруки. Почему меня держат в крепости? Почему не отпускают домой?

— Это мне не ведомо.

— Принесите мне книгу “Уголовное судопроизводство”...

— Это мне не велено.

— Принесите книгу, и я вам докажу, что по закону вы обязаны меня отпустить...

Смотритель молча повернулся и вышел из камеры.

— Передайте коменданту, что я требую: либо предъявить мне обвинение, либо выпустить отсюда! — крикнул ему вслед Петрашевский и стал неспешно, посвистывая, ходить по камере.

Дней десять после этого никто к нему не входил. Петрашевский требовал, чтобы позвали коменданта, чтобы веди на допрос, но надзиратель молча выслушивал его, и всё оставалось без изменения. Михаил Васильевич слышал, как хлопали двери соседних камер, слышал голоса, догадывался, что водят на допрос других арестованных. Мучился: что они теперь там говорят? Много было среди арестованных неопытных, молодых ещё совсем людей. Но на прогулки его по-прежнему выводили во двор ежедневно.

Однажды он снова обратил внимание на лоскуток краски возле дорожки, в траве, покрутил его в руках и понял, что нужно делать. В камере он выломал зуб у вентилятора.

Потом оторвал лоскут краски, отставшей от стены под подоконником, сел за стол и стал выцарапывать зубом слова, прислушиваясь, нет ли шагов в коридоре.

“Нас оклеветали, — писал он мелкими буквами. — Очных ставок требовать. Письменным показаниям не верить. Ложных свидетелей бояться. Не говорить ничего плохого о других. Требовать явки обвинителя”.

Больше ничего на этот лоскуток поместить было нельзя. Петрашевский спрятал его под тюфяк и снова подошёл к окну. На этот раз он долго осматривал стену с клочками окраски, выбирал, чтоб отодрать побольше кусок. Восемь лоскутов исписал, советуя, как вести себя на допросах. “Не давать влиять на себя или запугивать, быть спокойным. Терпение и мужество.

Вмешивать как можно меньше лиц, тех, кто арестован. Не отвечать на вопросы неопределённые, неясные, вкрадчивые, требовать, чтоб их объяснили. Задавать вопросы следователю. Стараться по возможности стать в положение нападающего, задавать вопросы навстречу. Таким образом выяснить, что он хочет и что он надеется найти”.

Вечером в этот же день, на двадцать четвёртый день пребывания в крепости, его в первый раз повели на допрос. На вопросы он отвечать не стал. Сидел, демонстративно прикрыв глаза, дремал, позёвывал, делал вид, что ему всё равно, что говорит комиссия. Видел, что такое его поведение раздражает генералов, посмеивался про себя.

— Вы обвиняетесь в организации тайного общества, заседания которого проходили у вас по пятницам, — строго говорил князь Гагарин. — С какой целью было создано ваше общество?

Петрашевский молча отвернулся к окну, никак не реагируя на слова князя.

— Кто входил в ваше тайное общество? — спросил доброжелательно генерал Дубельт. — Перечислите поимённо.

Петрашевский молча смотрит в сторону окна.

— Хорошо. Поставим вопрос по-иному, — спокойно проговорил Дубельт. — Кто посещал ваши вечера по пятницам и как часто?

Петрашевский невозмутимо зевнул.

— Членами вашего тайного общества показано, — на этот раз заговорил генерал Набоков, — что главной целью общества было ниспровержение существующего порядка в государстве, пагубные намеренья относительно самой особы всемилостивейшего Государя Императора и замещение общественного устройства другим на основании социальных идей. К чему принято было приготовление умов распространением этих идей в России. Показания эти верны?

Петрашевский потянулся и смахнул соринку со своего колена.

— Вы будете отвечать на вопросы? — резко и раздражённо крикнул генерал Набоков.

Петрашевский будто не услышал раздражённого окрика генерала.

Генерал Дубельт обратился к Комиссии:

— Господа, я не вижу смысла продолжать допрос. Отложим до следующего раза.

На другой день Петрашевский спрятал в халате исписанные куски окраски и прихватил их с собой на прогулку. Выбросил потихоньку в траву возле дорожки. А осьь будут гулять товарищи его, заметят, прочитают и, может быть, напишут что-то ему.

Почти сразу же после прогулки его снова вызвали на допрос. Вёл он себя так же, как и вчера, и его быстро отправили в камеру. Он думал, что на следующий день снова поведут, но о нём будто забыли.

В голове он всё время перемалывал вопросы членов комиссии. Из них он заключил, что является главной жертвой клеветнического доноса, что в него упираются все главные обвинения, а все прочие арестованные — только живые улики и доказательства его злоумышления. Он понял, что чем больше возведённая на него клевета, ложное обвинение, тем хуже положение других, разделяющих с ним участь заточения. Не отвечать на клевету — значит, давать молчанием ей вес и силу, косвенно служить гибелью ближнего, невольно служить орудием торжества того злодея, который на их страданиях решился основывать своё благополучие. Обдумав всё это, Петрашевский подошёл к двери и постучал в неё кулаком.

— Чего буяните? — сердито откликнулся надзиратель.

— Передайте смотрителю, пусть принесёт бумагу и чернила с ручкой, — громко и решительно отозвался Петрашевский. — Я хочу дать правдивые показания по всем пунктам!

На этот раз ему не отказали. Весь следующий день он писал, писал то торопливо, страстно, стараясь поспеть за мыслью, то надолго задумываясь, как точнее и тоньше выразить свою мысль.

“Вы, господа следователи, — писал он, — получите от меня отчёт о делах человека искренне благонамеренного, который может без страха обратиться

взор на своё прошедшее, ибо знает он, что прошедшее его будет говорить не против него, а за него. Вы услышите от меня мнения, никому никогда не обнародованные, — о предметах важных нашего быта общественного — слово истинного патриота, сделавшего себе девизом ненависть к немцам, а под этим — к скрывающим тайную вражду против просвещения и желание сохранить чрез невежество других способ себе делать злоупотребления безнаказанно. Вы услышите речь человека, желающего сделать, быть может, последнее доброе дело, защитить, быть может, самых благороднейших и достойнейших среди миллионов людей, быть может, будущую надежду России, из которых многих, может, не забудет потомство. Вы услышите грозное слово врага всяких злоупотреблений...

Быть может, читая эти строки, припомните вы, господа следователи, многое давно забытое, встрепенется сердце ваше невольно и пробежит в уме вашем мысль добрая и благая. Вы хотите от меня правды, так умеете её слушать... Порой, быть может, мелькнёт отрадная картина будущего счастья человечества — и вы, обвиняющие нас в утопизме, сами на минуту будете утопистами, потому что всё это может показаться вам лёгким и возможным. Порой вы увидите тысячу жертв, невинно сгубленных, тысячи неправд, губящих силу народа русского, и предстанет перед вашими очами горькое прошедшее вашего отечества, и нерадостно осветится картина будущих судеб.

Но к делу, господа следователи. Я и мои товарищи по заключению находимся с вами в состоянии войны. Наши отношения — это отношения двух армий. Вы ведёте большую войну, ваши силы сконцентрированы. Вы, пятеро, спрашиваете одного, у вас есть общий стратегический план — это ложный донос. Сверх того, имеете множество беглецов из наших рядов: это книги, бумаги, неловкие показания. Мы находимся в состоянии армии, разбитой на мелкие части, которой, пока война ведётся на нашей земле, едва ли удастся соединиться. Я же нахожусь в состоянии отряда более других сильного, на который и движется вся масса вражеских сил. Ретирада невозможна — надо создать все: и средства к победе, и самый случай.

Комиссия могла избрать себе в руководство при следствии два выражения известные. Или выражение Ришелье, который, хвастаясь своим умением всё как ему вздумается перетолковать, сказал: “Напишите семь слов, каких хотите, и я из этого выведу вам уголовный процесс, который кончится смертной казнью”. Или изречение Екатерины Великой: “Лучше простить десять виноватых, нежели одного невинного наказать”. Какое из двух выражений комиссия избрала, я заключить ещё не вправе”.

На этом месте Петрашевский надолго задумался. Надо развернуть оба изречения, доказать пагубность следования по пути Ришелье и справедливость мысли Екатерины. Вспомнилось, что кто-то рассказывал, что в провинции, услышав имя Леонтия Васильевича Дубельта, вздрагивают, крестятся и говорят: “Да сохранил нас сила небесная!” Петрашевский, горбясь, прошёлся по камере, постоял у окна, глядя на густо синее весеннее небо. За окном май кончается, весна в разгаре. Михаил Васильевич быстро вернулся к столу и стал писать, обвиняя следователей в пристрастии в пользу лживого доносчика, в нарушении законов, в лишении его возможности быть равным перед лицом закона с обвинителем, потребовал отвода штатского члена комиссии. Петрашевский принял князя Гагарина за директора департамента полиции и считал его принимаемым доноса, заинтересованным в этом деле.

“Обвинение, лживый донос в отношении к нам является в двойном отношении — как личное оскорбление и как ущерб имущества. Совершитель того и другого есть ложный доносчик, а принимаемый доноса — соучастник в таковом, противном законам акте. Каждый из нас имеет какую-нибудь собственность или имел какое-либо занятие, которое сверх службы приносило некоторый доход. Находясь в заключении, не можем имуществом распоряжаться, как должно. Следовательно, несётся убыток. Занятия, кто какие имел, например, давание уроков, литературный труд, тоже прерваны, а даже некоторые и потеряны. Тот, кто давал уроки, мог потерять место, или тот, кто писал статью к сроку в журнал, тоже пострадал, статья пропала.

Тот, кто занимался литературным трудом, лишён был в течение всего этого времени возможности писать. Следовательно, тоже понёс ущерб в своём материальном состоянии. Вот неизбежные последствия лживого доноса и заключения, из него проистекающего, и не справедливо ли требовать вознаграждения по этому предмету согласно существующим на сей конец в десятом томе свода законов постановлениям о вознаграждении за ущерб по имуществу. Впрочем, не одно это материальное зло — есть прямое последствие лживого доноса. Есть ещё вред нравственный, равный по своим последствиям с тяжкой личной обидой или оскорблением...

Вслед за этим рождается вопрос, как может быть велика та сумма, которую каждый из обвиняемых вправе требовать в вознаграждение, и как её определить. Это разрешить я постараюсь довольно отчётливо как в отношении себя, так и других”.

Петрашевский подсчитал свои убытки, объяснил их, вышло около пяти тысяч рублей убытков только у него одного. “За личное же оскорбление — тяжкую обиду — получить следует не менее двойного оклада жалования — то есть тысячу рублей серебром”. И другим пострадавшим подсчитал, сколько нужно получить. “Есть ещё человек, для вознаграждения которого следует употребить иной способ. Это г. Модерский, как кажется, незаконнорожденный сын какого-то князя Четвертинского. Он намеревался держать экзамен в университет, но исполнить это помешало заключение его в крепость. Поэтому если б ему было дозволено в течение года держать экзамен, он был бы весьма доволен... Но здесь ещё представляется иной вопрос... От нашего несправедливого заключения пострадало общество, то есть силами нашими, нашей деятельностью оно не пользовалось, вследствие чего и оно должно быть тоже вознаграждено за эту потерю...”

Уверенность в совершенной мной невинности во мне неподавима. Осудить меня можно, но не сделать виновным. Бог не в силе, а в правде... И если мне, невинному, суждено надеть оковы, дайте же мне самому надеть их, чтоб ознакомиться поскорее с этим будущим членом моего организма, с этим дорогим ожерельем, которое надела на меня любовь моя к человечеству. У меня нет силы исполинской, к труду механическому не привык, дозвоьте, прошу вас, как милости, к ним попривыкнуть, чтоб, идя по пыльному пути, не тяготить своей слабостью спутника. Быть может, судьба поместит меня рядом с закоренелым злодеем, на душе которого лежит десять убийств. Сидя на привале, полдничая куском чёрствого хлеба, мы разговоримся, я расскажу, как и за что меня постигло несчастье. Расскажу ему про Фурье, про фаланстер — что и зачем там и как, объясню, отчего люди злодеями делаются... И он, глубоко вздохнув, расскажет мне свою биографию. Из рассказа его я увижу, что много великого сгубили в этом человеке обстоятельства. Душа сильная пала под гнётом несчастий. Быть может, в заключение рассказа он скажет: “Да если бы было по-моему, если бы так жили люди, не быть бы мне злодеем...” И я, если только тяжесть цепи позволит, протяну ему руку и скажу: “Будем братьями”, — и, разломив кусок хлеба, ему подам, говоря: “Есть много я не привык, тебе более нужно, возьми и ешь”. При этом на его загорелой щеке мелькнёт слеза, и подле меня явится не злодей, но равный мне несчастный, быть может, тоже вначале худо понятый человек...

Жду всего спокойно. Слова Спасителя, на кресте умирающего, раздаются в ушах моих, и спокойствие предсмертное нисходит в мою душу”.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ВТОРОЙ ДОПРОС ДОСТОЕВСКОГО

Напрасно Достоевский радовался, считая, что комиссия ничего не знает о кружке Спешнева. На следующем допросе князь Гагарин сразу же ошарашил его:

— Нам стало известно, что помимо кружка Петрашевского существовало тайное общество Спешнева. Расскажите нам о нём.

— Со Спешневым я был знаком лично, — медленно заговорил Фёдор Михайлович, лихорадочно думая: “Неужели они знают об обществе, знают о типографии?” — Ездил к нему, но на собраниях у него не бывал и не слышал о таковых. В каждый приезд мой я заставлял его одного...

— Общество это собиралось не у Спешнева, а на квартире поэта Дурова. И вы постоянно посещали собрания.

— На вечерах Дурова я бывал. Но они были чисто литературно-музыкальные... Никаких речей там никто никогда не произносил...

Достоевский глядел на бледное лицо князя. “Не Майков ли выдал? — мелькнуло в голове. — Нет, Майков не выдаст. Он честный человек!” — решил Достоевский.

— Кто ещё посещал вечера Дурова и чем там занимались? — спросил генерал Дубельт.

— Вечера эти были приятельскими. Мы все хорошо знали друг друга. Читали свои новые стихи и повести, слушали игру музыкантов, говорили об искусстве. Постоянно бывали на вечерах литераторы Дуров и Пальм, студент Филиппов, поручики Григорьев и Момбелли... Иногда приезжал Спешнев. Он интересовался искусством. Бывал и брат мой Михаил...

— На тех вечерах поручик Момбелли сделал предложение о тесном сближении между посетителями, дабы под влиянием друг друга твёрже укрепиться в направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении. Что он имел в виду?

— Это было ещё в самом начале вечеров Дурова, кажется, даже в первый вечер... Момбелли действительно начал говорить что-то подобное, но всех его слов не упомяну. Но помню, что он не закончил, потому что его прервали. Момбелли засмеялся, не обиделся за невнимание, и общество осталось чисто литературно-музыкальным...

Вспомнилось, как Момбелли читал у Дурова отрывки из своего дневника. Один из них особенно поразил, потряс Достоевского и запомнился ему, как теперь кажется, навсегда. Помнился и сейчас.

“В шесть утра, — читал Момбелли, — на Семёновском парадном месте, в присутствии командующего корпусом Арбузова, назначено наказание шпицрутенами фельдфебеля гвардии Егерского полка Тищенко за то, что ударил по щеке полкового казначея того же полка капитана Горбунова. Поручик Сатин назначен привести на плац команду зрителей нашего полка, составленную из двух унтер-офицеров и двенадцати рядовых от каждой роты. Мне тоже приказано находиться при команде.

Аудитор прочёл конфирмацию, во время чтения которой Арбузов, а за ним и генералы почтительно подняли руки под шляпы, а все офицеры взяли под кивера. Тищенко стоял в мундире фельдфебеля под конвоем. После чтения ему тотчас же спорили нашивки и галуны. Конфирмация определила ему, лишив звания, наказание шпицрутенами через тысячу человек пять раз. Капитана Горбунова, за то, что несколько раз бил Тищенко, на месяц под арест с содержанием на гауптвахте.

Командир перестроил батальон в две шеренги, приказал задней на четыре шага отступить и поставил шеренги лицом одну к другой. Торопливо раздали солдатам шпицрутены — длинные прутья толщиной с палец, — которыми солдаты, понуждаемые начальниками, начали махать, как бы принаравливаясь, как сильнее ударить. Тищенко раздели догола, связали кисти рук накрест и привязали их к прикладу ружья, за штык которого унтер-офицер потянул его по фронту между двух шеренг, вооружённых шпицрутенами. Удары посыпались на Тищенко с двух сторон, при заглушающем барабанном бое. В то время, когда раздевали Тищенко, Арбузов сказал речь солдатам, состоящую из угроз — в случае не вполне сильного удара самого солдата провести между шпицрутенов. Потом в продолжение всей экзекуции Арбузов следил с лошади за Тищенко, непрерывно кричал, чтоб сильнее били. Отвратительная хамская физиономия Арбузова от напряжения сделалась ещё отвратительней и стала похожа на кусок сырого мяса.

Несмотря на жестокость ударов, несчастный прошёл тысячу и уже в самом конце упал на землю без чувств. Два медика, ожидавшие с фельдшерами

этого момента, подбежали к упавшему, привели его в чувство, поставили на ноги, — и снова барабан загремел, и снова посыпались удары на истерзанную спину. Всего он вынес три тысячи ударов. Когда несчастный непризнанный герой, пожертвовавший собой за дело чести, не допустивший безнаказанно ругаться над личностью своею, проходил третью тысячу, то несмотря на отвращение, преодолев себя, посмотрел на мученика, — вид его был ужасен: от шеи и до конца икр — красное свежее мясо, по временам брызжущее кровью, избито в биток и местами висит кусками, вероятно, многие кусочки отброшены от тела, на спине висел большой шматок содранной кожи; ступни же и конец ног до избитых икр бросались в глаза разительною голубоватою белизною, как мрамор с голубым отливом. Тищенко беспрестанно падал без чувств, и в конце третьей тысячи поднять его не смогли. Его отвезли в госпиталь, чтобы возвратиться к жизни и снова подвергнуть истязанию, провести через две остальные тысячи. Но через два дня Тищенко умер”.

— На тех же вечерах, — говорил между тем Дубельт, — студент Филиппов предлагал заняться разработыванием статей о современном состоянии России и печатать их в домашней типографии. Что вы на это скажете?

— Филиппов делал такое предложение... Но вы говорите о домашней типографии, а я о печатании никогда и ничего не слышал у Дурова... да и нигде. Об этом и помину не было. Филиппов же предложил литографию. Это мне совершенно памятно... Он просто приглашал заняться разработкой статей о России...

— Давно ли вы знакомы с Филипповым? — спросил Дубельт.

— Я познакомился с Филипповым прошлым летом на даче, в Парголове. Он ещё очень молодой человек, горячий и чрезвычайно неопытный, готов на первое сумасбродство и одумается только тогда, когда беды наделает. Но в нём много очень хороших качеств, за которые я его полюбил: честность, изящная вежливость, правдивость, неустрашимость и прямодушие. Кроме того, я заметил в нём ещё одно превосходное качество: он слушается чужих советов, чьи бы они ни были, если только сознаёт их справедливость, и тотчас же готов сознаться в своей ошибке и раскаяться в ней, если в том убедят его. Но горячий темперамент его и ранняя молодость часто опережают в нём рассудок... Да, кроме того, есть в нём ещё одно несчастное качество — это самолюбие или, лучше сказать, славолюбие, доходящее в нём до странности. Он иногда ведёт себя так, как будто думает, что все в мире подзревают его храбрость, и я думаю, что он решился бы соскочить с Исаакиевского собора, если бы кто-нибудь стал сомневаться, что он не бросится вниз, струсит... Я говорю это по факту. Я боялся холеры в первые дни её появления. Ничего не могло быть приятнее для Филиппова, как показывать мне каждый день и каждый час, что он нимало не боится холеры. Единственно для того, чтобы удивить меня, он не остерегался в пище, ел зелень, пил молоко и однажды, когда я, из любопытства, что будет, указал ему на ветку рябиновых ягод, совершенно зелёных, и сказал, что если съест эти ягоды, то холера придёт через пять минут, Филиппов сорвал всю кисть и съел половину, прежде чем я успел остановить его. Эта детская безрассудная страсть, достойная сожаления, к несчастью, главная черта его характера. Из того же самолюбия он чрезвычайно спорщик и любит спорить обо всём. Несмотря на то, что он образован и вдобавок специалист по физико-математическим предметам, у него мало серьёзных выработанных убеждений... Предложение его почти все приняли весьма дурно. Мне показалось, что половина присутствующих только оттого тут же не высказались против предложения, что боялись, что другая половина заподозрит их в трусости, и хотели отвергнуть предложение не прямо, а каким-нибудь косвенным образом. Начались толки. Всякий представлял неудобства, многие молчали. Больше всех говорили Момбелли и Филиппов... Но не помню, поддерживал ли Момбелли Филиппова. Мало-помалу приятельский тон нашего кружка расстроился. Дуров ходил по комнате, хандрил. Некоторые уехали сразу после ужина. Наконец, досада Дурова на Филиппова излилась в припадке. Он завёл Филиппова в другую комнату, придрался к какому-то слову и наговорил дерзостей. Филиппов вёл себя благородно, поняв, в чём дело, и не

отвечал запальчиво... На другой день брат объявил мне, что он не будет ходить к Дурову, если Филиппов не возьмёт назад своего предложения. Это он, помнится, объявил и Филиппову. Когда собрался в другой раз, я попросил, чтоб меня выслушали, и отговорил всех. Все как будто ждали этого, и предложение Филиппова было откинуто... Потом я был очень занят у себя дома литературной работой, виделся с очень немногими из моих знакомых, да и то мельком, но слышал, что вечера совсем прекратились.

Достоевский лукавил. Он знал, что готовый типографский станок в разобранном виде находился у Филиппова. По тому, что слушали его, не перебивая, Фёдор Михайлович догадался, что станок жандармы не нашли. Иначе не стали бы слушать так терпеливо его байки. Вопрос князя Гагарина о Черносвитове, последовавший сразу после того, как он замолчал, убедил Достоевского, что о типографском станке комиссия ничего не знает.

— Расскажите, когда и как вы познакомились с Черносвитовым? — спросил князь Гагарин.

— Я встретил его в первый раз у Петрашевского, никогда не видел его прежде и видел его не больше двух раз, — быстро и бодро ответил Достоевский.

— На собрании у Петрашевского Черносвитов говорил, что Восточная Сибирь есть отдельная страна от России и что ей суждено быть отдельной империей, причём звал всех в Сибирь, говоря: “А знаете что, господа, поедете все в Сибирь — славная страна, славные люди...”

— Слова эти припоминаю... Но только не помню, чтобы Черносвитов давал им подобный смысл. Он говорил, что восточный край Сибири действительно страна как бы отдельная от России, но сколько я припомню, в смысле климатическом и по особенной оригинальности жителей. Такого же резкого суждения, что Сибирь станет отдельной империей, я решительно не слышал от Черносвитова и такого смысла в словах его, по моему мнению, не заключалось.

— Вы однажды предупредили Спешнева, что вам кажется, что Черносвитов шпион. Объясните, какие разговоры Черносвитова внушили мысль, что он шпион?

— Не особенное что-нибудь из разговора Черносвитова, но всё в его словах внушало мне эту, впрочем, мгновенную мысль... Мне показалось, что в его разговоре есть что-то увёртливое. Он как будто себе на уме... Видел Черносвитова после того всего один раз, я даже и позабыл моё замечание.

— Объясните нам, — попросил вежливо Дубельт, — с которых пор и по какому случаю проявилось в вас либеральное или социальное направление?

— Со всею искренностью говорю, что весь либерализм мой состоял в желании всего лучшего моему отечеству, в желании безостановочного движения его к усовершенствованию. Это желание началось с тех пор, как я стал понимать себя, и росло во мне всё более и более, но никогда не переходило за черту невозможного. Я всегда верил в правительство... Злобы и желчи во мне никогда не было. Мною всегда руководила самая искренняя любовь к отечеству, которая подсказывала мне добрый путь и оберегала от пагубных заблуждений. Я желал многих улучшений и перемен. Я сетовал о многих злоупотреблениях. Всё, чего хотел я, это чтоб не был заглушён ничей голос и чтобы выслушана была, по возможности, всякая нужда. И потому я изучал, обдумывал сам и любил слушать разговор, в котором бы знающие больше меня говорили о возможности некоторых перемен и улучшений. Если желать лучшего есть либерализм, вольнодумство, то в этом смысле я, может быть, вольнодумец.

— Значит, вы признаёте, что вы вольнодумец? — спросил Дубельт.

— Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своём и любовь к России и сознание, что никогда ничем не повредил ей... В том ли проявилось моё вольнодумство, что я говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают долгом молчать, не потому, чтобы опасались сказать что-нибудь против правительства,

но потому, что, по их мнению, предмет такой, о котором не принято говорить громко. Но зачем же мы сами так настроили всех, что на громкое откровенное слово смотрят, как на эксцентричность! Моё мнение, что если бы все были откровеннее с правильностью, то было бы гораздо лучше для нас самих. Мне всегда было грустно видеть, что мы все как будто инстинктивно боимся чего-то, что излишнее умолчание, излишний страх наводят какой-то мрачный колорит на нашу обыденную жизнь, в которой кажется всё в безрадостном неприветливом свете, и, что всего обиднее, колорит этот ложный, весь этот страх беспредметен, напрасен, все эти опасения — наша выдумка. Я всегда был уверен, что сознательное убеждение лучше, крепче бессознательного, неустойчивого, колеблющегося, способного пошатнуться от первого ветра, который подует. А сознания не высидишь и не выживешь молча. Сами мы бежим от общения, дробимся на кружки или черствуем в уединении. А кто виноват в этом положении? Мы, мы сами и не более никто... Я так всегда думал...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ДОПРОС ПЕТРАШЕВСКОГО

Когда на следующий день Петрашевского повели на допрос, он решил, что послание его прочитано, и готовился вести по нему разговор, вспоминал, что писал в горячке, старался предугадать вопросы, искать ответы, но, войдя в комнату, где располагалась комиссия, увидел на столе перед штатским следователем на бумаге куски окраски и растерялся.

— Вы по-прежнему намерены молчать? — строго спросил князь Гагарин, но за строгостью его чувствовалось торжество победителя.

— Я готов отвечать.

— Тогда скажите нам, говорит ли вам что-нибудь это? — обвел князь рукой куски окраски с нацарапанными на них словами.

— Говорит.

— Это вы писали? — поднял лоскут генерал Дубельт и показал Петрашевскому.

— Я.

— С какой целью?

— Хотел предостеречь других арестованных в отношении моей личности.

— Чем вы писали?

— Зубом вентилятора... Отломил и царапал.

— Итак, вы сознаётесь в том, что пытались вступить в сговор с вашими соучастниками преступления путём переписки на окраске?

— Нет, — быстро ответил Михаил Васильевич, а потом заговорил медленно, обдумывая каждое слово. — Писанное мной на окраске комнаты ни в какое доказательство принято быть не может. Это было только выражение моих мыслей, и как на основании статьи Уголовного судопроизводства: “Содержащиеся под стражей до объяснения приговора акты совершать могут”, — ясно показывает, что выражать мысли можно. Но я сознаюсь в порче казённого имущества во время моего пребывания под стражей. — Петрашевский взглянул на писаря, быстро записывающего его ответ, и медленно продиктовал, — а именно: отколке квадратной четверти окраски и вырывании зуба вентилятора. За порчу окраски комнаты следует на мой счёт ту стену, от которой она отбита, перетереть и перекрасить, ровно, как и вентилятор исправить. Чтоб так было поступлено, того требуют законы справедливости и нравственности — так желаю и я, ибо ничего незаконного, несправедливого и безнравственного никогда не желал.

— Понятно... Расскажите, когда, где и каким образом вы познакомились с Черносвитовым? — вкрадчиво спросил генерал Дубельт.

Петрашевский вздрогнул при имени Черносвитова, метнул взгляд в сторону Дубельта и машинально повторил, почти воскликнул:

— Черносвитовым?

Дубельт кивнул.

“Значит, Черносвитов?” Вспомнилось широкое, скуластое лицо Черносвитова, с монгольскими глазами, с подкрученными вверх усами. Верно угадал Достоевский. А он не верил, что Черносвитов провокатор. Вот зачем тот вынохивал о тайном обществе, планы бунта предлагал. Всё им известно. Не надо скрывать ничего о Черносвитове.

— Черносвитова привёз ко мне в одну из пятниц Пётр Латкин, купеческий сын...

— Что за человек Черносвитов? Каким он вам показался? Не чувствовали ли вы в нём желания бунта? — спросил на этот раз князь Гагарин.

— С полным чистосердечием могу сказать: Черносвитов желал возмущения народного и не скрывал этого.

— Нам известно, что в одну из пятниц, по уходе гостей, Черносвитов, оставшись наедине с вами и Спешневым, между прочим, говорил, что не может быть, что в России нет тайного общества, доказывая это пожарами в 1848 году и происшествиями в низовых губерниях. Так ли это?

— Подтверждаю... Сказано это было Черносвитовым.

— Когда он вас со Спешневым пригласил к себе, и вы отправились к нему, по дороге Спешнев говорил, что он будет выказывать Черносвитову себя главою целой партии. Объясните эти слова Спешнева и расскажите, что происходило у Черносвитова и в чём состояли ваши разговоры?

— Когда мы шли к Черносвитову, я спросил у Спешнева, не известно ли, что хочет им объявить Черносвитов. Он ответил, что разговор пойдёт о серьёзном деле, и сказал мне, что для важности он хочет объявить себя главою партии коммунистов, а что я пусть буду, чем есть, то есть человеком, желающим мирной реформы и усовершенствования общественного. Целью же своей он полагает бунт крестьян. Я поражён был этим и сказал, что незачем это делать, и был вообще этим рассержен...

— Нам известно, что когда вы пришли к Черносвитову, то он, усадив вас на диван и сам сев против вас, сказал: “Ну вот, господа, теперь дело надо вести начистоту”. Тогда вы отозвались: “Ну да”. И Черносвитов изложил план восстания, говоря, что сначала надо, чтоб вспыхнуло возмущение в Восточной Сибири. Туда пошлют корпус, но едва он перейдёт Урал, как станет Урал, и посланный корпус весь в Сибири останется, что с четырьмястами тысячами заводских можно кинуться на низовые губернии на землю донских казаков, что на потушение этого потребуются все войска, а если к этому будет восстание в Петербурге и Москве, так всё и будет кончено. Был ли такой разговор?

— Слова Черносвитова подтверждаю... Но прошу учесть, что это были только слова. Никаких действий никто не предпринимал и предпринимать не собирался.

— Значит, никто ничего предпринимать не собирался? — улыбаясь добродушно, вновь своим вкрадчивым голосом переспросил Дубельт.

— Да.

— Взгляните, пожалуйста, на этот документ, — Дубельт протянул лист, исписанный мелким почерком Спешнева.

Петрашевский стал читать про себя: “Я, нижеподписавшийся, добровольно, в здравом размышлении и по собственному желанию поступаю в Русское общество и беру на себя следующие обязанности, которые в точности исполнять буду”. Это было то самое заявление о вступлении в тайное общество, которое Спешнев показывал Достоевскому.

— Знаком вам этот документ? — спросил Дубельт, когда Петрашевский вернул ему лист.

— Нет, — покачал головой Михаил Васильевич.

— Знаете, кто его написал?

— Догадываюсь...

— Что вы можете сказать по этому поводу?

— Думаю, написан проект недавно. Он даже не закончен... И соотнести этот акт с законами, то это единственное свидетельство об умысле бунта... Наказать за это нельзя, вреда обществу не было. Вот всё, что могу сказать...

— А вы утверждали, что никто ничего не замыслил.

— У Спешнева не так давно умерла женщина, которую он страстно любил. И у него с тех пор возникла некоторая досада на жизнь. Думаю, что этот проект Русского тайного общества есть одна из форм, придуманных им для самоубийства...

— Допустим, что это так, — чуть насмешливо сказал Дубельт. — Нам известно, что в декабре прошлого, 1848 года на собрании у вас в пятницу вы сказали Спешневу: “Останься, пожалуйста, попозже. Момбелли хочет переговорить с тобой”. Объясните, о чём Момбелли хотел говорить со Спешневым?

— Да, я Спешнева остановил, чтоб познакомить его с Момбелли. О желании Момбелли я в то время не знал.

— Когда Спешнев и Момбелли остались у вас, и вы пригласили их в свой кабинет, то Момбелли, предварив, что чем бы ни кончился разговор, но чтобы он остался между вами, сказал, что людей вообще развитых, просвещённых и с передовыми понятиями в России очень мало и те большею частью не имеют никакого веса и авторитета в обществе, так что им и хода никакого не дают, и потому предлагал устроить из тех просвещённых людей общество, не тайное, а вроде товарищества, в котором бы каждый поддерживал друг друга. Был этот разговор?

— Да...

— Сделав предложение об учреждении товарищества, Момбелли спрашивал у вас и у Спешнева мнения по этому поводу. Спешнев отозвался, что не имеет на этот счёт положительного мнения, а вы сказали, что вы фурьерист и знаете пользу всякой ассоциации...

— Про слова Спешнева ничего сказать не могу, а свои признаю.

— Потом вы договорились собраться у Спешнева для обсуждения этого предмета и привести с собой по одному человеку. Спустя два дня вы были у Спешнева, где собирались все лица, избранные в состав товарищества, рассуждали о выгодах солидарности, о способах устройства общества и о составе комитета из людей с идеями, которые могли бы двинуть общество вперёд на других началах. Кто предназначался в состав упомянутого комитета, и какие предлагались способы к устройству общества?

— В комитет мы хотели войти сами, но не составили его, и товарищество не состоялось.

— Спешнев на том же собрании предлагал составление политического общества, чтобы воспользоваться переворотом, который, по его мнению, должен был сам собой произойти в России через несколько лет, как это случилось в западных государствах. Так ли это было?

— Я помню, что Спешнев говорил, что переворот может случиться через несколько лет... Предлагал ли он политическое общество составить — не помню...

— Значит, не помните? — усмехнулся Дубельт. — А нам известно, что тогда же Спешнев читал составленный им план тайного общества, содержание которого заключалось в том, что есть три внеправительственных пути действия: иезуитский, пропагандный и восстание. Каждый из них неверен, и оттого больше шансов, если взять все три дороги, а для этого надо учредить один центральный комитет, задачи которого будут в создании частных: комитета товарищества, комитета для устройства школ пропаганды фурьеристской, коммунистической и либеральной, и, наконец, комитета тайного общества для восстания. Какие были приняты меры к приведению этого плана в исполнение?

— Слова Спешнева подтверждаю, но мер не было принято.

— Самые приближённые к вам люди показывают, что вы в разговорах своих называли Государя Императора богдыханом. Было дело?

— Было. Называл...

— В бумагах ваших найдено черновое письмо к неизвестному в виде описания путешествия, которое начинается так... — Князь Гагарин взял лист со стола и прочитал: — “С тех пор, как я оставил наше смрадное отечество, где нет возможности не говорить думать, а кажется, дышать свободно!” Объясните, когда и кому писано это письмо?

— Не припоминаю.

— Антонелли показывает, что при разговорах ваших с ним он узнал, что вы, желая вести пропаганду, старались своих приверженцев поместить учителями в разные учебные заведения и с этой целью сами держали в университете пробную лекцию и были одобрены, но профессор Ивановский донёс, что вы желаете вступить учителем, чтобы распространять между студентами идеи социализма, и вам учтиво отказали. Так ли это?

— Показания Антонелли подтверждаю. От желания пропаганды не отрицаюсь...

— Вы обвиняетесь в распространении идей фурьеристского толка. И сейчас подтвердили это. Объясните нам, чего вы хотели добиться? — спросил князь Гагарин.

— Против обвинения в распространении идей фурьеристского толка скажу, что толка никакого не знаю, знаю только единственно систему Фурье, которой многие идеи признаю хорошими.

— Что же это за система?

— Система Фурье есть не что иное, как изложение способов соединения выгод частного хозяйства с выгодами хозяйства в складчину, общинного.

— Для кого выгоды? — уточнил Гагарин.

— Фурье понял, что большая часть страданий людей происходит от не-правильности их развития и что поэтому источника всего худого не следует искать в природе человеческой, но в самом устройстве житейских отношений. Когда будут сделаны эти отношения правильными, будут устранены все вредные явления.

— Как это сделать?

— Чтоб это сделать, надо: 1. Чтоб выгоды всех были между собой тесно связаны. 2. Чтоб было довольство материальное — обилие средств удовлетворения потребностей. 3. Чтоб все в людях способности были правильно развиты, употреблены и направлены. Когда Фурье такой разбор сделал, ему уж нетрудно было прийти к мысли о фаланстере, то есть общине, в которой соединялись бы все удобства частного отдельного хозяйства в складчину...

— Такое невозможно! Это преступные мысли, преступные деяния... — сделал вывод князь Гагарин.

— Не уголовному следствию рассматривать это дело должно, а учёным. Пусть нарядится учёная комиссия из профессоров университета, академий, людей образованных от разных министерств, и дозвоьте нам составить комитет для защиты нашего убеждения.

— Ну да, мы сейчас учёных соберём и будем нянчиться с вами... — ехидно бросил генерал Набоков.

— Не нянчиться, а государственное дело делать! — перебил его строго Петрашевский. — Прошу вас, господа следователи, объявить Его Императорскому Величеству, что здесь, в тиши заключения, разбирая обвинение, клевету чёрную, помысел небывалый, на меня возведённый, убедился я ещё сильнее прежнего, что первая необходимость земли русской есть справедливость — вот надёжный оплот общественного порядка.

— Мы это здесь уже слышали! — усмехнулся Набоков.

— России нужно введение адвокатов и суда присяжных. В течение моего заключения я эти вопросы обдумал совершенно и придумал способы их введения, без изменений коренных в судопроизводстве, сохраняя все отношения между условиями в том виде, как до сих пор существовали, и неде-ли через четыре могу их представить совершенно обработанными...

— Это невозможно! — остановил его князь Гагарин. — И в России никогда не будет.

А генерал Набоков засмеялся:

— Может, нам доложить Его Императорскому Величеству, чтоб он вас в министры назначил или доверил законы писать?

— Довольно на сегодня, — объявил князь Гагарин, поднимаясь. — Отведите обвиняемого в каземат.

Петрашевский встал со стула и вдруг произнёс громко:

— Господа следователи! Прошу внимания. Я хочу сделать заявление!

Генералы переглянулись, и князь Гагарин кивнул, разрешая говорить.

— Считаю своим долгом обратить ваше внимание на моих товарищей по заключению и просить вас позволить им чтение книг, прогулку в саду два раза. Уединённое заключение в людях с сильно развитым воображением и подвижной нервной системой может произвести умственное помешательство. Особенно пагубное влияние заключение может иметь на Достоевского, страдавшего и раньше нервическими припадками, на Момбелли, человека склонного к ипохондрии, и на Ханькова, человека с пламенным воображением и весьма нервного... Не забудьте, что большие таланты, а талант Достоевского не из маленьких в литературе, есть собственность общественная, достоинство народное...

— Нам виднее, как поступать с заключёнными, — хмуро ответил князь Гагарин. — Отведите обвиняемого в каземат...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ ЭШАФОТ

Утром двадцать второго декабря Достоевский проснулся до рассвета. Спал, как всегда, беспокойно, поднялся с постели с привычной теперь тоской, сутулясь, подошёл к окну, влез на подоконник и открыл форточку. Свежий воздух дохнул ему в лицо. Фёдор Михайлович жадно потянул его в себя, словно надеясь, что морозный воздух рассеет его тоску.

На улице было ещё темно, но почему-то светлее, чем вчера в это же время. Достоевский догадался, что ночью выпал свежий снег и вся земля покрыта пушистым снегом. Вспомнилось, как мальчишкой любил он бегать по такому мягкому, лёгкому снегу, утопая по колени. На колокольне Петропавловского собора зазвучали тонкие переливы колоколов и донёся бой часов. Половина седьмого. Когда звуки эти замолкли, послышались за окном чьи-то озабоченные голоса. Фёдор Михайлович заинтересовался, остался на подоконнике, прислушался. На улице началось какое-то необыкновенное движение. Темнота разжижалась быстро. Светало. И чем светлее становилось на улице, тем беспокойнее нарастало движение в крепости. Скрип снега под колёсами долетел отдалённый, и через некоторое время из-за собора показались кареты. Они шли и шли одна за другой, и останавливались неподалёку от собора. Вслед за ними выехал большой отряд конницы. Жандармы... Неужели за ними? Сердце забилося...

В коридоре тоже света слышалась. Начали гремять засовы, хлопать двери. Фёдор Михайлович спрыгнул с подоконника. Стал с волнением ждать, что будет дальше. Зазвенели ключи возле его двери, вошёл офицер с солдатом. Солдат держал в руках его одежду, в которой он был арестован. Кинул на койку.

— Одевайтесь, — строго и хмуро буркнул офицер. — И чулки наденьте, холодно! — кивнул он на кровать.

Солдат вместе с одеждой принёс тёплые толстые чулки.

— А что случилось? Закончено дело? Освобождают?

— Переодевайтесь, не мешкайте, — снова буркнул офицер и двинулся к двери. Солдат за ним.

Достоевский переоделся торопливо в прохладную одежду. Сапоги на толстые чулки не лезли. Еле натянул, потоптался на месте, разминая сапоги.

Ждать пришлось недолго. Вернулся солдат и торопливо вывел на крыльцо. Фёдор Михайлович по пути оглядывался, надеясь увидеть кого-нибудь из товарищей. В коридоре света, но никого из заключённых не видно. Едва вышли на крыльцо, как к нему тут же подкатила карета, визжа колесами по снегу. Следов от колёс у крыльца было много, видно, не первого его усаживали в карету. Рядом с ним примостился солдат, захлопнул дверь, и карета отъехала, но через минуту остановилась. Окно кареты сбоку было затянуто толстым слоем инея. Ничего не видно. Только слышны разговоры, топот копыт, скрип снега. Стояли недолго, тронулись, покатали довольно быстро.

— Куда мы едем? — повернулся Достоевский к солдату.

— Не могу знать...

Фёдор Михайлович отвернулся к окну и стал соскабливать ногтем иней со стекла, дышать на него. Протаял дырочку и прищипнул глазом. Увидел каменные дома, прохожих на тротуаре. Люди останавливались, глядели на необычный поток карет, сопровождаемый эскадроном жандармов. Въехали на мост через Неву. Стекло быстро затягивало плёнкой иней, и Достоевский поминутно оттаивал дырочку, жадно смотрел на улицу, на прохожих, на густой утренний дым над крышами. Ветра не было. Дым из труб столбами поднимался вверх. Карета вскоре остановилась.

Солдат вылез, выпрыгнул в снег и приказал:

— Вылезайте! Прибыли!

Достоевский, жмуясь от ослепительного снега, выбрался из кареты и остановился, ошеломлённый чудесным зимним утром. Воздух был свеж, чист. Фёдор Михайлович замер с улыбкой, не замечая войск, четырёхугольником окруживших площадь, людей на валу, карет, жандармов. Очнулся он тогда, когда солдат грубо ухватил его за локоть и подтолкнул со словами:

— Вон туда ступайте!

Достоевский увидел посреди площади деревянную квадратную постройку, помост с лестницей. Понял, что это эшафот. Возле него толпой стояли бородатые люди.

Не сразу узнал в них Фёдор Михайлович товарищей по несчастью, потрясён был страшной в них переменой. Худые, измученные, бледные. Особенно не узнать Шпешнева. Раньше был он красавец. Сильный, цветущий. Теперь глаза у него ввалились, синие круги под ними, щёки и лоб жёлтые. Волосы длинные, большая борода. “Неужели и я таков?” — заныло сердце. Достоевский шёл к ним, всё убыстряя шаг. Навстречу ему отделился человек. Фёдор Михайлович узнал в нём Дурова. Они обнялись. Обнимали его и другие, спрашивали что-то. Он кивал, сдерживая слёзы.

— Теперь нечего прощаться! Становите их, — раздался крик.

Кричал генерал. Он подскочил на коне. Сразу же появился чиновник со списком и начал громко выкрикивать фамилии, указывая, где становиться. Первым поставили Петрашевского, за ним Шпешнева, Момбелли. Достоевский оказался в середине. Когда всех выстроили в ряд, подошёл высокий чёрный священник с крестом в руке и торжественным голосом объявил:

— Сейчас вы услышите справедливое решение вашего дела. Последуйте за мной!

Он, не оглядываясь, пошёл вдоль рядов войск по глубокому снегу.

Все гуськом двинулись за ним. Шли, переговариваясь:

— Куда нас ведут? Что сейчас будет?

— Слышал ведь, приговор...

— И что нам будет?

— На каторгу... В рудники должно...

— А эшафот? Зачем эшафот? И столбы?

— Какие ещё столбы?

— А вон...

Действительно, неподалёку от эшафота врыты в землю три столба.

— Не на каторгу нас, братцы! Расстреляют... Привязывать будут к столбам...

— Не посмеют! Не может быть!

— Они посмеют. Они все посмеют... Царю не в первый раз...

— Как же так?! Неужели конец?..

Священник поднялся по ступеням на эшафот. Петрашевцы взошли следом, сгрудились посреди. Солдаты, сопровождавшие их во время обхода войск, выстроились на эшафоте позади арестантов. Чиновник со списком вновь начал выкрикивать фамилии, выстраивать. На этот раз в два ряда. Возле каждого оказался солдат.

— На кра-ул! — рявкнула команда в отдалении.

Несколько полков, окруживших площадь, одновременно стукнули ружьями, встав по стойке смирно.

— Шапки долой!

Арестанты не поняли, что это относится к ним, и не шелохнулись.

— Шапки снять! — крикнул офицер раздражённо.

— Снимите с них шапки! — это уж солдатам.

С Достоевского сорвал шапку стоявший сзади солдат.

Пока обнимались, брели по площади, холода не ощущалось, но на эшафоте, когда расставляли в два ряда, стало зябко. Без шапки мороз сразу стянул голову. Фёдор Михайлович съёжился, сеутулился, втянул голову в плечи. Не заметил, как на эшафоте появился чиновник в мундире. Увидел его, когда он неожиданно зычным голосом начал читать приговор суда. Читал долго, перечислял вину каждого. Сердце ныло, стучало. Неужели конец, неужели всё?.. Жадными глазами смотрел на толпу, на дым над крышами, на ярко блестящие на солнце главы собора. Холодом стягивало не только голову, но и сердце. А над площадью разносились слова:

— Генерал-аудиториат, рассмотрев приговор Военного суда по полемому Уголовному уложению по делу подсудимого Бутаевича-Петрашевского и его товарищей, подтверждает этот приговор и полагает: всех сих подсудимых, а именно титулярного советника Бутаевича-Петрашевского, не служащего дворянина Спешнева, поручиков Момбелли и Григорьева...

Достоевский прикрыл глаза, ожидая своего имени.

— ...отставного поручика Достоевского, — выкрикнул чиновник.

Сердце дрогнуло. Фёдор Михайлович открыл глаза, снова взглянул на толпу людей на валу. Может быть, брат здесь? Слышит...

Чиновник закончил выкрикивать фамилии и объявил:

— ...подвергнуть смертной казни расстрелянием! И девятнадцатого сего декабря государь император на приговоре собственноручно написать соизволил: “Быть по сему!”

Он замолчал, и сразу по площади прокатилась барабанная дробь. На помост снова поднялся чёрный священник. На этот раз с Евангелием и крестом.

— Братья! Перед смертью надо покаяться... Кающемуся Спаситель прощает грехи. Я призываю вас к исповеди!

Священник в ожидании замолчал, но никто из осуждённых не двинулся к нему. Священник растерялся и снова выкрикнул:

— Кающемуся Спаситель прощает грехи!

Но никто снова не шелохнулся. Священник медленно обвёл глазами осуждённых. Достоевский, встретившись с ним взглядом, смущённо и виновато отвернулся, а Петрашевский насмешливо хмыкнул, глядя в глаза священнику. Растерянный священник стоял посреди эшафота.

— Батюшка! — крикнул ему генерал, сидевший на коне. — Вы исполнили всё, вам здесь нечего делать!

Священник неуклюже повернулся и сошёл вниз, а на эшафот тотчас же поднялись солдаты со свёртками и стали обряжать осуждённых в длинные белые балахоны с капюшонами. Рукава балахонов болтались чуть ли не до земли. Трёх — Петрашевского, Григорьева и Момбелли — солдаты подхватили под руки, свели с помоста и двинулись к столбам. Поразило то, что все трое безропотно шли навстречу смерти, послушно стали у столбов и молча, терпеливо ждали, когда их привяжут. Напротив выстроился взвод солдат с ружьями.

— Колпаки надвинуть на глаза! — скомандовал офицер.

Солдаты суетливо закрыли лица осуждённых капюшонами и торопливо отбежали в сторону.

Офицер что-то негромко скомандовал, и взвод вскинул ружья, целясь в Петрашевского, Момбелли и Григорьева.

Момент был ужасен. Достоевский закрыл глаза. Сердце готово было взорваться. В ушах звенело от тишины. Удар! Грохот! Нет, это не залп! Это взорвались барабаны.

Достоевский резко вздрогнул, открыл глаза и услышал крик офицера:

— Взво-од! Отставить! Ружья к ноге!

К эшафоту быстро подлетел экипаж и остановился. Из него выскочил фельдъегерь и протянул пакет чиновнику.

Чиновник с зычным голосом открыл пакет, вытащил лист и начал читать перед выстроившимися на эшафоте узниками новый указ Императора.

— Государь Император соизволил пересмотреть приговор Военного суда по полковому Уголовному уложению по делу подсудимого Буташевича-Петрашевского и его товарищей и указал назначить: титулярному советнику Буташевичу-Петрашевскому — каторгу без срока; поручику Момбелли — пятнадцать лет каторги; не служащему дворянину Спешневу — десять лет каторги; отставному коллежскому асессору Дурову — четыре года каторги с отдачей потом в рядовые; отставному поручику Черноситову — ссылку в крепость Кексгольм...

Фёдор Михайлович Достоевский, улыбаясь, смотрел в ясное яркое небо, слушая свой приговор.

— ...отставному поручику Достоевскому — четыре года каторги с отдачей потом в рядовые...

Когда чиновник опустил лист, петрашевцы стали радостно обниматься на эшафоте, не обращая внимания, как к ним на помост поднимаются два палача в старых цветных кафтанах. За ними три кузнеца: один с кандалами в руках, другой — с тяжёлым молотком, а третий — с наковальной.

— Господин Буташевич-Петрашевский, выйти вперёд, — зычноскомандовал офицер.

Солдат, стоявший позади Петрашевского, подтолкнул Михаила Васильевича вперёд.

— На колени! — приказал офицер.

Михаил Васильевич не обратил внимания на приказ офицера. Два солдата бросились к нему и силой поставили Петрашевского на колени. К нему важно подошёл палач в цветном кафтане, обнажил шпагу и сломал её над головой Петрашевского. К нему тут же подошли кузнецы с кандалами, молотком и наковальной, опустились около него на колени, установили возле него наковальню, звеня цепью, надели на ноги кандалы и начали осторожно, потихоньку заковывать.

Петрашевский смотрел-смотрел на них, морщась, потом вдруг наклонился, выхватил молоток из рук кузнеца.

— Неумехи! — вскрикнул он. — Смотрите, как надо дело делать!

Михаил Васильевич сел на помост и начал быстро уверенно бить молотком по заклёпкам кандалов.

Скрипя по полозьям, к эшафоту подъехала кибитка, запряжённая тройкой лошадей. Из нее вылезли жандарм с тулупом в руке и фельдъегерь.

— Пора отправляться. Проходите в кибитку, — приказал фельдъегерь.

— Я ещё не окончил все дела, — возразил Петрашевский.

— Какие у вас ещё дела?

— Я хочу проститься с моими товарищами.

— Ну, это вы можете сделать.

С трудом передвигая ноги в кандалах, Петрашевский пошёл от одного узника к другому, обнимал каждого, целовал на прощание. Обнял и Достоевского, у которого на глазах видны были слёзы.

— Четыре года пройдут быстро. Чистый лист подождёт... Потом ты снова возьмёшь перо в руку... — сказал ему Петрашевский.

Михаил Васильевич, гремя кандалами по ступеням, спустился к кибитке, где у распахнутой двери его ждал жандарм с тулупом, остановился у двери, повернулся к узникам и поднял вверх руку.

— Прощайте, более мы уже не увидимся!

Он поклонился всем в последний раз и стал надевать тулуп. Надел, натянул на голову шапку и сказал громко:

— Ей-богу, как они умеют одевать людей! В таком костюме делаешься противен сам себе!

Жандарм подтолкнул его к открытой двери кибитки. Петрашевский влез в неё, за ним — фельдъегерь, потом — жандарм. Кучер взмахнул кнутом, и кибитка, тонко зазвенев колокольчиком, заскрипела полозьями по площади.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ПИСЬМО БРАТУ

Петербург, Петропавловская крепость
22 декабря 1849 года

Брат, любезный друг мой! Всё решено. Я приговорён к четырёхлетним работам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые...

Сейчас мне сказали, что нам сегодня или завтра отправляться в поход. Я просил видетсья с тобой. Но мне сказали, что это невозможно; могу только тебе написать это письмо, по которому поторопись и ты дать мне поскорей отзыв. Я боюсь, что тебе был как-нибудь известен наш приговор (к смерти). Из окон кареты, когда везли на Семёновский плац, я видел бездну народа; может быть, весть прошла уже и до тебя, и ты страдал за меня. Теперь тебе будет легче за меня.

Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть — вот в чём жизнь! В чём задача её. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою.

Да, правда! Та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и ещё не воплощённые мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая так же может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это всё-таки жизнь.

Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю, через четыре года будет возможность. Я перешлю тебе всё, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольётся! Да если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заточения и перо в руках.

Как оглянусь на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце моё.

Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, всё утешение моё!

Твой брат Фёдор Достоевский.

ЮЛИЯ ВЕРБА



МЕЖДУ МИРОМ И ВОЙНОЙ

У ВОЙНЫ ТРИ ЦВЕТА

И зимой, и летом у войны — три краски,
У войны три цвета: чёрный, белый, красный.
Красные пожары режут неумело
Чёрными ножами дыры в стенах белых.
Белый пепел светел в доме закопчённом.
Раненые дети — красное на чёрном.
Красные ракеты, белый выстрел дальний.
Чёрные скелеты обгоревших зданий.
В зареве рассвета город под прицелом.
У войны — три цвета: чёрный, красный, белый.

* * *

...После первой горькой чаши не закусувают
удила.
Верят: жизнь, такая яркая и вкусная,
не прошла.

ВЕРБА (АРТЮХОВИЧ) Юлия родилась в г. Грозном. С отличием закончила филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Работала редактором книжного издательства, преподавателем. Пережила обе чеченские войны. Доктор философских наук, профессор. Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей России. Работает в Волгоградском государственном техническом университете и в Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова. Живёт в Волгограде.

Как щенки, в чужие двери слепо тычутся
наугад
И надеются, что где-то путь отыщется
в райский сад.
После следующей чаши не закусывают —
просто пьют,
Если новых сил мечтанья безыскусные
не дают.
Не для слабого вторая чаша горькая:
валит с ног.
Не заметит, как окажется под горкою —
кто не смог.
После третьей горькой чаши не закусывают —
ни к чему.
Неподъёмна чаша, и не ведом вкус её
никому.
Так смешались в ней беды и боли выплески
на века,
Что никто не сможет выпить или выплюнуть
ни глотка.

БОГ ПРОСТИТ

Вдруг расколется мир пополам:
Ты однажды уйдёшь по делам
И случайно собьёшься с пути...
Бог простит.
Будешь биться, как в старом кино,
Мокрой птицей в чужое окно.
Дождь пройдёт — и она улетит.
Бог простит.
Будешь жить от звонка до звонка,
Между двух берегов, как река,
Как прилив в середине пути.
Бог простит.
Будешь медленно таять, как снег,
И исчезнешь вдали по весне.
Отзвучишь, как забытый мотив...
Бог простит!

ШАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Шальная любовь! Непослушным ребёнком
Над омутом мутным опасно скользя,
На льду нашей памяти, хрупком и тонком,
Забыла волшебное слово “нельзя”.
Забыла про ссадины, раны и шишки
И снова несётся у всех на виду
За дерзкой девчонкой, за глупым мальчишкой
По льду нашей памяти — тонкому льду...

БОРИС ОРЛОВ



НАСТЕЖЬ ВОРОТА

* * *

Рухнул занавес. Настежь ворота
Распахнули — впорхнула беда.
Из России летят самолёты,
Из России бегут поезда.

Эшафоты и плахи — вакантны.
Жизнь людей русских — ломаный грош.
И летят облака-эмигранты
Из России... Ну, что с них возьмёшь?!

* * *

Ельцин-центр. Роковая заря.
Вместо памяти — гиблая гать.
Этот город, убивший царя,
Продолжает его убивать.

Палачам он предательски мил —
Могут прежнюю линию гнуть.

ОРЛОВ Борис Александрович родился в 1955 году в деревне Живетьево Ярославской обл. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского (1977) и Литературный институт имени М. Горького (1985). Капитан 1 ранга. Автор 17 книг стихов. Лауреат Большой литературной премии России, Всероссийской премии имени Николая Гумилёва, Международной премии имени Сергея Михалкова и др.

Он лукаво название сменил,
Но оставил троцкистскую суть.

* * *

Всё в прошлом — и Гагарина полёт,
И лучшие культура и наука.
Когда есть много мнений, то вперёд
Мы движемся, как лебедь, рак и щука.

Крест-накрест заколочено окно...
И настезь дверь — ущербная свобода.
Когда есть много мнений, ни одно
Не отражает мнение народа.

* * *

Без земледельца умерла деревня.
В ней нет грачей. Зарос травой пруд.
Вокруг растёт товар — но не деревья,
А бревна иностранцам продают.

Всё оптом — за рубеж. А русских — в гетто.
Мы вечно виноваты без вины.
Остались пни да кучи грязных веток
От прежней процветающей страны.

* * *

Забыли о молитвах и о храме,
Героем стал продажный персонаж.
Сломали дом. И разбросали камни.
Чтоб где-то жить, построили шалаш.

Шалаш продут ветрами в чистом поле.
Отца избили, осvistали мать.
А камни собирают для того лишь,
Чтоб дешёво соседям продавать.

*Поздравляем нашего автора,
предводителя питерской писательской дружины
Бориса Орлова с юбилеем!*

Редакция

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ

КОРАБЛЬ В ПУСТОТЕ

РОМАН

Открыв на всякий случай багажную полку над головой, я обнаружил там свой портфель, который последний раз видел в “Аквариуме”, и немного успокоился. Может быть, и доклад имеется. Не написанный мной, кстати, в реальности. Если в портфеле ещё лежит и мой планшет, а в нём есть файл с докладом, то я могу отправить его себе же на электронную почту. Точнее, пошлю файл отсюда, а там, в своей первой жизни, его получу. Но, скорее всего, здесь другая почта и другой интернет.

— Борис Сергеевич, а ведь вы забыли свою бутылочку! — сказал Стригунов, тоже полезший за ручной кладью.

— Какую бутылочку?

— Ну, когда вы сели, у вас ещё пакет был из Duty free. Вот он.

Я заглянул на полку и увидел в уголке пакет с литровой бутылкой “Баллантайнса”.

— Вот спасибо, — пробормотал я, — а то ведь так бы и оставил.

Лосев номер три летел за границу, не забыв отовариться в Duty free, как всякий уважающий себя российский вояжёр. Значит, есть на что? Паспорт с визой-то я нашёл, а деньги? Конкретно — евро? Надо полагать, если “Аквариум” позаботился о спиртном для меня, то и командировочными в валюте обеспечил. Но искать бумажник сейчас, в этой толкотне между кресел, я не стал. Посмотрю в более подходящей обстановке.

Итак, испытание номер один, с портфелем, я прошёл. Теперь предстоит испытание номер два: получу ли я чемодан? Постою вместе со всеми у багажной ленты и, если не увижу похожего на мой, пойду так, с портфелем и бутылкой.

На паспортном контроле весёлая девушка с распущенными чёрными волосами вlepила штемпелем, напоминающим водопроводный гусак, прямоугольник “Venezia R D31” на чистую страницу моего паспорта аккуратно посередине да ещё наискосок, — фиг теперь поставишь сюда ещё один штамп. Но какая мне разница? Другого штампа в этом паспорте, может быть, и не будет. И паспорта тоже. А меня? Однако хватит о грустном. Поскольку другой реальности пока не предвидится, будем существовать в этой.

В небольшом зале выдачи багажа было всего две ленты-транспортёра, причём одну стилизовали под колесо рулетки — с красными и чёрными секторами, цифрами и надписью: “Casino di Venezia”. Как и следовало ожидать, лента оказалась нашей. Внимание, венецианская рулетка начинается! Что ж, зеркала “Аквариума” — тоже своего рода рулетка. Загадать поле, на котором приедет мой багаж? Всё какая-то чушь лезет в голову. Свой чемодан я

узнал по ручке, характерно потёртой сбоку, да ещё по колёсам с двойными ободьями. Всё остальное было упаковано в пластик, в отличие от южноморского вояжа. Ну, понятно, всё же в Европу полетел. Сам-то я не фанат упаковки, жена всегда настаивает, когда вместе летим.

Куда идти, я не знал, поэтому подождал, пока Стригунов и Лилу получают багаж.

— Колюбакин должен нас ждать у выхода, — сказал ректор. — Ага, вот и СМСка от него. Пошли.

И мы, как все остальные пассажиры, покатали чемоданы по указателю с надписями *Uscita/Exit*. Колюбакин с табличкой-биллингвой в руках “Конгресс венетологов. *Congresso dei venetologi*” выглядел, как великовозрастный придурок: в джинсовых шортах до колен, открывающих волосатые лодыжки, и застиранной футболке с мордой крылатого льва и надписью по кругу: “*VENETIARVM VNIVERSITAS. Università Ca' Foscari di Venezia*”. Он пополнел, лицо округлилось. “Пасту, наверное, жрёт”, — механически отметил я. Пока Стригунов и Лилу с ним обнимались (Лилу — с лицемерной гримаской, скрывающей брезгливость), я внимательно смотрел на него, пытаюсь угадать: какая роль ему отведена в этом сюжете? Здесь он на том месте, что занимал в Южноморске г-н Хачериди. Хачериди исчез. *Ergo?*.. Да ничего не *ergo*: в “Аквариуме”, как известно, обычная логика не работает. Когда ректор представлял меня Колюбакину, я решил поозорничать и сказал:

— Воистину, вы здесь, как корабль в пустоте.

— Простите?.. — он пристально глянул на меня. А может, и показалось, что пристально. — В каком смысле — корабль?

— В смысле — родной корабль в чужой гавани. — Я широко улыбнулся. — Нет? А вы что подумали? Вспомнили фильм “Ботинки мертвеца”?

Теперь уже Стригунов смотрел на меня недоуменно, а Глазова — с прищуром.

— Не видели? — повернулся я к ним. — Очень уж Дмитрий Евстигневич на персонажа оттуда похож. Он ещё там поёт песню про корабль в пустоте.

Герой этого фильма не был похож на Колюбакина и не пел никакой песни (она звучала за кадром). Колюбакин потарашился на меня, моргая, и отвёл глаза.

— Ну да, вы же писатель, — пробормотал он. — Предпочитаете, так сказать, образы и ассоциации.

— Точно, метафоры, — кивнул я. — Переносы. Переносы души с одного места на другое.

— Какой души?

— Моей или вашей. Вообще души объекта сравнения. Вы что же, меня не помните?

— Борис Сергеевич, оказывается, бывал в Южноморске., — натянуто улыбаясь, пояснил ректор, хотя по лицу его было видно, что лично ему это пояснение ничего в моих странных речах не проясняло.

— А-а-а... И мы там встречались?

— Встречались, — подтвердил я, но больше ничего не добавил.

Колюбакин взирал на меня исподлобья, сдвинув брови.

— Ага, ага. Вот так, значит. — Что ещё сказать, он не знал, но его выручили пришедшие на зов двуязыкой таблички другие российские делегаты. Он занялся ими и повернулся ко мне спиной.

А я так и не понял, откликнулся ли в этом Колюбакине Колюбакин, общавшийся со мною в Южноморске. Вот Лилу — откликнулась, хотя и на уровне подсознания. С этим же как-то посложнее. Лупит свои зенки на меня, а с какой задней мыслью — Бог знает. Ну, что ж, ещё не вечер, поощаем его попозже.

Когда собрались все участники из России (Кирова, кстати, среди них не было), Колюбакин предложил пройти к припаркованному напротив стоянки такси микроавтобусу “мерседес”.

— Вы будете жить здесь, на материке, в Местре, — на ходу сообщил он. — И конгресс тоже будет проходить в Местре.

— В Местре? — разочарованно протянула Лилу. — А почему же не в Венеции? Ведь ваш университет находится в центре города, мы смотрели по Гуглу!

— В университете Ка'Фоскари есть, конечно, и общежитие, и зал для конгресса, но, понимаете... в Венеции довольно остро стоит вопрос об автономии... а тут — конгресс венетологов, изучающих древних венетов... О которых иные говорят, что они предки славян... И власти решили не дразнить гусей, сбавили мероприятие в город-спутник. Чтобы, так сказать, и духу вывески “Congresso dei venetologi” в самой Венеции не было. Это, конечно, неофициальная версия. Официальная: чего вам толкаться со студентами? Учебный год-то ещё не кончился. А в Местре тихо, спокойно и т. д. Вот если бы вы были венерологи! — скаламбурил он в своём духе. — Тогда бы точно заседали в палатце и жили на берегу канала. А так... Но вы не беспокойтесь: отель недалеко от дамбы, так что Венецию вы посмотрите. Прошу вас: багаж можете разместить сзади. — И он весьма бойко заговорил с чернокожим водителем микроавтобуса по-итальянски; тот открыл заднюю дверь.

— Вишь, насобачился по-местному шпрехать, — уважительно сказал Стригунов.

Мы довольно вольготно разместились в “мерседесе” (влезло бы ещё человека четыре) и поехали. Через пару минут мы уже были в Местре. Как в невысоких парижских пригородах ничего не напоминает о Париже, так и здесь ничего не напоминало об известном всем образе Венеции. Местре был застроен двух- и трёхэтажными разноцветными домишками, по обочинам шоссе росли низкие пальмы, обципаные тополя и голоствольные пинии с плоской кроной. Людей на улицах почти не наблюдалось.

Дмитрий Евстигнеевич, сидевший рядом с водителем, обернулся ко мне и сказал вполголоса:

— Вы давеча говорили так загадочно, я не всё понял...

Я усмехнулся:

— А между тем, я практически цитировал вас.

— Вот как? Хм... “Ботинки мертвеца”... Да, я видел этот фильм. Не знаю, кто там на меня похож, но песню про корабль помню. Значит, мы и впрямь встречались? Странно, у меня вообще хорошая память на лица... Может быть, мы встречались э-э-э... скажем, в неформальной обстановке?

— Со спиртным или ещё чем-то? — уточнил я, сделав акцент на “ещё чем-то”.

— Ну... да.

— Нет, мы говорили на вашей кафедре, в рабочее время.

— Неужели? А... — Но тут что-то впереди отвлекло его от разговора. — Посмотрите направо, — громко сообщил он всем. — Это — отель Hilton Garden Inn Venice Mestre. В его конференц-зале и будет проходить конгресс.

Я повернулся к окну и даже вздрогнул — так этот “Хилтон” своими застеклёнными корпусами походил на “Аквариум”.

Между тем, мы промчались мимо.

— А почему же тогда мы едем не в “Хилтон”? — не без ревности заинтересовалась моя соседка — полная дама с короткой стрижкой, представившаяся в аэропорту фамилией из Достоевского — Голядкина.

— В “Хилтоне” дорого станет жить для пятидесяти человек, — хмыкнул Колубакин. — Четыре “звезды”. Но в отеле “Альвери”, куда мы едем, тоже неплохо — лучше, чем в общежитии. Открытого бассейна там, конечно, нет, да ведь ещё не сезон — купаться в бассейне.

— В “Хилтоне”-то хотелось бы хоть раз пожить, — вздохнул Стригунов.

— Вы будете заседать в самой лучшей части “Хилтона”! — жизнерадостно уверил Дмитрий Евстигнеевич. — Там в фойе — бесплатный кофе из автомата!

— А, так значит, кофе-брейка не будет?

— Будет и он! Организаторы обо всём беспокоились!

Реальность “Аквариума”, как всегда, искажалась причудливо, с издёвкой поворачиваясь то одним, то другим боком. Вот мелькает отель, похожий

на южноморский, и я, по свойственной людям линейной логике, уже полагаю, что всё происходящее со мной здесь — зеркальное отражение произошедшего в Южноморске, но не тут-то было! Мы проносимся мимо, оставляя сюжет с исчезновением в “Хилтоне” для какой-то другой комбинации в лабиринте. Поди их разгадай! В Южноморске мы должны были заселиться в похожий отель, а в Местре в нём будет проходить конгресс. В чём “фишка”? Какой в этом смысл? Где мы исчезнем, если исчезнем? В какой-нибудь библиотеке? Музее? На Мосту Вздохов?

Пейзаж провинциального города за окном резко сменился на индустриальный, с какими-то глухими корпусами, ангарами, складами, автосервисами, офисами, долгими металлическими заборами, закрытыми парковками и редкими жилыми многоэтажками. Примыкающая к аэропорту часть Местре была ещё похожа на Италию, хотя и не похожа на Венецию, а в этой уже не было и ничего специфически итальянского. Что-то подобное наблюдаешь, когда едешь от Кольцевой, скажем, в Строгино. Или в Химки. Промзона и промзона, хотя и без особого уродства. Ощущалось дыхание в спину промышленных гигантов, которые мы видели с самолёта при подлёте к Местре.

И, если бы не надпись “Hotel Alveri” на бетонной ограде того дома, к которому мы подкатили, окружив между офисов и складских помещений, я бы ни за что не подумал, что это отель. Четырёхэтажное желтоватое здание имело форму корабля, который сужался к носу и, соответственно, расширялся к корме. Роль форштевня выполняла винтовая лестница, переходящая в галерею на каждом этаже.

— Приехали! — объявил Колобакин. — Пожалуйте в отель. Не забывайте свои вещи.

Я вылез из микроавтобуса. Вокруг была удивительная пустота, тишина. Даже свет казался неярким, хотя всюду светило солнце. Заборы, ангары, тупики. Так вот он — корабль в пустоте? Накаркал я на свою голову в аэропорту!

— Твёрдые три “звезды”! — пообещал Дмитрий Евстигнеевич. — Гарантирую!

— Где мы вообще находимся? — осведомился я.

— А вот, посмотрите! — Колобакин указал на табличку с надписью: “Via Giuseppe Paganello 18”.

— Вы думаете, мне это что-то говорит? — Тут я вспомнил, что в мире “Аквариума” все названия со смыслом — не сразу, правда, постигаемом. — Кто такой Джузеппе Паганелло?

— Увы, не знаю. — И скаламбурил, по своему обыкновению. — Но знаю, что “погоняло” этого Джузеппе — Паганелло!

— А как переводится “Альвери”?

Он беспомощно развёл руками:

— Может, это фамилия хозяина? Надо бы спросить на ресепшене.

Мы разобрали чемоданы и потянулись ко входу. Вот он, момент истины, размышлял я. В “Аквариуме” всё произошло именно у ресепшена. Вряд ли мы здесь исчезнем, как там, да и нас пока не пятьдесят человек, но какая-то пакость непременно случится.

— Как-то сомнительно, что в этом уютге есть пятьдесят одноместных номеров, — заметил я Колобакину, хотя думал совсем о другом. — По двое, что ли, сидеть будете?

— О, не беспокойтесь, здесь сейчас почти никто не живёт. Все участники будут жить по одному — если надо, в двухместном.

Мы вошли гуськом в отель и сразу заполнили собой весь небольшой холл. На этот раз я не стал спешить к стойке — хотелось посмотреть, как регистрируются другие. Чтобы потом меня не уверяли, будто бы они не регистрировались. Я даже сделал на телефон общее фото соотечественников у стойки. И тут я увидел слева от ресепшена лобби с двумя составленными углом красными кожаными диванами, над которыми висело по картине. На них изображён был один и тот же сюжет, только с разных ракурсов: крытая галерея со львом святого Марка на бушприте, идущая весельным ходом под алым венецианским флагом. На мостике корабля отважно стояла, поднимая бокал,

разодетая и, наверное, нетрезвая синьора под красным зонтиком, догаресса, быть может, а за ней, в тени балдахина, угадывались пирующие рожки. Подойдя поближе, я понял, что вторая картина — это зеркало, в которой отражалась первая, а теперь отразился и я собственной персоной. Физиономия моя имела вид какой-то дурацкой и немного перекошенной. Что ж, немудрено — я прибыл сюда из падающего самолёта.

Повернувшись к оригиналу картины, я стал изучать её. В ней не было ничего необычного и художественно привлекательного, немного смущала только эта вылезшая на мостик догаресса. “Догаресса молодая...” Так это же из Пушкина, из его незавершённого венецианского сюжета! —

*Ночь светла; в небесном поле
Ходит Веспер золотой,
Старый Дождь плывёт в гондоле
С Догарессой молодой...*

Может быть, картина каким-то образом продолжает стихотворение Пушкина? А что, здесь, в “Аквариуме”, и не такое возможно... Если этот сюжет, как утверждают некоторые пушкинисты, называется “Марино Фальеро”, то события дальше будут развиваться так: одна из рож под балдахином оскорбит нескромную догарессу, а затем и вставшего на её защиту старика Фальеро. Дождь потребует от сената наказать дерзкого вельможу, но сенаторы ограничатся ничтожным взысканием. Тогда Фальеро примкнёт к заговору военных против венецианских патрициев, будет схвачен накануне восстания и обезглавлен. По преданию, отрубленную голову экс-дожда сбросят с вершины “лестницы гигантов” Дворца дождей.

Я вернулся к стойке. Все регистрировались чин чинком, сдавали паспорта на ксерокопирование, получали карточки. Портье вносил каждого в гостевую книгу. Ничего подозрительного. Я был последним. Мне выпал номер 203.

— Повезло, двухместный, — прокомментировал Дмитрий Евстигневич. — Я же вам говорил!

— Спросите у портье, что такое “Альвери”?

— А, сейчас. Il cliente è interessato: cosa significa “Alveri”?

Кудрявый, с седной на висках портье поднял брови и пожал плечами:

— Mi scusi, signore, non lo so, lavoro qui di recente.

— Он не знает, потому что работает здесь недавно, — перевёл Колобакин. — Попросить позвать менеджера?

— Ладно, проехали.

— Тогда прошу в лифт. Дамы и господа, заходите по четыре человека. Через час в здешнем кафе ланч. Вас приедет приветствовать представитель оргкомитета. К тому времени и словенцы подтянутся.

— А итальянцы? — зачем-то поинтересовался я.

— Они у себя дома, им спешить некуда, поэтому появятся позже всех.

Итак, размещайтесь, а я через некоторое время принесу вам материалы по конгрессу.

Комната 203 находилась в “кормовой”, широкой части отеля, на третьем этаже, то бишь на втором, если считать по-местному, ибо первый этаж у них — нулевой. Номер, действительно, был неплохой, не тесный, с лоджией, только с какой-то навязчиво-минималистической обстановкой: например, все шкафы и полки не имели дверец, и вещи, таким образом, выставлялись на всеобщее обозрение. Холодильник, он же мини-бар, впрочем, был с дверцей. Но со стеклянной.

Поставив чемодан, я первым делом проверил, есть ли у меня валюта. В бумажнике я увидел несколько зелёных стоевровых купюр, — сколько именно, даже считать не стал, всё равно не мои. Как появились, так и исчезнут при очередном перемещении.

Потом я полез в портфель в надежде обнаружить доклад и быстро нашёл среди прочих бумаг текст в пластиковой папке, озаглавленный “К вопросу об альтернативной расшифровке Птуйской надписи”.

Я взял доклад, посланный мне из астрала, и вышел на балкон. Напротив, за купой деревьев, было здание неизвестного предназначения с глухой стеной. Справа пролегла линия железной дороги и шоссе вдоль неё. И заборы, заборы. Я сел в шезлонг, вытянул ноги и стал изучать текст.

Там, как я и ожидал, излагалось то же самое, что я рассказывал Стригунову и Глазовой в самолёте, но в преамбуле имелось и нечто новое, — то, что я подчёркивал для себя в источниках или выписывал из них, но не свёл ещё воедино:

“Древнегреческие и древнеримские авторы свидетельствуют, что в эпоху античности племена, называемые венетами или венедами, проживали по всей Европе и в Азии. В обобщённом виде почти все эти сведения приводит Густынский летописец XVII века из Малороссии.

1. *Венеты в Пафлагонии* (северное побережье Малой Азии), которых в IX веке до н. э. упоминает Гомер в “Илиаде” (852). Он говорит, что Пилемен из рода *энетов* (Enetoi), предводитель пафлагонцев, пришёл со специальным отрядом на помощь осаждённой Трое. На это сообщение в дальнейшем более или менее очевидно опираются все греческие и латинские авторы, упоминающие о венетах (генетах).

2. *Венеты в Илирике*, по нижнему течению Дуная, упоминаемые Геродотом в V веке до н. э. (I, 196). Геродот тоже называет их Enetoi. Имеется и соответствующее указание в “Повести временных лет” (XII век н. э.): “Илюрик — словене”.

3. *Венеты в Верхней Адриатике*, которых также упоминает Геродот (V, 9). Латинские авторы тоже называют их венетами, и в этой связи приводят историю о том, что их после падения Трои привёл в эти местности легендарный вождь Антенор. Имя этого вождя наводит на мысль о том, что название более позднего славянского племени *анты* есть лишь видоизменённое Enetoi. По-видимому, к троянским венетам относится и *Эней*, спасшийся из развалин Трои и ставший, согласно древнеримским преданиям, пращуром основателей Рима.

4. *Венеты в Центральной и Восточной Европе*, которых в I-II веках н. э. упоминает Тацит (Ger., 64) и Плиний (IV, 97) под именем Veneti, Venethi или Venedi, а также Птолемей (III, 5) под именем Venedai. Последний упоминает также Венетский залив (возле Гданьска) и Венетское нагорье (в Мазовше или в Восточной Пруссии).

5. *Венеты в Галлии (Бретань)*, упоминаемые Цезарем, Плинием, Страбоном, Птолемеем, Кассием Дио и др. Эти венеты возвели своё поселение также в Британии, известное под названием *Venedotia*, или *Gwineth*.

6. *Venetus lacus*, по названию Боденского озера в I веке н. э., приведённому Помпонием Мела (III, 24).

7. *Венеты в Лации* (близ Рима), упоминаемые Плинием под названием Venetuliani (Nat. hist. III. 69). Археология утверждает, что арийское население присутствовало уже после переселения народов, относимого к периоду культуры полей погребальных урн на склонах Албанских гор и в римском Палатине (Д. Серджи).

В дверь постучали.

— Да!

Вошёл Колобакин.

— Вот ваш бейджик, Борис Сергеевич, вот программа, вот расписание мероприятий. А вы намерены сидеть здесь до самого ланча?

— А разве есть другие предложения?

— Есть. Наш “мерседес” сейчас поедет на Площадь Рима, чтобы забрать человека из университета и привезти сюда. Давайте воспользуемся этим и махнём с охапкой в Венецию. Я проведу экскурсию для своих.

Я насторожился: так, начинается, кажется! Не на подобную ли экскурсию позвали этрускологов после заселения в “Аквариум”? Я посмотрел в хитроватые глаза бывшего доцента, ища в них какого-то подвоха, но ничего особенного не прочитал.

— А “свои” — это кто?

— Ну, Стригунов, Глазова, вы. Вы же с ними, как я понял, в приятельских отношениях. Да и с вами мы, оказывается, в Южноморске встречались.

— А у нас что, в программе нет экскурсий?

— Есть, конечно, галопом по Европам, будут водить толпой, подгоняя. А мы ходим с чувством, с толком, с расстановкой. Я буду вашим чичероне. Так что, согласны? А то водитель уедет, и добраться быстро в Венецию будет проблематично.

— Вы же говорили, что отель недалеко от дамбы.

— Так и есть, вон она, за дорожной развязкой, которую мы проезжали, но сегодня праздник, и автобус отсюда по дамбе до Пьяццале Рома не ходит. За доставку на гостиничном минивэне запросят по четыре евро с носа. Вроде недорого, но зачем платить, если можно съездить бесплатно?

— А какой сегодня праздник?

— День святого Марка, покровителя города. В последние годы праздник оседлали сепаратисты, и на Сан-Марко двадцать пятого апреля весьма весело. Я, собственно, ещё потому хотел бы поспешить, что к вечеру там всё закончится. А нам от Пьяццале Рома до Сан-Марко нужно ещё плыть на вапоретто.

— На вапо... чём?

— На вапоретто, речном трамвае. Наземного-то транспорта в Венеции нет.

— А почему не на гондоле? Глазова вон мечтала о ней.

— Мечтать не вредно! В копеечку ей влетит! Дерут с проезжающих! Причём песен гондольеры уже не поют, включают плеер. Да и что такое гондола? Прогулочная лодка однодёсельная. Замучаешься на ней до пристани Сан-Марко плыть.

— А как же встреча с представителем оргкомитета на ланче? — спросил я, думая тем временем об ином: зачем мне избегать рисков, если я, быть может, здесь именно затем, чтобы оказаться в шкуре пропавших в Южноморске этрускологов и понять, что же с ними случилось? Какой смысл мне отказываться и торчать в отеле до утра?

Колубакин пожал плечами:

— А вам нужна эта встреча? Или, быть может, ланч? Такой, как здесь, мы и в Венеции купим, и отдадим недорого.

Допустим, оставшись, я избегну чего-то нехорошего, но разве я попал сюда, в зазеркалье “Аквариума”, от хорошей жизни? Если замаячит угроза смерти, как в первом самолёте сегодня, снова взмолюсь “Да воскреснет Бог...”, и авось пронесёт. Я отчего-то понимал, хотя мне этого никто не говорил, что молитва против бесов будет помогать не во всяких, а только в критических ситуациях.

— Ну, ладно, поехали. Это взять? — я указал на бутылку из “Дьюти фри”.

— О, “Баллантайнс”! Берите, если не жалко, не помешает. Это пропуск в любое общество. Здесь виски почти такой же дорогой, как в России. Все эти тёрки про свободный рынок товаров в Евросоюзе — полная туфта и развод лохов. Винодельческие страны всеми силами не допускают к себе напитки конкурентов. В алкомаркетах — единицы неитальянских брендов, и всё по офигенным ценам.

* * *

После Местре, оказавшегося разновидностью Химок, я уже думал, что Венеции, увиденной мной мельком в иллюминаторе самолёта, на самом деле не существует. Ну, сверху-то, да, — купола, колокольни, башни, а, небось, подъедешь поближе, и снова повылезут заборы, ангары, офисы... Но, когда пассажирский катер, он же вапоретто, отвалил, шипя поддвывая движком, от вокзальной пристани и нырнул под арочный мост, навстречу выскочила, как из подворотни, Венеция, с резными глазастыми палаццо, стоявшими пле-

чом к плечу по колени в воде. Конечно, на самом деле они стояли вровень с водой, но отсутствие набережной создавало впечатление тонущего города, что и сделало Венецию знаменитой. Парадные двери разноцветных домов выходили прямо на воду — точнее, на маленькие причалы перед дверьми, но издали эти мостки были незаметны. С первых этажей почти всех зданий напроочь осыпалась штукатурка — и вряд ли от небрежения, сказывалась убийственная влажность. Деревья здесь росли на крышах в кадках, потому что на узких улочках вдоль палаццо и десяти лишних сантиметров не имелось для зелени. Город существовал, как единое тело, в котором ничего не стояло и не лежало вразброс, одно непременно цеплялось за другое, — дугвыми мостиками, перекинутыми через улочки-каналы, каменными лесенками, карабкающимися с уровня на уровень, верёвками с бельём, протянутыми от дома к дому. Местре был управляемым хаосом индустриальной эпохи, Венеция — управляемой гармонией эпохи средневековой.

Я не знал, видел ли я настоящую Венецию или её кинематографический образ, транслируемый “Аквариумом”, но посмотреть в любом случае стоило. Пусть, пусть это нечто вроде кремлёвского пира в честь Ходжи, но я живую слышал отдающий болотом запах местной воды (вовсе, кстати, не отталкивающий), видел, как мимо нас меланхолично плывёт экскаватор на барже, как солнце отсвечивает на лаковом боку встречной гондолы, как гондольер падает всем телом на умело направленное весло...

— Вот вам будет интересно, коли уж вы придерживаетесь версии, что венеты — это праславяне, — сказал мне Колюбакин, исполняющий роль гида (между тем, я ему не говорил, что придерживаюсь такой версии). — Знаете, что в этом пейзаже — самое славянское?

— Купола храмов?

— Ну, купола, они и в Риме купола. Нет, это приколы.

— В смысле — шутки, розыгрыши? Вы имеете в виду венецианский юмор?

— Я имею в виду выражение “поставить на приколы”. Видите эти причальные столбики для гондол, торчащие из воды? Венеции ещё не было, а они уже были — у рыбаков на островах лагуны. Знаете, как они называются по-местному? “Брикола”. Почти что “приколы”, не так ли? Запишите, дарю!

— Да я и так запомню, спасибо! Точно, точно, видел я похожие приколы на Русском Севере!

— Да они и у нас под Южноморском у лодочников есть. Везде в России есть, где имеются вода и лодки. Кстати, о венетах. На футболке у нашей соседки написано: “Siamo Veneti”, “Мы венеты”.

— Скажите ей, что мы тоже венеты.

Дмитрий Евстигнеевич повернулся к полногрудой венетке.

— Questo signore dalla Russia dice che anche i russi sono Veneti.

— О! — расплылась в улыбке та. — È fantastico! Veneti ha' creato una civiltà europea!

— Переводить не надо, понятно: мы создали европейскую цивилизацию, — сказал я и провозгласил: — Да здравствуют венеты всего мира! Long live the Venets of the world!

— Venezia per i Veneti! Il Veneto non è Italia! La patria degli antichi Veneti è l'indipendenza! — закричал в ответ парень с наброшенным на плечи ало-золотистым флагом, который доселе спокойно стоял у борта.

— Венеция для венетов! Венето не Италия! Родине древних венетов — независимость! — перевёл Колюбакин.

— А вот у нас националисты прежде, чем заявить: “Москва для москвичей!” — говорят: “Россия для русских!” — заметил я. — Это несколько иное логическое построение.

— Но: “Хватит кормить Кавказ!” — они тоже говорят. А для этих Кавказ — Рим и всё, что южнее.

— А я-то думал — южнее Неаполя.

— Неаполитанцы для них — почти как негры. А римляне, ну... как, простите, чурки.

Перед нами вырос на повороте знакомый по фотографиям треугольный крытый мост с аркадой. Стригунов и Глазова нацелили на него свои смартфоны. Наш чичероне натренированно прокомментировал:

— Мост Риальто, построенный архитектором Антонио де Понте в тысяча пятьсот девяносто первом году на месте первого деревянного моста в Венеции.

Когда мы проплыли под его здоровенным пролётом, на одном из домов левого берега, над кафе, увидели транспарант: “No mafia Venezia e’ sacra”.

— “Нет мафии в Венеции священной”, — легко перевёл я. — Правильно? А что, в Венеции — проблема с мафией?

— А где в Италии нет такой проблемы? — усмехнулся Дмитрий Евстигнеевич. — Мафия невидима, но она везде. Поэтому здесь и не любят южан.

— А мафия пришла сюда с юга? Из Сицилии, Неаполя?

— Естественно, — ответила за Колюбакина Лилу. — Наша тоже пришла с юга. Где юг — там и мафия, а где север — там работяги.

— Ну, примерно так здесь и говорят. И спрашивают: зачем нам кормить мафию?

Вапоретто боком швартовался у пристани. При виде многочисленных лавочек за ней глаза Ольги Витальевны заблестели.

— А мы не сойдём посмотреть этот красивый мост? — вкрадчиво поинтересовалась она.

Колюбакин засмеялся:

— Легко сойти с дамой на Риальто, но нелегко выйти. Не волнуйтесь, на Сан-Марко тоже полно торговцев.

— Они и дерут, небось, на вашем Сан-Марко.

— Дерут они примерно везде одинаково. Но можно поторговаться.

— Просто на Сан-Марко ларёчники вам платят процент за приведённого клиента, а здесь нет, — предположила раздосадованная Лилу. — Что я, вас не знаю?

— Ольга Витальевна! — укоризненно пробасил ректор.

Дмитрия Евстигнеевича покорило от слов Глазовой.

— Что вы такое говорите? — возмутился он. — Когда это и с кого я брал проценты?

— А вот вы в университет приводили к нам торговца мёдом, якобы вашего родственника. Я потом из окна видела, как он во дворе отдавал вам деньги. Мёд, кстати, оказался палёный.

— Ольга Витальевна, никакого родственника с мёдом я в университет никогда не приводил, — твёрдо заявил Колюбакин. — Вы меня с кем-то спутали.

— Это всё болотные видения, — сказал я на ухо Лилу. — Родственника приводил другой Колюбакин.

Она нахмурилась и передёрнула плечами.

— Холодно здесь. У нас в Южноморске теплее.

— Ничего не теплее, — возразил уязвлённый Дмитрий Евстигнеевич. — Венеция и Южноморск примерно на одной широте. Это от воды тянет холодом. Вы вон вырядились, как летом, а ещё даже не май. На меня не смотрите, я, считай, местный.

Лилу и впрямь была сильно декольтирована, а юбочка её, тесно, словно шорты, обленившая персиковой округлости чресла, едва выглядывала из-за нижнего края сиреневого жакета. Блики света от воды играли на её холёных белых ляжках, и туда же украдкой, а то и не украдкой, направлялись взгляды итальянских мужиков.

— Красота требует жертв, — хрюкнул Павел Трофимович.

— Конечно, не буду же я одеваться в мятые тряпки, как местные носатые бабы, — отпарировала Глазова. — Эти геи-кутюрье нарочно придумывают женщинам уродливые наряды, а те им верят, как дуры. Чего они своим голубеньким не шьют такую же мешковатую дрянь, как женщинам? Нет, там всё в обтяжку, попы подчёркнуты...

Стригунов захохотал.

— Здесь не принято вести такие разговоры, — пробормотал Колобакин. — Подвергнут остракизму за нетолерантность.

— Конечно, подвергнут! Гомосеки вас ещё не так построят! Будете платить налог за традиционную ориентацию!

— А вот взгляните направо, на четырёхэтажное палатко в излучине Канала, — поспешил сменить тему Колобакин, указывая на готическое здание со стрельчатыми окнами и арками галерей. — Это и есть главный корпус нашего университета. Дворец построен дожем Франческо Фоскари в тысяча четыреста пятьдесят втором году, но прожил он в нём всего неделю.

— А что так? — поинтересовался ректор.

— Инсульт. Он случился после того, как интригами врагов престарелый Фоскари был отстранён от власти в тысяча четыреста пятьдесят седьмом году.

— Я вот тоже иногда думаю, не хватил бы кондратий, когда “доброхоты” насылают проверки, — задумчиво молвил Стригунов.

Мы с Лилу переглянулись.

— И вот так постоянно, — шепнул я ей. — Вокруг летают смутные намёки на то, что я видел в Южноморске. Вы заметили, например, как “Хилтон” в Местре похож на ваш “Аквариум”? Кстати, есть предположение, что этрусколов, которые в моей реальности исчезли в Южноморске, тоже после заселения повезли на экскурсию...

— Так что же вы молчали? — растерянно спросила она.

— А когда я мог вам сказать? Прибежал этот Колобакин: машина уходит, ни на чём другом сегодня не доедете...

— О чём это вы всё время шепчетесь? — как бы в шутку, но не без подозрительности осведомился Стригунов. — У вас что, интрижка намечается?

— Берите выше: плетём козни, — ответил я, улыбаясь. — Мы же в Венеции.

— Надеюсь, не против меня?

— И не надейтесь. Хорошо, если яду в бокал не подсыплем. А вы что, ревнуете Ольгу Витальевну, Павел Трофимович?

— Что значит — ревную? — несколько смутился тот. — Какая может быть ревность? Я ректор, она — моя помощница, мы в заграничной командировке...

— Но Ольга Витальевна делегат конгресса?

— Конечно!

— Почему же мы как участники конгресса не можем переговорить тет-а-тет на профессиональные темы? — Мне не нравилась перспектива того, что он, ревнуя молодую любовницу, не даст мне возможности общаться с ней — единственным человеком, догадывающимся о тайне “болота”.

— Нет, ну на профессиональные — ради Бога... Только что же о них секретничать, мы бы тоже с интересом послушали.

— Извольте: молодая жена старого дожа Марино Фальеро слишком много внимания уделяла любовнику, о чём один патриций не преминул оповестить дожа в форме оскорбительного стихка. Дело было, когда они все плыли в гондоле, — возможно, по этому же каналу. Фальеро захотел наказать наглеца; сенат отказал. Тогда дож восстал против сената, но проиграл и в итоге лишился головы.

Ректор растерянно смотрел на меня, явно не понимая, шучу я или всерьёз.

— Да, есть такой сюжет четырнадцатого века, — подтвердил Колобакин. — На него ещё писали Байрон и Гофман. И композитор Доницетти.

— И Пушкин было начал: “Ночь светла; в небесном поле...” — да не завершил.

— И вы это рассказывали Ольге Витальевне? — усомнился Стригунов. — В чём же здесь смысл?

— Вот видите: а вы говорите, что надо вещать сразу *граду и миру*, а не кому-то тет-а-тет. Но *град* и *мир* требуют смыслов. А до них ещё надо добираться. Как вы считаете, Павел Трофимович: может быть, старому дожу не стоило обращать внимание на эти стихки?

Стригунов насушился: намёк, похоже, он понял.

Мы уже приближались к устью Большого канала, как вдруг в его створ выплыло нечто невиданное. Поначалу мне показалось, что это движется по воде многоэтажный дом, как давеча экскаватор на барже. Он закрыл своей белоснежной громадой даже величественный собор на противоположном острове. Мгновение спустя мы поняли, что это восьмипалубный круизный лайнер, медленно идущий пересекающимся курсом.

— Господи, вот левиафан! — воскликнул я. — “Титаник” отдыхает! Где же, у какого прикола это чудовище хочет швартоваться?

— А в Станционе Мариттима, неподалёку от Площади Рима, там специальный терминал для них, — объяснил Колобакин. — Если бы мы плыли по внешней акватории, то увидели бы в Санта-Кроче целое стойбище таких левиафанов. Туристы живут в них, как в отеле. Да они и есть плавучие отели: видите, при каютах имеются даже лоджии с шезлонгами.

— Вот это жизнь! — вздохнула Лилу. — Не то, что у нас, в “Альвери” этом, у черта на куличках, со шкафами нараспашку.

— Да ведь “Альвери” тоже корабль, только сухопутный, — засмеялся я. — Кстати, у меня на “корме” и лоджия с шезлонгами есть, довольно большая.

— Это у вас. А у меня в одноместном только выход на общий балкон и никаких шезлонгов.

— Ну, приходите ко мне, шезлонг в вашем распоряжении, — предложил я и, заметив быстрый косой взгляд Стригунова, добавил: — Побеседуем на профессиональные темы.

Глазова прыснула.

Пропустив левиафана, вапоретто вышел из Канала и лёг на новый курс.

— Посмотрите налево, — простёр длань над морем Дмитрий Евстигневич. — Перед нами — Палаццо Дукале, Дворец Дожей, венецианские столпы, собор Сан-Марко, знаменитая стометровая колокольня и, конечно, площадь Сан-Марко. А за Дворцом, между прочим, начинается Рива дельи Скьявони, что можно перевести как Славянская набережная. Почему она так называется, никто уже теперь толком не знает. Как вы полагаете, Борис Сергеевич, можно ли, вслед за “бриколами”, считать это Скьявони свидетельством славянского влияния в Венеции?

— Слово “Венеция” тоже, мне кажется, из этого же ряда. А как будут славяне по-итальянски?

— Slavi.

— Вот видите, а здесь “скьявони”, то есть склавины. Так славян называли в византийских источниках седьмого—десятого веков. Это как раз время образования Венеции. А в более поздние времена набережную назвали бы Рива дельи Слави.

— Неплохо вы сымпровизировали! На этом конгрессе вы положите всех на лопатки!

— Историков не положишь на лопатки. Они скользкие софисты и быстро докажут вам, что собственным ушам и глазам верить не надо.

* * *

— Если вы суеверны, не советую проходить между этими колоннами, — Колобакин указал на два монолитных гранитных столпа на набережной — святого Марка и святого Теодора. — Считается дурной приметой. На этом месте некогда казнили людей, причём ставили их лицом во-он к тем часам, напротив, на башне Оролоджо, чтобы приговорённые видели, как бегут последние минуты их жизни.

Мы не стали искушать судьбу, — впрочем, не только мы: никто из толпившихся у колонн туристов, как я заметил, не пересекал невидимую линию между ними. Гиды трудились на славу.

— А что это за святой Теодор? — поинтересовался я.

— По-нашему — святой великомученик воин Феодор Тирон. Кроме Венеции, нигде в католическом мире не почитается. Он считался главным

духовным покровителем города до того, как в девятом веке купцы Буоно и Рустико похитили в Александрии и привезли сюда мощи апостола Марка. Статуя наверху колонны, конечно, не святого Феодора: взяли торс скульптуры неизвестного римского полководца второго века, а голову — Митридата VI Понтийского, правившего Боспорским царством в первом веке до нашей эры. — Колобакин хмыкнул: — Скрестили — и вот вам Феодор Тирон.

— Да ничего, он похож на наш иконописный образ. Копье так же держит. А голова-то, стало быть, наша, керченская! — отметил я.

— Ну да! А крылатый лев на колонне святого Марка ничего не напоминает? Например, символику Боспорского царства — грифон с телом льва и головой орла? Такой, между прочим, есть и в этом соборе на мозаичном полу.

— И на гербе Крыма тоже. А венецианцы долго были православными?

— Считается, что максимум до одиннадцатого века, — ну, наверное, до разделения церквей. Точных сведений нет. Они ведь и в религиозном плане всегда держались наособицу — и от Константинополя, и от Рима. Например, глава местной католической епархии до сих пор именуется не кардиналом, а патриархом.

— А я смотрю, Дмитрий Евстигнеевич, вы здесь-то придерживаетесь официальной хронологии, а в Южноморске студентам фоменковскую пропагандировали. Выходит, в ней далеко не уедешь?

Колобакин насторожился.

— А вы что же — посещали в Южноморске мои лекции?

— Ну, не посещал, а услышал случайно из-за дверей.

— Видите ли, я одно время здесь туристов из СНГ водил в качестве гида, а для этой работы альтернативная хронология не очень подходит.

— Как выяснилось, она ни для чего не подходит, — усмехнулся я. — Ну что — идём в собор?

— Сейчас? — удивился Дмитрий Евстигнеевич. — Когда там такая движуха? — Он указал на шумящую, но скрытую от нас массивной колокольней святого Марка площадь. — Да в базилику же всё равно экскурсия у вас будет.

— Действительно, — поддержал его ректор, — народные гуляния только сегодня, а в церковь мы попадём и завтра.

Однако опыт предыдущих путешествий говорил мне: надо заходить туда, куда очень хочется, при первой же возможности, поскольку потом такой возможности может и не появиться, несмотря на все обещания.

— Нет, я сейчас в собор, простите, — определился я. — Вон и очередь небольшая. А завтра, скажем, может быть большая. Или храм закроют на санитарный день. Да мало ли! Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. А вы, если не хотите, идите к народу на площадь, только давайте договоримся, где встретимся.

— Ну... давайте под Часовой башней, — неохотно предложил Дмитрий Евстигнеевич, указывая в сторону башни Оролоджо с часами, на синем циферблате которых паслись кружком золотые знаки зодиака.

Я засмеялся.

— Между колонн вы боитесь проходить, а под роковыми часами можно?

Колобакин криво улыбнулся:

— Примета вообще-то связана только с колоннами, но, действительно... Ладно, забьём стрелку под кампанилой, но не здесь, у портика, где многовато туристов, а с другой стороны.

— Кампанила — это колокольня?

— Ну да. От “кампаны” — колокола.

— Позвоните мне на мой номер, чтобы ваш у меня отпечатался.

— Хорошо, давайте телефон, но имейте в виду, что мой оператор итальянский, и соединение вам станет в двести рублей.

— Ну, это как водится.

Приняв от него звонок, я помахал им рукой и пошёл занимать очередь на вход в собор.

Конечно, несмотря на все затейливые прибабасы вроде надстроенных готических башенок и конной квадриги над портиком, это был типичный

византийский храм — пятиглавый, с пятью же величественными порталами, вытянутый по фасаду, с несколько бочкообразными куполами. Он напоминал не Константинопольскую Софию, а Софию Киевскую. Этот тип собора, многокупольный, известный ещё в первые века христианства, особенно в Византии, впоследствии закрепился только на Руси, а здесь, в Европе, казался чужаком.

Я вошёл под древние прохладные своды. В полумраке, рассеивающемся под куполами, сияло в вечности соборного воздуха золото мозаик и росписей. На крепких плечах тысячелетних арок покоились уходящие ввысь мраморные галереи. Как всегда в подобных музейных храмах, всё немаленькое пространство базилики было хитроумно затянато бархатными канатами, и народу приходилось двигаться узковатым правым нефом. Далеко впереди, на алтарной апсиде, восседал Господь Вседержитель с греческими буквами над ним: “ΙC ΧC”. И тут, словно в унисон моим мыслям о наследии Византии, до меня донеслось протяжное пение, несомненно, православное, хотя и не русского распева — греческого, скорее. Но кто это поёт? Где? У мраморной алтарной преграды, делящей храм почти наполовину, никого не было, да и не пускали туда. Я подошёл как можно ближе к канатам, прищурился. Там, за колоннами пресвитерия, увидел я людей перед каменной сенью, они-то и пели. Как же они туда попали? Я обошёл справа алтарную преграду со статуями Иисуса Христа, Богородицы и двенадцати апостолов, поднялся по ступенькам в заворачивающий налево коридорчик, миновал его без преград и оказался прямо в алтаре. Здесь я сразу понял, что длинный престол под сенью на тёмных резных колоннах и есть гробница Евангелиста Марка. Стройный молодой священник в чёрном подряснике, стоящий на ступенях, пел вовсе не на греческом, а на церковнославянском: “Тако да погибнут грешници от Лица Божия, а праведници да возвеселятся”. Пасхальное песнопение! Поскольку батюшка произносил “е” как “э”: не “грешницы”, а “грэшницы”, не “возвеселятся”, а “возвэселятся”, я решил, что он серб или болгарин. За ним стояла группа молодых парней с рюкзачками. Православные лица, светлые, осмысленные, ни с какими другими не спутаешь. Я встал рядом, осенил себя крестным знамением.

Никогда не испытывал особых иллюзий насчёт “православного единства”, но разве не чудо, что мы, православные из разных стран, оказались в один день и час в бывшем византийском храме в Венеции и молимся сейчас вместе на понятном друг другу языке? Ладно, это совпадение, а как оценивать другое совпадение, мысль о котором только что пришла мне в голову: в начале этого Пасхального гимна есть те же слова, что и в молитве против бесов, написанной мне отцом Константином: “Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...”? Прихоть “Аквариума”? Но прихоть весьма показательная: здесь, в реальности номер три, Пасха тоже была несколько дней назад, как и в моей первой реальности. Иначе бы священник не пел Пасхального гимна. Отсюда можно сделать вывод, что события в лабиринте разные, а происходят в одно и то же время. Неясно только с “филологическим пиром” в Кремле. Хотя... ведь он тоже мог состояться 25 апреля, после Пасхи, — только году в 1947-м. Допустим, вечность “Аквариума” вертикальна — как некая игла, протыкающая календарные листочки с надписью “25 апреля”...

Между тем, священник закончил, приложился к гробнице, а за ним и мы. После я подошёл к нему под благословение:

— Христос Воскресе!

— Навистина Той воскресна! Бог да ѿа благослови! Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух!

— Я из России, батюшка, зовут Борис. А откуда вы, можно спросить?

— Од Македония! Отец Константин!

Я раскрыл рот, да так и остался на месте. Священник с некоторым недоумением посмотрел на меня, улыбнулся и повёл своих молодых паломников дальше.

Сзади меня кто-то подёргал за рукав. Я обернулся — пожилая тётя с бейджиком.

— Signore, qui non si può più stare!

Я развёл руками:

— I do not understand, — не понимаю, дескать.

Тогда она повторила на ломаном английском:

— Mister, you can't stand here anymore!

Ага, нельзя больше здесь стоять. Понятно, спасибо и на том, что допустили сюда, — может, по недосмотру. Но, очевидно, по предусмотренному кем-то или чем-то недосмотру: иначе как объяснить появление в Венеции нового отца Константина?

Я вернулся боковым коридорчиком в правый неф. Чувствовал я себя так, словно шёл не по мозаичным плитам пола, а по невидимой тверди зеркального зала “Аквариума”, где на каждом шагу поджидают ловушки. Шаг влево, шаг вправо...

И тут я столкнулся нос к носу с Глазовой, открытый наряд которой смотрелся довольно вызывающе для храма. В руке у неё был сиреневый кружевной зонтик от солнца.

— Ольга Витальевна! А вы как здесь? Вы же на площадь пошли с Колубакиным и ректором!

— Я передумала. Надо бы нам поговорить. Другого случая, думаю, сегодня не представится.

— Может быть. Отойдём в сторонку. А вы, я вижу, зонтик прикупили?

— Да, тут, рядом. Араб скинул три евро.

Мы отошли к боковой соборной кафедре, вознесённой на высоту галереи, и там я вкратце рассказал ей всё, не вдаваясь в подробности разговоров с отцом Константином.

Лилу задумчиво выслушала, глядя себе под ноги в сиреневых туфлях-шпильках.

— Вы не считаете, что это бред? — поинтересовался я.

— Бред? Я в Южноморске подобных историй, знаете, сколько наслушалась и насмотрелась? В детстве-то я думала, что это обычные страшилки, а потом оказалось, что в них и взрослые верят, только уже никому об этом не говорят. Но бывает, что заплутавший в “болоте” — вовсе не человек. Можно вас потрогать? — Она взяла меня за локоть, сжала. — Нет, вы определённо человек.

— Ну, спасибо! Хоть что-то! Осталось выяснить, человек ли вы.

— Проверьте, — она сунула мне длинную узкую кисть в золотых кольцах.

Я пожал — рука как рука.

— Есть ещё один способ. — Она достала из сумочки пудреницу, открыла её и направила на меня зеркало: — Отражаетесь. — Потом повернула зеркальце к себе. — Я тоже отражаюсь, видите?

— И что дальше?

— Вот это я и хотела у вас спросить, как у человека, побывавшего внутри “болота”: что, по-вашему, будет дальше?

— Я не очень хорошо знаю “Аквариум”, хотя и брожу по его зеркалам. Но вот что я понял: ходы в лабиринте порой похожи на предыдущие, но они на самом деле другие. Как только ты по мнимой подсказке “Аквариума” попытаешься предугадать развитие событий, они тотчас начнут развиваться иначе. Однако из этого ошибочно делать вывод, что новое событие будет прямой противоположностью прежнего. “Аквариум” не любит ни прямой логики, ни парадоксальной. Он предпочитает что-то среднее, следуя какой-то своей особой логике.

— Ничего не поняла.

— Да я и сам-то... Скажем, южноморская история позволяет предположить, что мы исчезнем, как этрускологи: ведь они, наверное, тоже вышли из отеля вскоре после регистрации. У нас имеется и свой Хачериди — Колубакин. Но есть в этой параллели какая-то несоразмерность: этрускологов было сорок девять человек плюс Хачериди, а нас четверо. Наше исчезновение станет серьёзной проблемой, однако, согласитесь, не такой серьёзной, как исчезновение пятидесяти. Логичней допустить, что с нами будет то, что

и со мной в Южноморске, — то есть, мы-то как раз не исчезнем. Но это по нашей логике, а здесь, как я говорил, действует иная. С нами случится ни то и ни другое, а что-то третье. Только мы нипочём не предугадаем, что. Здесь не День сурка, а День “Аквариума”. Помните, я вам говорил, что пропавший Киров оказался в зазеркалье один? Значит, этрускологи исчезли по одному, а не скопом? Если вас интересует, как себя вести в этих обстоятельствах, то я не знаю.

— Помню я этих итальянских этрускологов у нас в университете. Только в моей жизни они приезжали вовсе не на конференцию, а по научному обмену. Благополучно приехали, благополучно уехали. Этот вариант учитывается?

— Думаю, любой учитывается. И обыгрывается. Но вы ошибаетесь, если видите свою жизнь обособленной от “Аквариума”. Иначе как бы вы наяву разговаривали со мной, прибывшим из другой реальности? Мне кажется, ещё требуется доказать, где находится настоящая Ольга Витальевна Глазова — здесь, в Южноморске, где мы встречались, или в каком-то ином месте.

— А вы уверены, что настоящий Борис Сергеевич Лосев — это тот, кто был в Южноморске?

— Более или менее. Я попал к вам в результате пережитой мной цепочки событий, отсутствующей здесь. Например, меня не приглашали на этот конгресс, а на конференцию этрускологов — приглашали.

— А меня приглашали именно сюда, — ну, не без помощи Стригунова, как вы понимаете. А вот ни о какой конференции этрускологов в нашем городе я слыхом не слыхивала. Даже в проекте. И почему вы считаете, что всё исходит от “Аквариума”? Такие люди, как вы, появлялись или исчезали в Южноморске задолго до строительства этого “Аквариума”.

— Ну, не знаю. Когда не было “Аквариума”, всё, наверное, исходило от второго городского кладбища. Или ещё откуда-то. Это же всё условность. Назовите её, как хотите, тем же “болотом”, — что от этого меняется? В моей истории все нити сходятся в “Аквариуме”. И живые зеркала, между прочим, были именно там.

— Вот по поводу зеркал я ещё хотела спросить. А нельзя ли нам, в случае чего, слинять через них?

— Здесь пока мне не встречались проницаемые зеркала.

— А вы что — каждое пробовали?

— Нет, конечно. Но по живым такая мелкая рябь проходит, едва заметная. И появляются они в самый неожиданный момент. Иногда, вероятно, вовремя, но вообще, я уже не уверен, что зеркала — это выход. В прежнюю жизнь, что была до исчезновений, они не возвращают. Или надо долго искать в зале “Аквариума” нужное зеркало. А там знаете, сколько зеркал! Однако, пойдёмте, наверное, на площадь, чтобы Колобакин со Стригуновым не потеряли нас.

Она кивнула.

Мы вышли из собора на площадь Сан-Марко. Вряд ли она была самой большой в мире, но сейчас, на контрасте с архитектурной скученностью вдоль Большого канала, показалась огромной. Обведённая с трёх сторон сплошной колоннадой дворцов, Пьяцца Сан-Марко вся переливалась алыми и синими хвостатыми стягами с золотыми венецианскими львами на них. Итальянский же триколор был всего один — на флагштоке перед собором, по соседству с флагами Евросоюза и региона Венето. Далеко, на противоположной стороне, у палатцо с надписью “Museo Correr” рабочие устраивали сцену. Людей заметно прибавилось с тех пор, как мы высадились на пристани. Нам пришлось потолкаться, обходя здоровенную кампанилу, которая только издали смотрелась, как карандаш. Мужчины оглядывались на голоногую Лилу, а она, ощущая их взгляды, ещё выше поднимала плечи, подчёркивая грудь. Женщина есть женщина — в любой ситуации! В “кармане” за башней было псовободней, но ни Колобакина, ни Стригунова мы там не увидели.

Мы постояли, посмотрели по сторонам. Левая часть площади шумела и бурлила. Там, впереди, кто-то невидимый кричал что-то в мегафон, а что, Бог знает, — Колобакина не было, чтобы перевести. Среди венецианских

прапоров реял по ветру и “звездно-полосатый” флаг каталонских сепаратистов.

— Наши там, наверное, смотрят, — предположил я. — Пойдём и мы, потом вернёмся, если их не встретим.

Пробравшись в плотной толпе к эпицентру шума, мы увидели полдюжины карабинеров (в том числе одну женщину) с пластиковыми щитами. За ними валялся смятый транспарант. На полицейских яростно кричал в мегафон небритый человек в бейсболке. Публика выражала ему одобрение криками “Si!”, “Verità!” (“Да!”, “Правда!”) Похоже, здесь была попытка митинга, альтернативного тому действу, что готовилось у Музея Коррера, а полиция его пресекла. Многоголысячная толпа, если бы захотела, растоптала эту шестёрку в два счёта, но она, видимо, не хотела, предпочитая перебранку конфликту. Рах Italiana, Итальянский мир: много шума, а драки нету. На это, что ли, вёз нас посмотреть Колобакин? Глазова, собравшаяся поснимать гулянье на смартфон, тоже была разочарована:

— А где карнавал, костюмы, маски? Одни флаги! Это и есть праздник? Лучше бы я на Риальто вышла.

— Вон, смотрите, костюмы.

Справа, из арки Часовой башни, под барабанный бой выходил взвод построенных в две шеренги гвардейцев в сине-белых мундирах XVIII века. На плечах у них были кремневые ружья с примкнутыми штыками. Стюарды в оранжевых жилетах отодвигали толпу, расчищая им путь. За гвардейцами следовали человек девять венецианцев в костюмах исторических сословий и цехов: мужчины — в треуголках и полукафтаны, а дамы — в длинных сборчатых юбках, причём одна почему-то с кошёлкой. Солдаты промаршировали к сцене и выстроились по правую руку от неё, а ряженные встали под прямым углом к ним. На сцене, между тем, уже настраивали инструменты музыканты оркестра. Дирижёр взмахнул палочкой. Полилась музыка, и толстый певец во фраке, лица которого издали мы не различали, запел арию Марино Фальеро из оперы Доницетти.

Толпа, наседавшая на полицейских, отхлынула. Она редела буквально на глазах. Мятежные венеты, как море в час отлива, потекли к сцене. Даже каталонский флаг поплыл туда. Исчез и оратор с мегафоном. Карабинеры подняли валявшийся транспарант, свернули его и, посмеиваясь, неторопливо двинулись следом. Так завершился венецианский бунт, осмысленный и не беспощадный. Как водится у южан, победила любовь к музыке и зрелищам.

Мы же тем временем вернулись к подножию кампанилы. Колобакина и ректора по-прежнему не было. Очевидно, они пошли к сцене слушать Доницетти. Идти туда, толкаться совершенно не хотелось. Да и как в таком скопище людей их найти? Я достал телефон и нажал номер Колобакина. “Mi dispiace, il telefono del chiamante è disattivato o è fuori portata”, — ответил мне женский голос с интимной хрипотцой.

— “Дезактивато”, понятно, — пробормотал я.

Тогда Лилу набрала Стригунова.

— Длинные гудки, — сообщила она. — Он не берёт трубку, не слышит, наверное, из-за музыки. А, вот, взял! Павел Трофимович, алё! — Выслушав ответ, Глазова открыла рот. — Ничего не понимаю! Кто-то говорит по-итальянски! — Она включила громкую связь:

— Il proprietario del telefono è diventato male! — услышал я возбуждённый мужской голос. — E’ caduto e si trova incosciente! Sono un passante, ho cercato di aiutarlo! Da dove sta chiamando? Sei a Venezia?

— Кто вы? — растерянно спрашивала Ольга. — Почему у вас этот телефон? Вы говорите по-английски? Why... э-э-э... do you have this phone? Do you speak English? “No”? Послушайте!.. Блин, отключился. У Стригунова что, телефон украли в толпе?

— “Мале” — это “плохо”, — соображал я, напряженно извлекая из своей памяти всё, что знал итальянского. — А перед “мале” было “телефоно”. “Хозяину телефона стало плохо”? “Пассанте” — “прохожий”. “Я прохожий”? “Сэй а Венеция?” — “Вы в Венеции?”. Если Стригунову стало плохо, то, наверное, здесь, на Сан-Марко? А где Колобакин?

Мы стояли, озираясь, не зная, что делать. Я заглянул за угол колокольни и вдруг увидел на высвобожденной народом части площади, напротив собора, кучку размахивающих руками людей. Среди них выделялся чёрным мундиром и белой португесей карабинер.

— Похоже, нам туда, — сказал я Лилу. — Поедем!

Мы побежали к людям, стоящим кружком вокруг чего-то. Это что-то оказалось Стригуновым. Он лежал на спине, раскинув ноги, с багровым, как вымя, лицом. Опустившаяся перед ним на колени женщина нащупывала пульс на сонной артерии.

— Павел Трофимович! Что с вами?

Ректор не отвечал.

— Что с ним? Есть ли здесь доктор? What about him? Is there a doctor here? — кричал я.

— Sono un dottore, — сказала женщина, поднимаясь с колен. — A quanto pare, apoplexia cerebri.

— Apoplexia? Апоплексический удар? Инсульт?

— Sì. Credo di sì'.

Мне показалось, что меня самого сейчас хватит удар. Так, говоришь, “Аквариум” не любит повторяться?! Как только ты поверил в это, он сразу повторился, да ещё как, наотмашь! Стригунова, парализованного в Южноморске, я хотя бы не видел!

Лилу смотрела на меня страшными глазами, прижав руки ко рту, как будто это я валялся без сознания на площади, а не её любовник.

— Prendi il suo telefono. Sono stato io a rispondere alla chiamata. — Бородатый рыжеволосый мужчина протянул мне смартфон. А, очевидно, это он и разговаривал с Глазовой по нему.

Я схватил телефон.

— Как вызвать скорую? How to call an ambulance?

— Already called, it floats, — ответил по-английски молодой карабинер.

Уже плывёт? Ах, да, здесь же все службы плавучие. Но где же этот чертов Колобакин с его итальянским? Мой английский оставляет желать лучшего. Да и знают его здесь не все.

Я в тоске оглянулся и вдруг понял, что мы стоим аккуратно на прямой линии между часовой башней Оролоджо и столпами на набережной.

И ровно посередине.

* * *

Пожалуй, мои последующие ощущения можно сравнить с теми, что испытывает герой криминального фильма, которому нужно пройти через помещение, расчерченное сверху донизу красными лазерными нитями сигнализации. Только он видит эти нити, а я линии мистической геометрии “Аквариума” нет. Заноса ногу, чтобы сделать очередной шаг, мы с Лилу не могли быть уверены, что не вступим в заколдованный сектор. В мире “Аквариума” не было будущего, только настоящее, оборачивающееся прошлым. И кто мог поручиться, что, если бы мы раньше Стригунова пересекли роковую точку между колоннами и часовой башней на площади, с нами тоже не случилась какая-нибудь пакость?

Так и не пришедший в сознание Стригунов остался в Ospedale, в госпитале, с убийным диагнозом геморрагический инсульт. Хорошая новость была только одна: среди его документов нашли оформленную перед вылетом медстраховку. На первое время её хватит, а что будет дальше, мы не имели ни малейшего представления. Смартфон ректора включили в опись найденных при нём вещей и забрали, а у нас никаких телефонов организаторов конгресса не было, если не считать номера Колобакина, который по-прежнему был “è disattivato o è fuori portata”.

Старинной постройки госпиталь, своими закомарами напоминающий Успенский собор в Кремле, находился на противоположной от Сан-Марко стороне острова. Поэтому вапоретто, отчаливающие от пристани “Оспедале”, шли не по внутреннему Каналу, а по внешней акватории, огибая город с вос-

тока. Мы с Лилу молча сидели на лавочке в катере, измотанные трёхчасовым ожиданием в приёмном отделении. Томиться пришлось и здесь: нужная нам пристань, “Ферровиа”, то бишь ж/д вокзал, была в самом конце маршruta, и, казалось, мы туда никогда не приплывём. Над водами уже стемнело. Освещённый электричеством салон был почти пуст — народ, в основном, вышел в центре. Мы проплывали мимо портовой зоны с причалами военных кораблей слева и одинаковыми кирпичными пакгаузами справа. Это была уже не праздничная Венеция, а суровая, державная, как Питер в устье Невы. Море очистилось, навстречу нам не попадались уже ни вапоретто, ни моторки, ни буксиры. От воды поднимался туман. Мы бойко шли в сгущающихся сумерках, разгоняя волну, и тут, откуда ни возьмись, прямо из темноты, из воздуха, знакомое виденье надвинулось на нас справа, неотвратимое, как кошмар: белая стена лайнера с уходящими в немыслимую высоту ярусами этажей, — только близко, гораздо ближе, чем при выходе из Большого канала. Нос левиафана завис над нашим теплоходиком, точно исполинский айсберг. Завыла сирена вапоретто и тут же, в унисон ей, завизжали женщины, сидящие сзади. Исполин ответил тяжким, бегемотным гудком. Нас бросило влево, а палуба вапоретто встала дыбом: катер заложил крутой вираж, едва не черпя бортом волну. Лайнер же гудел, казалось, вовсе не сворачивая, — но, наверное, так только казалось, потому что этой машине резко отвернуть было труднее. Сокрушительный удар в наш правый борт представлялся неотвратимым, но в самый последний момент мы разминулись с носом гиганта буквально на метр. Разинув рты, мы безмолвно провожали взглядом это чудовище с освещёнными палубами, на которых не было ни души, — так, вероятно, глядят на пронёсшуюся мимо смерть. Теперь, когда мы обогнули лайнер, стала видна врезанная в остров Санта-Кроче длинная прямоугольная бухта, из которой, как из засады, он выплыл на нас. Здесь стояла на якоре ещё парочка жирных левиафанов. Это, наверное, и было их стойбище, Станционе Мариттима, упомянутое Колубакиным.

Тётки сзади трещали без умолку и крестились на свой папёжный лад. Лысый мужчина у окна по соседству ругался итальянским матом, судя по выражениям типа “порко мадонна”.

— Господи, добраться бы до гостиницы живыми! — прошептала Лилу, вцепившись в мою руку.

— А что нас ждёт в гостинице? — безрадостно отозвался я.

От причала к вокзалу Санта-Лючия мы шли, как по минному полю, отовсюду ожидая подвоха. В госпитале нам сказали, что добраться до улицы Паганелло мы можем, доехав на электричке до станции Порто-Маргерера, а там рукой подать. Платформу электрички мы нашли довольно легко, благодаря табло и удобному, широкому выходу к перронам. Однако заминка вышла с автоматом для покупки билетов, который принимал только карты или железные деньги, — ни того, ни другого у нас не было. Кассы, между тем, уже не работали. Чтобы взять такси, следовало топать через арочный мост Конституции на Площадь Рима. Тут я вспомнил, что ланча сегодня мы так и не отведали, и пошёл купил нам по куску пиццы, заодно и деньги поменял. Но возникла новая проблема: выяснилось, что не каждая электричка останавливается в этом Порто-Маргерера, а мы не могли понять, какие именно станции перечислены в расписании поездов — с остановкой или без. Нам помог разобраться проходивший мимо и услышавший русскую речь стеклодув из Мурано Эмилио, — так он представился, причём на вполне сносном русском языке. Оказалось, некогда у него была русская жена, а сам он десять лет прожил в Красноярске. Добрый Эмилио даже добавил нам какую-то мелочь, когда выяснилось, что наменанных железных денег всё же на два билета не хватает. На Лилу стеклодув, крупный блондин “лангобардского” типа, с голубыми глазами, тоже посматривал не без интереса, как и все мужики здесь, но она была настолько подавлена, что даже не прижала плечиков, по своему обыкновению.

— Глоток виски, земляк? — я протянул ему пакет с “Баллантайнсом”, который без толку таскал весь день, пока мы с Глазовой не приложились к нему после очередной встречи с левиафаном.

— Ну, если только капельку. — Сибиряк принял пакет и, не вынимая бутылки из него, по правилам местной конспирации, мощно заглотнул “капельку”.

— Сразу видно, наш человек, — сказал я.

Эмилио захохотал, вытирая бороду.

— Вы здесь таких “наших”, знаете, сколько найдёте? Мы пьющий народ. Эх, попил я недавно рому на Кубе!

— На Кубе? — удивился я. — А что вы там делали?

— Да сальсу учился танцевать. Хочу при каком-нибудь отеле школы бальных танцев открыть.

Я невольно посмотрел на немаленький живот Эмилио, а он, поймав мой взгляд, осклабился:

— Это ничего. В дорогих отелях как раз пузатые и живут. И они тоже хотят танцевать с молодыми дамами. Со мной им будет даже комфортнее.

В электричке мы ехали вместе — он жил где-то за Местре. Улицу Паганелло Эмилио знал и сказал, что надо сойти с платформы налево и идти по ходу поезда. Когда мы простились и вышли в тамбур, Лилу сказала:

— А так бывает, что в самый нужный момент мы встречаем человека, хорошо говорящего по-русски и даже имевшего русскую жену?

— Но он нам не сказал ничего такого об улице Паганелло, что бы нам не сказали в госпитале, — ответил я, полагая, что она намекает на всевозможные ловушки “болота”. — Отель действительно находится рядом с железной дорогой. Когда я в номере выходил на лоджию, то видел вдали станцию.

Платформа Порто-Маргера, на которой мы сошли, была совершенно пуста. Мы спустились в подземный переход, свернули налево, поднялись по ступенькам и оказались в какой-то технической зоне, где не было даже асфальтовой дорожки вдоль железнодорожного полотна. Единственный возможный путь из подземного перехода вёл в тёмные подворотни, петляющие между нежилых зданий без окон. Мы немного прошли, посмотрели, но углубляться в эту промзону не решились. За одним из длинющих складов просматривалось нечто, похожее на выезд для автотранспорта, но нам было сказано идти по ходу поезда, а тут получалось в обратную сторону.

— Спросить бы дорогу, — беспомощно оглянулся я. — Да у кого?

Мы ещё не встретили ни души с тех пор, как сошли с электрички.

— Действительно, “маргера” какая-то, — пробормотала Глазова. — А почему вы решили, что мы вышли на правильную сторону?

— Так Эмилио же сказал: с платформы налево.

— Если он имел в виду налево по ходу поезда, то надо было свернуть направо.

Столкновение с женской логикой всегда заводило меня в тупик. Спорить я не стал и предложил:

— А вы не “погуглите” этот “Альвери” по своему смартфону?

— Он разрядился.

— Эх, всё одно к одному! Знаете, когда я вышел на лоджию в номере, железная дорога была справа, а значит, налево от платформы мы пошли правильно. Но с балкона я видел также шоссе за линией, довольно оживлённое. Значит, там можно у кого-то спросить дорогу. Или поймать такси.

Мы вернулись в подземный переход и перешли на другую сторону железнодорожной линии. Миновав чахлый сквер, мы узрели, наконец, признаки цивилизации: тротуар с фонарями, многополосное шоссе, даже уличный указатель: “Via della Liberta”. А главное, здесь были люди. Наученный сегодняшним опытом не полагаться только на английский, я снова мобилизовал в своей памяти крохотные сведения об итальянском языке.

— Бона сэра! Комэ пассарэ... алла Виа Паганелло? Отель “Альвери”? — спросил я у двух идущих навстречу женщин.

Те переглянулись и покачали головами:

— Non conosciamo questa strada e questo hotel.

“Нон” — не знают, стало быть. Параллельной улицы не знают! Но ведь и в Химках многие люди не знают параллельных улиц.

Я обратился к следующему прохожему, молодому человеку, — уже по-английски:

— Бона сэра! Do you speak English?

— Buono sera! Yes!

— Как пройти на Виа Паганелло, до отеля “Альвери”?

— Я не знаю отеля “Альвери”, а на Виа Джузеппе Паганелло отсюда попасть нельзя, надо пройти вперёд до развязки километра полтора, там направо увидите мост над железной дорогой, перейдите по нему на другую сторону, на Виа ка’Марчелло, сверните направо и идите этой улицей, пока она не перейдёт в Виа Паганелло.

— Грацие!

Вот тебе и рукой подать! Я прикинул: полтора километра до моста, а потом наверняка полтора километра назад до отеля — выйдет все три.

— Будем ловить такси, — решил я.

Мы вышли на обочину и принялись голосовать. Точнее, сначала мы выглядывали жёлтые автомобили, “сити-тэкси”, а когда за пять минут не увидели ни единого, то стали махать руками всем. Машины равнодушно пролетали мимо, в том числе, и одно такси, — правда, с красным огоньком.

— Такси здесь берут пассажиров только со стоянок, — с видом знатока сообщила Лилу.

— Так, может, вы скажете, где ближайшая?

Она промолчала.

И тут перед нами тормознул чёрный “шевроле”. Жужжа, опустилось стекло переднего сиденья, и сидящий рядом с водителем носатый небритый господин с ухоженной щетиной спросил, оглядывая нас:

— Quanto vuoi per questa ragazza?

— Скузи, нон каписко итальяно, — пробормотал я. — Парла inglese?

— Yes, — несколько удивлённо сказал он. — Сутенёр в Италии, не понимающий по-итальянски, это что-то новое! Сколько стоит твоя девочка?

— Я не сутенёр, а она не проститутка, это моя коллега! — возмутился я.

— Хорошие у тебя коллеги, мужик! Завидую! Andiamo! — повернулся он к шоферу, “шевроле” фыркнул и укатил.

— Козёл! — бросила ему вслед Глазова.

— Естественно, козёл, да только что ему думать о декольтированной девushке с голыми ногами, голосующей на обочине? Колобакин прав: вы неудачно оделись. Да и похолодало уже: вы вон вся гусиной кожей покрылись. Думаю, во всех отношениях будет лучше так. — Я снял пиджак и накинул ей на плечи.

— Спасибо! — смутилась Лилу. — А как же вы сами-то — в одной рубашке?

— Буду согреваться изнутри. — Я открутил пробку с “Баллантайнса” и глотнул. — Ну что, похоже, судьба нам идти пешком?

И мы направились к предполагаемой развязке. Через некоторое время Ольга негромко сказала:

— Теперь они идут за нами. Только не оглядывайтесь!

— Кто идёт?

— Те трое, что стояли рядом на тротуаре, пока вы разговаривали с козлом из “шевроле”. Вот, посмотрите. — Она достала пудреницу из сумочки, открыла и протянула мне зеркальце.

Я осторожно поднял его на уровень плеча, глянул. В неверном свете фонарей трое рослых парней, все в чёрном, неторопливо следовали за нами на некотором расстоянии. Они не очень были похожи на людей, совершающих вечерний моцион.

— Давайте остановимся, как будто ищем дорогу, и посмотрим, остановятся ли они, — предложил я.

Мы остановились — и они остановились. Это уже было неприятно. Я вертел головой, изображая человека, ориентирующегося на местности, и краем глаза изучал их. Мешковатые джинсы, кеды, двое в ветровках, один в чёрном свитерке с белой надписью на груди, — я видел лишь часть её, что-то вроде “...neti”. Неужели — снова “Veneti”? Парни, лица которых в уличном

освещении мне рассмотреть хорошенько не удавалось, достали сигареты, вспыхнул огонёк зажигалки, осветивший испитую, угреватую физиономию одного из них. Тот, что был в свитерке, прикурив, повернулся корпусом ко мне, и я смог прочесть надпись полностью: “Solo Veneti” — “Только венеты” на этот раз. Нда, этот явно не поверит, что мы тоже венеты, как та девушка с вапоретто.

С того места, где мы стояли, была уже различима развязка впереди и часть дороги, сворачивающей направо, но дальше сгущалась тьма, потому что фонари горели только на Виа делла Либерта. Если где и удобно этим гошникам напасть на нас, то как раз там, по дороге к мосту. Можно, конечно, вернуться назад, к подземному переходу у станции, но там-то тоже темно и бесплодно. Позвонить в полицию? Но я не знаю номера. И тут мне в голову пришла идея:

— Коллюбакин, когда приходил ко мне в номер, сказал, что у отеля есть минивэн или, как здесь говорят, “шаттл”. Я на ресепшене взял карточку с адресом и телефоном “Альвери”. Надо позвонить и попросить прислать машину.

Я достал из нагрудного кармана пиджака, брошенного на плечи Лилу, карточку и отошёл к фонарю. Парни как-то дёрнулись, засуетились, но остались стоять на месте, видя, что мы не идём дальше.

Я набрал номер с карточки. Ответ последовал быстро:

— Hotel Alveri, buono sera!

— Добрый вечер, — по-английски начал я. — Вы меня понимаете?

— Да, сэр.

— Моя фамилия Лосев, я ваш гость из номера двести три. Мы с мисс Глазвой заблудились здесь у вас в окрестностях, не можем найти отель. Пришлите за нами ваш шаттл, пожалуйста.

— Где вы находитесь?

— На Виа делла Либерта, неподалёку от рекламного щита “Хуавэй” и коричневого паркинга.

— Я знаю это место. Но там поблизости нет разворота, машине потом придётся ехать почти до самой дамбы. Вы не могли бы дойти до станции Порто-Маргера и перейти подземным переходом на другую сторону?

Ага, тех же щей, да пожизне влей!

— Пусть до дамбы, мы заплатим. Мы устали и не можем больше идти.

— Хорошо, сэр. Через пять минут шаттл приедет. Стойте, пожалуйста, там же, у рекламного щита.

Я спрятал телефон и глотнул ещё из бутылки.

— Будем стоять здесь, на самом освещённом месте, и ждать шаттл, — сказал я Ольге. — Авось не осмелятся пристать.

Тёмная троица пребывала, по-видимому, в некотором недоумении относительно наших дальнейших действий. Они, переминаясь, бросали на нас нетерпеливые взгляды.

— Даже если они слышали разговор, то вряд ли понимают по-английски, — предположил я. — Но бережёного Бог бережёт. Давайте изображать влюблённых, как будто мы остановились поворковать.

Я обнял её тонкие плечи под моим пиджаком, а она положила голову мне на грудь. Я “интимно” шепнул ей:

— Если они всё-таки пойдут к нам, выбегаем на проезжую часть, чтобы выиграть время.

— Как это — выбегаем? Посмотрите, какое движение! Эти, может быть, нас и не убьют, а машины размажут по асфальту!

— Надо выбежать так, чтобы не размазали.

Гошникам, кажется, надоело ждать: они о чём-то негромко, но оживлённо заспорили, — скорее всего, о том, когда же начинать потрошить нас. Причём с пикантно выглядящей Глазвой дело могло не ограничиться грабёжом. От напряжения я стиснул зубы. Лилу пошевелилась под пиджаком и вполголоса поинтересовалась:

— Так, по-вашему, ведут себя влюблённые?

— Ну, а что нам — целоваться, что ли?

— Не знаю, ведь это вы придумали про влюблённых.

— Для влюблённого папика я веду себя нормально.

— А я? Как девушка из песни “Ромашки спрятались”? Пиджак сброшенный, и тому подобное? Вы вот так за своей женой ухаживали? А она та-яла под пиджаком?

— Улыбайтесь, улыбайтесь, Ольга Витальевна, мы воркуем!

Она ядовито улыбнулась.

И тут я увидел белый минивэн. Он ехал на малой скорости по правой стороне улицы. Наш он или не наш, я не знал, но замахал рукой. Парни вскинулись и быстрыми шагами направились к нам. Минивэн остановился.

— Бежим, пока есть просвет! — Я схватил Ольгу за руку.

Мы выскочили на шоссе, в слепящий свет проносащихся фар. Завизжали тормоза, заголосили истерично гудки. Мы петляли, как зайцы, между передними и задними бамперами отчаянно тормозящих, лавирующих автомобилей.

— Мой каблук! — кричала Лилу.

— Забудьте!

Водитель, вышедший из белого “форда”, то ли китаец, то ли кореец, с открытым ртом глядел на нас. Я добежал, наконец, с хромающей Глазовой на буксире, до минивэна и оглянулся. “Чёрные вены” не решились последовать нашему примеру, они стояли на обочине и показывали нам средние пальцы. Судя по энергично двигающимся губам, они ещё кричали что-то нелицеприятное в наш адрес, даже, может быть, нецензурное, а что, Бог знает, за шумом траффика не было слышно.

— Отель “Альвери”? — задыхаясь, спросил я у шофёра.

— Си!

— О’кей! Айм Лосев!

Я посадил Лилу в машину и запрыгнул следом.

— Вперёд! Аванти! Форца!

И мы поехали в сторону развязки перед дамбой. Водитель, по-азиатски невозмутимый, молчал. Лилу, огорчённо рассматривая туфлю со сломанной шпилькой, спросила:

— А нельзя ли было прочитать ту волшебную молитву, про которую вы рассказывали, а не соваться под колеса?

— Можно. И, допустим, она бы снова помогла. Но вот вопрос: я бы переместился один или с вами? И, если бы даже с вами, то где бы мы очутились? Я-то уже немного привык, а вы готовы к тому, что, может быть, никогда не вернётесь в привычную реальность?

— Как будто в этой меня ждёт что-то хорошее! Буду сидеть здесь у постели Стригунова, пока государство не расщедрится, чтобы перевезти его на родину. И это в лучшем случае. В худшем — пропаду в местном “болоте”. Вам-то какое дело до Павла Трофимовича? Сядете на самолёт и улетите, — не знаю уж, в какую реальность. А я его помощница.

“И только?” — подмывало спросить меня, но я удержался. Глазова отложила туфлю и вздохнула.

— Как вы думаете, — не глядя на меня, поинтересовалась она, — есть надежда, что Стригунов оклемается?

— Надежда всегда есть. Но, боюсь, это будет уже другой Стригунов.

— “Овощ”, что ли?

— Ну... вроде того. Впрочем, я не медик и хотел бы ошибиться.

Повернув налево перед мостом в Венецию, построенным Муссолини, мы покатали обратно мимо какой-то стоящей на воде невысокой крепости, напоминавшей кронштадтские укрепления, а дальше, за каналом, пошли лабиринты одинаковых улочек промзоны, какие у нас довольно точно называют проездами. Когда с одного из таких тёмных проездов под названием Via Torino мы свернули направо, то впереди показался, наконец, наш “утиг”. И, самое смешное, за ним в свете фонарей проступили сидухеты тех терминалов, между коих мы плутали, сойдя на Порто-Маргеры. Должно быть, тот выезд за длинным складом, до которого я поленился дойти, и приводил с другой стороны к отелю.

Я бы удивился, если бы увидел в “Альвери” того же портье, что встречал нас в полдень, но нет, всё было по законам моего изменчивого жанра: на ресепшене стоял другой человек, тоже монголоидного типа, как и водитель, молодой. На бейджике у него значилось: “Johnny”. Не меняя любезного выражения лица, он проводил взглядом Лилу в мужском пиджаке, которая со словом “Хай!” прошлёпала мимо него босиком, с туфлями в руках, к лобби и плюхнулась на красный диван.

— Спасибо за шаттл, — сказал я ему по-английски. — Вы нам очень помогли. А мистер Колобакин здесь не появлялся?

— We are always happy to help you. Всегда рады ваша помогать. Моя говорить по-русски, господин Лосев, — радостно сообщил Джонни.

— Отлично. Будем по-русски. Так господин Колобакин здесь был?

— Простите, кто есть господин Ко-Любак’н?

— Ну, наш координатор из университета Ка’ Фоскари. Вы его не знаете?

— Не знай такая, простите.

— А менеджер отеля ещё здесь?

— Нет, уехала домой.

— Так-так. А что, представитель университета приезжал на ланч?

— Не знай про ланч, — развёл руками портье. — У нас для клиентов есть только early breakfast, — завтрак, которая рано.

— Я имею в виду сегодняшний ланч для делегатов конгресса венетологов.

— Делегатов?.. Не понимай, сэр. Делегаты есть вы.

Дурное предчувствие всё больше овладевало мной.

— Да, конечно. Но здесь остались другие делегаты из России. Госпожа Голядкина, например. И должны были подъехать словенцы и итальянцы.

— Никто такой не приезжала. Вы приезжала. И ещё... э-э-э... господин Стригунов.

— Начинается! — сказал я через холл Лилу, прислушивавшейся с сощуренными глазами. — Сеанс чёрной магии без разоблачения. С одновременным исчезновением делегатов. Говорил я вам! Джонни, — снова обратился я к портье, — с нами вместе прибыли другие венетологи из России, ещё семь человек. Они сейчас в отеле?

— Семь человек? Таких не приезжал. Только ваша, три.

— Но они регистрировались вместе с нами. Ими занимался портье, которого вы сменили. Что с ним, кстати? Ведь это было его дежурство, как я понимаю?

От напряжения на верхней губе Джонни выступил пот.

— Да, сэр. Он заболела.

Я снова посмотрел в сторону Глазовой.

— Внезапно заболел, конечно же! Но завтра его уже никто не найдёт. Как и водителя микроавтобуса. Слушайте, Джонни, я стоял рядом с ним и видел, как он регистрирует наших коллег. Можно посмотреть ваш журнал?

Портье опустил глаза, подумал и повернул ко мне журнал. Только три фамилии стояли наверху страницы, с указанием паспортных данных:

“8. Pavel Strigunov, Russia, delegato al Congresso dei venetologi...”

9. Olga Glazova, Russia, delegato al Congresso dei venetologi...”

10. Boris Losev, Russia, delegato al Congresso dei venetologi...”

— Дайте и мне посмотреть. — Лилу сбросила с плеч пиджак и подошла к стойке. — Так... Ну, правильно: восемь, девять, десять. Это мы, delegato al Congresso dei venetologi. А где остальные семь? Покажите предыдущую страницу!

— Как, не понимай?

— Show the previous page, please! — продублировала она по-английски.

— Простите, я не имею права показывать exclusive information других гостей. Простите.

— Но это же наши коллеги, русские!

— Там больше русская никто нет. Delegato al Congresso нет уже никакой. Моя очень жаль.

Я достал телефон, чтобы найти в “Галерее” и показать Джонни фотографию российских участников у ресепшена. Но напрасно я искал. Её уже не было.

Проследив выражение моего лица, Ольга заявила:

— Надо звонить в полицию!

— Не торопитесь в ад, — сказал я ей на ухо. — Пойдём, поговорим.

— А потом не будет поздно?

— В полицию и ад никогда попасть не поздно. А нашими коллегами они всё равно первые сутки не будут заниматься, сосредоточатся на нас, как показывает опыт Южноморска. Так что не стоит высовываться

Я взял пиджак и вызвал лифт. Когда мы зашли в кабину, Лилу шепнула:

— Остановимся во втором, я помню несколько номеров, в которые наши заселялись.

— Будем стучать в каждый?

— Ну, естественно!

— Что ж, попробуем.

Мы вышли на втором этаже, стучались в двери, указанные Глазовой, но нам никто не открыл. Потом поднялись ко мне на третий.

— Думайте, что хотите, но я одна не останусь, буду ночевать у вас, — едва переступив порог, сообщила она. — Только вещи свои заберу.

— Пожалуйста, места хватит.

— Вы понимаете, почему я об этом прошу?

— Что ж тут непонятного — страшно.

— Страшно-то страшно, но мне нужно не просто быть в чём-то обществе, мне нужно быть с *вами*. Вас не трогают, вот в чём дело. Ещё когда вы ушли от нас в собор, меня охватило острое ощущение одиночества, хотя рядом были Стригунов и Колобакин. Поэтому я пошла вслед за вами, сказав им, что хочу пройтись по лавочкам.

— Да вы присаживайтесь. Сейчас я включу кондиционер, а то прохладно. Или вот ещё можно виски согреться.

— Давайте виски. Поесть бы чего-нибудь!

— С “поесть” сложнее. Хотя... вот в холодильнике есть орешки, чипсы.

При всём минимализме обстановки, в номере имелись и бокалы, и небольшая стеклянный столик, и два полукреслица. В мини-баре нашлась минеральная вода “Сан-Пеллегрино”.

Лилу глотнула немного виски, прикрыла глаза.

— Что мы будем делать? — через некоторое время спросила она.

— Я рассказывал вам, хотя и кратко, что было со мной в Южноморске после исчезновения этрускологов. И я знаю, что нам совершенно бесполезно думать о тех, кто исчез, нам важно думать о себе. Если у меня в Южноморске было столько проблем с правоохранителями, неужели вы полагаете, что в чужой стране, с чужой полицией их будет меньше? По мне, так их будет в разы больше. К тому же, насколько мне известно, здесь, в Венеции, нет нашего официального консульства, а есть лишь почётное, то есть работающее на общественных началах. И возглавляет его наверняка какой-нибудь местный синьор. А ближайшее генеральное консульство — в Милане. Мы здесь можем попасть в такой переплёт, что не приведи Господь. Нам бы прямо сейчас ехать в аэропорт и улетать отсюда любым — подчёркиваю, любым, необязательно даже прямым, — рейсом. Но с моральной точки зрения мы не можем это сделать в тот же день, что госпитализировали Павла Трофимовича. У него есть жена?

— Есть, — как-то скривилась Глазова.

— Можно вызвать её сюда, чтобы она была рядом с ним. Боюсь, правда, если мы станем ждать, пока она доберётся до Венеции, нам будет уже поздно бежать отсюда.

— Щас она всё бросит и полетит в Венецию! Вы не знаете его жены! В ней, как и в нём, сто двадцать кг веса!

— Ну, тогда родственники, дети... Короче, наше дело сообщить, а им решать, кто полетит. Сидеть у постели ректора вы на самом деле не обязаны, да и денег на жизнь в Венеции вам никто не дал. Позвонить семье нужно уже

сегодня. Конечно, всё, происходящее здесь — лишь один из вариантов реальности, но кто сказал, что в этом варианте не умирают? Вы помните, что там, откуда я прибыл, Стригунова тоже хватил удар? Это его судьба, как бы ни складывались обстоятельства в других ходах лабиринта. А нам надо понять нашу судьбу. Но и сидеть сложа руки тоже нельзя. Итак, бежать прямо сейчас мы не можем. Но можем утром, как ни в чём ни бывало, приехать в “Хилтон”. Думаю, что конгресс готовится реально, как и конференция в Южноморске. Война войной, а обед по расписанию. Мы сразу же ставим оргкомитет в известность о госпитализации Павла Трофимовича. Кстати, можно их попросить оповестить и консульство в Милане, им это как-то сподручнее. Потом обязательно регистрируемся и идём в зал конгресса. Он, понятное дело, не открывается, мы ждём полчаса, уходим под каким-нибудь предлогом и больше не возвращаемся. От “Хилтона” до аэропорта минут пятнадцать на такси.

— Как — без вещей? — уточнила практичная, несмотря на все потрясения, Глазова.

— Лучше без вещей, чтобы не привлекать внимания, лишь с небольшими сумками, в которые можно положить всё ценное.

— А если нас спросят в оргкомитете, где остальные?

— Мы скажем, что их не видели, приехали втроем. С Колобакиным.

— Но это же неправда!

— Что есть правда? — по-пилатовски возразил я. — Вот я настаивал на правде в Южноморске и вызывал всё большие подозрения, пока фактически не очутился под домашним арестом. Что за правда, если вслед за делегатами исчезают записи в гостевом журнале? Правда — это когда нечто совершается по правилам, а если они изменяются по ходу игры? Где здесь вообще в “Аквариуме” правда?

— А вы уверены, что на той странице, которую нам Джонни не показал, записей не было?

— На девяносто девять процентов. Ведь в “Аквариуме”-то они исчезли.

— Не знаю, не знаю... Как отнесутся в нашем университете, что я сразу уехала?

— Во-первых, не сразу. Всё-таки мы отвезли Стригунова в госпиталь, переговорили с врачами. Во-вторых, на самом конгрессе вы были, но конгресс не состоялся. Из аэропорта позвоните в университет и скажете, что в сложившихся обстоятельствах вынуждены немедленно возвратиться, так как непонятно, кто будет оплачивать ваше дальнейшее пребывание в Венеции. Слово “оплачивать” — волшебное для бюрократов, у них тут же исчезнут аргументы в пользу того, чтобы вы задержались за границей. Вот увидите. Так что, пожалуйста, звоните домой Стригунову, — я кивнул в сторону городского телефона на прикроватной тумбочке. — Утром оплатим.

Лилу втянула носом воздух.

— Сейчас, соберусь с духом. — Она допила виски, выпрямила плечи и пошла к телефону с той же решимостью, с какой обычно входят к зубному врачу.

— Какой код России?

— Десять семь.

Она набрала номер, некоторое время ждала.

— Алло! Добрый вечер! Зинаида Альбертовна? Извините за поздний звонок. Это Ольга Витальевна Глазова, помощница Павла Трофимовича, из Венеции. — Тут Лилу сказали нечто такое, отчего по лицу её пробежала злоба. — Зачем звоню? Ну, наверное, не для собственного удовольствия. — В голосе Глазовой появился металл, знакомый мне по разговору с ней в автомобиле. — Выслушайте меня, пожалуйста, внимательно. У меня для вас тяжёлое известие. С Павлом Трофимовичем на площади Сан-Марко случился инсульт. Он доставлен в бессознательном состоянии в реанимацию больницы “Оспedale Чивиле ди Венеция”. Она находится у пристани “Оспedale”. Пока мы с коллегой Лосевым были там, он в сознание так и не пришёл. Если у вас или у кого-то из родных есть шенгенская виза, мы с господином Лосевым рекомендуем вам незамедлительно прибыть к нему в госпиталь, в Венецию. Того же мнения придерживаются врачи.

Женщина на другом конце провода закричала так, что даже я услышал:
— Сука! Это ты его довела! Поганая сука! Ты затрахала Пашу до смерти, а теперь я должна лететь к нему в больницу?

Лилу повысила голос.

— Моё дело поставить вас в известность, а вы поступайте, как знаете. Запишите, чтобы не перепутать: больница “Оспедале Чивиле ди Венеция”, пристань “Оспедале”. — Она бросила трубку.

Глазова вернулась к столику, сама налила себе виски.

— Ну вот, я сделала это. Напьюсь сегодня, а завтра не смогу никуда ехать.

— Не напьётесь, нервное напряжение большое. — Самого меня алкоголь почти не брал.

Лилу посмотрела в сторону.

— Ну, вы, всё, конечно, поняли, объяснять не надо.

— Вы не волнуйтесь, вы мне ещё в Южноморске по пути на кладбище сказали, что Стригунов ваш любовник.

— Да? Интересно, чего это я так разоткровенничалась с первым встречным?

— Вы сами искали встречи со мной. Вы говорили, что не можете уже сделать вид, что insult Павла Трофимовича вас не касается, и чувствуете, как где-то рядом с вами *чавкает болото*.

— Это точно то, что я сейчас испытываю. — Она положила ногу на ногу, отчего её блестящее бедро заголилось, откинулась на спинку креслица, прикрыла глаза. — А как вы думаете, эта шутка ваша на вапоретто могла вызвать ревность Павла Трофимовича и стать причиной insultа?

— У человека апоплексического склада, имеющего молодую любовницу, всегда есть причина для insultа.

— Вы говорите, как Зинаида Альбертовна.

— Но ведь и она в чём-то права. Или нет?

— Скорее нет. Такие, как Стригунов, от секса не умирают. Любовник он был так себе.

— А чего же вы тогда с ним? Из-за места, что ли?

— Представьте, из-за места! У нас в Южноморске не так много этих мест!

— Ну, и машинку он вам, наверное, купил.

— Купил! И что же? Или вы из тех, кто считает, что любимым женщинам не нужно дарить подарки? Их надо только использовать? А вообще, зря вы так: он, в общем, неплохой человек. У нас в провинции, если ты незамужняя, есть варианты и похуже.

— Ольга Витальевна, не поймите меня неправильно, но, если вы хотите быть с Павлом Трофимовичем в это трудное для него время, упаси меня Бог мешать вам.

— Ага! А сами улетите?

— Ну, а вы как думаете? Я же не стал бы оставаться с Колобакиным, если бы с ним, паче чаяния, случилось нечто подобное? А Стригунов, простите, мне не ближе Колобакина.

— Кстати, о Колобакине. А если утром он объявится?

— К сожалению, не объявится, как не объявился Хачериди в Южноморске. Во всяком случае, за то время, что я там был. Впрочем, если хотите, можете ещё раз набрать Колобакина.

Она махнула рукой:

— Надоело. — И тут вспомнила: — Ой, у меня же смартфон из-за звонков ему разрядился! Дайте мне, пожалуйста, мою сумочку, там зарядка.

Потянувшись за лежащей на кровати сиреневой сумкой “Луи Виттон”, я увидел рядом купленный Глазовой солнцезащитный зонтик. Я взял его в руки:

— А вот то, что способно разрушить самые хитроумные наши планы.

— Не поняла. При чём здесь зонтик?

— Зонтик — лишь часть некой цепи. Перед тем, как мы нашли Стригунова, певец на сцене пел арию. Вы не знаете, чья она и откуда?

— Нет.

— Ария Марино Фальеро из одноимённой оперы Доницетти.

— Марино Фальеро, погодите...

— Совершенно верно, этот сюжет я рассказал Стригунову, когда он стал допытываться, о чём мы шепчемся. Почему же он мне пришёл в голову? Потому что на картине, под которой вы недавно сидели в лобби, изображён, как я подозреваю, эпизод именно из этой истории, заинтересовавшей в своё время и Пушкина. Он даже хотел написать стихотворение “Марино Фальеро”, да не закончил. Молодая догаресса из него вполне может быть дамой с бокалом на мостике. Над ней держат зонтик, похожий на ваш, только красный.

— Ну и что?

— Ничего. Дождь Фальеро в конце истории лишился головы, а у Павла Трофимовича после того, как вы купили зонтик, произошло нарушение мозгового кровообращения.

— Мой зонтик, что ли, в его инсульте виноват?

— Зонтик, повторяю, — лишь часть цепи. Об инсульте заговорил сам Стригунов: “Я вот тоже иногда думаю, не хватил бы кондратий”, — когда Колобакин рассказал о смерти дожа Фоскари. А мы ещё переглянулись, потому что я уже сообщил вам об инсульте Павла Трофимовича в моей реальности. Удар, постигший его, был предопределён, на что мы получали указания в форме издевательских намёков. А я даже бессознательно транслировал один, рассказав Стригунову историю дожа Фальеро. Но главное указание я получил, ещё когда разговаривал с Колобакиным на кафедре в вашем университете. Вы не помните, что за календарь там у них висит?

— Я там не бываю. Они ко мне ходят, если надо.

— На нём фото колонн с набережной Сан-Марко — тех самых, между которыми людей казнили. С Часовой башней в перспективе. То есть, моё перемещение в Венецию тоже было предопределено. И я, когда Колобакин указал на эти колонны с вапоретто, мог бы насторожиться, что дело нечисто. Что-то даже шевельнулось в моей памяти, но я не стал в ней копать. А зря. Ведь этот знак, в отличие от других, не носил характера расплывчатых символов. Хотя я не знаю, что бы мог предпринять, если бы тогда разгадал его. Во всяком случае, вернуться вас назад точно не заставил бы. И план на завтра, который я вам изложил, может запросто враз поломаться, если мы не будем учитывать подобных знаков.

— Ну, учтём мы их, а что дальше? Вы же сами сказали, что, даже разгадав знак с колоннами, ничего не смогли бы изменить.

— Но вы-то смогли кое-что изменить.

— Как же, интересно?

— Полагаю, что вы исчезли бы, как Колобакин, если бы остались на площади. Но вы пошли в храм и вот сидите сейчас рядом со мной.

— Ну, этот знак я давно разгадала. Ничего не могу сказать плохого про храм, но все эти истории с этрускологами и венетологами показали, что нужно держаться ближе к вам, чтобы не исчезнуть. Я так и делаю.

— Тогда главный вопрос — почему я не исчезаю? В него втыкались все, с кем бы я ни разговаривал по этому поводу.

— Я знаю, почему, — просто сказала Лилу.

— Неужели?

— Вы можете смеяться, но про учёных я кое-что понимаю. Все бумаги и материалы, которые они подают ректору, проходят через меня. И я знаю этим людям цену. Делегаты исчезают потому, что они не настоящие историки, а вы настоящий.

— Да я и не историк вовсе, а филолог!

— Вы историк. Мне это стало ясно, когда вы рассказывали в самолёте про свою расшифровку древней надписи. Вы способны сами открыть что-то, а эти доктора и кандидаты всё переписывают друг у друга. Если есть, что переписывать. А так — сдирают у авторитетов. Точнее, одни сдирают у авторитетов, а другие у них переписывают. Естественно, в рамках программы “Антиплагиат”. Но все знают, что это плагиат, и молчат. Потому что сами такие.

— Весьма лестно слышать такое от вас, но должен вас разочаровать. Я ненадёжная защита, потому что тоже исчезал. В Южноморске, из гостиницы. И из падающего самолёта.

— Из падающего самолёта я бы тоже хотела исчезнуть.

— Да, но другие пассажиры не последовали за мной. Мне определён свой путь в лабиринте, а я не знаю, зачем. Может быть, дело в том, чем я в последнее время занимаюсь. Этруски, веныты... Это словно заглянуть в головокружительную бездну, как сказал ваш отец Константин. Дна не видеть, сколько ни смотри. “Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна”. А вы знаете, что в старославянском слово “дно” означает ещё “давно” и “глубина”? То есть некогда “дно” было не только мерой пространства, но и времени. Мы в Реке времён. Словно я вступил в неё, когда начал писать о праславянах, и она унесла меня. В этом потоке оказались и вы, и другие. Но у вас на то могут быть свои причины. Потому что Южноморск — город на берегу Реки времён. И Венеция тоже. Мы в одном потоке, но каждый сам по себе. Может быть, то, что Коллобакин сказал о приколах, — очередная притча “Аквариума”. У меня свой прикол, у вас свой. Вопрос в том, как до него доплыть?

Я задумался, глядя в пол. Молчала и Лилу.

— Однако уже поздно, и нужно ложиться спать, — встрепенулся я. — А то не встанем вовремя. Ничего нового, кроме побега отсюда, мы уже не придумаем. Утро вечера мудренее. Давайте я провожу вас до вашего номера, и вы возьмёте там вещи, зубную щётку.

* * *

Кровать в номере была одна, двуспальная, я лёг на свою половину и провалился в сон, пока Глазова была в ванной. Мне приснилось, что мы плывём на борту едва не раздавившего нас лайнера-великана. Лилу была во всём белом, в руках — бокал шампанского. Она стояла на палубе, расставив стройные ноги, ветерок теребил её плиссированную юбку, поднимая до самых бёдер. Вокруг расстилался океан. И ни души окрест — ни людей, ни птиц, ни кувыркающихся дельфинов. Только вода, ветер, солнце.

— Мало славы, мало времени в сей жизни, — лукаво молвила она, отпивая из бокала.

— А те, что есть, пожуртятся жерлом вечности, — ответил я и прочитал:

*Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.*

— А чем плоха пропасть забвенья? — Глазова обвела рукой белоснежную, слепящую в лучах солнца палубу. — Разве ты никогда не хотел, чтобы от тебя унеслись далеко все дела и стремленья? И вот, наконец, случилось: нас взяли на корабль. Мы плывём в море, в котором нет ни берегов, ни приколов. Ты смотришь на мои ноги. Ты желал бы видеть и остальное. Это жизнь! — Она подошла ко мне. Её загорелые свежие груди лежали в вырезе декольте, как два грейпфрута в белой вазе. Лифчика, естественно, не было. Лилу проследила мой невольный взгляд и шепнула: — Соски затвердели от ветра. А может быть, дело не в ветре? — Она положила руку на мой пах.

— Ольга Витальевна!.. — пролепетал я и оглянулся.

— Но мы же здесь одни, ты знаешь. Посмотрим, посмотрим, есть ли птица в гнёздышке! — Вжикнула опускаемая молния. — О, да! Она трепе-

счет под рукой! Давай отпустим её? — Глазова умело, в два-три движения, расправила с моими брюками. — А вот и клю-у-вик показался!.. — Она склонилась над тем, что столь бесцеремонно извлекла наружу.

— Нет! — рванулся я от неё и проснулся.

Я лежал в тёмном номере, распростёртый на постели. Но кто-то и впрямь настойчиво оглаживал мой пах. Это была Лилу, совершенно нагая. Луна полировала серебром тонкое плечо, плавный изгиб бедра, нежную округлость живота, стекающую в тень лона.

Сон обернулся явью.

— Ты проснулся? — Она прижалась ко мне прохладной грудью с набрякшими сосцами. — Я подумала... В общем, чего мы лежим просто так вместе? Может?.. — Она медленно положила на меня тяжёлую гладкую ногу, призывно повела тазом.

Подогретый срамным сном, я испытал нестерпимое желание стиснуть руками полушария ягодиц Лилу, поднять её над собой и с размаху, не примеряясь, опустить на пульсирующую плоть, утопить без остатка в нежном лоне всю тяжесть и окаменелость, что она во мне без спросу породила. Ещё мгновение, и я бы сделал это под стон пронзаемой до доньшка искусительницы, но тут со стороны моря донёсся тяжкий гудок, и я сразу вспомнил тёмную воду каналов, надвигающийся белый лайнер, пронзительный женский визг и оскалившихся “чёрных венетов” с выставленными средними пальцами.

Я нащупал её руку внизу своего живота и убрал её.

— Что ты задумала? Мы ведь едва знакомы!

Она напряглась, потом обмякла, легла на спину

— Достаточно знакомы, чтобы ты хотел меня! Я же видела по глазам. Дай свою руку, смотри, я, как масло! Ты не пожалеешь. Кончим вместе, секунда в секунду, и заснём, как убитые!

Я вырвал руку. Чресла ныли, как будто меня пнули в пах. Разуму трудно бороться с волнениями тела. Я напрягал всю свою волю, чтобы не оседлать распахнутую до последних глубин Глазову.

— Да ведь твой любовник лежит неподалёку в госпитале парализованный! Как ты можешь всего через несколько часов наваливаться голыми титьками на другого мужчину?

— Тебе неприятно после Стригунова, да? Я с ним уже месяц как не была.

— Меня это совершенно не касается! Ты, конечно, девушка видная, а я не железный, но нельзя вот так брать спящего человека за ядра и говорить: давай кончим вместе!

Она помолчала. Груды её вздымались.

— А можно, по-твоему, вот так отказывать женщине? Мне ведь не просто мужчину хочется, мне надо снять это дикое напряжение. Я вся, как натянутая струна, не заснула даже на секундочку, пока ты тут сопел. Я должна встряхнуться как следует. Неужели трудно помочь человеку? Я в долгу не останусь, ты так кончишь, что забудешь, где находишься!

— Но нам нельзя забывать, где мы находимся! Если мы будем грешить в “Аквариуме”, то погибнем, поверь мне!

— Тоже мне грех! Вставить ключ в замок — это грех? А почему же мы так устроены внизу, как ключ и замочная скважина? А виски для расслабления пить не грех?

— Виски я не покупал, оно прилагалось “Аквариумом”. А ты в этом варианте прилагалась к Стригунову. Допустим, он не муж тебе, но что же, твой замок открывается любым ключом? Или, может быть, в идеале каждый замок подразумевает свой ключ?

Под разговор меня стало понемногу отпускать.

— Ты про моногамию, что ли?

— Про неё. Ты ведь соблазняешь женатого человека.

— А у тебя молодая жена?

— Почему обязательно молодая? Моего возраста жена.

— И ты её так любишь, что считаешь грехом вставить ключ в новую, неизношенную замочную скважину?

— Да ты молода ещё... У меня дочь почти такого же возраста. Любовь — это не только повороты ключа в скважине. Муж и жена — это ещё и друзья, которые доверяют друг другу. А друзей не предают и не обманывают.

— Семейные свингеры тоже никого не предают и не обманывают.

— Ну, конечно! Они обманывают, прежде всего, самих себя. Узаконенное прелюбодеяние не перестаёт быть прелюбодеянием.

— Да ты вообще находишься не в своей реальности! Тебе здесь некому изменять! Твоя жена осталась в той жизни, в которой ты прилетел на конференцию в Южноморск!

— Мне трудно это объяснить, но я чувствую, что от перемещений в иную реальность наши моральные обязательства не меняются. В каком бы из ходов лабиринта ни объявлялись наши двойники, им не дозволено больше, чем мне или тебе. И, может быть, в большей степени не дозволено. В ином случае “Аквариум” сразу же воспользуется этим и накажет. Так что не разжигай себя, одевай бельишко и постарайся всё-таки уснуть. Завтра будет трудный день.

— Ой, что это! — Лилу встрепенулась, подскочила. На простыне под ней осталось небольшое пятнышко. — Ну, вот, месячные! — воскликнула она таким тоном, как будто я своим отказом ускорил её регулы или, напротив, мог их отдалить, вставив ключ в пресловутую замочную скважину. Сверкнув ягодицами, Глазова бросилась в ванную, зажимая рукой промежность.

Я же лежал, посмеиваясь над казавшимися столь тяжкими волнениями моей плоти, и не заметил, как снова заснул.

Когда я открыл глаза в свете занимающегося утра, другая половина постели была пуста. Встревоженный, я приподнялся на локтях. Лилу сидела в углу, накрашенная, одетая в лиловый закрытый костюм, как в день нашего знакомства, и печально смотрела на меня. Мне стало не по себе.

— В чём дело? Ты что, не спала?

— Нет, так и не смогла. А через час тебе уже ехать отмечаться в “Хилтон”.

— Мне? А тебе?

— Я поеду в “Оспедале”, к Павлу Трофимовичу. И вообще, останусь с ним, пока всё не разрешится. Ты был прав, когда предложил мне это.

— Но это была лишь фигура речи! Сама-то ты не хотела! Что заставило тебя изменить решение?

— Моральные обязательства, — усмехнулась она. — Ты прав, какой бы он ни был, он мой мужчина. И я хотела, чтобы он развёлся с Зинкой и взял меня замуж. Так что...

— Но теперь-то как ты с ним?..

— Никак. Я буду выносить его судно и кормить его с ложечки, если он сможет есть с ложечки. Знаешь, у меня появилось ощущение, что он выживет лишь в том случае, если я останусь с ним.

— Может быть... Глубокая мысль, не ожидал. Поздравляю! Я даже потрясён... Похвально... Нет, правда, это достойное решение... Да, конечно... Но тот ли это человек, ради которого ты должна похоронить себя как женщина?

— Другой человек умер от передоза и лежит на том самом кладбище, на которое тебя возила Ольга из твоего рассказа. Я было подумала: не ты ли мой новый человек? Ведь зачем-то ты появился в моей жизни, да ещё из параллельной реальности, и я, находясь рядом с тобой, не исчезла, как другие, не впала к кому, как Стригунов? К тому же, ты мне понравился, таких в Южноморске нет. Наш потолок — остряк Колобакин. А вчера, когда мы поднялись в твой номер, мне стало страшно. Недостаточно быть просто рядом с тобой, я могу внезапно сгнуться, когда ты, допустим, выйдешь в туалет. Ведь ты появился из иной, невидимой жизни, нас ничего не связывает. И особенно стало страшно, когда ты уснул, а я нет. Пристав к тебе с сексом, я не только хотела снять напряжение, я подумала, что, если оставить твоё семя в себе, то наши реальности сольются, и я рука об руку с тобой выберусь из “болота”. Но сначала ты сказал о жене, и это было искренне. Я поняла, что ты не можешь быть моим мужчиной. Ты думаешь, такие женщины, как я,

не знают того, что ты сказал о муже и жене? Знают, и все хотят этого. Угроза греха-то меня не очень пугала... Точнее, так: пугала, но ведь я и приехала сюда не праведницей, я грешила с Павлом Трофимовичем, не любя его, а только желая использовать. Потом... вдруг пошли месячные, хотя по срокам было рановато. А значит, твоё семя не осталось бы во мне. Наши пути в любом случае разошлись бы. Ты снова уснул, как ни в чём не бывало, а я снова лежала, думала. Зачем в Южноморске я следила за тобой на улице? Почему везла тебя на кладбище, где лежит Игорь? Это случайность? Или, напротив, знак? Я не спасла Игоря, а потом, в депрессии, отдалась Стригунову, не особо противясь. С ним или с другим — какая разница? Лучше с ним, он не последний человек в городе, ректор университета. Со временем даже привыкла к нему, хотя после секса, в ванной, помогала себе кончить рукой. Но Павел Трофимович полюбил меня, а это для женщины важно. Я по-прежнему не считала его своим мужчиной, но готова была связать судьбу с ним, если он разведётся. Даже родить от него ребёнка. И вот... Я лежала с зудящей пустотой между ног, заткнутой тампоном, и спрашивала себя: почему в твоей истории у Стригунова тоже был инсульт? И зачем ты приезжаешь в Южноморск и Венецию накануне удара? Тоже случайность? Отчего та, другая я, бросила тебя на кладбище? Может быть, для того, чтобы я настоящая встретила тебя здесь? И узнала, что нужно отличать свои знаки от остальных, искать свой прикол в *Реке времён*? Я пыталась, глядя в темноту. И тогда я вспомнила, что делала в твоём рассказе, когда Павел Трофимович лежал в Южноморске с инсультом. Я сидела в приёмной, ходила за тобой, везла на кладбище... Правильно? Но я не была рядом со Стригуновым. И здесь не хотела. Готова была как его подчинённая, но как человек — не хотела.

— То есть ты поняла, что он — твой прикол? — наконец, догадался я.

— Да. И что я не должна поступить с ним так, как поступила в твоём рассказе и как поступила бы здесь, не будь разговоров с тобой. Только тогда есть надежда, что я выберусь. Что поставлю себя на прикол. — Она улыбнулась. — У “Оспедале” есть такая “брикола” из двух брёвен, видел? Может, это моя?

— Всё правильно, — кивнул я. — Молодец! Ты умная! Всё гениальное просто. Езжай в “Оспедале” к Стригунову. Извини, я оденусь. Позавтракаем здесь? Потом я посажу тебя в здешний “форд”, на котором ты доедешь до Площади Рима. А сам закажу такси до “Хилтона”.

— Мы расстанемся навсегда? — подняла на меня глаза Лилу.

— Если я тоже выберусь, то никогда, будучи в здравом уме, больше не приеду в Южноморск. Ну, ты понимаешь... А не выберусь, то как знать...

— Южноморск — место встречи попавших в “болото”...

— Знаешь, я почему-то думаю, что, если ты вытащишь Стригунова с того света, то “болото” от тебя отступит. Но одного решения, которое ты сейчас приняла, для этого мало. Ведь всегда можно отыграть назад: когда придет Зинаида Альбертовна, например... Ты понимаешь, что должна взвалить на себя тяжкий крест? И нести его? Я спрашиваю, потому что ещё не поздно поехать со мной.

— Да, понимаю, — тихо сказала она. На глаза её навернулись слёзы. — И постараюсь не отыграть назад.

— Хорошо.

Надевая пиджак, я замер, увидев нечто знакомое.

— Ах, вот как... — промолвил я. — Ну, что ж... Тогда, значит, так. — Я вынул из кармана бумажник, достал оттуда все евровые банкноты и протянул Ольге.

— Зачем? — удивилась она. — На что ты полетишь домой?

— Я уже никуда не лечу. А тебе здесь деньги нужнее. Гляди, — я указал на зеркало напротив, в которое было хотел посмотреться. — Я в нем не отражаюсь. И мелкие волны идут по нему, как рябь. Это значит, что открылся вход.

— И правда — не отражаешься, — со страхом сказала Лилу. — Она на цыпочках подошла к зеркалу, вытянула шею. — И я не отражаюсь. Там, в зеркале, коридор какой-то, — на здешний вроде не похож.

Я кивнул:

— Совершенно не похож. Зато похож на коридор в моей квартире. Я просто войду в неё из Венеции. Мне даже не придётся тратиться на такси от аэропорта.

— Повезло, — вздохнула она.

— Ну, это ещё никому не известно. Слишком лёгкое возвращение, а здесь лёгких путей не бывает.

— А тебе точно туда надо?

— Я же не в своей, настоящей жизни, значит, всё равно придётся искать портал, чтобы попытаться вернуться. А какая разница — здесь или в Москве? Так... Надо поторопиться, а то вход может закрыться так же быстро, как открылся. Чемодан и портфель, пожалуйста, возьму с собой: как знать, есть ли они дома. Ну, Ольга Витальевна, не поминай лихом. Обнимаю, что ли?

Глазова обняла меня за шею обеими руками, прижалась к моей щеке мокрым, с потёками лиловой туши лицом.

— Спасибо, я буду помнить о тебе, — шепнула она.

— Что ж, с Богом. Смотри, больше такого, наверное, никогда не увидишь. Смертельный номер! “Человек, преодолевающий пространство и время”! — Я перекрестился, взял чемодан и портфель и шагнул в пустоту зеркальной рамы.

* * *

Знакомый запах. Я стоял в прихожей своего дома. Всё здесь выглядело точно так же, как перед моим отъездом в аэропорт. Я обернулся на зеркало и отразился в нём. Портал захлопнулся. Я осторожно опустил на пол чемодан с портфелем, потянул собачку замка на двери, открыл её и с грохотом опять закрыл. Так-то будет лучше. Человек, входящий не в дверь, по меньшей мере, подозрителен.

Но на клацанье входной двери никто не отреагировал.

— Есть кто живой? — воззвал я.

Тишина. Понятно, утро, будний день, жена на работе, дочь в университете. Я разулся, снял пиджак, прошёл в гостиную. Господи, как будто никуда не уезжал! Неужели всё было дурным сном? Хотелось бы верить, да только как я оказался в квартире, не открыв двери ключом? Я сел на диван, задумался. Вот я вернулся — счастливо, можно сказать, да только я это или не я? Как понять? За что мне сейчас братья? Просто продолжать жить, как до отъезда в Южноморск? А получится?

— Сначала надо позавтракать, вот что, — сказал я сам себе. Питание в “Аквариуме” было нерегулярным и необильным, в животе урчало.

Я отправился на кухню, достал из холодильника яйца и сосиски, открыл газ.

— Здесь хоть пожрать можно, — бурчал я, наливая масло в сковородку. — Дом есть дом! А там ни банкета, ни фуршета, пара завтраков в отеле да кусок пиццы на вокзале! В туалете бывал урывками! Давно не припомню такой экстремальной командировки!

Поддерживая себя такими шутками, незаметно я вернулся мыслями в “Альвери”. Лилу без меня, небось, не стала завтракать, сразу поехала в “Оспедале”, к Стригунову. И поест ли теперь до вечера, неизвестно. А скоро будет и не на что. Денег ей, даже с моими, надолго не хватит. Через два дня придётся расплачиваться самой за гостиницу. Зря мы всё-таки не поехали в “Хилтон”, не зарегистрировались на конгрессе! Получается, сейчас она никто и звать никак. А так бы в оргкомитете чем-нибудь помогли, связались с консульством. Ей надо бы...

Тут я очнулся и замер с банкой кофе над кофеваркой. Какой конгресс, какая Лилу? Настоящая Лилу сейчас в Южноморске, а уж у одра Стригунова или нет, неизвестно. Никого из тех, кого ты видел в Венеции, там нет и не могло быть! Всё, этот вариант отыгран! Или?.. Нет, нельзя так просто

взять и вычеркнуть из жизни что-то, даже, если это что-то происходило в иной реальности! Тем более что “Аквариум”-то не вычёркивает! Я встречаю в его ходах одних и тех же людей, с одной и той же историей, иногда печальной, как у Стригунова. Десятки параллельных сюжетов развиваются сейчас в лабиринте, в том числе и с моим участием. В одном из них я стою на кухне, жарю яичницу и варю кофе. А в других? Странное дело, вот я дома, но почему-то не рад этому. Вернувшись не обычным путём, а потусторонним, через зазеркалье, я всё думаю: действительно ли это Я вернулся или просто Лосев номер три стал Лосевым номер четыре? А значит, возможен Лосев номер пять, шесть, семь и так далее?

Под эти мысли я позавтракал и выпил кофе. Потом некоторое время сидел без движения. Честно говоря, спокойней было ничего не делать и оставаться в неведении. Но так долго продолжаться не могло. Надо пойти к компьютеру, открыть почту и посмотреть, где я и что я. И тут здешний мир сам истребовал меня звонком мобильного.

Давненько, давненько я не слышал этой музыки! Я пошёл в прихожую, достал из кармана заходящийся телефон. “Аня”, — светилось на экране. Жена. Вот сейчас и станет ясно, где я. Если она спросит, почему я был недоступен два дня и не звонил сам, то я вернусь в прежнюю жизнь. Если же нет... Правда, аккумулятор почти на нуле: я, в отличие от Лилу, не удосужился зарядить его в “Альвери”. Но, может, на разговор хватит?.. Я ответил:

— Алло!

— Боря, привет! Ну, я прилетела! В гостиницу пока не заселились, там с одиннадцати, и нас отвезли в университет позавтракать. Тебя здесь кое-кто читал!

— Куда прилетела? — неосторожно спросил я. Но было уже ясно, что я не в прежней жизни. Когда я отправлялся на конференцию, Аня улетать никуда не планировала.

— Ну как, куда? Ты, что, не проснулся ещё? Ты же меня сам ночью отвозил в аэропорт! В Южноморск!

— Куда-куда?! — пролепетал я.

— Боря, ну, что ты раскудахтался? Куда-куда! Не смешно уже! В Южноморск, на конференцию!

Я едва не выронил телефон. Да, жена моя, в отличие от меня, настоящий учёный, со степенью, филолог, и ездит на конференции. Ничего необычного. Если не считать места проведения конференции.

— Ну, что ты молчишь? Да что с тобой?

— Да-да... А какая гостиница? “Аквариум”?

— Откуда ты знаешь? Ты же никогда не был в Южноморске! Ну, да, “Аквариум”.

— Аня, ты могла бы... не заселяться в эту гостиницу, вернуться в аэропорт и улететь домой?

— Что-что?! — Теперь пришёл её черёд переспрашивать. — Да ты в своём уме? Почему я должна возвращаться? Что там случилось после того, как ты посадил меня на такси?

“То, что может случиться и с тобой в городе переселения душ”, — подумал я и сказал:

— Послушай меня... это плохой город и плохая гостиница. Там исчезают люди, и никто потом не может их найти. Бросай всё, уезжай, умоляю!

— Но ты же знал, куда я еду! Почему говоришь это только сейчас?

— Ну, скажем, я узнал это только сейчас.

— Приснилось, что ли?

— А название отеля тоже мне приснилось?

— Да кто там исчез?

— Участники международной конференции этрускологов. Ты откуда вообще звонишь? Кто там с тобой рядом?

— Никого. Я вышла из столовой в коридор позвонить, пока народ заканчивает завтракать. Ты ничего не напутал насчёт этрускологов? Никогда об этом не слышала. Да если бы они исчезли, был бы скандал на весь свет!

— И ты будешь дожидаться скандала с филологами? Только где?

— Боря, не сочиняй, пожалуйста, — устало сказала она. — Может, ты новый свой сюжет перепутал с явью? Тогда иди, поспи ещё.

Всё было бесполезно. Кандидата наук, только что прилетевшего на конференцию и ещё не прочитавшего свой доклад, нет никакой возможности выдернуть обратно. Пусть даже *вдоль дороги мёртвые с косами стоят*.

Между тем, телефон подал сигнал, что издыхает.

— Аня, — заторопился я. — А кто сейчас ректор в Южноморском университете, не знаешь?

— Знаю, он нас поприветствовал, седой такой дядечка, после инсульта, Стригунов. Но занимается нами, в основном, проректор Хачериди.

“После инсульта”? Вот как? Так, может...

— А кто у Стригунова секретарь?

— Ольга Витальевна, молодая дама, немного печальная, в тёмном. Кстати, она и есть твоя читательница. Когда мы были в приёмной, она так странно на меня посмотрела и спросила: “А вы, случайно, не супруга Бориса Сергеевича Лосева? — Да, — говорю, — а вы откуда его знаете?” Она повела бровями и улыбнулась несколько загадочно. “Читала, — отвечает. — Передавайте ему от меня поклон”.

Тут связь оборвалась.

Я тупо глядел на пищавший, алчущий напиться электричеством телефон. И так, реальность под номером неведомо каким, в которой оказалась Аня, есть продолжение венецианской реальности номер три! С благородной Лилу, поставившей на ноги Стригунова. И даже подавшей мне знак оттуда. Это, в общем, неплохо, потому что мир, в котором совершается добро, может противостоять миру зла. Я в “Альвери” так и посулил Ольге, что “болото” отступит от неё, если она вернётся к Павлу Трофимовичу. И от него оно, тоже, кажется, отступило, судя по тому, что он по-прежнему ректор и даже ходит на работу. Может, и жену “Аквариум” оставит в покое? Да, но ведь её поселили в нём! Как мне связаться с Лилу, чтобы она позаботилась об Ане? Переселила её в другой отель, например? За всё время, что мы были в Венеции, я не удосужился узнать номер телефона Ольги. Так, но на сайте университета телефон приёмной ректора наверняка есть.

Я поставил мобильник на подзарядку, пошёл в свой кабинет, включил компьютер и роутер. Посмотрим, какое сегодня число. 25 апреля, извольте! Да... но год?! В правом нижнем углу монитора был указан не нынешний, а... следующий год. Один год моей жизни, который я не прожил! Что ж... теперь понятно, почему Стригунов успел встать на ноги, а я не знаю об Аниной конференции в Южноморске. А я-то мнил, что в мире “Аквариума” не бывает будущего!

Я затребовал в поисковике сайт Южноморского университета, открыл. Ага, вот раздел “Органы управления”, а вот телефон приёмной. Я набрал его по стоящему на столе аппарату. “Номер, набранный вами, не существует!” — почти прокричал мне в ухо зловещий женский голос. Хлопнув по рычагу, я снова стал жать на кнопки телефона, уже медленней, предположив, что ошибся в наборе. “Номер, набранный вами, не существует!” — ещё более зловеще, как мне показалось, повторил недобрый голос. Что ж, похоже, повторяется южноморская история с телефонами... Иногда они оживают, как в случае с отцом Константином, портье в “Альвери” и недавним звонком Ани, но весьма выборочно — наверное, по какому-то заранее намеченному плану... Хорошо, а если попробовать написать Лилу по университетскому e-mail’у? Вот он, в “Контактах”, общий. Я кликнул его и напечатал в адресной строке: “Глазовой Ольге Витальевне”. Что же написать? Надо ведь не вызвать подозрений у админа, которому сначала придёт письмо. Я подумал и написал:

“Ольга Витальевна, большая просьба позаботиться о моей жене Ане, которая, как Вы знаете, сейчас находится в Южноморске. На неё плохо действуют зеркала, а в “Аквариуме” их слишком много. Пожалуйста, переселите её под благовидным предлогом в другой отель! И вообще, если можно, присмотрите за ней, чтобы она не отправилась в одиночку гулять на болота.

С безусловным уважением к Вашей самоотверженности,
Борис Сергеевич”.

Конец письма получился, прямо как в “Собаке Баскервилей”: “заклинаю: остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно”. Но она девочка сообразительная, всё поймёт, и насчёт зеркал, и, тем более, насчёт болота. Только бы ей переправили письмо! Надо что-то такое написать в строке “Тема”, чтобы не поставили “на игнор”. Вот так, пожалуй: “Союз писателей России, Б. С. Лосев”. Выглядит весомо. Я нажал кнопку “Отправить”. Письмо ушло.

Ладно, а что с моей дочерью? Точно ли она в университете, как я предполагал, войдя в квартиру? Жена оказалась вовсе не на работе. Я набрал мобильный Елены, ожидая настроившего в ушах: “Телефон абонента выключён...” — однако довольно быстро последовало соединение:

— Папуля, привет!

— Привет, дочка! Ты где сейчас?

— Мы с девочками гуляем в Биеннале.

Снова противно зануло под ложечкой, — как и тогда, когда жена сказала про Южноморск.

— А что это такое... Биеннале?

— Ну, ты что, не знаешь? Такой парк в Венеции, где международные выставки происходят.

Я моментально взмок. Я предельно ясно понял, что на этот раз “Аквариум” жёстко взял меня и мою семью в оборот. Чужие исчезновения закончились. Не дёрнешься, как, бывало, в других ипостасях! Я — прямиком из Венеции в Москву, а дочь — из Москвы в Венецию. А жена, тем временем, в Южноморске, откуда я сбежал через зеркало.

— Папуль, ну, ты что молчишь? Счётчик-то тикает!

— Ничего не тикает... двести рублей уже заплатишь по-любому. — Я мучительно пытался сообразить, как мне выведать, что же она, собственно, делает в Венеции, не открывая своего полнейшего неведения. Скорее всего, раз с ней в Биеннале фигурируют “девочки”, они там оказались по программе студенческого обмена. — Ну, как тебе местный универ? — наугад спросил я.

— Да я же тебе несколько дней назад говорила! Административный корпус в таком шикарном Палаццо Ка’ Фоскари на Большом канале, а кампусы разбросаны по всему городу и в Местре. Живём в общежитии по двое, я с Таней Рудаковой. По вечерам у нас весело! Да, папочка, вот что я тебе хотела сказать... Сама собиралась позвонить, а тут ты... Помнишь, я тебе говорила про Дмитрия Евстигнеевича, нашего русского человека, который работает в универе, в Центре исследований по искусству России? Помнишь? Что ты молчишь?.. Ну, Дмитрий Евстигнеевич Колобакин, такой милый, остроумный, всё ухаживает за мной, показывает Венецию?..

— Так, — сумел выдать себя я, — и что?

— В общем, в моей жизни произошло важное событие... он сделал мне предложение.

— В каком смысле — предложение? — оцепенел я. Час от часу не легче: “Аквариум” бьёт без перерыва, не давая продыха! — Замуж, что ли?

— Ну да, представляешь! Я ему ещё ничего не ответила, но, думаю, что соглашусь. Буду жить в Венеции, папуля! Он, конечно, на пятнадцать лет старше, но ведь мои ровесники — дебилы, сам знаешь.

Я перевёл дыхание.

— А он что — сейчас рядом, этот Колобакин?

— Нет, он на работе. Мы сами пошли в Биеннале, это недалеко от Дворца Дожей: сначала по Рива дельи Скьявони до Арсенала, а потом...

— Вот что, дочка, — перебил её я. — Выбрось этого Дмитрия Евстигнеевича из головы. Он хоть и краснобай, а на самом деле пустой человек, позёр и хохмач, и заполняет пустоту марихуаной и кокаином. Ты с ним попадешь в беду. Ответь ему “нет” и попроси больше не приближаться к тебе.

— Да ты что? Какая марихуана? Да мы же говорили с тобой в прошлый раз о Дмитрии Евстигнеевиче, и ты сказал: “Ну что ж, пусть покажет тебе Венецию, но если будет в гости к себе звать, не ходи”!

— А ты ходила?

— Папа!..

— Это правда?

— Правда! Но он приходит к нам в гости в общежитие! А что — нельзя? Он, на минуточку, наш куратор!

— Он урод — в жопе ноги, как сказала одна общая знакомая! — не сдержался я. — Слушай меня внимательно. В комнату его больше не пускай. Разговоров не заводи. На его разговоры не отвечай. Если он куратор, то пусть курирует, но не тебя лично, а всю группу.

— Какая ещё общая знакомая, если ты его не знаешь? Если бы знал, то сказал бы в прошлый раз! Папа, какая муха тебя укусила? Что ты придумываешь?

— Я не понял тогда, о ком ты говоришь. Я знаю его по Южноморску, где он был доцентом в местном университете. Едва ли не первое, что он мне предложил при встрече — это забить косячок.

— Да разве ты был когда-нибудь в Южноморске?

— А откуда мне тогда знать, что Колобакин работал в местном университете? А он ведь там работал, не правда ли, и говорил тебе об этом?

— Я всё поняла... ты навёл о нём справки, и кто-то накрутил тебя против него. Папа, ну нельзя же так! Мало ли кто и что о ком скажет! А у меня самой, по-твоему, глаз нет? А мама меньше тебя понимает в людях? Она мне сказала: “Леночка, ты внимательно присмотришься к нему, попроси рассказать о себе поподробней и, наконец, постарайся узнать, сколько он зарабатывает”, — но она не говорила за глаза о человеке, что он урод — в жопе ноги!

— А ты ей сообщила о предложении Колобакина?

— Ну... да. Решила: сначала ей, потом тебе.

Ну, Аня, партизанка! Ни полсловечка по телефону о венецианском женихе! Женская солидарность!

— Я буду с вами обеими иметь серьёзный разговор на эту тему. Мы по телефону твоих женихов обсуждать не будем. И уж тем более благословлять. Пусть он явится пред очи родителей, и мы с ним основательно поговорим.

— Да как он явится? Из Венеции, что ли, прилетит?

— Любит — прилетит и из Венеции. А если он просто развлекается, то пусть там и остаётся. Но без тебя.

— Да откуда у тебя вдруг эти домогательские замашки? Почему ты унижаешь меня? Ты мне даже ничего не советуешь, просто диктуешь свою волю, и всё! Папа, я совершеннолетняя, я личность, у меня своя жизнь, и я имею право выбора. Не смей так говорить со мной!

— Лена... — начал я, но она отключилась.

Я совершенно не знал, что делать. Меня взяли за слабое место — жену и дочь. Успокаивать себе, как раньше, мыслью, что это не моя реальность, я уже не мог. То, что крикнули в одном из ходов лабиринта, обязательно отзывается эхом в другом, — пусть в искажённом виде, но с неизменной сутью. Ты бросаешь бумеранг в одном зазеркалье “Аквариума”, а он возвращается к тебе в другом. Возможно, и в третьем, и в четвёртом. Эх, не зря я подозревал, что придётся дорого заплатить за мгновенный переход из “Альвери” в свою квартиру!

Я сидел, уставившись невидящими глазами на свою почту в “Яндексе” — почту, которую я, в своей жизни годичной давности, не получал и на которую в действительности не отвечал. Вот ещё одно письмо, новое... Но что это: “Ре: Глазовой Ольге Витальевне”? Неужели ответ?! Трясущими руками я открыл письмо:

“Сделаю всё, что смогу.

Помнящая о Вас

Ольга Г.”

Я перевёл дух. Есть! Получилось! Лилу — надёжный человек! Благородная Лилу, которая сначала показалась мне высокомерной южноморской оторвой! Чувственна, конечно, необычайно... Гормоны в ней играют, как пузырьки нарзана, бегущие наверх со дна бокала. Я вспомнил вживую тяжесть

её ноги на мне, эллипс бедра, обведённый лунным светом, прохладные груди с твёрдыми сосками... Она была так близко, на расстоянии даже не руки, а... Я помотал головой, отгоняя гибельное наваждение. Гибельное уже не для меня, а для Леночки. Если я не окажусь на высоте здесь, ей будет туго там. Рядом с ней Колобакин, а где Колобакин, там и “болото”. Я чувствовал, что он был неотъемлемой частью той недоброй мистики, что окружала меня в Южноморске и Венеции, и это беспокоило меня не меньше, чем его отношение к наркотикам, позёрство и скрытое за хохмачеством лукавство. Я не мог знать, в каком качестве он был приставлен “Аквариумом” ко мне и к другим, но то, что он игрушка в руках потусторонних сил, я ничуть не сомневался. Судя по тому, что Колобакин жив-здоров и по-прежнему работает в Ка’ Фоскари, он никуда не исчезал на площади Сан-Марко, а просто сбежал от нас, бросив парализованного Стригунова! И вот теперь он “сватается” к моей дочери... А я бессилен.

Взгляд мой снова упал на письмо Лилу. Но так ли уж и бессилен? Ведь мой ход с университетской почтой удался! А почему бы мне не попытаться и на университет Ка’ Фоскари выйти через сайт? Я набрал его в поисковике и быстро заполучил, с опцией перевода на русский. Смотрим... “центральная администрация”... “дом приходского священника”... “ректор”... Микеле Буглиси... телефон, факс, e-mail.

Для начала я попробовал телефон. Как и в случае со звонком дочери, соединение произошло на диво быстро:

— Ascolto, Direttrice dell’Ufficio del Rettore Veronica Giove, — поставленным голосом сказала женщина на другом конце провода. Смотри-ка, заграница прозванивается: что-то “Аквариум” по части международной связи не доработал! И тут же спохватился: не накаркать бы!

— Хэлло, синьора Вероника! — по-английски приветствовал я директору офиса. — Это Борис Лосев, писатель из России. Мне нужно срочно переговорить лично с синьором ректором по поводу возникшей проблемы в наших двусторонних контактах.

— Здравствуйте, мистер Лосев! Это действительно срочно?

— Да, конечно! Я же из Москвы звоню.

— Минуту... попробую соединить, если у него не занято.

“Писатель из России” за границей ещё действует безотказно, а вот у нас уже надо говорить: “Союз писателей России”... В одиночку не котируюсь.

Через пару минут Вероника сообщила:

— Мистер Лосев? Синьор ректор у телефона.

— Грацие!

— Хэлло, дорогой друг! — услышал я приятный мужской голос. — По поводу каких контактов вы хотели бы со мной поговорить?

— Здравствуйте, синьор Буглиси! По поводу студентов из России, которые сейчас гостят у вас в Ка’ Фоскари. Среди них моя дочь Елена Лосева.

— О, весьма приятно!

— Мне тоже, если бы не одно обстоятельство. К нашим ребятам, как я понял, приставлен мой соотечественник, Дмитрий Колобакин, работающий у вас лаборантом в Центре исследований по искусству России. Я его знаю, и у меня о нём не самые хорошие впечатления. Он уже не так молод, а ведёт себя, как тинэйджер, покуривает марихуану, острит без остановки, по поводу и без повода. Такие быстро располагают к себе молодёжь, но не думаю, что хорошо на неё влияют. Тем более, что он взялся ухаживать за моей дочерью и даже предложил ей выйти за него замуж. Я не знаю человека, менее склонного к семейной жизни, чем господин Колобакин. Мы с вами, синьор Микеле, как люди более опытные, понимаем, что он просто морочит девушке голову с достаточно понятными целями. По-другому они называются сексуальными домогательствами. Вы, естественно, не полиция, но вы работодатель этого Колобакина и не для того, я уверен, поручили ему курировать наших студентов, чтобы он использовал это в целях, не имеющих никакого отношения к его работе. Я бы хотел попросить вас устранить Колобакина от нашей группы и запретить ему появляться у них в общежитии.

— Как вы говорите: Дмитрий Колюбакин?

— Колюбакин.

— Спасибо, я записал. Вы видели, как он курит марихуану, мистер Лосев?

— Нет, но он предложил мне сделать это сразу же после знакомства в университете нашего города Южноморск.

— Это было именно в университете или в каком-нибудь другом месте?

— В университете.

— А вашу дочь зовут Елена, вы сказали?

— Совершенно верно.

— Елена Лосева, записал... Мы очень серьёзно относимся к подобной информации и самым надлежащим образом её проверим. В этом вы можете быть абсолютно уверены. Я дам соответствующее поручение нашему генеральному директору синьору Антонио Маркато и синьору Джузеппе Барбьери, возглавляющему Центр исследований по искусству России.

— Спасибо, буду очень вам обязан!

— Всегда к вашим услугам, мистер Лосев. Вы никому больше не рассказывали о синьоре Колюбакине?

— Нет.

— Могу ли я вас попросить и впредь, до выяснения всех обстоятельств, не рассказывать?

— Да, конечно.

— Хорошо. Был рад знакомству с вами, мистер Лосев. До свидания!

— До свидания!

Несмотря на повторную удачу, я понимал, конечно, что только человеческим вмешательством не смогу оградить жену и дочь от фантомов, порождённых зеркалами “Аквариума”, но опыт показал, что решение, идущее вразрез со схемой событий, навязанной “болотом”, как это было в случае с приходом Лилу в собор Сан-Марко, способно вывести человека из-под удара. Пусть и ненадолго. Впрочем, когда Ольга приняла второе такое решение — остаться в Венеции со Стригуновым, она избавилась от чар “Аквариума” на год, а сам ректор оправился от удара до такой степени, что смог приветствовать участников конференции филологов. Свободная человеческая воля всё-таки может противостоять воле виртуального мира. Осталось только понять, насколько свободна или, напротив, насколько виртуальна моя, Лосева номер четыре, воля. Вот я вошёл в квартиру с портфелем и чемоданом, а даже не знаю, не имеется ли в ней уже точно такие же чемодан и портфель моего предшественника, как это было в фильме “Солярис” с вещами героини. А у клона — какая воля? Клонированная. Я отправился в кладовку, где мы хранили чемоданы, и дубликата стоявшего в прихожей чемодана с некоторым удовлетворением не обнаружил. Значит ли это, что и я не дубликат? Едва ли, пока не разгадал природу перемещения вещей в пространстве “Аквариума”, но всё же... Я вернулся в кабинет, посмотрел в тот угол, в который обычно ставил портфель, — пусто. Стало как-то спокойней. Пока я не задумался: а где тот бедолага Лосев, что ночью отвёз жену в аэропорт? Лучше не думать...

Зазвонил мобильник, стоящий на подзарядке. Да, это Москва, где телефон — продолжение тебя самого, здесь долго помедитировать в одиночестве не дадут! Я подошёл, глянул: “Рыленков”, главный редактор литературно-исторического издательства, в котором я трудился редактором-надомником. Ну, вот, Лосев номер четыре, пора и за работу браться. Ещё бы знать, что я там наработал за год. Я ответил:

— Привет!

— Привет, Боря! Ну, я прочитал, наконец! Приезжай, обсудим. Сможешь в течение часа, а то у меня потом совещание?

Начинается... ЧТО он прочитал? Хотя чего я комплексую переспрашивать? Ну, забыл... Писатель, рассеянный человек... За спрос денег не берут, только раздражаются.

— Егор Петрович, уточни, пожалуйста, а что ты прочитал?

— Как что? Роман, который ты предложил!

Ах, вот как, я роман за год наваял... Жалко только, что сам его не читал. В моей первой жизни, перед поездкой в Южноморск, ещё и замысла нового романа не было.

— Ага! Понял, Петрович, еду!

Всё это чем-то напомнило мне мистическую историю с классиками, свидетелем которой я стал, когда в молодости работал в журнале. Мы сидели с поэтом Юрием Кузнецовым в кабинете главного редактора и выпивали. Перед этим Кузнецов, хотя был не с похмелья (с похмелья он напоминал Вяя, которому невмоготу поднять веки), попросил меня: “Борис, сходи, купи коньяку хорошего, ну, ты знаешь какого, и винограду”. В предпочтениях его — коньяк, виноград — сказывался вкус человека с юга. Впрочем, если бы он хотел просто выпить, то вполне мог довольствоваться и водкой, причём без всякого винограда и вообще без закуски. Юрий Поликарпович был одним из последних литературных могокан, что пили водку стаканами. А тут он закончил большую поэму и решил это дело отметить эстетично. Я купил, принёс, мы сели, выпили по первой, и вошёл Валентин Распутин. Ему нужен был главный редактор, а тот почему-то отсутствовал. Мы, естественно, пригласили Валентина Григорьевича за стол, и он присел рядом с Кузнецовым. Оба они были люди тяжеловатые на общение, — особенно если потенциальный собеседник тоже значительный писатель. Сидят, молчат. Это ведь не более чем литературоведческие измышления: как много могли бы сказать друг другу, например, Толстой и Достоевский, доведись им встретиться! Ничего бы они не сказали... Сидели бы, небось, точно так же, насупившись, с онемевшими языками. Я разлил, выпили, и Кузнецов, наконец, говорит: “Ну, что, Валентин. Я прочитал твою повесть. Ты знаешь, мне кажется, это никуда не годится”. Распутин удивлённо воззрился на Кузнецова: “Юра, я уже много лет не приносил в журнал никаких повестей...” Тут в глазах у Юрия Поликарповича что-то прояснилось, и я понял, что он просто находился в размышлениях о творчестве Распутина, и эти размышления перешли, может быть, за рамки реальности. Посмеявшись над новым литературным анекдотом, я решил, что Кузнецов в то время, когда произошёл этот эпизод, находился в своём привычном состоянии — сразу в нескольких слоях времени. Один слой — тот, в котором он физически пребывал, другой — тот, где он парил рядом со своей поэмой, а третий был связан с вошедшим Распутиным, человеком, более удачливым в смысле литературной славы. Мистичность же ситуации заключалась в том, что Валентин Григорьевич новую повесть, действительно, писал и года через два, когда Кузнецова уже не было в живых, принёс её в журнал. Не исключено, что Юрий Поликарпович “провидел” эту повесть. Зная его, я могу предположить, что она едва ли бы ему понравилась. Он не любил читать о мытарствах маленьких людей, даже, если они делают их “большими”. Оттого и высказался “авансом”.

Я в каком-то смысле оказался в положении Распутина: поеду выслушивать мнение о романе, которого в нынешней своей ипостаси ещё не писал, но который в другой жизни уже читал Рыленков.

Я посмотрел в окно, стоит ли на стоянке моя старенькая “школа”. Стояла. Ладно, поеду.

Спустившись во двор и постучав по скатам машины, я залез в салон и проверил зажигание. Заводится нормально, как и год назад, с абсолютно тем же подкашливанием. Бензину полбака. Можно ехать.

Я был уже в пути, когда снова позвонила жена. Она начала без всяких предисловий:

— Борис, выкладывай, как на духу, что у тебя было с этой Ольгой Витальевной!

“Ничего не было, кроме того, что в Венеции она лежала со мной голая”, — чуть не ответил я. Прочистив горло, я “прикинулся шлангом”:

— А кто это — Ольга Витальевна?

— А то ты не знаешь, кто! Твоя поклонница из местного университета!

— А, вспоминаю, ты говорила! Ну, у нас есть общие знакомые из Южноморска. А так — откуда мне её знать, если я сам никогда в Южноморске не бывал?

— А в Москве ты с ней не встречался?

— Нет, — честно ответил я.

Жена моя отлично чувствует, когда я говорю честно, поэтому градус её натиска несколько снизился.

— Если вы знакомы лишь заочно, то как объяснить её поведение по отношению ко мне?

— Что же это за поведение?

— Когда нас уже собрались везти в гостиницу, вдруг шагом бизнесвумен быстро входит эта Глазова, отводит меня в сторону и говорит, что произошла досадная накладка с моим номером в “Аквариуме”, он уже занят, и она лично отвезёт меня в другую гостиницу. Спросила, где мои вещи, сама взяла их и потащила, не оглядываясь, к выходу! Мне ничего не оставалось, как только догонять её. Нет, ты понял? И вместо комфортабельного номера я получаю обыкновенную комнату в гостинице при студенческом общежитии! Я просто растерялась! А Ольга эта как ни в чём не бывало говорит: “Вам повезло, вы живёте рядом с университетом!”

Я живо представил себе всё это и едва сдерживал смех. Молодец, Лилу! Мёртвая хватка, — то, что надо в такой ситуации.

— А может, и вправду повезло? А то моталась бы туда-сюда...

— Да я бы помоталась несколько раз! Особенно, когда возят на автобусе! За все годы жизни с тобой я ни разу не жила в пятизвёздочном отеле! В кои-то веки повезло, да не тут-то было! Кстати, а откуда тебе известно, что из “Аквариума” надо мотаться?

— Я тебе уже говорил, что кое-что знаю про этот отель. И очень рад, что ты не попала туда. Но я так и не понял: почему из всего случившегося ты сделала странный вывод, что у нас с Ольгой Витальевной что-то было?

— Ну, только дурочку из меня не делайте! Сначала ты мне говоришь, что нельзя жить в “Аквариуме”, а потом появляется Глазова и перевозит меня в другую гостиницу! Лишь она единственная смолчала, прикинувшись занятой, когда я стала спрашивать у всех, не исчезали ли в Южноморске участники конференции этрускологов. Остальные удивились и сказали, что никакой такой конференции у них не было, а гостила научная делегация итальянских этрускологов, никуда не исчезающая. Дальше — больше. В гостинице Ольга Витальевна вдруг стала любезной и ласковой и заявила, что для меня разработана руководством индивидуальная культурная программа, и она будет моим личным экскурсоводом. Ни много ни мало! Отчего бы это? А ведь поначалу она казалась такой неприступной, — даже после того, как спросила про тебя. А теперь — личный экскурсовод! И вот я сижу, жду, когда она посадит кого-то вместо себя в приёмной и заедет за мной в гостиницу, чтобы повезти посмотреть какое-то древнее городище и местный кафедральный собор. И зачем-то собирается знакомить с отцом Константином из этого собора. Говорит, что это очень важно.

Безукоризненная работа! Господи, прости меня за всё дурное, что я думал о Лилу!

— Не понимаю, что тебя здесь смущает. Другая бы радовалась такому вниманию...

— Боря... — Она вдруг замолчала, видимо, подыскивая слова. — Боря, это очень дурно, если она и впрямь твоя любовница и теперь... лично взялась опекать меня. Мне совсем неохота радоваться такому вниманию.

— Аня, послушай меня. Если я беспокоюсь о тебе, значит, именно ты мой любимый человек, а не какая-то любовница. Наличие любовницы обычно скрывают, а не подсылают её к жене. Пусть я не знаком лично с Ольгой Витальевной, но волей случая слышан о ней. Она хороший человек и единственная в университете, кто знает кое-что из того, что я тебе говорил о Южноморске. Думаешь, она просто так смолчала об этрускологах? Даже мне известна дурная слава об этом “Аквариуме” и некоторых сторонах жизни в Южноморске, но местные все молчат, словно воды в рот набрали. Им невыгодно говорить правду, бросать тень на конференцию и начальство. Ты можешь положиться только на Ольгу Витальевну и отца

Константина. Делай так, как они тебе советуют, и даст Бог, ничего плохого с тобой в Южноморске не случится.

— Боря, ты меня пугаешь! Почему ты говоришь загадками? При чём здесь отец Константин из местной церкви?

— Милая, он тебе сам всё объяснит. Не случайно же Ольга Викторовна хочет познакомить тебя с ним. Ты слышала, чтобы любовницы знакомили жён своих любовников со священниками? Зачем? Логичнее, наверное, наоборот, — когда жены водят любовниц каяться. Кстати, спроси у Ольги Витальевны её мнение о Дмитрие Евстигнеевиче Колобакине. Он ведь раньше работал в Южноморском университете.

Аня растерялась:

— О... Колобакине? Откуда ты... Тебе, что, Леночка звонила?

— Я ей звонил. — И прибавил для пущей достоверности: — Из прежних разговоров о нём я не понял, о ком именно идёт речь. А это дешёвый мистик и марихуановый наркоман. Спроси, спроси у Глазовой, чего ей врать? Ты же советовала Лене узнать о Колобакине поподробней! А как она узнает — сама, что ли, спросит? А он ей всё как на духу расскажет? Наивно, тебе не кажется?

— Боря... — Она задыхалась. — Я не понимаю, что происходит. Объясни мне, пожалуйста, всё с самого начала!

— Анечка, я за рулём, а впереди оживлённый перекрёсток. Не могу больше говорить. Езжай спокойно с Ольгой Витальевной на экскурсию. Есть такие вещи, что по телефону не расскажешь. Жду твоего возвращения, и помни, что люблю я только тебя.

Я отключился. На месте Ани я бы тоже не понял ни бельмеса и мучительно пытался бы уяснить смысл того, что мне говорили и вынуждали делать. Но я не знал, как по телефону объяснить ей всё, чтобы она поверила. Я даже не знал, как это сделать после. Нужно было просто прокладывать ей маршрут вслепую, а потом уж говорить, зачем она по нему шла. Или не говорить вовсе, если всё сойдёт благополучно.

Я припарковался у издательства на стоянке для сотрудников и вошёл в здание.

* * *

У главного редактора Рыленкова было прозвище “Человек с двумя трубками”. Он вечно говорил сразу по двум телефонам, прижимая трубку плечом к правому уху и держа смартфон левой рукой у другого уха. И туда, и туда он периодически говорил: “Минуту! У меня звонок по другой линии!” — и переключался на нового абонента, не покидая прежнего, и так общался с обоими по очереди, ни разу их не перепутав. Мог даже общаться и с тремя, если отвечал ещё и по второй линии смартфона. При этом свободной правой рукой он ещё умудрялся подписывать приносимые бумаги. Его стол и кабинет были завалены “сигналами” выпущенных книг — новыми и бывшими новыми, через месяц после выхода превращавшимися в старые. Он чувствовал себя среди их шпалер и башен комфортно, в своей стихии, и мог быстро найти в этих завалах издание, о котором почему-либо заходила речь. Сам же, как ни парадоксально, он впечатления книжного человека не производил, напоминая весёлыми веснушками, круглыми глазами и включенной шевелюрой повзрослевшего мальчика-хулигана из фильма Гайдая “Вождь краснокожих”.

— А, привет! — Он, как был, с двумя трубками у ушей, поднялся и протянул мне поверх книжных штабелей на столе правую руку.

Я осторожно, чтобы не устроить обрушения, пожал её.

— Ну, всё! — сказал Рыленков в обе трубки. — У меня люди, до связи! — Он бросил трубку, отключил мобильник, а по внутренней связи сказал секретарше: — Меня пятнадцать минут ни для кого нет!

Мне сильно повезло, что он позвонил сам, потому что ни по одной из трубок, естественно, дозвониться ему было практически невозможно. Оттого

я и приехал, не откладывая, несмотря на стрессы, поджидавшие меня в новой жизни.

— Боря, — без раскачки, как у него заведено, начал Егор Петрович, — ты нашу ситуацию знаешь. С продажами завал, а приближается лето, мёртвый сезон. Почти все серии зависли, кроме подписных.

Я слышал это каждый год весной, да и не весной тоже, однако кивал по привычке.

— С твоим романом, как всегда, будет проблема с поиском серии. Детектив не детектив, фантастика не фантастика, история не история, — всего понемногу. Нужна какая-то нейтральная серия. Есть у нас “Крутой сюжет”, и она пока идёт.

— Подожди, Петрович, — пробормотал я, желая каким-нибудь образом выведать, что же за роман я написал. — Вот ты сразу — продажи, серии... А что ты можешь сказать о самом романе? Тебе он хоть понравился?

— Так я к этому и веду! Крутой сюжет у тебя есть! Но как-то он подвис в конце. Нет, с главным героем всё понятно, но куда всё-таки исчезли эти этрускологи и венетологи?

Я онемел. Этрускологи и венетологи... “Аквариум” не дремлет! Значит, мой предшественник в реальности номер четыре написал роман про меня в реальности номер один? И прежний я именно в этом романе и жил? А сейчас вернулся по непостижимому в своей издёвке замыслу “Аквариума”?

Рыленков уставился на меня своими круглыми глазами, а я не знал, что ответить. То, что он спрашивал, мне и самому не было известно. Но ведь можно считать романом всё, произошедшее со мной в Южноморске и Венеции...

— Понимаешь... — откашлялся я. — Это — роман-загадка. И то, куда исчезли учёные, — часть загадки. Что же останется читателю, если я её раскрою? А потом, исчезли ли этрускологи совсем? Разве непонятно, что, исчезая, они появляются в других местах? — Я покосился на Егора Петровича, желая узнать, понятно ли это на самом деле в романе.

— Ну, допустим, — кивнул он. — Тогда другой вопрос: а зачем они исчезают?

Эх, ушлый Рыленков! Смотрит в корень! Да кабы я знал, зачем?

— Потому что... потому что прикоснулись к тайне. Не будучи её достойны. — Я поймал себя на мысли, что говорю уже не столько для Петровича, сколько для самого себя. — Они ведь все научные клерки и думают, что загадки истории — не более чем материал для их статей, книг и диссертаций. Когда они, выстроив логическую цепочку из источников, выдвигают предположения, почему исчезли этруски, они ни на секунду не допускают мысли, что могут исчезнуть и сами. Ведь они исследователи, а исчезают только исследуемые. Это даже смешно: если в истории пропадали неведомо куда целые народы и отдельные люди, разве не может это случиться внезапно с каждым из нас? И тогда вопрос: “Почему исчезли этруски?” — становится практически тождественным вопросу: почему исчезли этрускологи? Одни исчезли по той же причине, что и другие. Этруски — потому что уже не были этрусками, этрускологи — потому что так и не стали этрускологами. Никто не пропадает просто так. Народы, ушедшие из истории, не сразу исчезли, а долго выцветали по краям, пока не выцвели совсем. Как мы, русские, сейчас выцветаем. Вроде мы ещё есть, но уже просвечиваем на солнце. Мы уходим постепенно в зазеркалье истории, и оттого такой обострённый интерес к нашим возможным пращурам, ушедшим туда ранее, — этрускам, ретам, норикам, венетам.

Рыленков задумался, постучал пальцами по столу.

— Ага. Помнится, что-то такое и твоя героиня говорит герою: дескать, делегаты исчезают потому, что они не настоящие историки, а ты настоящий. Но эта мысль кажется случайной. Может быть, её как-то развить? В финале, например?

— Надо подумать.

— Давай, время ещё есть, летом мы всё равно книг выпускать не будем. — Он достал из ящика стола папку с рукописью. — Возьми. Да, подумай ещё и над названием. “Этрусское не читается” не очень подходит для “Крутого сюжета”.

“Этрусское не читается”? Неплохо назвал.

— Для “Крутого сюжета” больше подходит, наверное, какая-нибудь “Этруская гробница”.

— Ничего! Но ты, уверен, придумаешь лучше.

В другой жизни я поспорил бы и насчёт правок, и насчёт названия, но очень уж хотелось завладеть рукописью, протянутой Рыленковым. Я взял её и откланялся.

— Ты когда закончишь редактировать “Историю Русов”? — в спину мне поинтересовался Егор Петрович.

— Э-э-э... — Разумеется, я слыхом не слыхивал ни про какую “Историю Русов”. — Через неделю принесу.

— Давай!

Я не стал заходить в исторический отдел, к которому был приписан, направился сразу к выходу, но не тут-то было.

— Боря! — окликнул меня редактор Николай Рыжих. — А ты мне как раз нужен. Пойдём, я покажу тебе такое, что ты закачаешься!

Ко всяким неожиданностям я теперь относился с некой внутренней дрожью. Чего мне качаться, если я и так едва на ногах стою от садистских шуточек “Аквариума”!

— Ну, пойдём, — неохотно кивнул я.

Коля Рыжих внешне напоминал того бородатого русопята из Южноморска, что острил на пресс-конференции. Может быть, и не только внешне. Он написал полдюжины книг о древних корнях русского народа. Выведя его сначала, по неписаной традиции, из этрусков, он потом перевёл свой пытливый исследовательский взор на скифов, сарматов, мосхов, готов... В последней книге он увлёкся хеттской версией. Она не пользовалась в народе особой популярностью, потому что те, кто после книги Коли начинал “влезать” в хеттов, и близко не находили там таких параллелей, что всё же имелось между этрусками и русскими. Пожалуй, в санскрите было больше русского, чем в хеттском языке. Но Рыжих не отчаивался и упорно продолжал возделывать хеттскую делянку. Ему не хватало системных знаний, зато в избытке хватало энергии.

Мы зашли к нему в исторический отдел.

— Ну-ка, погляди на фотографии, — он потянул меня к массивному горбатому монитору — типа тех, что стояли на кафедре у Колобакина.

Я увидел на экране изящные, разноцветные наконечники стрел из камня и искусство, даже, можно сказать, эстетично сработанные каменные топоры — длинные, продолговатые, с обухом-молотком. Они казались совершенно новыми.

— Нравится?

— Конечно, классные вещи.

— Найдены недавно вот в этом захоронении. — Рыжих открыл фото вырытого в песчанике могильника, с деревянным погребальным ящиком, в котором лежал полурассыпавшийся скелет. — Как ты думаешь, сколько ему лет?

— Очень много, судя по состоянию костей и дерева камеры.

— Четыре с половиной тысячи лет! Примерно тогда же была построена пирамида Хеопса! А где это найдено, по-твоему?

— В Европе, полагаю, судя по гробу.

— В Павловской Слободе Московской области!

— Да ты что?!

— А теперь скажи мне: похоже это на грубые орудия угро-финнов, которые якобы исконно жили здесь?

— Нет, у них совершенно другая форма топоров, плоская.

— Да, потому что эти топоры — боевые. А погребальные сосуды, найденные там же, в могильнике, относятся к шнуровой керамике. Значит, это фатьяновцы, старик, предки праславян, первые скотоводы и земледельцы на Русской равнине!

— А они точно предки праславян?

— Конечно! Фатьяновцы — представители неразделённой ещё балтославяно-германской общности! А прямые потомки фатьяновцев — так называемая голядь, праславянский этнос. Вот эти кости позволят, наконец-то, сделать ДНК фатьяновцев и заткнуть рот тем, кто отрицал их протославянство. Останется выяснить последнее звено — связь голяди с хеттской цивилизацией.

— А такая возможна? Где хетты, а где голядь?

— Старик, где хетты, а где готы? Однако это не мешает многим считать готов миграционным потоком хеттов. Откуда, по-твоему, название рек Яуза и Лама? Не сидели ли на них во времена оны вассалы хеттов — ялузы и эламцы? Я думаю, что на этой территории обосновался в древности племенной индоевропейский союз во главе с мосхами, наследниками цивилизации хеттов. Ты знаешь, что в верховьях Волги, в нескольких километрах от Дубны, находится город с названием Кимры?

— Ну, знаю.

— А о народе кимвры или кимбры ты знаешь? Так вот, он, по мнению Рейтенфельса, родственен мосхам. Кстати, одна из распространённых фамилий в Подмосковье — Кимряковы, потомки выходцев из тех самых Кимр. Хеттиты, мосхи и голядь — вот прародители славянства.

— А вот, скажем, венеты?

— Венеты — потомки мосхов.

— А этрусски?

— Они и есть хеттиты.

— “Русы не пьют с хеттами”, — пробормотал я.

— Чего?

— Да так, ничего, к слову.

— Слушай, вот насчёт этрусков я и хотел с тобой ещё поговорить. Ты ведь изучил этрусский алфавит?

— Более или менее.

— Мне потребуется твоя помощь. — Он приблизил губы к моему уху. — “Чёрные археологи” доставили мне ценнейший артефакт: каменную табличку с этрусскими письменами.

— Неужели? — поразился я.

— Да. И знаешь, откуда? Из Карпат.

— Не может быть!

— Может, старик. Помнишь ватиканскую карту? Ты же сам о ней писал в своей книге. Мы на пороге величайшего открытия. Поможешь мне составить транскрипцию надписи?

— Помогу, конечно, если это не фейк.

— Ты слышал хотя бы об одном этрусском фейке? Замучаешься его делать, да ещё справа налево! Впрочем, из транскрипции и станет ясно, фейк это или нет. Надпись ещё можно подделать, а вот содержание... Нам так не хватает археологических свидетельств! Ты знаешь, что их намеренно уничтожают? В Германии, как говорил Глазунов, когда находят что-то славянское, то сразу снова закапывают, а там всё славянское до самой магмы! Да что там Германия? Где в наших учебниках истории что-то о фатьяновцах, о голяди? А ведь находка в Павловской Слободе далеко не первая! А где, скажи на милость, “Древняя Российская история” Ломоносова? Ну, ладно, мы якобы недоучки и фантазёры, как утверждают русофобы, а гений Ломоносов — тоже? Этого они утверждать не осмеливаются, поэтому просто загнобили его “Историю”, не допуская переизданий! Ломоносова, на минутку! Мы живём в государстве, где невозможно достать первый учебник русской истории — “Синописис” Иннокентия Гизеля! А почему? Да потому что там написано не то, что у Карамзина! А ведь Гизель не сочинил ни слова, он просто привёл свидетельства античных и средневековых историков! Петр I учился по “Синописису”, а нам нельзя! Со времён норманистов нам всячески пытаются подрубить исторические корни, чтобы мы не ощутили себя великим древним народом. Здесь всё идёт в ход, не только война, политика, экономика! Нам ещё подсовывают фейковую историю с принижением всего русского, чтобы удобней было поработать! А что же мы? Да,

нам трудно противостоять русофобам на пропагандистском ристалище, потому что ими захвачены почти все СМИ. Но мы должны бить их фактами. Факт можно замалчивать, но его не изгонишь, к примеру, из интернета! Он *упрямая вещь*, как говорил товарищ Сталин, стоит, как утёс, о который разбиваются домыслы. Факт подтачивает пропаганду, и, чем больше фактов, тем больше они её подтачивают. Вот у нас с тобой в руках сейчас два таких факта о многотысячелетней истории русского народа — один бесспорный, с другим ещё надо разбираться. Одному мне трудно, а официальным этрускологам я не верю. Так что помоги, старик.

— Да нет проблем. Только знаешь, я сегодня подумал во время разговора с Рыленковым, что силу в прошлом ищут те, кто слабеет в настоящем. Мы разучились смело смотреть вперёд, поэтому всё оглядываемся назад. А там, позади, бывало разное... Возьмём нориков Нестора-летописца: ведь с ними произошло то же самое, что и ныне с западными славянами — они подчинились латинскому миру. Я уже не говорю об этрусках. Кого только не записывают им в родственники! Это, как в твоём этногенезе русских, — хеттиты, мосхи, голядь... Сравниваешь ранние и поздние этрусские надписи и видишь, как народ буквально растворялся в перенасыщенном растворе этногенеза. Именно растворялся, а не просто подчинялся конкретно кому-то. И мы, глядя назад, обречены исчезнуть в тени нориков и этрусков, потому что история — это движение вперёд. Она нас утянет за собой в могилу, голядь эта... Соединяя звенья разорванной цепочки, мы думаем, что, держась за неё, пойдём вперёд, но ведь она тянется назад в прошлое, а не в будущее. В будущее мы должны идти сами, без страховки.

— Что значит — без страховки? Иванами, не помнящими родства? Да ведь двигались же так в советское время! И что? Нет, мы должны знать, откуда идём, чтобы понимать, куда идти дальше! “Маршрут построен!” — говорит тебе навигатор, когда ты вбиваешь в поисковик улицу. А если бы в нём не было этой улицы?

— Ладно, это я так, поделился впечатлениями... Когда же приступим к изучению древности?

— А давай завтра, чего откладывать. Можно, я с ним подъеду прямо к тебе? У тебя кабинет есть, никто не помешает, а у меня, сам знаешь...

— Да не только кабинет, вся квартира в нашем распоряжении. Жена в Южноморске, дочь в Венеции. Только учти, сама по себе транскрипция мало что даст, нужен специалист для перевода, а этрусское, как известно, не читается.

— Оно не читается, чтобы разные козлы не могли прочесть. Главное — начать! А там подтянем и специалистов.

— Ну, тогда до завтра.

* * *

Дома я с нетерпением открыл “Этрусское не читается”. Точнее, “*Етрусское не читается*”, с выделенной латиницей приставкой — в духе моего выступления в Южноморске. Никогда в жизни я не читал ничего подобного. Всё это, от первой фразы: “Впоследствии выяснилось, что сорок девять человек исчезли ещё вечером...” до последней: “... взял чемодан и портфель и шагнул в пустоту зеркальной рамы”, — было абсолютно точным воспроизведением того, что я пережил в Южноморске и Венеции. Только героя звали не Борис Лосев, а Глеб Конев. Я читал, не отрываясь, до самого вечера, ощущая гуляющий под волосами сквознячок ужаса. Лосев номер пять, переживший меня на год, сочинил то, чего *не знал* и знать не мог, а я испытал воочию. Я оказался внутри этого романа, написанного мной самим в будущем. Не исключено, что я по-прежнему пребывал в нём, точнее, был его живым продолжением (или окончанием, о необходимости которого намекал Рыленков). Похоже, тот я, что прилетел год назад на конференцию в Южноморске, существовал только потому, что меня придумал другой я, пропавший после того, как отвёз жену в аэропорт. Что же, он, пятый, и есть

настоящий Лосев, а я и те, что были в падающем самолёте и в Венеции, — не более, чем плод его воображения? Но, как ни велико было моё потрясение от романа-были, низводящего меня до литературного фантома, каким-то отдалённым уголком сознания я спрашивал себя: а не очередной ли это трюк “Аквариума”? Скажем, для шизофреника раздвоение личности — реальность, а для окружающих — не более, чем его галлюцинация. Может быть, мне навязываются галлюцинации, одной из которых является ненаписанный мной роман?

Я взвесил рукопись в руке: легко сказать, галлюцинация... И квартира эта — галлюцинация? Я походил по пустым комнатам, постучал в зеркала — непроницаемы. Потом пошёл на кухню, поужинал, чем Бог послал, и лёг спать, не думая более ни о романе, ни об “Аквариуме”. Я здесь, жена — в Южноморске, дочь — в Венеции, и обе они в опасности. Вот из чего надо исходить, ничего другого в этом ответвлении лабиринта мне не дано.

Утром я первым делом позвонил Ане, но она сбросила вызов и прислала СМСку: “Я на конференции, не могу говорить. Всё в порядке”. Ну, если на конференции, то, наверное, и впрямь всё в порядке. Один факт, что она началась, говорил о том, что участники не исчезли. Подумал, не набрать ли Лену, но так и не решился, — не знал, с какого боку к ней подступиться.

Сварив кофе, я занялся поисками записей, которые делал, работая над главой об этрусках, чтобы быть во всеоружии, когда явится со своим артефактом Рыжих. И только найдя их, сообразил, что копался в бумагах здешнего Лосева, как в своих, не озаботившись, а писал ли он вообще книгу о праславянах. Значит, тоже писал, да и Коля не стал бы ко мне обращаться насчёт этрусков, если бы не было той главы. Похоже, жизнь Лосева номер пять до 25 апреля прошлого года протекала так же, как и у меня.

Я проштудировал заново этрусский алфавит и взялся за наиболее часто употреблявшиеся слова, переведённые Бором и Томажичем, как позвонила Лена. Я схватил телефон:

— Привет, дочка!

— Папа, что происходит? Вечером приходит СМСка от мамы: “Доченька, слушайся советов папы. Колюбакина в Южноморском университете знают, говорят, он дурной человек”, — а утром его увольняют! Оказывается, в их Центр пришли вчера с проверкой секьюрити из университета и нашли в его столе траву и порошок, а в компьютере — фотки голых студентов. Меня с Таней тоже спрашивали о нём: приставал ли с домогательствами? предлагал ли курить марихуану? нюхать кокаин? Так он звонит мне буквально пять минут назад и говорит злобно, чуть не шипя: “Это всё твой папаша! Он ещё об этом пожалеет! Он не увидит больше никогда ни тебя, ни твою мать! А вы с ней никогда уже не вернётесь в прежнюю жизнь! Вас всех ждёт болото, и пропадёте вы в нем поодиночке!” Нормально? Я в шоке! Ты что, правда, имеешь отношение к его увольнению?

— Конечно, имею. Каково мне было узнать, что этот болотный хмырь хочет жениться на тебе? Только я не просил его увольнять. Но, может, так и лучше. Дочка, не бойся. Он мелкий бес, а они не всеильны. Скачай из интернета молитву против бесов “Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...” и читай её всякий раз, когда почувствуешь или увидишь недоброе. А ещё лучше, сходи в русскую церковь, она в Венеции есть, исповедуйся и причастись.

— Пап, ты серьёзно?

— А Колюбакин этот угрожал тебе несерьёзно? Я тебе предлагаю то, что мне самому помогло в Южноморске, когда общался с ним. Всё, что можно сделать человеческими средствами, уже сделано благодаря ректору, но против вещей сверхъестественных это не действует. А Колюбакин имел в виду вещи сверхъестественные, не правда ли? Как обычный человек, будучи в Венеции, может устроить так, что не только ты, но и мы с мамой, находясь в России, пропадём в некоем болоте? Ты его-то спросила, серьёзно ли он говорил?

Она помолчала, дыша в трубку.

— Пап, ты думаешь, он стал ухаживать за мной, чтобы досадить тебе по старой памяти?

— Ни на секунду не сомневаюсь в этом. Нет, ты девушка красивая, но он выбрал тебя не за красоту, а по воле пославшего его.

— А кто его послал?

— Какой-нибудь другой бес, покрупнее. У них же там иерархия, они её у ангелов скопировали, когда Господь изгнал с небес их главного начальника.

— Слушай, я в двадцать первом веке?

— Леночка, у них там времени нет или оно совершенно другое. То, что у нас век, у них — минута. Большинство сумасшедших, как считают в церкви, бесноватые, а сумасшедших в двадцать первом веке не стало меньше, чем раньше. И их не лечат: ты видела хоть одного исцелённого медициной душевнобольного? Я — нет. “Сей род лукавый, бесовский изгоняется только молитвой и постом”, — говорит Христос о демонах-искусителях в Евангелии от Матфея. Первый век и двадцать первый — а всё одно и то же, ничего не изменилось. Я-то и сам не праведник, и тебя не научил молиться, и не умею, как показал опыт, серьёзно противостоять искушениям... Но для тебя мне бы хотелось иного.

— Ну, не знаю... Какая, ты говоришь, молитва? “Бог да воскреснет”?

— “Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его...” Просто набери в поисковике начало молитвы и скачай полностью. Вы когда возвращаетесь?

— Первого мая.

— Хочешь улететь раньше? Я закажу тебе билет.

— Да как-то неудобно перед нашими будет... И трусливо: получается, он меня напугал, и я сразу убежала... А потом — это же Венеция, когда ещё приеду... Я лучше схожу в русскую церковь.

— Да, пробей её адрес в интернете. И сразу звони, если что не так!

— Хорошо.

— Давай, дочка, я тебя люблю!

Я встал, подошёл к иконе с ликом Христа. Глаза Его смотрели мне прямо в душу. Я сказал Леночке то, во что верил и в прежней жизни, но говорить стеснялся, хотя не стеснялся говорить людям разные гадости. Просто одно дело — умом понимать Бога, а другое — верить, что только Он тебе поможет. Сейчас был именно такой случай. Да, я могу кое-что с помощью добрых людей — Лилу, ректора Буглеси... Но что я против волшебства тёмных сил? Тем более, что я и сам был терзаем сомнениями. Даже сейчас, стоя перед иконой, не мог я изгнать давно одолевавшую меня мысль: а только ли лукавый заправляет в “Аквариуме”? Случившиеся в нём истории напоминали притчи, данные мне и другим (Лилу, например) в назидание. Но я не хотел верить, что так играет с нами Бог. Но я не верил и в то, что дьявол помогает мне выскакивать из ловушек. А может быть, в многослойной реальности “Аквариума” происходит то же, что и в жизни, где широко открыты только врата зла, а спасительную дверку добра ещё надо поискать? Только Зазеркалье являл в образах суть духовной брани, а не её заглушённый повседневностью шум, как в Предзеркалье?

Запиликал сигнал домофона. Это пришёл Рыжих.

Я впустил его, открыл дверь, и он через пару минут, громко топая, внёс в прихожую плоскую картонную коробку из-под большого телевизора-плазмы.

— Поставь и разувайся, — сказал я, — а то моих женщин нет, убирать некому. А потом давай сюда, направо, я там стол расчистил. Тебе помочь?

— Я сам. — Коля, пыхтя, втащил в кабинет свой груз, осторожно опустил на стол. — Ну, старик, ты присутствуешь при историческом событии! Будет о чём написать в мемуарах! А то либерасты всё мне: самоучка! Шлиман тоже был самоучкой! Дай ножницы, надо взрезать скотч.

Он вскрыл коробку. Под крышкой покоилось нечто длинное, упакованное в пупырчатый пластик. Развернув его, он широким и, несомненно, отретированным жестом пригласил:

— Смотри!

Я подошёл. Передо мной лежала плоская старая каменная плита размером примерно восемьдесят на тридцать, — по всем признакам, надгробная.

На ней был высечен в профиль воин в древнегреческом гребенчатом шлеме, так называемом коринфском. Из-под козырька каски высовывался длинный нос, а выше таращился большой глаз. В левой руке мужчина держал круглый щит, украшенный изображением цветка с шестью лепестками, в правой — двусторонний топор-бабочку, который греки называли лабрис, скифы — саварис, а римляне неприлично — бипеннис. Между босых ног воина торчал пылающий наконечник копья, указывающий либо на обряд кремации, либо на негаснущую в веках славу героя. По краям плиты шла надпись этрусскими письменами, начинающаяся справа, продолжающаяся вдоль нижнего края и завершающаяся наверху слева.

Я изучил камень так и сяк. Никаких сомнений в солидном его возрасте не было, судя по характерно раскрошенным, без свежих сколов, углам плиты. Я зажёл настольную лампу, чтобы лучше видеть изображение и надписи. Их линии-насечки, местами полустёртые, тоже вроде бы соответствовали общей структуре камня, хотя уверенно мог сказать только археолог-профессионал.

— Ты где это взял? — спросил я у Рыжих.

— Хохлы привезли, в Карпатах откопали. Ну что, давай, срисовывай письмена, делай транскрипцию!

— А мне и срисовывать не надо такую чёткую надпись, я тебе прямо с плиты прочитаю.

— Да ну? — недоверчиво прищурился Коля.

— Записывай, если хочешь. — Он кивнул и торопливо вытащил из кармана растрёпанный блокнот и ручку. — Итак... “Авлеш Белушкеш т уснут е... панал аш минимул... у вани ке хир уми аберна х се”.

Бородатое лицо Рыжих вдохновенно побелело.

— “Тут уснут е!” — вскричал он, как безумный. — “Тут уснул есть!” Вот как, значит, говорили этруски с Карпат!

Глаза его сияли неземным светом: он, несомненно, был на самом вершине волны счастья:

— Вот бы понять, что дальше! Ну, ничего, со временем переведём!

— Да зачем со временем? Я и сейчас могу. Первую строку ты сам перевёл: “Авлеш Белушкеш тут уснул...” А дальше: “пановал, пока не минул... в небесах пусть тягости ума прояснятся”.

— Лосев, ты сила... — прошептал Коля. — Не зря, не зря я на тебя понадеялся! Беру тебя соавтором главы! Только что это там за “у вани”? Прямо как “у Вани” какого-то!

— “В небе”, “в небесах”. Слово “ван” в этом значении очень часто встречается в венецких надписях.

— А вот и связь этрусков с венецами! — ликовал Рыжих. — Понятно, а что означает вот это — “аберна”?

— На старословенском *obrsne*, *obergne* — “разъяснить”, “разъяснилось”.

— Ты и старословенский знаешь?

— Нет, не знаю. — Мне ужасно не хотелось разочаровывать его, переживавшего один из лучших моментов в своей жизни, но тянуть дальше было просто жестоко. — Но Матей Бор, очевидно, знал.

— Матей Бор? А при чём...

— Он уже переводил эту надпись. Оттого я и шпарю без запинки. Но учти, расшифровывал её и итальянец Паллоттино, а он разбивал слитную фразу на слова по-своему. Соответственно, и смысл у него другой.

— Ещё и Паллоттино?.. Да откуда они взяли надпись?

— Из Музея археологии во Флоренции, где стоит оригинал этой стелы, найденной в этрусском городе Ветулония. Только там, она, наверное, побольше. А твои “чёрные археологи” с Карпат сварганили подделку в масштабе обычной надгробной плиты. Я так полагаю, что они изготовлением могильных памятников в основное время и занимаются. Слишком хорошая работа с камнем. Выбитые линии надписи и рисунка зашкурили или как-то ещё удревнили. Может, кислотами какими обработали.

— Не может быть, не верю! — замотал головой Коля.

— Увы. Вот тебе доказательство. — Я полистал свои этрусские материалы и достал ксерокопированную страничку с переводом Бора и фотографией стелы. — Гляди.

Он застонал и закрыл лицо руками.

— Да ты не убивайся так! Ведь сама надпись — подлинная. Они со знанием дела выбрали исходник праславянского периода этрусков, седьмого — шестого веков до нашей эры. Поздние-то надписи практически не переводятся. Можешь вставить этого Белушкеша в свою концепцию.

— В концепцию? За пол-лимона?! Я им пол-лимона отдал, а просили лимон! Я кредит взял!

Я крикнул.

— Господи, да почему ты меня не позвал на смотрины?

— Они запретили приходить с кем-то ещё. Сказали, что боятся огласки, потому что незаконно вывезли плиту с территории Украины.

— А сфотографировать ты мог?

— Не разрешили! По той же причине! Сказали, если ты понимаешь в этом деле, смотри и оценивай сам, а если не понимаешь и сомневаешься, не стоит тебе париться, мы продадим другому ценителю, без скидки.

— На арапа взяли! А как ты вообще на них вышел?

— Хохлы тоже себя считают потомками этрусков, у них даже сайт специальный есть, через него и вывели на продавцов... Слушай, брат, выручай! Поедем к ним сейчас, отдадим плиту и потребуем вернуть бабки! Ты будешь изображать эксперта! “Ксеру” эту не забудь взять!

— Да ты что, тут полиция нужна! Так они и отдали тебе деньги!

— Нельзя мне светиться в полиции, я по уши в кредитах! За мной по пятам приставы и коллекторы рыщут, я дома не живу! Спасибо Рыленкову, держит меня в издательстве анонимно!

— Кто же тебе кредит на пятьсот тысяч дал, если ты числишься в базе как неплательщик?

— Есть такие экспресс-банки, где только паспорт требуется. Пол-лимона там, конечно, не дадут, да я ведь не в одном месте брал... Вся надежда на тебя, Сергеич! Как я сунусь к хохлам один, когда их двое? А двое на двое — другой расклад! Ты их ещё и припугнёшь полицией, небось, на рожон не полезут!

— А откуда ты взял, что они сидят и ждут тебя? Да их уже и след простыл!

— Не простыл! Одному из них позвонили, когда я там был, спросили, видимо, когда вернётся, и он сказал — двадцать седьмого. Сегодня — двадцать шестое! Не бросай меня, брат! Мне без тебя крышка!

Моим первым и самым искренним желанием было решительно отказаться от этого сомнительного плана. Я уже открыл рот, чтобы сказать: “Не валяй дурака, звони в полицию, всё равно приставы и коллекторы рано или поздно тебя найдут. Не всю же жизнь тебе бегать! А с помощью полиции, может быть, вернёшь свои пятьсот тысяч, отдашь последний кредит”, — но тут вспомнил, что я в “Аквариуме”. А в “Аквариуме” нужно помогать попавшим в беду, как Лилу мне с женой помогла. Чтобы самому не пропасть. Да, да, полицию вызвать надёжнее, но ведь полиция — это способ переложить на другие плечи то, чего просили у тебя. А если полиция сработает вхолостую, а Рыжих в итоге попадёт в хищные лапы кредиторов? Что тогда? Мы только любим говорить друг другу, что мы русские, а как дойдёт до дела, поступаем не по-русски. У меня просто не было другого выхода.

— Ладно, уговорил, — буркнул я.

— Боря, ты мужик! — обрадовался он. — Я и не сомневался!

— Куда ехать-то?

— В Химки, на левый берег, там они хату снимают. У тебя есть травмат?

— Чего?

— Ну, травматический пистолет.

— Нет. А зачем?

— Так, для убедительности. Может быть, ножи взять?

- Кухонные, что ли? И бейсбольную битку в придачу? Ты очумел? Нет, с ножами я не поеду.
- Хорошо, хорошо, поедем без ножей!
- Тогда упаковывай своего Авлеша Белушкеша номер два.
- Он упаковал, мы оделись, и я помог Коле спустить плиту вниз. Она была тяжёлая: как он тащил её ко мне один, без машины? Мы пристроили коробку в багажник, сели, я завёл двигатель.
- Ну, с Богом. Ремешок пристегни. Надеюсь, не накостыляют нам. Они здоровые?
- Здоровые. Молодые.
- Как их зовут-то?
- Одного Валера, другого Олег.
- Ну, и, конечно, никакой от них квитанции или расписки ты не получил?
- Нет.
- По понятиям, значит, будем разбираться. Нда... Может, нам кого-то третьего следовало прихватить, погабаритней?
- Из писателей? Да кого? Все хилые и больные.
- Это было правдой.
- Мы ехали некоторое время в молчании, потом Рыжих вдруг спросил:
- А что за имя такое у этого воина португальское? И фамилия... Португальцы тоже потомки этрусков?
- Я засмеялся:
- Вряд ли. Да и Авлеш едва ли имя этого Белушкеша.
- А что же это?
- Существительное “покойник”, как предполагает Бор. “Авил” по-этрусски — “умер”. А по-старославянски — “убыл”. Вариант — “увял”.
- Так наши Авилы — “покойники”, что ли?
- Ты слышал хотя бы одну нашу фамилию, связанную с покойниками? От Вавилы, наверное, эти Авилы.
- Разговор о покойниках не способствовал улучшению настроения. Начался мелкий противный дождь, когда мы выехали на Кольцевую. От придавивших нас к земле туч было темно, хмуро; я бы даже подумал, что уже вечер, если бы часы не указывали на полдень. Московская погодка — это тебе не Венеция! За развязкой въехали в Химки. Меня вёл навигатор по адресу, сообщённому Колей. Да, не зря я сравнивал Местре с Химками! Свернув с Библиотечной улицы налево, мы оказались словно в местренской промзоне, только жилых домов было побольше. Электронная женщина-поводырь гнала нас извилистыми путями по одинаковым, как на подбор, дворам, переречёркнутым трубами теплоцентрали, пока Рыжих не указал на неприметную, серенькую пятиэтажку с кустарно застеклёнными балконами:
- Здесь!
- Тут же и навигаторша сообщила, что мы у цели.
- Я припарковался. Достали из багажника плиту. Рыжих подошёл к домофону:
- Наберу другую квартиру, чтобы заранее не дёргались. — Он нажал кнопки.
- Кто это? — прочирикал через некоторое время старушечий голос.
- Почта, откройте, пожалуйста!
- Замок щёлкнул. Мы втиснулись с коробкой в узкий подъезд, на стене которого зевали сломанные почтовые ящики, уставшие ждать почтальона.
- Второй этаж, — вполголоса сообщил Коля.
- Мы поднялись, неся плиту плашмя: он спереди, а я сзади. На тесную лестничную площадку выходили двери трёх квартир. Рыжих позвонил в левую, обитую зелёным дерматином, простёганным на советский лад обойными гвоздиками. Послышались шаги, остановились у двери. Кто-то, очевидно, изучал Колю в глазок, а потом спросил на суржике.
- А, это снова вы? Забыли шо-нибудь?
- Забыл, откройте.

Дверь приоткрылась, но лишь на длину накинутаго цепочки. На нас уставился выпуклый глаз небритого парня с зализанными наверх тёмными волосами.

— А шо забыл-то?

— Бабки свои забыл. Забирайте обратно своего Берлускони, он поддельный. Мой эксперт установил. — Рыжих указал на меня. — Его зовут Борис. А это — Олег.

Парень повёл блестящим глазом в мою сторону.

— Какого ще Берлускони?

— Алвеша Белушкеша, — уточнил я, ослабившись. — Воина с проданной вами надгробной плиты, оригинал которой находится во Флоренции. Может, мы войдём? А то как-то неловко о таких вещах на всю лестничную клетку разговаривать.

Парень переводил глаз с меня на Колю, а потом обернулся в глубину квартиры:

— Валера, в нас гости! — После чего откинул цепочку. — Ну, заходите.

Мы занесли плиту в прихожую, опустили на пол и прислонили к стене. В тусклом свете лампочки-шестидесятиваттки я осмотрелся. Коридорчик вёл в затрапезную “двушку” с пожелтевшими, а кое-где и отклеившимися обоями. В комнате, о косяк двери которой опирался впустивший нас Олег, просматривались какие-то клетчатые баулы и советский шкаф с вываливающимися скомканными шмотками, поскольку дверцы его отродясь не закрывались.

— Шо за гости? — Из двери другой комнаты — слева, напротив ванной, — вышел второй парень, постарше, поименованный Валерой. Был он носат, лысоват, кривоног и столь же крепок, как и встретивший нас Олег. Оба были одеты примерно одинаково: чёрные джинсы и такие же футболки.

— Я, Николай, а это Борис, эксперт. Рекламацию пришли предъявлять на могильные плиты, которые вы продаёте за пол-лимона. Ну, мы так и будем стоять? Или как? — Не дожидаясь согласия, Рыжих прошёл в комнату мимо Олега, вынужденного посторониться.

Я последовал за ним. В помещении пахло плесенью и ещё чем-то кислым. Углом к шкафу с косыми дверцами, который я видел из коридора, стоял раскладной диван из “Икеи”, рядом — стол, заставленный пивными банками и бутылками (сплошь “Черниговское”, производимое у нас в Мордовии), два стула. Коля огляделся и сел на диван, а я — на стул.

— Вы, хлопцы, как не славяне, — заметил Рыжих двум плечистым силуэтам, так и оставшимся стоять в дверях. — С гостями не здороваетесь, в хату не приглашаете.

— А мы гостей не звали, — с сильным “гэканьем” отозвался Валера. — И не ждали. Ты получил доску, мы получили деньги. Чего нам в гости друг к другу ходить?

— Да вот пришлось. Доска-то поддельная. И найдена не в Карпатах. Вот тебе эксперт подтвердит, — он кивнул на меня.

— Оригинал этой плиты обнаружен в Италии, — вступил я, — и хранится в Музее археологии во Флоренции. Вот, смотрите. — Я протянул им “ксеру”.

Они подошли вразвалочку, мельком глянули.

— Ну и шо? — пожал плечами Олег. — А хто вам сказал, шо в этой Флоренции находится оригинал?

— Наука археология. Плита с фотографии давно уже в музее. А вы когда якобы нашли эту?

— Это не мы её нашли, а наши друганы с Карпат, — заявил Валера. — Они сами археологи. И за этрусских знают побольше вашего. Этот, — он ткнул пальцем в Колю, — заказал в них доску в интернете, а мы её привезли. И нам по барабану, где она там ще находится. Хлопцы трудились, копали, а мы тащили её через кордон. Если вы за гроши базарите, то мы ему скинули пятьсот кусков, а это невозвратный тариф.

— Ещё какой возвратный! — возмутился Рыжих. — Мне не нужна обыкновенная могильная плита за пятьсот тыщ. Я не ради неё в кредиты

влез. Берите свою доску и отдавайте деньги. Можете потом продать её за лимон, как хотели.

— Слухай, мужик, я её не подделывал. Да якби и подделал, ты прикинь, сколько камень стоит, работа, транспортировка! Я тебе шо, простой булыжник с самой Украины привёз?

Тут в комнате кто-то запел: “Валера, Валера!” Мы с Колей завертели головами, а Валера достал из кармана поющий телефон. А, понятно, это рингтон такой. Он Валера, и звонок, соответственно, — “Валера”.

— Я нэ можу зараз говорыты, передзвоню пизнишэ, — торопливо ответил он и отключился.

— Ребята, не надо так, — сказал я. — Это Москва, а не Жмеринка. Здесь уже не принято так людей кидать. Это наглость. Верните деньги по хорошему.

— А как будет по-плохому? — прищурившись, поинтересовался Олег. — Ментов покличешь, чи шо? А хто видел, шо он давал нам бабки? Расписка, може, е, квитанция какая? А хто сказал, — он наклонился ко мне, — шо эта доска ваще наша? А?

— Нет, хлопцы, вы чего-то не догоняете, — вздохнул я. — Наглость, конечно, второе счастье, но... Вы поставили человека в безвыходное положение, он влез в кредиты, и ему, действительно, будет одна дорога — в полицию, если вы не вернёте деньги. И знаете, мне что-то подсказывает, что встреча с ней — не в ваших интересах. Судя по этим сумкам, вы в Москву не только ради Коли приехали. Есть и другие делишки, не правда ли? Стоит ли рисковать? Но если вы так уверены в себе и не хотите разойтись миром, то давайте попробуем? Мы выйдем за дверь и сразу наберём полицию. А вы пока никуда не уходите.

Парни уставились друг на друга, потом на нас.

— А чего ждать? — пожал плечами Валера. — Звони прямо сейчас. — Он завёл руку за спину и достал оттуда пистолет. — Звони, звони, а я тебе в репу стрельну.

В комнате повисло молчание. Мы с Рыжих, как зачарованные, уставились на ствол.

— Ну, чего не звонишь?

— Как же ты будешь стрелять? — с усилием спросил я. — Это “хрущёвка”, в самой дальней квартире услышат. Всё равно не успеете смыться. Кто-нибудь и без нас позвонит в полицию. Лучше вы отдайте Николаю деньги, и мы пойдём.

— Нет, нет! Не слушайте его! — энергично замотал головой Рыжих. — Не надо денег, мы так уходим. Ментам звонить не будем, клянусь!

— Кто ж тебе теперь поверит? — с грустинкой молвил Валера. — Зря вы, мужики, сюдой пришли. Жизнь дороже, чем пол-лимона. Как говорится, ничего личного, но... Олэжка, закрой дверь. И принеси скотч. Не хвльтойся, эксперт хренов, я в тебя обязательно выстрелю, если дёргаться начнёшь.

— Валер, а де той скотч?

— Ну, де, братан, — в муде! У сумци корычнэвой подывыся! Там, дэ подарункы дитям!

— Ага, вот!

Вошёл Олег со скотчем в одной руке и наборной финкой в другой.

— Заклэй йим роты и звязкы руки, — распорядился Валера. — Вин вирно сказав: стріляныною тилькы сусидив розполохаемо. Трэба йих зарізати.

— Гаразд, а дали шо?

— Шо, шо: вальты звидсы будэмо.

— Так в нас жэ квыткы на завтра!

— Олэжко, ты дэбил? Мы будэмо чэкаты в одной квартири з двома мертвякамы до завтра?

— Всэ зрозумив! Ну, мужики, вам свезло: плита на могилу в вас уже есть! — Он направился к нам, сверкая буркалами и поигрывая финкой.

Я схватил Рыжих за руку:

— Коля, повторяй за мной: “Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его...”

Комната завертелась перед моими глазами, а с нею и зловецкие хохлы, как космонавты на вестибулярном тренажёре, всё быстрее, быстрее, — и гигантская воронка поглотила их.

* * *

Я стоял в аэропорту, прямо посреди зала, а мимо шли люди. Господи, снова жив! Спасительная молитва! А где Рыжих? Я посмотрел вокруг: Коли не было. Неужели он остался там, в квартире? И его зарезали? Дрожащими руками я поискал на себе телефон. Вот он... “Имена”... “Рыжих”. Я нажал кнопку вызова. Пошли длинные гудки. И где-то на десятом Коля ответил заспанным голосом:

— Лосев, ты чего? У тебя, вообще, часы есть? Я только лёг... Что случилось?

— Ты жив?!

— Что за вопрос? Жив пока. А есть сомнения? Почему ты спрашиваешь?

— Да... приснилось, что тебя хотят зарезать.

— Кто?

— Хохлы.

— Кто? Хохлы? Не дождутся! И всё?

— Всё.

— Ну, спасибо за заботу, это очень приятно, особенно ночью.

— Извини, решил сразу проверить, а вдруг сон в руку. Как вообще дела?

— Ну, как? Денег нет. Кредиторы держат за яйца. Сидел полночи над хеттами. Да мы виделись с тобой позавчера, чего ты спрашиваешь?

— Да-да... Ты не обижайся, просто рад тебя слышать.

— Да взаимно! Просто спросонья не могу сразу радоваться.

— Ладно, ладно. Я, действительно, со временем переборщил.

— Ну, давай!

— Давай!

Гора с плеч! Значит, в этом пласте “Аквариума” Коля жив-здоров. Надо полагать, не убили его и в предыдущем... Ведь в “Аквариуме” как: если начнут убивать на одном витке, то и в других продолжают. Стригунова вон и в Южноморске, и Венеции шарахнуло. Хорошо, а я что здесь делаю? Опять куда-то улетаю? Но я стоял лицом дверям с надписью: “Выход/Exit”, — и спиной к стойкам регистрации. Прилетел? Однако багажа у меня не было. Так я Аню, что ли, провожал? — осенило меня. В Южноморске? И сейчас я на месте Лосева, который потерялся в прошлой серии?

Я не очень обрадовался такой возможности. В той, предыдущей серии я начал разруливать проблемы жены и дочери, а сейчас что же — всё заново? С отнюдь не гарантированным результатом? Так легко выручать Аню и Лену “Аквариум” мне уже не даст. Я опережал Лосева номер пять, не вернувшегося из аэропорта, больше чем на сутки, а сейчас откатился назад. Один плюс в ситуации: теперь я точно не поеду с Рыжих к хохлам. Постой, постой: я ведь я виделся вчера с Колей в издательстве, и он мне ни слова не сказал про ночной звонок! И не напрягся, когда я сейчас упомянул про хохлов! Как-то это неестественно! А может, здесь всё развивается совершенно по-другому?

И, словно в ответ на этот вопрос, я увидел идущих прямо на меня Стригунова и Лилу. Я помотал головой, как конь, но видение не исчезло. Они катили свои чемоданы от входа и, поравнявшись со мной, совершенно равнодушно скользнули по мне взглядами и даже не кивнули. Конспирация? Но в глазах их я не увидел и тени узнавания, а глаза в подобных случаях выдают. Они просто меня не знали и прошли, как мимо столба. Ольга была в сиреневом, а у Павла Трофимовича не наблюдалось никаких признаков пережитого инсульта. Так что же: они в Венецию летят? Не может быть, с тех пор прошёл год! Тут я поймал себя на мысли, что не знаю, в каком, собственно, году летал в Венецию, — не было случая уточнить.

Итак, Лилу улетает, и я вовсе не смогу на неё рассчитывать, как это получилось у Лосева номер четыре. И с Леной всё будет как-то иначе. Кажется, с Рыжих, на его счастье, тоже. А со мной? Я скорее машинально, чем осмысленно, пошёл вслед за Стригуновым и Лилу. Кто сказал, что они летят именно в Венецию? То, что за границу, очень даже вероятно — ведь это же “Шереметьево”. Но ведь могут и просто в Южноморск, как Аня, причём тем же самолётом. Посмотрим, на какой рейс они зарегистрируются.

— Гражданин, минутку! — Кто-то взял меня за локоть.

Я обернулся: полицейский и ещё один человек в штатском.

— Младший лейтенант Отрошенко! — представился полицейский. — Проверка документов. Пройдёте в наш опорный пункт — это рядом.

— А здесь, что, нельзя проверить? — Я с сожалением посмотрел в сторону удаляющихся Павла Трофимовича и Глазовой.

— Там нам будет удобней. Нам ещё надо задать вам пару вопросов. Пройдёте, гражданин.

— А в чём, собственно, дело? Может, вы меня с кем-то перепутали?

— Там выясним. Пройдёте.

И я пошёл вместе с ними, — точнее, они меня обступили с двух сторон и повели.

Шереметьевский околоток был больше похож на офис — стулья с ножками из нержавеющей стали, угловые столы, компьютеры, факс, принтер, ксерокс. Я достал документы и протянул Отрошенко, но их перехватил тип в штатском — молодой, с въедливым взглядом.

— Позвольте, вот младший лейтенант представился, а вы на каком основании берёте мои документы?

— Майор Рокотов, Петровка, тридцать восемь. — Он показал удостоверение.

— Петровка? — удивился я. — Ну, тогда вы точно ошиблись. Чем моя скромная персона может быть интересна Петровке?

— Как знать, как знать... — загадочно молвил Рокотов, изучая мой паспорт и водительские права. — Могу я вас спросить, Борис Сергеевич: что вы здесь делаете?

— Жену провожал.

— А сами никуда лететь не собираетесь?

— Нет, конечно!

— А почему вы шли к стойкам регистрации, когда мы вас окликнули?

— Показалось, знакомых увидел.

— Каких знакомых?

— Ну, это вас совершенно не касается.

— Как знать, как знать, — повторил майор. — Выньте, пожалуйста, из карманов все ваши вещи.

— Что? На каком основании?

— Вы задержаны для установления личности и выяснения обстоятельств возможного правонарушения.

— Какого ещё правонарушения?

— Вы подозреваетесь в телефонном терроризме и распространении заведомо ложных сведений.

— Что за бред? — Я остолбенел.

Телефонный терроризм?! Час от часу не легче! Может быть, Колобакин пожаловался полиции на мой звонок ректору Буглеси в Венецию? Однако это было в другой серии, и, к тому же, ещё через несколько часов!

Машинально я выложил бумажник, носовой платок, визитные карточки давно забытых людей, какие-то чеки, квитанции. От “звенящих” вещей — телефона, часов, мелочи, ключей от квартиры и машины — я освободился ещё раньше, чтобы пройти рамку металлоискателя перед опорным пунктом. Отрошенко взял лоток с ними и так мне и не вернул. Среди вынутых из карманов бумажек я увидел шереметьевский парковочный талон.

— А на какой срок я задержан?

— Закон позволяет на сорок восемь часов до предъявления обвинения.

— Так у меня же машина здесь на парковке! Всего на полтора часа — видите талон? Потом начислят пеню в пять тысяч или отволокут на штрафстоянку! Можно я с младшим лейтенантом схожу туда, продлю?

Рокотов воспринял мою просьбу без всякого энтузиазма, подозрительно на меня покосившись. Дескать, ага: ты вырубил Отрошенко и уедешь?

— Не положено.

— Да будьте же человеком! Можно так ещё: товарищ Отрошенко возьмёт из моего бумажника деньги, пойдёт и оплатит.

— Я на дежурстве и не имею права отлучаться по частным просьбам, — отказался, в свою очередь, младший лейтенант.

— Ну, вот так всегда у вас: мне ещё не предъявили обвинение, а я уже наказан! Машина-то здесь при чём?

— Все свои претензии вы можете изложить следовательно, — заявил майор.

— А вы кто?

— Я оперативный работник.

— Где же этот следователь?

Рокотов пожал плечами:

— Дома спит. Это мы по ночам работаем, а у них нормированный рабочий день. Увидитесь утром, я полагаю.

— Нет, отлично! А чего вы меня утром не задержали?

— Потому что вы могли сейчас сесть на самолёт и утром приземлиться в другом городе. Не исключено, что и в другой стране.

— В какой ещё другой стране? При мне ни загранпаспорта, ни билета! Аренда парковки — всего на полтора часа!

— А откуда нам это было знать?

Я задумался.

— А положенный мне по закону адвокат когда будет?

— А у вас есть свой адвокат?

— Нет, конечно! Адвокатов имеют жулики, а жуликов вы не арестовываете.

Рокотов пропустил мимо ушей насчёт жуликов.

— Тогда вопрос о назначении вам госзащитника тоже будете решать со следователем.

— А сейчас меня куда?

— Никуда. Здесь есть специальное помещение для задержанных, где вы и скоротаете время до утра.

— А вы?

— А моя миссия на этом завершена. Сейчас составлю протокол задержания и уеду.

— Послушайте, майор, но ведь мою машину тоже обыскивать положено.

— Да, когда прокуратура даст ордер на обыск. Мы ведь вас не обыскивали: вы, так сказать, добровольно предъявили имеющиеся у вас вещи.

— Ладно, пусть добровольно. Но если мою “шкоду” отправят на штрафстоянку, у ваших коллег будут с её обыском проблемы. Прошу отметить в протоколе, что я предупредил.

Рокотов почесал в затылке.

— Хорошо! Отрошенко, возьмите из бумажника, сколько задержанный скажет, и оплатите на парковке. А я пока присмотрю за гражданином Лосевым.

— Спасибо!

Жена бы мне сказала: “В этом ты весь, Лосев: успешно решаешь даже не второстепенные вопросы и никак не решаешь главных!” Да, с машиной, ты, кажется, на время уладил, а вот как быть с непостижимым обвинением в “телефонном терроризме”? Что-что, а это меня совершенно никогда не привлекало! Доселе, оказываясь, благодаря “Аквариуму”, на месте других Лосевых, я не получал сведений, что они совершали нечто не присущее мне. И вдруг... А “распространение заведомо ложных сведений”? Хотя... смотря, что считать этими “сведениями”. Допустим, тот Лосев, чьё место я сейчас занимаю, есть вариант меня самого, пережившего в Южноморске исчезновение

этрuscoлогов. И вот он, улетев в Москву, начинает говорить невыгодную для правоохранителей правду. Чем не “распространение”? А попытка дозвониться до влиятельных лиц в связи с бездействием органов в Южноморске могла быть трактована как пресловутый “телефонный терроризм”.

Когда Рокотов закончил с протоколом и сунул мне его на подпись, вернулся Отрошенко и показал мне квитанцию об оплате парковки на сутки. Потом майор распрощался, а меня отвели в местный “обезьянник” — соседнее помещение, охраняемое зевающим сержантом. Там уже находился интеллигентный мужчина, чем-то смахивающий на меня самого — тоже седоватый, с морщинами на лбу и пронизательным взглядом.

Мы поздоровались, и некоторое время сидели молча на устроенных в виде помоста нарах.

— Преступник сегодня какой-то странный пошёл, — сказал, наконец, мой сокамерник. — Не знаю, похож ли я на авиационного дебошира, но вы точно не похожи.

— Я и не летел никуда.

— А за что же вас?

Я махнул рукой:

— Обвинение настолько абсурдное, что мне даже противно его пересказывать.

— Да и не надо, — улыбнулся он. — Вижу, что вас, как и меня, задержали напрасно. Меня зовут Фёдор.

— Борис, очень приятно.

— Взаимно. Вас, кажется, тяготит что-то, у вас растерянный вид. Не могу ли я вам чем-то помочь?

— Спасибо за участие, это такая редкая вещь нынче. Да только чем вы можете мне помочь, находясь в точно таком же положении, как я?

— С одной стороны, так, а с другой — помощь далеко не всегда выражается действием. Советы подчас бесценны, хотя дураки говорят, что предпочтительнее деньги.

Я засмеялся.

— Да, деньги мне точно не помогут. Вы, я вижу, соскучились здесь в одиночестве. Что ж, могу вас развлечь. Но предупреждаю, у вас может появиться желание попросить у него, — я показал на дремлющего за плексигласовой перегородкой сержанта, — убрать подальше от вас этого психа.

— Да ведь некуда убирать. Вы что же — буйный? — Однако испуга в глазах Фёдора я не заметил.

— Какое — буйный... Я не знаю, где я и что я. Я потерялся во времени и пространстве. Что вы мне можете посоветовать?

— Смотря, как потерялись... Вы где живёте?

— Живу-то я здесь, местный... Если бы меня сейчас отпустили, то я поехал бы домой. Но там должен жить другой я, из иной реальности. Похожей на мою, но иной. Не знаю, как ещё объяснить.

— Хм... очевидно, вы живёте в мире, где много ваших двойников. И у вас трудности с собственной идентификацией.

— Никаких трудностей. Я — это я, даже с тех пор, как появились эти... видения. Но я оказываюсь на месте своих двойников в других, параллельных мирах, и не знаю, что они делали до этого и что будут делать после. Возможно, мой предшественник и совершил нечто, за что я угодил сюда, но не знаю, что.

— Вы говорите — видения... А нельзя ли отказаться от них и вернуться в ваше изначальное состояние, когда их ещё не было?

— Да весьма желательно! Но как я вернусь к себе изначальному, скажем, отсюда? Я вообще-то могу переместиться с помощью молитвы против бесов и проницаемых зеркал, да только не получается в изначальное состояние.

Фёдор задумался.

— Каковы бы ни были видения, всегда есть реальность, и она одна. Покуда вы верите видениям, они от вас не отступят. А если вам отнестись к ним именно как к видениям?

— Хорошо, вы — видение. Что дальше?

— У вас есть чувство юмора, — отметил он с одобрением. — С ним легче. Если я в вашей жизни — видение, то рано или поздно я исчезну. Но только от вас зависит, насколько быстро это случится. Появлению фантомов предшествует какая-то причина — вам нужно её удалить. Покопайтесь в себе, найдите её и скажите: ты только морок, наваждение, исчезни!

— Умом я это понимаю, но не знаю, как сделать в реальности. Я устал. Да что мы всё обо мне? Вы-то по какой причине здесь?

— Похоже, меня обвиняют в том, о чём я предупреждал. Я чувствую приближение опасности. Вчера днём я должен был вылететь из Южноморска.

— Из Южноморска?

— Да, я там живу. На регистрации я вдруг с необыкновенной ясностью понял, что самолёт разобьётся. Я сказал об этом всем, кто был рядом. Начался скандал. Меня отвели в офис авиакомпании. Я настаивал на том, чтобы мне поменяли билет. В конце концов, я купил с большой доплатой билет на самолёт другой авиакомпании. Как я ни призывал, никто больше не последовал моему примеру, — напротив, многие выражали недовольствие, что я задерживаю регистрацию.

— И что же?

— Самолёт разбился. Все погибли.

Мне стало жарко.

— “Эйрбас”? Авиакомпании “Зюдвинд”?

— Совершенно верно. Вы, я вижу, уже слышали об этой трагедии.

— Д-да, — выдал из себя я.

— Ну, вот. А когда я прилетел сюда несколько часов назад, меня задержали. Я под подозрением, потому что знал о катастрофе. А те из аэропорта, кто меня не послушал, — получается, нет.

— Ну да, ну да... — пробормотал я. — Вы единственный выжили, вам и отвечать. Мне это всё очень знакомо. В сущности, с похожей ситуации и начались мои блуждания в лабиринте... Все исчезли, а я нет...

Я хотел ещё сказать, что был в том падающем самолёте, но переместился из него благодаря молитве, однако Фёдор вдруг зевнул и потёр глаза.

— Тянет в сон, простите великодушно. Трудный сегодня был день... Я, с вашего позволения, подремлю немножко.

— Конечно, конечно!

Он снял ботинки, поставил их аккуратно вниз, прилёг на топчан-пюф, повертелся так и сяк, а потом устроился на боку, положив под голову руки. Я же лёг на спину и смежил было веки, как Фёдор повернулся ко мне и сказал:

— Между тем, в моём рассказе что-то не так. Вот вам упражнение для борьбы с фантомами: подумайте утром, что именно. — И снова отвернулся.

Ещё один говорит загадками! Что-то не так? А что? Ага, вот что: ни тогда, когда я шёл по “гармошке” в “эйрбас”, ни после, в самом самолёте, никто не говорил про странного человека, предрекавшего крушение. Да тот же Киров, послушав Фёдора, ни за какие коврижки не поднялся бы на борт! Другое дело, что регистрация идёт два часа и далеко не все могли услышать предсказание. Судя по рассказу Фёдора, скандал, в основном, развивался в офисе “Зюдвинда”, куда его отвели. Так что, если здесь “что-то не так”, то пятьдесят на пятьдесят, серединка на половинку. Но как это мне поможет в борьбе с фантомами?.. Под эти мысли я уснул, не понимая даже приблизительно, как.

Когда я проснулся, Фёдора на нарах уже не было. Уже увели? А я так и не узнаю разгадку его шарады! Но, скорее всего, Фёдор меня просто обманул. “Просто”? Нет, не просто: рассказывая, он, без всяких сомнений, знал, что я знаю про “эйрбас”. История была рассчитана на моё знание, а не на незнание. И, если в ней таится обман, то это нечто более основательное, что тот факт, что пассажиры не обсуждали при мне предсказание Фёдора. А почему он меня прервал, когда я сам захотел рассказать про “эйрбас”? Имеет ли это отношение к обману? И тут меня осенило: ведь непропавшие этрускологи улетали с конференции не раньше 27 апреля, а вчера, когда

Фёдор якобы напророчил падение самолёта, было 24-е! Да и вообще: в Южноморск я летал в прошлом году! Но я поверил, что это было именно с тем “эйрбасом”, в котором я оказался после “филологического пира” у Сталина. А почему? Да потому что хотел верить, как верил во всё, что происходит в мирах “Аквариума”, хотя знал, что это ненастоящая реальность. А как там сказал Фёдор? “Покуда вы верите видениям, они от вас не отступят”.

Мои размышления прервал появившийся перед “обезьянником” Отрошенко. Он постучал в решётку и сказал:

— Поднимайтесь, Лосев! За вами приехали.

— Кто приехал? Я вам, что, шкаф — возить меня туда-сюда?

— Из прокуратуры. Собирайтесь!

Ну, если из прокуратуры... Поясница ныла от жёстких нар. Я сел, крихтя, обулся. Отрошенко отпер замок.

— А скажите, младший лейтенант, вчера было крушение самолёта компании “Южный ветер”?

— Не слышал.

Так, понятно, Фёдор меня дурачил.

— А куда делся человек, что сидел со мной?

— В психушку отвезли, на экспертизу.

— А чего вы меня с психом в одной клетке держали?

— Мы не психиатры, чтобы диагноз ставить. Может, он и не псих ещё.

В соседней комнате меня ждали два крепыша в штатском — вроде Рокотова. Отрошенко отдал им мои вещи в бумажном пакете, вместе с описью и протоколом, и мы пошли к выходу. Там нас ждал чёрный “БМВ” или “бумер”, как говорят в народе.

Стиснутый на заднем сиденье двумя конвоирами, я думал о том, что все вопросы Фёдора были подсказками. “Вы говорите — видения... А нельзя ли отказаться от них и вернуться в ваше изначальное состояние?... — Да весьма желательно!” И тому подобное. Он знал, что я отвечу, и спрашивал исключительно для того, чтобы ответ прозвучал. Для меня, а не для него. Свою историю про “эйрбас” Фёдор рассказал после того, как призвал меня удалить причину, по которой я оказался среди фантомов. Ликвидация одного такого фантома — крушения самолёта — произошла прямо в моём присутствии. Надо полагать, это и было пресловутым “упражнением”. Мне нужно сделать нечто подобное, чтобы вернуться в реальный мир. Но что?

* * *

Я как-то невольно возгордился, когда понял, что меня привезли в Генпрокуратуру на Большой Дмитровке. Пусть это и не я подозреваемый, а Лосев номер неведомо какой, но им занимается не районная прокуратура и даже не городская, а Генеральная! Не хухры-мухры! Знай наших — парней из “Аквариума”!

Но ещё больше я удивился, когда в кабинете, в который меня доставили, увидел знакомого лысого человека с вдавленным носом.

— Румянов! — воскликнул я. Подтвердилось моё первоначальное предположение в околотке, что взяли меня за “распространение” правды об этрускологах. Ну, что ж, так, может быть, проще: предупреждён, значит, вооружён.

Следовательно, между тем, нахмурился:

— Откуда вы знаете мою фамилию? На дверях этого кабинета нет таблички!

Вот тебе раз! Да, “Аквариум” в своём репертуаре: бросит сначала “подсказочку”, и, как только я ей поверю, и тут же меняет ситуацию на сто семьдесят градусов! Судя по глазам того Румянова, что сидел передо мной за столом, он явно со мной никогда не встречался. И в Южноморске, наверное, не был.

Я ответил уклончиво:

— Ну, страна должна знать своих героев.

— Я не медийная фигура, чтобы страна меня знала.

— Ну, это вам только так кажется. Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры — медийная фигура.

Но Валентин Игоревич продолжал смотреть на меня с подозрением.

— В странные игры вы играете, Лосев. Если не сказать больше. Однако начнём. — Он взял ручку, придвинул к себе бланк протокола. — Ваша фамилия, имя, отчество?

Я засмеялся.

— Вы же сами назвали мою фамилию.

— Это не имеет значения. Я могу ошибаться. По закону вам необходимо полностью представиться.

Я представился, и дальше повторился тот же опрос, что уже имел место в баре “Аквариума”. Покончив с анкетными данными, Румянов спросил:

— Вас задержали в аэропорту “Шереметьево”. Что вы там делали?

— Меня уже спрашивали.

— Я не спрашивал. И так?

— Провожал жену в Южноморск.

— На конференцию этрускологов? — как-то скривился Валентин Игоревич.

Я опешил. Всё-таки — этрускологи! Этот “Аквариум” нещадно дёргает меня за ниточки в разные стороны, как Петрушку!

— Почему этрускологов? — пробормотал я. — Филологов. Моя жена — филолог.

Следователь смотрел на меня, сдвинув брови.

— Теперь — филологов... Это настоящая конференция?

— Что значит — настоящая? Бывают ненастоящие? Впрочем, спросите у жены.

— Спросим. Маловероятно, что конференция филологов с участием вашей жены будет проходить в том же городе, где вы устроили провокацию.

— Какую ещё провокацию? — Начинается! — Я никогда не был в Южноморске! — добавил я от лица Лосева номер пять, проверяя реакцию Румянова.

— Мы знаем, — тут же попался он. — Но в местной гостинице вы бронировали по интернету пятьдесят номеров якобы для участников конференции этрускологов. В числе которых были и вы.

Я искренне удивился:

— Откуда у меня деньги на бронирование пятидесяти номеров? Я бедный писатель!

— Не прикидывайтесь, Лосев. Вы нашли в Южноморске новый отель, который не требует предоплаты за бронирование. И заказали от лица несуществующего оргкомитета конференц-зал в городской библиотеке. Местные СМИ, естественно, вслед за библиотекой анонсировали мероприятие. В университете узнали и тоже захотели участвовать. Городские власти поддержали. Не каждый день в провинциальном городе проходят международные конференции!

— И зачем, спрашивается, мне это делать?

— Чтобы в день открытия мнимого мероприятия анонимно звонить во все инстанции и писать в интернете, что участники конференции одновременно исчезли, войдя в гостиницу “Аквариум”. А поскольку журналисты собрались в назначенный час в библиотеке и ждали открытия, то они официально передали в редакции информацию о загадочном исчезновении делегатов. Тогда подключились органы. Это и было, очевидно, то, чего вы ожидали. И я тоже хочу знать: зачем?

— А это доказано: что я бронировал, заказывал, звонил по телефону и писал в интернете?

— Да, установлено, что сообщения поступали с ваших аккаунтов и с вашего мобильного телефона, — не с основного, а с того, что у вас в планшете.

Ах, Лосев номер пять, стервец!

— А при чём здесь телефонный терроризм, как сказал майор Рокотов?

— Поскольку к мнимому инциденту были подключены органы правопорядка и подключены серьёзно, ваши деяния можно инкриминировать как телефонный терроризм. Впрочем, этот пункт ещё нуждается в уточнении. Вы едва не спровоцировали международный скандал, поскольку заявили в числе делегатов иностранных учёных. Спасибо МИДу, который быстро сумел доказать, что это фейк. Тогда вы, неудовлетворённый, вероятно, резонансом, попытались повторить нечто подобное за границей, в Венеции, действуя по той же схеме: бронирование мифическим оргкомитетом отеля “Альвери”, информация в местные СМИ, привлечение Венецианского университета. Но эту провокацию, названную вами конгрессом венетологов, удалось предотвратить.

— Как же удалось, когда Стригунов и Глазова туда полетели? — вырвалось у меня.

— Что?! Кто полетел? Подробнее, пожалуйста!

— А какой смысл? Я вам уже говорил подробно в Южноморске, когда вы там меня допрашивали! И что толку? Просрали расследование и теперь лепите из меня “телефонного террориста”, чтобы самим ни фиги не делать!

— Попрошу вас не выражаться! Вы же никогда не были в Южноморске! И я, кстати, тоже!

— Да, — устало сказал я, — извините. Вы такая же марионетка “Аквариума”, как и все остальные, и в своём нынешнем амплуа, действительно, не бывали в Южноморске.

— Какого ещё “Аквариума”? Это же название южноморского отеля, который вы бронировали!

— На какие числа я его бронировал?

— На восемнадцатое — двадцать первое апреля.

— А отель “Альвери”?

— На двадцать пятое — двадцать восьмое.

— “Аквариум” и “Альвери” были забронированы оба на двадцать пятое — двадцать восьмое апреля! Не знаю только, какого года. Румянов, никакого расследования нет! И вас нет, вы фантом! Вас хватает только на то, чтобы по воле “Аквариума” корректировать даты — достоверности ради! А то обе “провокации” приходится на одни и те же дни!

Валентин Игоревич откинулся на спинку кресла.

— Среди версий о ваших мотивах была и писательская деятельность. Слушаю вас и убеждаюсь, что она наиболее вероятна. Наряду с шизофренией, — прибавил он. — Впрочем, тут одно другому не мешает. Психиатрическая экспертиза покажет. Вы что же: прославиться таким образом хотели?

— Психиатрическая экспертиза?.. — повторил я. Ага, и Фёдора на неё отправили. — Да, Румянов, точно, писательская деятельность. Один из моих двойников написал обо всём этом роман. И вы существуете только потому, что существуете в романе. За его пределами вас нет.

В этот момент со следователем произошло нечто необъяснимое: он, как зеркало “Аквариума” перед тем, как стать проницаемым, задрожал мелкой рябью, и физиономия его стала размываться, особенно по краям. Впрочем, может быть, мне показалось, потому что, когда через секунду Валентин Игоревич выпрямился в кресле, его облик снова стал чётким, как будто кто-то устранил помехи в телевизоре, поправив антенну.

— Ещё как существую, на вашу беду! — прогремел Румянов. — Итак, ваш мотив: устроить грандиозные скандалы и написать по свежим следам роман?

— Скажите, Валентин Игоревич, каким образом я вас узнал, если мы не встречались? Ведь вы, действительно, не медийная фигура.

— И каким же, мне тоже интересно?

— Мой двойник, автор романа, вас придумал, вот и всё. — Я прикрыл глаза и вспомнил слова Фёдора о причине существования фантомов: “Вам нужно её удалить. Покопайтесь в себе, найдите её и скажите: ты только морок, наваждение, исчезни!”

Так, может, надо удалить роман? Точно! Вот если бы я был дома, за компьютером Лосева номер пять! Постой, но разве техника имеет какое-либо

значение в том, что я, размноженный в зеркалах “Аквариума”, написал роман? Он написан не на компьютере! Этот компьютер не материален! Он у меня в голове! Надо просто представить его себе воочию, включить...

Откуда-то издаലെка ко мне пробивался голос Румянова: “Что с вами? Очнитесь! Вам плохо? Сейчас я водички...” Титаническим усилием воли я усадил себя за свой стол, включил системный блок, монитор... “Да воскреснет Бог!..” Замерцал экран, всплыла заставка, выстроились в ряд ярлычки... В мои зубы толкался край стакана, из которого следователь пытался меня напоить, вода лилась на подбородок и грудь. “Мои документы”, нажимаю... Ищем... Как там — “Этрусское не читается”? В самом низу должно быть. Но нет такого файла. Нет! Подожди, там же не “Этрусское” было, а “*Этрусское*”! Латиницей начинается, значит, это наверху списка, а не внизу. Вот, есть! Голос Валентина Игоревича ослабел до комариного писка: “Кто-нибудь! Позовите медика! Подозреваемому плохо!” Я открыл документ, засветилось белое поле с шеренгами чёрных строчек: “Борис Лосев. “*Этрусское не читается*”. Роман”. “На воздух его надо, на воздух!” — пищали потусторонние голоса. “Выделить”, нажал я. Потом: “Выделить всё”. Голубая тень легла на текст. “Delete”, — ударил я по клавише, как пианист, финальным аккордом добывающий сонату. Ослепительный свет хлынул из освобождённой страницы, и под почти уже неслышимый визг: “Искусственное дыхание ему нужно!” — моё тело утратило вес и взлетело ввысь, подхваченное дуновением неведомого ветра.

* * *

— Ваш паспорт, пожалуйста, — сказал голос по ту сторону света.

Я открыл глаза и увидел прямо перед собой, за гостиничной стойкой, того самого портъе, что встречал нас в “Аквариуме” в день заезда. Я оглянулся: за мной стояла очередь этрускологов из автобуса. Вон Киров блестит очками, улыбается. Вау, “Киров с нами”! А вон, на диване, мой чемодан и портфель. Это что — мы опять в гостиницу заселяемся?

— Ваш паспорт, будьте добры, — повторил портъе, несколько озадаченный задержкой.

Я посмотрел на документ в своей руке.

— Нет, — помотал головой.

— Простите?

— Я передумал. — И положил паспорт обратно в карман. — Этрусское не читается.

Я взял портфель и чемодан и пошёл к выходу под недоумённые взгляды делегатов. По пути я миновал зеркало, в котором не отразился, и снова покачал головой: хватит, никаких зеркал! Только через двери!

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

Глава шестая

“КОММУНИСТЫ, НАЗАД...”

Евгений Евтушенко во многих своих интервью, статьях, воспоминаниях с благодарностью отзывался о поэтах фронтового поколения: Борисе Слуцком, Давиде Самойлове, Александре Межирове. О последнем он вспоминал как о поэте особенно повлиявшем на него, научившем жить и выживать в литературной обстановке пятидесятых годов. В 1952 году они издают каждый по книге, куда вошли стихи, во многом сделавшие их широко известными в идеологически требовательной среде: книга Межирова называлась “Коммунисты, вперёд!”, так же, как знаменитое стихотворение, написанное молодым двадцатилетним поэтом аж в 1947 году.

А стихотворный сборник Евтушенко “Разведчики грядущего”, вышедший одновременно с межировскими “Коммунистами”, был значителен тем, что в нём было не одно, не два, а с десятков корявых, но подобострастных виршей о Сталине. В межировской же книжке стихи о Сталине были выполнены с мастерской велеречивостью:

*Эта речь в ноябре не умолкнет червонном
И во веки веков.
Это Сталин приветствует башенным звоном
Дорогих земляков.*

Не лишне вспомнить, что Сталин в 1952-м ещё был реальным властителем идеологии, и чиновники, следившие за состоянием советской поэзии, не могли не заметить ни межировского гимна, называвшегося “Горийцы слушают Москву”, ни евтушенковского льстиво-халтурного цикла, после которого начинающий поэт был сразу же принят в Литературный институт и в Союз писателей СССР. А было ему тогда всего-навсего девятнадцать годков. Для сравнения вспомним, что и Слуцкий и Самойлов издали свои первые сборники стихотворений, когда первому было около сорока, а второму за сорок, скорее всего потому, что у них не было в послужном списке в отличие от Межирова и Евтушенко ни стихов о Сталине, ни о торжестве коммунизма.

Вскоре Евтушенко, равняясь на межировскую оду “Коммунисты, вперёд!”, написал свою стихотворную клятву “Считайте меня коммунистом”.

Продолжение. Начало в №11,12 за 2019 г., в №1,2 за 2020 г.

Однако оба они, конечно, не могли не знать о послевоенной борьбе с космополитами, о таинственных слухах насчёт якобы готовившегося “дела врачей”, и потому учитель с учеником, видимо, понимали, что “поэт в России больше, чем поэт”, и что одного признания в любви к коммунизму — мало, что советский поэт ещё должен обозначать себя, как поэт — русский... Хочу быть русским! — так, наверное, можно назвать чувство, овладевшее Межировым после стихотворных клятв о верности коммунизму... А где искать русскость? Ну, конечно же, в языке, в слове:

*Был русским плоть от плоти
по мыслям, по словам,
когда стихи прочтёте —
понятней станет вам.*

Но “мыслей и слов”, чтобы почувствовать себя русским — мало. Может быть, нужен ещё и образ жизни? И этот образ появляется в стихах Александра Петровича в стихотворении “Москва. Мороз. Россия”, где он с предельной откровенностью изложил своё понимание “русскости”, увязав её не только с морозной русской зимой и с “закутанностью в снега”, но и с погружением во время святок в крещенские “купели” Серебряного бора, с любовью к традиционному цирку и к игре на бегах, столь привлекательных для нэповской и послевоенной столичной богемы.

*По льду стопою голой
к воде легко скользил
и в полынье весёлой
купался девять зим.*

Он так старался жить русским образом жизни, что даже посчитал, сколько “зим” погружался в ледяную воду, и не забывал о страдающей плоти во время крещенских купаний:

*Кровоточили цыпки
На стонущих ногах...
Ну, а писал о цирке,
О спорте, о бегах.*

*Я жил в их мире милом,
В традициях веков,
И был моим кумиром
Жонглёр Ольховиков.*

Стихия цирковой жизни изображается поэтом, как нечто волшебное, как почти космическое действо:

*Юпитеры немели,
Манеж клубился тьмой,
Из цирка по метели
Мы ехали домой.*

*Я жил в морозной пыли,
Закутанный в снега.
Меня писать учили
Тулуз-Лотрек, Дега.*

Да, постижение “русскости” у какого-нибудь Николая Тряпкина, ездившего в те годы по старообрядческим деревням Архангельской и Вологодской земли, судьбы и песни раскулаченных колхозных крестьян, их посёлки, построенные на лесоповалах, — всё это было совсем другой русскостью, нежели межировская “русскость” в иорданиях Серебряного бора, где выросли дачные посёлки для партийной знати. И ещё, если ты жил в русской “морозной пыли”, да ещё “закутанный в снега”, то естественно было бы вспомнить не па-

рижских балерин и француженок, которые позировали Дега и Тулуз-Лотреку, а “Мороз и солнце — день чудесный” Александра Пушкина, “Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи — мороз-воевода дозором обходит владенья свои” Николая Некрасова, вспомнить “Свет небес высоких, серебристый снег и саней далёких одинокий бег” Афанасия Фета. Да и без любимого Александром Петровичем Блока не обойдёмся, погружаясь в русскую зиму:

*Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала.
Но верю — то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала.*

А как не вспомнить есенинское: “Клён ты мой опавший, клён заледенелый, что стоишь, качаясь под метелью белой”! Или свиридовскую вечно печальную “Метель”... А тут — “Тулуз-Лотрек, Дега”. Не хватает только добавить к ним Марка Шагала, Казимира Малевича, Оскара Рабина — и с перевоплощением (“был русским плоть от плоти”) всё было бы в порядке.

Евтушенко сумел изложить свою “русскость” буквально в одной строке, когда сказал, как отрезал: “И ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский”.

Эта загадочная фраза так ошарашила Межирова, что, как пишет биограф Евтушенко Илья Фаликов, он не выдержал: “С-спрячь это и никому не показывай! — с трудом произнёс заикающийся Александр Петрович”. Следующее превращение из одной ипостаси в другую (из “коммунистической” и “русской” в “антисоветскую” и “американскую”) у обоих поэтов произошло во время перестройки, когда оба задумались об отъезде из разрушенной бывшими “русскими” и бывшими “коммунистами” России. Правда, Евтушенко всю оставшуюся после отъезда четверть века своей жизни повторял, что он уехал в Америку на работу, но какое это имеет значение, если туда же “на работу” уехал и ракетчик Роальд Сагдеев, и генерал КГБ Олег Калугин, и бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Одним словом, как сказал о себе и о них: **“Я в эмиграцию играю и доиграю до конца”**.

Всех этих “игроков в эмиграцию” на родине уже не удерживало ничего: ни “моральный кодекс строителей коммунизма”, ни показная “русскость”, ни православная вера, поскольку все они, как и большинство советских людей, были, как бы это помягче сказать — “обезбожены”. Полная обезбоженность Евтушенко скорее всего происходила от постоянного общения с его воспитателями-атеистами — Слуцким, Межировым, Самойловым. А нравы в Литературном институте, где учился Евгений Александрович и где позднее преподавал Межиров, были таковы, что когда наша шестидесятница Татьяна Глушкова представила для защиты диплома книгу стихотворений, называвшуюся “София Киевская”, то её научный руководитель, известнейший советский поэт Илья Сельвинский не принял рукопись диплома “по причине христианских мотивов, наличествующих в ней”.

Давид Самойлов за год до смерти, перепуганный провокационными криками наших СМИ о надвигающихся еврейских погромах (Алла Гербер, будучи в Израиле, однажды заявила, что благодаря только её речам и выступлениям из СССР уехало в Израиль около миллиона евреев), записал в дневнике: **“Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: “Шма исроэл! Адонай элхейну, Адонай эхад!” Единственное, что я запомнил из своего еврейства” — начало еврейской молитвы: “Слушай, Израиль! Господь наш Бог, Господь Един!”** Не “Отче наш” вспоминает перепуганный поэт, а “слушай, Израиль!” И при этом жаждет остаться именно русским поэтом.

Другой воспитатель Евгения Евтушенко Борис Слуцкий об Иисусе Христе, как мне помнится, в своих стихотворных книгах не вспомнил ни разу. Но о ветхозаветном боге евреев Иегове высказался в стихотворении о Сталине, который, по пониманию поэта, был настолько всемогущ и велик, что еврейского Иегову — “он низринул, извёл, пережёл на уголь, а после из бездны вынул и дал ему стол и угол”.

Правда, в одном из предсмертных своих стихотворений Слуцкий признался, что при жизни он “так и не встретился с Богом”. А что касается Межирова, то безбожная и бессмысленная “бормотуха бытия”, настигшая Александра

Петровича в годы перестройки, впервые овладела им гораздо раньше, когда поэт в 1971 году посетил Троице-Сергиеву Лавру.

Уже тогда Лавра с её насельниками показалась ему обителью нищевродов и рассадником уголовно-разбойных нравов, впоследствии заклеянных поэтом, как “охотнорядских” и “черносотенных”. Помню, что когда я впервые прочитал стихотворение “Спит на паперти калека”, то подумал: а не состоял ли подросток Саша в “Союзе воинствующих безбожников”, деятельностью которых руководил Емельян Ярославский?

*Нищий, рваный и голодный,
Спит на паперти холодной,
Подложив костьль под бок.
Там в окладах жемчуг крупен.
У монаха лик преступен,
Искажён гримасой рот.*

Но мало того, весь сергиево-посадский пейзаж, украшенный храмами, колокольнями, часовнями, крепостными стенами и монастырскими озёрами, показался поэту очагом мерзости и запустения, достойным того, чтобы над ним справляла свой пир воронья стая, прилетевшая сюда ради поживы:

*В дымке Троица святая,
А над ней воронья стая
Раскружилась и орёт.*

Дабы никто не сомневался в обречённости и бессмысленности этой православной “бормотухи”, поэт, чтобы обосновать историческую и религиозную нищету Третьего Рима, рисует одно убогое зрелище за другим:

*Спит на паперти калека,
А в гостинице уют.
С восемнадцатого века
Не проветривали тут.*

В великих русских лаврах-монастырях – Троице-Сергиевой, Киево-Печерской, Почаевской, Псково-Печерской, хранящих традиции и душу тысячелетней России, всякое проветривание – начиная от Никона и кончая “Союзом воинствующих безбожников” – до добра не доводило. Ну как тут не вспомнить великого русского историка Ключевского, сказавшего, что, пока идут службы в храмах Троице-Сергиевой Лавры, пока покоятся в серебряной раке мощи Сергия Радонежского, дотоле будет жива Россия.

Жива не как поле битвы, покрытое мёртвыми телами, и не как гора исторического хлама и мусора, предназначенная для того, чтобы её расклёвывали вороны...

*И над Троицким собором,
Оглашая воздух ором,
Вьётся стая воронья.*

Увидав калеку, спящего на паперти, и монаха с разбойничьим, “преступным ликом”, поэт ужаснулся и закричал: “С восемнадцатого века не проветривали тут”... А на самом деле Лавра, окружённая крепостными стенами и угловыми башнями, возведёнными за несколько веков монастырской братией, выдержавшая в Смутное время осаду польского регулярного войска, во времена Минея Губельмана (Емельяна Ярославского) “проветрилась” так, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Двадцатого января 1918 года советская власть издала декрет об отделении церкви от государства, и Лавра была превращена в трудовую артель. В марте 1919 года была распущена и преобразована в электротехнические курсы Духовная академия при Лавре. Десятого ноября 1919 года Лавра вообще была закрыта. Одиннадцатого апреля 1919 года были вскрыты мощи преподобного Сергия. Приблизительно в то же время была вскрыта и гробница семейства Годуновых.

Двадцатого апреля 1920 года вся братия Лавры была выселена и нашла себе место в трудовых коммунах. Последняя служба в Лавре совершилась 31 мая 1920 года. . .

Никаким татаро-монгольским, шведским, польским, литовским и прочим “проветривателям” не снилось то, что делали с русской церковью “комиссары в пыльных шлемах”. Разве что маркиз де Кюстин мечтал о более тотальном “проветривании” Лавры, когда писал в 1839 году в книге “Николаевская Россия”: **“Рака с мощами Сергия ослепляет невероятной пышностью. Она из позолоченного серебра великолепной выделки. Её осеняет серебряный балдахин. . . Французам досталась бы здесь хорошая добыча”**. Как это ни прискорбно, но мечты наполеоновских мародёров “о проветривании” совпали с мечтами “комиссаров в пыльных шлемах”. Но я же помню, как “проветривали” мою родную калужскую Оптину пустынь и Шамординскую обитель, которые до конца восьмидесятих годов прошлого века были переоборудованы в мастерские для ремонта сельскохозяйственной колхозной техники, и даже в сортиры для механизаторов, как в мои школьные годы в Калуге из сорока церквей оставались открытыми лишь две — моя Георгиевская и Николо-Козинская. После войны по пути в школу проходя мимо церковных остовов, мимо Троицкого собора с безглазыми окнами и берёзками, росшими на крыше, я набрался чувств и впечатлений, которые потом стали стихами, написанными в состоянии душевного отчаяния:

*Реставрировать церкви не надо —
пусть стоят как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада
в наготе и в разрухе своей.*

*Пусть ветшают... Недаром с веками
в средиземноморской стороне
белый мрамор — античные камни —
что ни век возрастает в цене...*

*Штукатурка. Покраска. Побелка.
Подмалёвка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем.*

*Для чего? Чтоб заезжим туристам
не смущал любознательный взор
в стольном граде иль во поле чистом
обезглавленный тёмный собор?*

*Всё равно на просторах раздольных
ни единый из них не поймёт,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поёт!..*

Именно такой протяжный ветер в 20–30-е годы “проветривал” по всей России монастыри и храмы. Историческая память о Сергиевом Посаде и Лавре, основанной аж в 1337 году, стиралась беспощадно. В 1930 году Сергиев Посад стал называться Загорском в честь комиссара Вольфа Михелевича Лубоцкого, носившего псевдоним Загорский, погибшего от рук анархистов в 1918 году. В 1976-м “Загорско-Лубоцкому” был поставлен памятник в центре города. Но в годы перестройки городу было возвращено исконное имя, и памятник временщику куда-то исчез. Одним словом, как говорит русская поговорка — нет худа без добра.

А моё стихотворение о разрушенных храмах и “обезглавленных соборах” я однажды прочитал Александру Межирову. Он выслушал и ничего не ответил мне. Промолчал, переведя разговор на другую тему. Но моё стихотворение, видимо, запомнил, потому что через двадцать с лишним лет в перестроечное время ответил мне своими стихами:

*Вы, хамы, обезглавившие храмы
Своей же собственной страны,
Вступили в общество охраны
Великорусской старины.*

Жаль, что эти строки я прочитал, когда их автор уже был в Америке. А то бы, встретив его на Красноармейской улице, где мы жили в соседних домах, я сказал бы ему:

— Александр Петрович! Вы хотите грех разрушения церквей в 20–30-е годы переложить на русское простонародье? Но вспомните, что когда Ленин приказал в 1921 году изъять у церкви все её драгоценности, то русское простонародье восстало в городах Шуя и Иваново-Вознесенске. Войска и чекистов пришлось в эти города посылать, и человеческие жертвы были. А “обезглавливало” храмы в 30-е годы уже другое поколение простонародья, прошедшее через горнило Союза воинствующих безбожников. Знаете, кто руководил этим Союзом? — Емельян Ярославский. Знаете, с каких лет он начинал выращивать этих хунвейбинов? — С четырнадцати. Знаете, кто написал первую восторженную биографию Сталина? — Да, всё тот же Губельман-Ярославский... Знаете, когда волна этого “хамского” хунвейбинства начала утихать? — Когда в 1935 году Демьяна Бедного исключили из ВКП(б) за глумливое изображение Крещения Руси, которое допустил этот негодяй в пьесе о богатырях Руси и Владимире Красное солнышко... Я вижу, что Вы не согласны со мной. Ну, тогда вспомним, кто в поэме Есенина “Страна негодяев” (написана в 1922 году!) развивает Ваши мысли о “хамах, обезглавивших храмы”? Вот монолог этого “хама”:

*Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Станный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.*

Увы, Александр Петрович, не проходит Ваша версия о том, что храмы “обезглавливало” русское простонародье. Более того, герой этого гневного монолога негодует, что представители “смешного и странного народа” “строили храмы Божии”, которые он, “гражданин из Веймара”, жаждет превратить в “места отхожие”. Вы, конечно, как известный поэт и профессор Литературного института, знаете, что прототипом этого “гражданина из Веймара”, названного в поэме “Чекистов-Лейбман”, был Лейба Бронштейн, он же Лев Троцкий, ставший в конце концов таким же эмигрантом, каким стали Вы.

* * *

Но что случилось с нами, людьми одного поколения, в 60–90-е годы? Почему так разошлись за эти тридцать лет наши стёжки-дорожки? Я ведь помню, как мы улыбались друг другу, как читали в застольях стихи, как хвалили друг друга за талант, за гражданскую смелость, как выступали одной командой на вечерах в Лужниках, в зале Чайковского, в Политехническом. Правда, меня всегда коробила строка Вознесенского: “Политехнический — моя Россия”, потому что я чувствовал, что “моя Россия” — это и родная Калуга, и Ленинград, где лежит на Пискарёвском кладбище мой отец, и древнее лесное село со звериным именем Пыцуг, затерявшееся в костромских лесах, в котором прошло во время войны моё эвакуированное из Ленинграда детство, и мой город Тайшет, куда я приехал работать после окончания Московского университета...

А ещё северный посёлок Ербогачён на Нижней Тунгуске – Угрюм-реке, а ещё беломорская деревня Мегра, а ещё украинский город Конотоп, где мы жили с матерью после войны...

И всё же, всё же, всё же... Мы дарили друг другу книги с искренними и лестными дарственными надписями. Беру с книжной полки одну книгу за другой. Читаю. *“Дорогому Стасику мой треугольно-добрый кулак. – Андрей Вознесенский ХХ век”*.

А вот автограф Булата Окуджавы на книге о декабристе Пестеле, изданной в серии “Пламенные революционеры” под названием “Глоток свободы”: *“Дорогие Стасик и Галя, спасибо вам за прошлое, за настоящее, а будущее не в нашей власти. 23. 2. 72 г.”* Булат как в воду глядел: октябрь 1993 года разделил нас навсегда...

Беру с книжной полки одну книгу за другой, задумываюсь, читаю: *“Дорогому Станиславу Куняеву – истинному поэту, дружески. Ю. Трифонов. 8. V. 76”*. Книга называется “Дом на набережной”, и повествовала она о жизни партийно-чиновничьей элиты в знаменитом “Доме” на берегу Москвы. Прочитав её, я узнал, что Юрий Трифонов был сыном “врага народа”, донского казака, героя гражданской войны, председателя военной коллегии Верховного суда СССР Валентина Трифонова и революционерки Евгении Лурье...

“Стасу Куняеву от сердца в память о наших метаниях по земле итальянской. Будь! Роберт. 30. X. 80”.

Это от Рождественского, который в разгар споров “почвенников” и “западников” провозгласил в одном из стихотворений: “по национальности я советский” и уклонился от всех “русско-еврейских” споров.

А вот автограф Василия Аксёнова на его книге из той же серии “Пламенные революционеры” о соратнике Ленина Леониде Красине: *“По старой дружбе Стасику Куняеву для воспитания сына в духе этой суровой книги. 26. 1. 72. В. Аксёнов”*.

Мне было понятно, почему Аксёнов, сын русского политкомиссара гражданской войны и еврейской девушки Евгении Гинзбург, ушедшей в революцию, как и мать Юрия Трифонова, из местечковой белорусской провинции, написал “суровую” повесть именно о Леониде Красине – фанатике мировой революции... И каково мне было через десять лет после отъезда Аксёнова на Запад слушать по “Голосу Америки”, а потом и по “Свободе” его надменное “Здравствуйте, господа!”, после чего он нёс такое по адресу и Ленина, и мировой революции, и Страны Советов, что кости Красина переворачивались в гробу.

Но среди такого рода дружеских, но заурядных дарственных фраз истинную радость мне доставляли неожиданные для меня автографы от многострадального узника ГУЛАГа Варлама Шаламова: *“Станиславу Юрьевичу Куняеву шлю очередной свой опус – автор с великим уважением и симпатией. В. Шаламов. Ночь 27 сентября 1977 года”*.

Или от прозаика Юрия Казакова: *“Станиславу Куняеву, одному из моих самых любимых (давно!) поэтов и людей. Ю. Казаков, сент. 1973 г.”* Надпись сделана на книге “Северный дневник”, одной из самых заветных книг моей библиотеки.

И, конечно же, самыми не казёнными и не шаблонными были дарственные надписи, оставленные на память мне Александром Межировым на своих книгах.

“Любимому Станиславу А. Межиров. 9. IV. 68 г.” – надпись на книге “Подкова”, М., 1967 г. *“Дорогим Гале и Станиславу на память о ветровом стекле. Дружески и сердечно. А. Межиров, 10. 9. 71 г.”* – надпись на книге “Поздние стихи”, после какой-то поездки на автомашине, за рулём которой сидел Александр Петрович. *“Гале и Станиславу на память о жизни... “в огромном доме, в городском июле” с любовью А. Межиров”* – надпись на сборнике “Под старым небом”, М., 1976 г.

* * *

20 сентября 2017 г. В моей квартире зазвонил городской телефон. Звонил поэт, с которым чуть ли не полвека тому назад меня познакомил в Тбилиси Александр Межиров, и который вскоре стал его зятем, женившись на дочери Межирова, ныне живущей в Америке.

— Станислав Юрьевич, — закричал голос на том конце провода, — я несколько лет прожил в межировской семье, навещал их в Америке. Но, клянусь его мамой, я не подозревал, что, женившись на Зое, породнился со знаменитой революционеркой Землячкой — Розалией Залкинд! Вы представляете, как я ошарашен!

Мой собеседник был ошарашен тем, что, прожив в семье тестя часть жизни, он и знать не знал о родословной своей жены. . .

Вечером мой внук нашёл в интернете воспоминания двоюродной племянницы Межирова Ольги Мильмарк, опубликованные в “Иерусалимском журнале” № 56 за 2017 год, свидетельствующие о родословном древе одного из влиятельнейших шестидесятников.

Из воспоминаний О. Мильмарк:

“Моя мама, двоюродная сестра Межирова (их матери, урождённые Залкинд, — родные сёстры), рассказывала, как перед самым уходом на фронт в 41-м семнадцатилетний Шурик, одетый в шинельку не по росту, пришёл на Ордынку попрощаться с ней и со своей тётей, моей бабушкой Олей:

*Без слёз проводила меня...
Не плакала, не голосила,
Лишь крепче губу закусила
Видавшая виды родня.
Написано так на роду.
Они, как седые легенды,
Стоят в сорок первом году,
Родители-интеллигенты”.*

На этом племянница Межирова обрывает стихотворную цитату, видимо не желая, чтобы читатели “Иерусалимского журнала” узнали, какие “виды” видала “родня” и “родители интеллигенты”.

Но не зря же говорится, “написано пером — не вырубешь топором” — её талантливый дядя не сдержался и проговорился в этом же стихотворении о таких семейных тайнах, о которых племянница умолчала:

*Их предки в эпохе былой,
из дальнего края нагрянув,
со связкою бомб под поллой
встречали кареты тиранов.*

Это, видимо, написано об эпохе, когда был убит царь-освободитель, об эпохе Веры Засулич и Геси Гельфман (или Гельфанд?), когда возникали тайны общества вроде “Земли и воли”, когда героями террора объявлялись Каляев, Нечаев и Каракозов, чьи имена в советское время были присвоены улицам многих русских городов, в том числе и моей Калуги. . . Но со “связками бомб под поллой”, скорее всего, имели дело деды и прадеды межировского рода. Об отце же, участвовавшем в первой русской революции 1905 года, Александр Петрович пишет с осторожностью, и многое надо читать между строк:

*В году далеком Пятом
Под флагом вихревым
Он встретился с усатым
Солдатом верховым.*

*Взглянул и зубы стиснул,
Сглотнул кровавый ком, —
Над ним казак присвистнул
Тяжелым батожком.*

*Сошли большие сроки,
Как полая вода.
Остался шрам жестокий
И поет иногда.*

Но местечковые революционеры были ничего не забывающими и мстительными, да и для всех “детей Арбата” нагайка со времён 1905 года была символом жестокой, антисемитской, черносотенной, “шолоховской” России:

*Нагаечка, нагайка,
Казаческая честь,
В России власть хозяйка,
Пока нагайка есть,—*

писал Евгений Евтушенко в поэме “Казанский университет”, словно бы продолжая стихи Межирова. Конечно, отец Межирова уже не стоял, как его предки, “со связкой бомб под полой”, и во времена межировского детства в 20–30-е годы он был мирным “сотрудником наркомата”, о котором сын писал: “Трудами измождённый, спокоен, горд и чист, угрюмый, убеждённый великий гуманист”... И всё-таки ноет “шрам жестокий” от удара батожком верхового казака, этакого Гришки Мелихова, “убеждённого” монархиста, чьим призванием было разгонять демонстрации “жидов” и “студентов”. Этого Межиров-младший не пишет. Но это Межиров-старший, взявший неблаговзвучный псевдоним и отвергнувший подлинную родовую фамилию, чувствует, как постоянно возникающую фантомную боль. Все эти взаимные столкновения, весь объективный ход истории разделили к середине 30-х годов прошлого века русскую интеллигенцию на два лагеря — либералов и патриотов. Пламя гражданской войны к 1936 году приутихло. А до принятия сталинской конституции оно бушевало не на шутку, о чём свидетельствует стихотворение популярного в те времена поэта:

О СМЕРТИ

*Меня застрелит белый офицер
не так — так этак.
Он, целясь,— не изменится в лице:
он очень меток.*

*И на суде произнесет он речь,
предельно краток,
что больше нечего ему беречь,
что нет здесь прятков.*

*Что женщину я у него отбил,
что самой лучшей...
Что сбились здесь в обнимку три судьбы, —
обычный случай.*

*Но он не скажет, заслонив глаза,
что — всех красивей —
она звалась пятнадцать лет назад
его Россией!..*

1932

Автор стихотворения — Николай Асеев, о котором в “Википедии” сказано, что он происходит из рода Пинских, и что Асеев — это, скорее всего, тоже псевдоним. Впрочем, это и не так важно. Важно, что он помнил, как отбил красавицу Россию у белого офицера. Но навсегда ли?

Как бы то ни было, но к середине 30-х всё “устаканилось”. Почти все писатели-патриоты вышли из сословия крестьянства или городского простонародья, а “либералы” из среды профессиональных революционеров, партийных журналистов, нэпманов, государственных чиновников 20 — 30-х годов, чекистов, огэпэушников, энкавэдэшников. Одним словом, когда наше поколение к середине 60-х возмужало, своеобразная гражданская не то чтобы война, но распря постепенно разгоралась между детьми “аристократии” и “простонародья”. Естественно, что думающие и талантливые поэты обоих лагерей не могли пройти мимо осмысления своей родословной, что, впрочем, было естественным для русской поэзии XIX–XX веков, если вспомнить “Мою родословную” Пушкина, “Современников” Некрасова, “Анну Снегину” Есенина и т. д.

А если обратиться к “шестидесятникам-десантникам”, как называл своих друзей Евтушенко, то самое “таинственное” и “революционное” родословное древо было у Александра Петровича Межирова. Из воспоминаний

О. Мильмарк. “Видавшая виды родня... Семья Залкиндов жила в Чернигове в доме деда, земского врача. Абсолютно ассимилированная семья, в которой говорили и читали по-русски. Часть детей получили образование в Цюрихе. Равнодушие к быту (а тут ещё и война!) сформировалось у Межирова с детства. Изысканная еда, комфорт – совершенно не культивировались в наших семьях. “Нищенству этого духа / вовеки не изменю”, – приводит О. Мильмарк строку из книги А. М.

Не совсем понятно, как “нищенство духа” и “равнодушие к быту” совмещалось с возможностью учёбы в Цюрихе. Впрочем, учёба в Европе была в ту эпоху модной у местечковых интеллигентов – палач донского казачества Иона Якир учился в Базельском университете, один из создателей ГУЛАГа Яков Раппопорт – в Дерптском университете, Овсей-Герш Аронович Радомысльский (Зиновьев), – в Бернском университете, Нафталий Френкель – заместитель начальника ГУЛАГа Ягоды – получил образование в Германии. Розалия Самойловна Землячка-Залкинд обучалась сначала в Киевском, а потом в Парижском университетах... Словом, почти все крупнейшие “комиссары в пыльных шлемах” и создатели “Архипелага” были людьми весьма образованными.

Из воспоминаний О. Мильмарк.

Моя мама была для двоюродного брата тем самым Читателем, который, по несколько парадоксальному высказыванию Межирова, отличается от Поэта “разве что формально”... Он подарил ей рукописную “Бормотуху” с ликбезовскими замечаниями на полях, например: “Розанов, Леонтьев – поздние славнофилы-националисты, люди гениальные, но морально безумные”. А вот подписанная маме “Бормотуха” из перестроечного “Огонька”: “...на память о тревожной осени и бормотухе бытия земного”. В память врывается звонок Межирова моей маме в те же 90-е годы: “Дусинька! Ты должна бросить всё – больных, Марка, Олечку – и бежать смотреть “Холодное лето 53-го”. Это нельзя пропустить”.

У меня сохранилась черниговская фотография начала 30-х, на которой в нижнем ряду справа маленький Шура Межиров, рядом – младшая сестра Лида, за ней – старшая, моя мама, будущий врач, затем – Гриня, ставший режиссёром (Григорий Залкинд), который был знаменит в 70-е годы в театральной Москве как постановщик “подпольных” спектаклей театра абсурда”.

А дальше в своих воспоминаниях Ольга Мильмарк выдала тайну, которую тщательно скрывала и семья Залкиндов и сам поэт:

“Увы, из нашей же семьи вышла будущая “пламенная революционерка” Розалия Землячка* (урождённая Рахель Залкинд). О ней в семье не говорили, наверное, и потому, что помимо многих уничтоженных

* В 1937–1947 годах Розалия Землячка была членом ЦК ВКП(б) и работала в сталинском правительстве заместителем председателя Совета Народных комиссаров, видимо за уничтожение в гражданской войне “врагов революции”. В 1920 году она совместно с венгерским революционером Бела Куном организовала по указанию главвоенмора Л. Троцкого массовое уничтожение многих тысяч русских офицеров армии Врангеля и казаков, которые не успели эвакуироваться из Крыма в Турцию и сдались в плен, поверив обещанию М. Фрунзе даровать им жизнь. Этот сюжет всемирно-исторического злодеяния использован в повести Валентина Катаева “Уже написан Вертер”, а образ самой Розалии Залкинд выведен в стихотворении Ярослава Смелякова “Жидовка”.

Прокламация и забастовка,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны...

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая ни мать, ни жена.
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.

После смерти Смелякова это одно из самых лучших его стихотворений не вошло по воле составителей в его однотомник “Большой библиотеки поэта”, а в 1987 г. демократы-шестидесятники из “Нового мира” впервые опубликовали это стихотворение, заменив слово “жидовка” на “курсистку”. В последние годы жизни она жила в Переделкино, называла сама себя “демоном революции”, никто с ней не общался, и потому, когда она умерла, её труп с пятнами разложения был обнаружен лишь через несколько дней после её смерти.

“врагов революции” на её совести собственный шестнадцатилетний племянник Бенья, талантливый скрипач, обвинённый в те “оканные дни” в контрреволюционной деятельности и приговорённый к расстрелу. Его мать, тётя Ася, двоюродная сестра Землячки, с которой они вместе росли в Чернигове и учились в Цюрихе, отправилась из Чернигова в Москву к сестре, занимавшей высокий пост в правительстве Ленина, в надежде, что та спасёт безвинного юношу, но получила отказ”.

Из воспоминаний О. Мильмарк.

“Из Чернигова часть семьи перебирается в Москву, часть — в Ленинград. В Москве Межировы поселяются в Лебяжьем переулке, в большой коммунальной квартире на первом этаже: “Переулок мой Лебяжий, / лебедь юности моей”.

Евгений Евтушенко в стихотворении, посвящённом Межирову, пророчил: “В переулок Лебяжий вернётся когда-нибудь в бронзе...” (“далее у Евтушенко следует строка, опущенная племянницей Межирова: “автор стихотворения “Коммунисты, вперёд!”). Так что в перестроечное время семье Межировых приходилось скрывать не только родство с “фурией революции”, но и то, что Шура, “поклонник Блока”, является автором эпохального стихотворения). Из воспоминаний О. Мильмарк.

“Почти каждый выходной мы с мамой приходили на Лебяжий, где собиралась вся большая семья и где я, подросток, влюблённый в поэзию, воспринимала молодого Межирова не иначе как молодого Блока. Всем в этом доме заправляла суровая няня Дуня, обожавшая Шуру. Это её увековечил он в классическом “Серпухове”:

*Прилетела, сердце раня,
Телеграмма из села.
Прощай, Дуня, моя няня, —
Ты жила и не жила.
Паровозов хриплый хохот,
Стылых рельс двойная нить.
Заворачиваюсь в холод,
Уезжаю хоронить.*

Это были стихи о России, о крестьянке Дуне, которая вынырнула в двадцатые годы маленького еврейчонка Сашу... Сверхзадачей стихов, вдохновенно написанных, была цель — доказать, что и скромная интеллигентная семья, и выброшенная из деревни ураганом коллективизации молодая крестьянка Дуня жили одной жизнью, ели один хлеб, терпели одни и те же тяготы.

*Всё, что знала и умела,
Няня делала бегом.
И в семье негромкой нашей
В годы ранние мои,
Пробавлялась той же кашей,
Что и каждый член семьи.*

Автор жэзээловской книги о Евгении Евтушенко Илья Фаликов, вспоминая эту поэму, пишет:

“Кабы существовала антология великих стихотворений XX века, там среди таких шедевров, как блоковская “Незнакомка”, пастернаковский “Август”, “Враги сожгли родную хату” Исаковского, мартыновский “Прохожий”, стояла бы и “Серпухов”, самые русские стихи Межирова”.

Улавливавший в стихах даже небольшую фальшь Анатолий Передреев, прочитав поэму о няне, обратил внимание на заключительные слова: “Родина моя Россия, няня, Дуня, Евдокия” и холодно заметил: — Россия-няня? Ну, слава Богу, что не домработница... — Он, уроженец саратовской деревни, не знал, что русских нянь-домработниц в нэповских семьях того времени было не счесть. В семье Самойлова была домработница, у которой Дезик, по собственному признанию, учился русскому языку. В семье харьковского коммерсанта Абрама Слуцкого была русская няня, растившая будущего поэта-шестидесятника. В семье писательницы Орловой-Либерзон, жены публициста Л. Копелева, также вела хозяйство русская няня-домработница Арина.

Да и моя 15-летняя мать, чтобы выжить (после смерти отца у бабушки осталось четверо детей), пошла в Калуге в услужение к ювелиру Кусержицкому. Работала в его многодетной семье три года, как говорится, “только за хлеб”.

А Копелев и Орлова, как были, несмотря на репрессии 30-х годов, представителями советской аристократии, так и остались ими. Когда они, лишённые советского гражданства, прибыли в Берлин, их встретил Генрих Белль и повёз в свой дом, поскольку за год до этого Лев Копелев написал Беллю письмо, свидетельствующее о крепкой дисциплине, связывавшей в те времена в одну “мировую антерпризу” (термин композитора Георгия Васильевича Свиридова) всех антисоветчиков и русофобов той эпохи:

“Очень, очень прошу тебя и всех руководителей ПЕНА, желающих помочь нам делом, ускорить приём в национальные отделения ПЕНА в первую очередь тех писателей, которым угрожает опасность (Максимов, Галич, Лукаш, Кочур, Некрасов, Коржавин). Объективности ради следует включить и нейтральных авторов, Вознесенского, Симонова, Шагинян, Георгия Маркова; не забудьте и тех, кто в настоящее время подвергается, по-видимому, меньшей угрозе (Алекс. Солженицын, Лидия Чуковская, Окуджава, я также); но теперь, после Конвенции, наше положение может опять осложниться. Однако прежде всего: не ослабляйте всевозможных общественных и (доверительно-) лоббистских усилий в защиту осуждённых – Григоренко, Амальрика, Буковского, Дзюбы, Свитличного и других. Пожалуйста, объясни всем у вас: сегодня возникла реальная возможность – как никогда прежде!!! – эффективно воздействовать из-за рубежа на здешние власти путём дружественного, но постоянного давления. Надо, чтобы в этом участвовало как можно больше “авторитетных” людей: политиков, промышленников, художников, журналистов, литераторов, учёных... и пусть их усилия не ограничиваются одноразовыми манифестами – следует вновь и вновь настойчиво говорить об этом, писать, просить, требовать, выступать с коллегиальными поручительствами”.

В сущности – это целая программа действий для 5-й колонны, образовавшейся из “детей Арбата” и “ХХ съезда”.

И ещё одно обстоятельство выгодно отличает первую эмиграцию от третьей. Владислав Ходасевич, со своей “Европейской ночью”, стоит в одном ряду с Буниным, написавшим в эмиграции “Жизнь Арсеньева”, с Мариной Цветаевой, чья книга “Вёрсты” не уйдёт в забвение, так же как “Солнце мёртвых” и “Лето Господне” Ивана Шмелёва, так же как “Жизнь Клима Самгина” Максима Горького... Первая эмиграция в отличие от третьей сделала блестящий вклад в русскую литературу. И недаром, получив в подарок от Бориса Слуцкого машинописный сборник “Европейской ночи” и прочитав его, я назвал свою первую московскую книгу коротким и ёмким словом – “Звено”, которое взял у Ходасевича:

*Во мне конец, во мне начало,
мною совершенное так мало!
Но всё ж я прочное звено:
Мне это счастье дано...*

*В России новой, но великой
поставят идол мой двуликий
на перекрёстке двух дорог,
где время, ветер и песок.*

Париж 1928 г.

А прочитав “подарочное” издание “Европейской ночи”, сразу же запомнил и стихи о няне Елене Кузиной, и страшное стихотворение “Перед зеркалом”... И ещё вспоминаю о том, как летом 1960 года мы втроём – Анатолий Передреев, Владимир Дробышев и я – отправились на Николину гору, на дачу к поэту Николаю Асееву поблагодарить старика за предисловие к стихам Передреева, опубликованным в “Литературной газете”. На асеевской даче его жена – одна из трёх сестёр Синяковых, широко известных в литературной среде, напоила нас чаем, пару бутылок коньяка мы захватили с собой, язы-

ки у нас развязались, и я спросил Асеева — был ли он знаком с Ходасевичем и близок ли ему этот поэт. Асеев восторженно и почти закричал: — Да Вы что, молодой человек! Он же был человеконенавистником! Когда над его парижской мансардой пролетал самолёт, он, почти неподвижный, прикованный к постели, вздымал к небу руку и кричал: — Упади! Упади!

Да, человек таких страстей, вспоминая о няне-кормилице, мог бросить в лицо мачехе-родине: — Я высосал мучительное право тебя любить и проклинать тебя!.. Александр Межиров, конечно же, знал эти слова, когда писал в своей эмиграции, в доме для престарелых: “Можно родину возненавидеть — невозможно её разлюбить”. Но, увы, всё-таки разлюбил, и этому предшествовал целый ряд событий. . .

Ненастной зимней ночью 1988 года в Москве случилось несчастье, о котором один из второстепенных шестидесятников-демократов поэт Пётр Вегин в книге своих мемуаров “Опрокинутый Олимп” напишет подробно и правдиво:

“Юрий Гребенщиков, артист театра на Таганке, возвращался домой, отпраздновав вместе с коллегами и друзьями день рождения Высоцкого, который всегда отмечали в театре. Несколько раньше из того же театра уехал на своей машине один из известнейших и действительно замечательных поэтов, бывший в театре по тому же поводу. Оба они жили в одном районе. В Москве в ту ночь был сильнейший снегопад. Гребенщиков изрядно “принял” в театре и, как утверждали, после театра ещё где-то. Между Ленинградским проспектом и Красноармейской улицей, где находится сказочное строение знаменитого архитектора Казакова (его занимает Военная академия имени Жуковского), Юрия Гребенщикова сбила легковая машина. После удара она проехала несколько метров и остановилась. Из машины вышел человек в дорожной пушистой меховой шапке, вернулся к сбитому им Гребенщикову и, взяв его за ноги, оттащил в кусты. И уехал. Всё это видела в окно женщина, живущая в доме, расположенном напротив, которая в этот поздний час встала пописать. Она и позвонила в “Скорую помощь”, которая приехала, увы, с большим опозданием, сославшись на снегопад. По причине того же густого снегопада женщина не смогла рассмотреть номер машины. Всё это запроотоколировано в отделении милиции. Если бы Юрия Гребенщикова не отволокли за ноги в кусты, а сразу же, подхватив на руки и погрузив в машину, отвезли в больницу (Боткинская совсем рядом), он остался бы в живых. Если бы “Скорая помощь” не плутала под густым снегопадом и приехала через пять (как и надлежит ей) минут, а не через сорок пять, он остался бы в живых. Выживали и в худших ситуациях, особенно когда “под банкой”. Если бы. . .

Врачи боролись за жизнь Гребенщикова три месяца. Второго сентября 88 года (точность — по почтовому штемпелю) я получил письмо без обратного адреса. Как выяснилось позже, подобные письма получили ещё несколько поэтов. Вот оно, слово в слово:

“Пётр, восемь месяцев назад прямо под колёса машины, которой я управлял, шагнул человек, находившийся в состоянии тяжёлого опьянения. Через три месяца он умер. Я даже не видел его на проезжей части. Через долю мгновения после наезда у меня начался шок, беспомыслие, длившееся 5 суток. Мог ли я оказать помощь пострадавшему? И вот через 7 месяцев после этого я был подвергнут психиатрической экспертизе, которая, естественно, ничего не показала и показать через такой срок не могла. Восемь месяцев меня истязают грязными слухами. Я виноват перед людьми во многом, но только не в этой страшной беде. А. Межиров. VIII. 88”.

Прошедший всю войну, принявший первый обстрел на Пулковских высотах, то есть побывавший во всех фронтовых передрягах, закалка от которых остаётся на всю жизнь, виртуозный шофёр — и не заметил человека, который “шагнул прямо под колёса”?! Простите, а как же он тогда заметил, что человек сей находился “в состоянии тяжёлого опьянения”?! Любой, кто попадает в такой “шок, беспомыслие”, не способен контролировать время и знать, сколько дней длилось это состояние. А здесь точно — 5 дней! Милиция искала не только водителя, но и машину, описанную случайной очевидицей, по марке и по цвету. Когда следователи каким-то образом вышли на след Межирова, которого все эти дни “опекал” Евтушенко, его машины не было в гараже. Нигде не было. Не была ли она спрятана или разобрана на части? Я задаю вопрос — я не утверждаю.

Бесспорно, от алкоголя, принятого на вечере в честь Высоцкого пусть даже в самом минимальном количестве, за пять дней не останется и следа. А там и пятидневный “шок” прекратился. . .

Писать стихи, даже воистину прекрасные, вероятно легче, чем помочь сбитому машиной человеку. Речь даже не о вине слегка подогретого спиртным и романтически-восхищённого снегопадом водителя. Речь о том, что погиб актёр и двое его детей остались сиротами не из-за “наезда”, а из-за трусости. “В Москве не будет больше снега, не будет снега никогда. . .”

Спасибо Петру Вегину, работавшему тогда в московской писательской организации и написавшему правду об этом позорном несчастье.

А способствовавший сокрытию этого преступления Евгений Евтушенко, лучший ученик Александра Межирова, впоследствии изложит своё понимание происшедшего в таких косноязычных стихах:

*Так случилось когда-то, что он уродился евреем
в нашей издавна нежной к евреям стране,
не один черносотенец будущий был им неосторожно лелеем,
как в пелёнках, в страницах, где были погромы*

в набросках, вчерне.

*И когда с ним случилось несчастье, которое может случиться
с каждым, кто за рулём (упаси нас Господь!),
то московская чернь —*

*многомордая алчущая волчица —
истерзала клыками пробитую пулями Гитлера плоть.*

Да, такое может случиться с каждым. Но Е. Е. умолчал в своих стихах о том, что отвратительное и слабодушное поведение фронтовика, сбжавшего в Америку, было вскоре забыто, замолчано, без слов и всяческих судов прощено, скорее всего потому, что задавил не до смерти и оттащил в кусты несчастного актёра не кто-нибудь, а известный кумир либеральной Москвы, “свой человек” и для Любимова, и для всей театральной компашки, человек, о котором Евтушенко так закончил свой гимн на высокой ноте:

*А вы знаете, — он никогда не умрёт,
автор стихотворения “Коммунисты вперёд!”
Умирает политика. Не умирает поэзия, проза.
Вот что, а не политику, мы называем “Россия”, “народ”,
В переулочек Лебяжий вернётся когда-нибудь в бронзе из Бронкса
автор стихотворения “Коммунисты вперёд!”*

Конечно, такие стихи — умирают скоро (скорее всего на другой день после их сочинения). . . Бронкс — это местечко в американском Портленде, где жил и умер Александр Межиров, о котором Евгений Александрович, надо отдать ему должное, помнил всегда. Достаточно сказать, что в 2006 году в России усилиями Евтушенко была издана с его предисловием книга Межирова “Артиллерия бьёт по своим”. И Ольга Мильмарк вспоминает, как Евтушенко кричал со сцены: “Сегодня счастливейший день в моей жизни: у меня в руках новая книга моего учителя — поэта Межирова”. Приезжая в Москву, Е. Е., если его приезды совпадали с какими-то юбилеями Межирова, обязательно выступал на этих вечерах. В последний раз это было в 2013 году, в год 90-летия поэта. В Большом зале Центрального Дома литераторов, вмещающем 500 человек, собралось около 30 слушателей. На сцене же сидело человек десять писателей, среди которых был поэт Владимир Мощенко, человек близкий Межирову. Вечер вёл Евтушенко. В зале сидел библиардист и поэт Егор Митасов, бывший тоже приятелем Межирова, рядом с ним сидел мой сын Сергей. Владимир Мощенко во время своего выступления стал сетовать как, мол, мог Станислав Куняев, живший в одном доме с Межировым, ездивший с ним в Грузию, как мог написать такие несправедливые воспоминания о Межирове. Мой сын порывался было встать и что-то возразить оратору из зала, однако Егор Митасов взмолился и одёрнул Сергея — “мол, молчи, не подымай скандала!” Но когда вслед за Мощенко на трибуну вышел Евтушенко и чуть ли не закричал: — Я же помню, как Станислав Куняев пресмыкался

перед Межировым! — Сергей не выдержал, освободился из объятий Митасова, встал и крикнул на весь зал: **“Прекрати врать!”** — Митасова как ветром сдуло, Сергей тоже вышел вслед за ним, сопровождаемый грозными взглядами всматривавшегося из-под ладони в пустой тёмный зал Евгения Александровича, который не знал, что уже в середине 80-х годов после дискуссии “Классика и мы” и переписки Виктора Астафьева с Натаном Эйдельманом я написал А. Межирову в своём последнем письме: *“Вы за последние годы ничего не поняли и ничему не научились. Мне жаль моих книг, подаренных Вам. Я ошибся, говоря о том, что Вы любите русскую поэзию. Это не любовь, а скорее ревность или даже зависть. Не набивайтесь ко мне в учителя. Вы всегда в лучшем случае были лишь посредником и маркитантом, предлагающим свои услуги”*. После этого письма наши отношения прекратились.

* * *

Одновременно с Александром Межировым жил и писал стихи русский поэт Николай Тряпкин, происходивший из раскулаченной семьи, жившей в подмосковной деревне Лотошино. “Деревенщик”, “почвенник”, православный человек, исполнявший свои стихи, как молитвы, нараспев, поскольку с детства в результате душевной травмы он стал заикаться.

В начале 90-х годов Николай Тряпкин, для которого и “Новый Завет” и “Пятикнижие” были откровением свыше, написал, подражая древним иудейским пророкам, проклинавшим народ Израиля за его грехи, своё проклятье.

Проклятье

*И воспылал гнев Господа на народ Его,
И возгнулся Он наследием Своим...*

Псалтирь

*“Израиль мой! Тебе уже не святы
Моих писем горящие столбцы.
Да будешь ты испелён стократы!
Да станут пылью все твои дворцы!” —*

*Так возгремел Господь из жаркой тучи —
И гневный дых пронёсся над страной:
“Израиль мой! С твоих железных крючьев
Мой лучший сын свалился чуть живой.*

*Да будут прахом все твои алмазы!
Да будет так во все твои века:
Броней твоей — короста от проказы,
Вином твоим — струя из-под быка!*

*И скольких ты ограбил и замучил!
И скольких ты оставил сиротой!
Израиль мой! Пади с Сионской кручи!
Я сам тебя столкну своей пятой”.*

Александр Межиров, в то время уже собравшийся переехать вместе со всеми чадами и домочадцами в Новый Свет, прочитав тряпкинское “Проклятье”, вступил с крестьянским сыном в мировоззренческий спор, ответив ему небольшой поэмой “Позёмка” с посвящением “Николаю Тряпкину”. По сути, это было стихотворение прощания и с Россией, и с поэтом, которого Межиров ценил, но пророческие “антиперестроечные” стихи которого принять не мог.

*Извини, что беспокою,
Не подумай, что корю.
Просто, Коля, я с тобою
напоследок говорю.*

.....

*Вот и вышло, что некстати
мне попался тот журнал,
где прочёл твоё проклятье
и поэта не узнал.*

“Тот журнал”, в котором было напечатано “Проклятье”, назывался “Наш современник”. А почему не узнал? Да потому, что человеку, написавшему “Коммунисты, вперед!”, примерявшему на себя самые разные обличья — солдата, лежащего в Синявинских болотах, циркового мотогонщика по вертикальной стене, книжного славянофила, прочитавшего Аксакова и Константина Леонтьева, такому многоликому творцу было невозможно понять цельную натуру русского крестьянского человека. И в чём же этот разноликий игрок мог обвинить поэта Николая Тряпкина? А вот в чём. Межиров вспомнил довоенную историю о том, что Андрей Платонов перед войной попал в застольную компанию поэтов, и когда один из них вдруг сказал:

*Для затравки, для почина:
“Всё ж приятно, что меж нас
нет в застолье хоть сейчас
чужака и крещенина, —
тех, кто говорит крестом,
а глядишь — глядит пестом.”*

Якобы в ответ на это заявление “антисемита и охотнорядца” Андрей Платонов —

*К двери медленно пошёл.
А потом остановился.
И, помедлив у дверей,
медленно сказал коллегам:
“До свиданья. Я еврей”.
Воротить его хотели,
но истаял он в метели,
и не вышло ничего.
Сквозь погоду-непогоду
медленно ушёл к народу,
что не полон без него.*

Может, так оно и было. Но ответ Межирова Тряпкину из двух поэм — “По-зёмка” и “Бормотуха” жалок своей бытовой пошлостью, своим банальным осуждением мифических “охотнорядцев” и “лабазников” (“в Охотном оказались рядом”, “И не “преображенец”, а “лабазник” салоны политике обучал” и т. д.) Вся эта лексика словно бы взята Межировым напрокат у своего ученика Е. Евтушенко, который, как будто бы поддакивая Межирову и соревнуясь с учителем в газетной болтовне той эпохи, так напишет о стихах Тряпкина в антологии “Строфы века”:

“Одно время казалось, что он не больше, чем талантливый балалаечник <...> Однако в 1922 году А. Межиров написал горькое стихотворное послание Н. Тряпкину, усмотрев в одном из его последних стихотворений (“Проклятье”. — Ст. К.) не проявлявшийся у него ранее опасный душок национализма, переходящего в свои неприятные формы”.

Сама казённая стилистика Евтушенко в этом приговоре Тряпкину близка к стилю партийных идеологических проработок из передовиц “Правды”: “Усмотрев”, “опасный душок национализма” — да это словно цитата из печально знаменитого документа “Против антиисторизма”, сочинённого ныне справедливо забытым Александром Яковлевым. И это сказано о поэте, писавшем вот на каком духоподъёмном уровне...

Мать

*Когда Он был, распятый и оплёванный,
Уже воздет,
И над крестом горел исполосованный
Закатный свет, —*

*Народ притих и шёл к своим привалищам —
За клином клин,
А Он кричал с высокого распялица —
Почти один.
Никто не знал, что у того Подножия,
В грязи, в пыли,
Склонилась Мать, Родительница Божия, —
Свеча земли.*

*Кому повем тот полустон таинственный,
Кому повем?
“Прощаю всем, о Сыне Мой единственный,
Прощаю всем”.*

*А Он кричал, взывая к небу звездному —
К судьбе Своей,
И только Мать глотала кровь железную
С Его гвоздей...*

*Промчались дни, прошли тысячелетия,
В грязи, в пыли...
О Русь моя! Нетленное соцветие!
Свеча земли!*

*И тот же крест — поруганный, оплёванный.
И столько лет!
А над крестом горит исполосованный
Закатный свет.*

*Всё тот же крест... А ветерок порхающий —
Сюда, ко мне:
“Прости же всем, о Сыне Мой страдающий:
Они во тьме!”*

*Гляжу на крест... Да сгинь ты, тьма проклятая!
Умри, змея!..
О Русь моя! Не ты ли там — распятая?
О Русь моя!..*

*Она молчит, возревши к небу звездному
В страде своей.
И только сын глотает кровь железную
С её гвоздей.*

Ни Межирову, ни Евтушенко никогда не были доступны духовные высоты, на какие вознеслась в этом поистине библейском стихотворении душа поэта с простонародной фамилией “Тряпкин”, которого, снизойдя к нему, Е. Е. называл “талантливым балалаечником”. **“И только Мать глотала кровь железную с Его гвоздей”** — прочитав такое, отчего мороз проходит по коже, я вспомнил глумливые испражнения Андрея Вознесенского: **“Христос, ты доволен судьбою? — Христос: “Вполне! Только с гвоздями перебой!”**

Вспомнил и перекрестился: прости меня, Господи, за то, что цитирую богохульное словоблудие советско-американского плейбоя.

Как это ни горестно, но о такого рода стихах-молитвах, как “Мать” и “Проклятье”, начитанный лицедей Александр Петрович язвительно отозвался в поэме “Бормотуха”, обвинив Николая Тряпкина в желании **“Лишь только б разминуться с христианством и два тысячелетья зачеркнуть”**. Но “с христианством разминуться” и “зачеркнули два тысячелетья” не Тряпкин, в молодости обезздивший многие деревни русского “старообрядческого Севера”, а предводительница “детей Арбата” и шестидесятников Валерия Новодворская, которая не хуже Межирова и Тряпкина знала, что произошло в Иерусалиме две

тысячи лет тому назад, и которая, обнажая суть кровавой бойни, происшедшей 4 октября 1993 г. в Москве, заявила: **“Я не питаю ни малейшего уважения или приязни к русской православной церкви <...> такие, как я, вынудили президента на это решиться и сказали, как народ иудейский Пилату: кровь Его на нас и детях наших <...> Один парламент под названием Синедрион уже когда-то вынес вердикт, что лучше одному человеку погибнуть, чем погибнет весь народ”**.

Вот страшное и бесчеловечное оправдание кровопролитной трагедии, которую Межиров пытался свести к пошлой болтовне об “антисемитизме”, “охотничестве”...

Мне помнится, как однажды в начале 90-х годов мы с ним шли по Александровскому саду и остановились возле стелы, где были выбиты имена революционеров утопического социализма всех времён и народов, и он неожиданно серьёзно сказал мне: “Станислав! Неужели Вы не верите в то, что рано или поздно, но дело этих людей победит?..”

Если бы я тогда был насыщен знаниями, которыми владею сегодня, то ответил бы ему так: — *После этой победы нам, Александр Петрович, надо будет рядом с именами Кампанеллы, Сен-Симона, Фурье, Бакунина вырезать на камне имена Вашей тётушки Розалии Залкинд и Валерии Новодворской.*

Каждая из них способствовала такому революционному кровопролитию эпохи, которое не забывается. Духовный спор, в котором, как две силы на поле брани, сошлись сын русского крестьянства, православный воин с красивой простонародной, но древней и своей собственной фамилией и атеист, выходец из семьи европейских эмигрантов, хлынувших в Россию на переломе веков, носивший красивый псевдоним, — окончился на рубеже тысячелетий. Русский воин Николай Тряпкин, отпетый по православному обряду, похоронен на подмосковном Ракитском кладбище. Его противник, сбежавший с поля духовной брани, умер в далёкой Америке, и пепел его, перевезённый в урне из Бронкса, зарыт в переделкинской почве. Будут ли поколения, следующие за ними, продолжать их спор? Не знаю. Евтушенко, правда, пророчествовал, что *“В переулок Лебяжий вернётся когда-нибудь в бронзе из Бронкса автор стихотворения “Коммунисты, вперёд!”*. Но я не верю в такой исход, потому что видел, как этот автор, услышав команду “Коммунисты, вперёд!”, один раз уже сбежал с поля брани. Я помню, как в шестидесятых годах прошлого века в ресторане Центрального Дома литераторов постоянно пьянствовала шумная парочка: маленький — полтора метра с кепкой детский писатель Юрий Коринец, человек с бугристым смуглым лицом, ёжиком волос и стоящими торчком усиками, и громадный, похожий на бабелевского биндюжника, старый лагерник Юрий Домбровский... Терять им было нечего. Замечательный писатель Домбровский отсидел семнадцать лет, Коринец вырос в казахской ссылке, — и махнувшие рукой на всякие условности советской и литературной жизни друзья постоянно напивались и вели себя, как душе было угодно.

В узком проходе, соединяющем Пёстрый зал с Дубовым, величественно шествуют двое — впереди маленький Коринец с тарелкой, на которой закуска, а за ним, покачиваясь, мохнатый, словно снежный человек, с волосами чуть ли не до плеч, в расстёгнутой до брючного ремня рубашке, с двумя фужерами водки в обеих руках — Юрий Домбровский.

Навстречу им со стороны Дубового зала появляется трезвый Межиров. Завидев его, — благополучного, вылощенного поэта, официально названного надеждой советской поэзии в тех же самых статьях и докладах 1947 года, которые выбрасывали из литературной жизни Ахматову, и конечно же, презирав его, умного дельца и одного из влиятельнейших боссов переводческого клана, автора знаменитого стихотворения “Коммунисты, вперёд!” — два бесстрашных литературных бомжа, не сговариваясь, рывкнули в два пропитых гола: — Коммунисты! — Назад!

Александра Петровича как ветром сдуло. Он шарахнулся, а точнее шмыгнул куда-то за дощатую перегородку, отделявшую коридорчик от кухни, и застался в ожидании, пока отчаянная пара, забыв о нём, не усядется где-нибудь в Дубовом зале, к ужасу метрдотеля Антонины Ивановны...

Вот так на моих глазах разрушилась коммунистическая броня, чуть ли не полвека оберегавшая поэта и помогавшая ему и его чадам с домочадцами жить безбедно, пользоваться всеми благами советской жизни со всеми её

гонорарами, дачами, тиражами, банкетам, миллиардами, цирками и прочими причиндалами бытия.

Ну как тут было ему не задуматься о судьбах Лели и Зои, о будущем любимой внучки Ани, и конечно же пожалеть о том, что он поторопился, написав мне в письме: *“Я прожил жизнь и умру в России, на миру да в надежде и смерть красна”*. Написал вроде бы искренне, а может быть и ради красного словца, поди догадайся. А с некрасивой историей, случившейся в ресторане ЦДЛА, тоже неувязочка вышла: Юрий Домбровский, если верить слухам, был то ли из цыган, то ли из поляков, а Юрий Коринец оказался вообще чистым евреем, и объявить их “черносотенцами и охотнорядцами” было и смешно и невозможно.

* * *

Соучастниками самых тяжких преступлений нашей Гражданской войны в эпоху рассказывания рядом с Розалией Землячкой были венгерский коммунист Бела Кун и красный военачальник Иона Якир. По закону истории, гласящему, что “революция пожирает своих детей”, Якир был расстрелян в 1937 году, когда Сталин произнёс слова, ставшие чуть ли не пословицей — “сын за отца не отвечает”. А у Ионы Якира был сын Пётр. Вроде бы не отвечал он за своего отца, но сильнее, нежели сталинская пословица, оказалась истина ветхозаветной жизни, гласящая: “Кровь его на нас и на детях наших”. И ровесник Межирова Пётр Ионыч Якир побывал и в лагере, и в ссылке. Потом отвоевал часть жизни на фронте, закончил после войны истфак МГУ, но связался после XX съезда КПСС с диссидентами, был завербован Лубянской, выдал этому ведомству многих соратников-диссидентов, стал заливать свою совесть и грехи своего отца водкой, спился к пятидесяти годам и умер от алкоголизма.

... Когда на новейшую историю человечества наплывает первобытная стихия, в которой властвует богиня возмездия Немезида, то новейшая история погружается в такую “бормотуху” бытия, в такую “позёмку”, что даже в самых трезвых умах возникает мысль: “лучше было бы не родиться”.

Александр Межиров ощутил всю ненадёжность жизни в России, когда в конце восьмидесятых до него по сарафанному радио стали доходить провокационные слухи о готовящихся еврейских погромах. А тут некстати о его родной тётушке Ярослав Смеляков написал стихотворение “Жидовка”.

А тут ещё о таких же фуриях революции, как Землячка, Валентин Катаев сочинил повесть “Уже написан Вертер” — со сценами массовых расстрелов врагов революции именно в Крыму... Вот-вот и тайна его кровного родства с “демоном революции” будет раскрыта. Что делать? А если родня и потомки казаков из русской Вандеи и белых офицеров, уничтоженных по приказу его тётушки предъявят исторический счёт ему и его роду-племени? А если вспомнят “черносотенцы” его стихи:

*Я до баб не слишком падох,
Обхожусь без них вполне, —
Но сегодня Соня Радек,
Таша Смилга снятся мне.*

*Слава комиссарам красным,
Чей тернистый путь был прям...
Слава дочкам их прекрасным,
Их бессмертным дочерям.*

Кто же были эти “красные комиссары” Ивар Смилга и Карл Радек? В первую очередь идеологами и членами Интернационала, в котором его закалённые кадры — латыши и евреи, работавшие на “русском направлении”, играли чрезвычайно важную роль в расширении фронта мировой революции. Оба они вступили в РСДРП, а потом в партию большевиков в начале века. Оба прошли через горнило кровавой гражданской войны. Оба после победы революции вошли в состав Центрального комитета ВКП(б) и заняли высшие посты — один в Госплане СССР, а другой в Исполкоме Коминтерна. Оба

в 1927 году как активные троцкисты были сняты со своих постов и исключены из ВКП(б). Оба в 1929 году написали в ЦК ВКП(б) письмо, в котором заявили об идейном и организационном разрыве с троцкизмом. Оба в 1930 году были восстановлены в партии. Оба они — и Смилга и Радек в 1937 году были арестованы за участие в троцкистском заговоре. Смилга был вскоре расстрелян, а Радек, как пишет историк К. Залесский в книге “Империя Сталина” (“Вече”, 2000 г.), “На следствии дал согласие выступить с любыми разоблачениями и показаниями против кого угодно”. Он “стал центральной фигурой процесса <...> назвав при этом заговорщиками огромное количество партийных деятелей, в том числе и тех, кто ещё не был арестован. Большинство участников процесса были расстреляны. Радек, возможно “в благодарность за послушание”, был приговорён 30. I. 1937 года к 10-ти годам тюрьмы... В лагере был убит уголовниками”. Вот какой бесславной смертью закончилась жизнь пламенного революционера и международного авантюриста, разжигавшего революционный пламень в Австрии, Германии, Польше и, конечно же, в России. Не зря Александр Межиров восхитился его судьбой, его “тернистым путём”. Ошибся наш поэт лишь в одном — никакой “прямоты” в пути, пройденном Карлом Радеком, не было, путь его был извилистым и кровавым, похожим на путь Розалии Землячки, похороненной, однако, в отличие от Радека в Кремлёвской стене. Феликса Дзержинского и Янкеля Свердлова снесла людская волна в 90-х годах с околосмоленских площадей, не дай Бог и урну с тётушкиным прахом из Кремлёвской стены выдернут. Что тогда делать? И зачем он воспевал Радека, который писал о Сталине в 1934 году: “К статной, спокойной, как утёс, фигуре нашего вождя шли волны любви и доверия. Шли волны уверенности, что там, на мавзолее Ленина собрался штаб будущей, победоносной мировой революции”.

Вот каков был “красный комиссар”, чьи “прекрасные дочки”, с “бессмертными матерями” были женщинами образца крымской Розалии Землячки, или Евгении Бош, свирепствовавшей во время гражданской войны в Пензенской области, или знаменитой своей жестокостью следовательницы киевского ЧК по фамилии Ремовер, или Ревекки Пластининой-Майзель, жены архангельского чекиста Кедрова и одновременно сотрудницы местного ЧК... Да много их было, этих фурий революции, не перечислить всех.

И с чего бы столь осторожный и даже робкий по натуре поэт прочёл гимн в их честь? Может быть, роковая тайна их семьи о том, что он является кровным племянником Розалии Землячки, выплеснулась в его стихах неожиданно для него самого? Такое бывает у талантливых поэтов.

В 1960–1980 годах никто об этой семейной тайне ничего не знал, разве что самые близкие родные люди из семьи Залкиндов. Можно было жить спокойно. Но история страны в конце восьмидесятых стала меняться на глазах. Возникает страшное общество “Память”, по Москве ходят слухи о возможных еврейских погромах. Как гром среди ясного неба прогремело “дело Осташвили”. Какой-то сумасшедший антисемит в отместку за этого негодяя, убитого в тюрьме, ворвался в синагогу с ножом и ранил нескольких евреев... Если его отец всю жизнь со времён 1905 года помнил о шраме от удара казацкой нагайки, то нет ничего удивительного в том, что память о тысячах убиенных в Крыму вернётся к их сыновьям и внукам. Что тогда станет с ним, с его дочкой Зоей, с его внучкой Аней? Неужели русский мир погружается в первобытный хаос и начинает жить по обычаю “око за око”?

Что делать? Уезжать в эмиграцию, подобно тысячам казаков и офицеров, успевших эмигрировать в Турцию в роковом 20-м году.

Чадолубивый и хранящий в памяти историю всей своей родни Александр Петрович считал своим долгом увековечить и весь свой род в целом и многих родных по отдельности.

У него есть стихотворение “Разговор с отцом”, где сын признаётся отцу, что был неправ, споря с ним. У него есть трогательное стихотворение, посвящённое памяти матери:

*Это маленькое тело,
просветлённое насквозь,
отстрадало, отболело
в пепел переоблеклось.*

В поэме “Серпухов” Александр Петрович целую главу посвящает скульптору Эрнсту Неизвестному, который

“не даёт уснуть Москве, не даёт засохнуть глине”.

И с гордостью сообщает: по какой-то там из линий с Неизвестным мы в родстве.

Сказано загадочно, но всеведущая “Википедия” выяснила, что они двоюродные братья, то есть близкие родственники.

В стихотворении “Чернигов” Александр Петрович рассказывает о родственнике, устелившем соломой часть улицы возле своего дома, чтобы проезжающие мимо пролётки не грохотали колёсами о мостовую, тем самым мешая спать владельцу дома. Возможно, это был его дед по отцу, черниговский банкир эпохи нэпа, о чём вспоминает в своей книге “Не только о Евтушенко” въедливый биограф шестидесятников питерский журналист Владимир Соловьёв, живущий в Америке с 80-х годов, автор книг почти обо всех писателях из “малого народа”, переселившихся в Штаты:

“Одно время он играл русского патриота, и Кожин, Куняев, Глушкова признавали его единственным из кирзятников – не еврей... В Переделкине Евтушенко при мне пенял ему чуть ли не антисемитизмом <...>

Зато в Америке Межиров – еврей и рассказывает забавные истории про отца-банкира, но здешние знатоки-чистокровцы разоблачают его этимологически:

Какой он еврей, если фамилия от межи? <...> Наивные “знатоки-чистокровцы”! Так и не удалось им, по словам Соловьёва, выяснить, что фамилия Межирова лишь по отцу (отец взял себе псевдоним). А по матери – Залкинд”.

Но надо отдать должное Александру Петровичу: в последних его стихах и поэмах (“Бормотуха”, “Позёмка”, “Триптих”) живёт наряду со спекуляциями на антисемитские, охотничьи темы такое трепетное чувство, особенно за судьбу внучки Анны, что читаешь “Анна, друг мой, маленькое чудо” – и сердце сжимается:

*Я не хочу, чтобы она вернулась,
чтоб в этот смрад крошечный окунулась,
чтоб в эту милосердную страну
попала на гражданскую войну.*

Обо всех близких подумал Александр Петрович, обо всех родных написал, перед всеми коленами объяснился, лишь одну, может быть, самую роковую персону из своего рода не назвал, ни в стихах, ни в письмах, ни в разговорах, потому что знал – это “табу”. Потому что чувствовал, что в 1993 году “смрад крошечный” тянется в столицу со времён “гражданской войны” с Крымского полуострова.

И в этих обстоятельствах “от страха иудейска”, который охватил его в жуткую зимнюю ночь, когда он оттащил тело бедолаги артиста на обочину, он вместо того чтобы покаяться и за себя, и за свою демоническую тётушку, переводит стрелки истории на бутафорских злодеев – “охотничьих” и “черносотенцев”...

... Но и это всё – схоластика.

*Потому что по Москве
Уж разгуливает свастика
На казенном рукаве.
На двери, во тьме крошечной,
О шести углах звезда
Нарисована поспешно —
Не сотрется никогда...
Тёмная заходит злоба
За неоохотный ряд,*

*И кощунственно молчат
Президенты наши оба...*

Вот эта от первой до последней буквы фальшивая картина истории 90-х возмутила меня в его “Позёмке”. Я помню, кто и как “разгуливал” по Москве в те роковые дни. Помню, как, приходя на работу в журнал, мы находили на оконных стёклах первого этажа намалёванные масляной краской “свастики”, помню на входной двери слова “Белов – свинья!”. Помню разбитую вдребезги вывеску, гласящую, что здесь находится редакция журнала “Наш современник”. Помню, в конце концов, мерзостное антирусское “письмо 42-х” с требованием закрытия “фашистских” журналов и газет... Помню и то, что никакого “кощунственного” молчания со стороны “обоих президентов” не было. Со стороны “коммунистического расстриги” Ельцина был преступный приказ о расстреле народа, а со стороны ничтожного Горбачёва трусливое и предательское согласие с этим расстрелом. Ещё раз повторюсь: межировская фальшивка в “Позёмке” окончательно утвердила меня в том, что то ли от привычки к изощрённому лицедейству, то ли от страха он впал на старости лет в полную “бормотуху” бытия. Последним волевым усилием были его слова, которые он написал после посещения в 1990 году государства Израиль. Цитирую по воспоминаниям Ольги Мильмарк: “Разочарованный новыми репатриантами, не усмотрев в них сионистского настроения, он писал: “В стране, где когда-то люди по болотам с автоматами наперевес ползли по пояс в воде, борясь за высокие идеалы, сейчас стоят в очереди, чтобы захватить стакан кофе из бесплатного автомата”.

Впрочем, это откровенное разочарование в поведении своих соплеменников, съехавшихся на обетованную землю для создания своего государства, охватило не только его. Сочинитель стихов Игорь Губерман, выехав за границу во времена перестройки (1988 г.), публично отозвался похожим образом: “Знаете, в Израиле вдруг понял, что при ближайшем рассмотрении евреи не такие, какими их представляют по российской жизни. Нас жизнь в СССР заставляла быть умными, хитрыми, со сметкой, тут же выяснилось, что среди евреев огромное количество дураков. Я из-за этого порой впадал в растерянность. В Израиле дикое число идиотов! ... Это медицинский факт!” (“Комсомольская правда”, № 117, 26.06.98).

Несколько ранее писатель и переводчик, публицист Александр Этерман, в предисловии к книге Шломо Занда “Как и почему я перестал быть евреем”, выразил своё мнение по отношению к избранным: “Добравшись до Израиля в 1985 году, я, полагая, что до сих пор был гражданином второго сорта, страстно захотел попробовать себя в новой, первосортной роли – роли сверхчеловека, причастного к властному большинству. Попросту к “высшей расе”. Попробовал. И через несколько лет едва не задохнулся от ужаса и стыда. Не только и не столько увидев собственными глазами, что делает сегрегация с населением второго и третьего “сортов” – это отвратительно, но тривиально, сколько уразумев, увы, с опозданием, сколь эффективно и необратимо разрушает она души, тела и социум представителей “высшей расы” (“Как и почему я перестал быть евреем / Ш. ЗАНД.; пер. с иврита А. Этермана. – М.: Эксмо, 2013, стр. 31).

Может быть, и это горестное открытие перемен, происходящих с его соплеменниками на земле обетованной, удручило его настолько, что его духовная энергия, помогавшая ему быть и сталинистом, и русским патриотом, и убеждённым эмигрантом, в Иерусалиме вконец покинула Александра Петровича, иссякла, превратилась в облачко, поднявшееся над раскалёнными плитами Стены Плача.

*Стену Плача
обнять не могу,
даже и прислониться
К ней лицом
на одно, на единственное мгновенье,
Даже просто войти
в раскалённую тень
от её охлаждающей тени.*

А последние сакральные слова, сквозь слёзы произнесённые им у подножья этой раскалённой стены, вышли неожиданно беспомощно правдивыми:

*В переулке крутом
к синагоге отверг приобщенье,
В белокаменном храме Христа
над рекой в воскресенье, —
отвергнул крещение, —
Доморощенна вера твоя
и кустарны каноны,
Необрезанный и некрещённый.*

На этих последних словах с воспоминанием о московской Синагоге и о Храме Христа Спасителя остановилось всё — поэзия, жизнь и духовная распря, которую проиграл поэт с красивым псевдонимом “Межиров” поэту с некрасивой, но естественной и собственной фамилией “Тряпкин”. Да, проиграл. А ведь игроком он был незаурядным.

Возможно, что, подражая своему наставнику, Евгений Евтушенко незадолго до смерти тоже посетил Израиль, чтобы попрощаться с народом, чтившим его за стихотворение “Бабий Яр”. Но поскольку Евтушенко утверждал, что “еврейской крови нет в крови моей”, он не пополз к Стене Плача, а сфотографировался на прощанье со своими поклонниками, одевшись в израильскую военную форму с автоматом в руках, грозно глядящим в сторону Газы, самого большого концлагеря в мире, перенаселённого несчастными палестинцами, изгнанными силой оружия и террором со своих земель.

* * *

Кроме тайны о кровном родстве с Розалией Землячкой Александр Петрович мог унести в могилу и ещё одну тайну, и лишь его религиозно-мировоззренческий спор с Николаем Тряпкиным не позволил ему вырвать эту страницу из жизни. Ища оправдание своей эмиграции, Межиров вспоминает в поэме “Позёмка” (после сцены, в которой Андрей Платонов со словами “до свидания — я еврей” уходит из антисемитского застолья) какой-то таинственный арест, которому он был подвергнут в сороковые годы.

*В угол каменной стены
Славной родины сыны,
Опыт выказав немалый
(Суперпрофессионалы),
Трижды бросили меня.
И крошечных трое суток,
Сразу потеряв рассудок,
Пролежал в застенке я.*

Александр Петрович задним числом посыпает голову пеплом, что он смелодушничал и, в отличие от Платонова, покинувшего компанию черносотенцев, не решился порвать с этой уголовно-антисемитской родиной, не ушёл, хлопнув дверью, как Андрей Платонов. И потому всю вторую половину жизни остался мучиться и страдать. За что? “А за то, что не ушёл”, “И за то, что этот случай в памяти не уберёт”. А какой это случай? — может быть, постыдный, которым ни хвастать, ни гордиться нельзя?

*Был я молод, как-то выжил,
Кое-как на волю вышел,
Но на воле воли нет...
И уж если был впервые
Недобит в Сороковые,
То теперь, на склоне лет,
И заточку, и кастет*

*Надо к этому прибавить,
Чтобы опыт углубить,
Надо все-таки добить,
Чтобы родину прославить.*

Что произошло с ним тогда в те сороковые? Неизвестно. Он промолчал. Но тому, кто прочитал “Позёмку”, становится ясным, почему умирать Александр Петрович уехал в Америку... Испугался этой родины на старости лет... Но зачем после первого урока, преподанного ему “суперпрофессионалами” в сороковые годы, он прославлял эту ненавистную родину, её людей, её победы, восхвалял её вождя Сталина, кричал “коммунисты, вперёд”, рыдал, провожая Иосифа Виссарионовича в последний путь? Зачем написал поэму “Солдаты Сталина”? Зачем? Кто тебя заставлял? Тут уж, как говорится, не родину обвинять надо, а самого себя, читать вслух стихи Заболоцкого: “нет на свете печальней измены, чем измена себе самому”, выступить где-нибудь на писательском съезде и заклеить преступления своей тётушки и подобных ей, неустанно повышавших своими деяниями градус ненависти, от которой Андрей Платонов выбежал на улицу...

* * *

Последние стихи Межирова — были написаны в середине 90-х годов и опубликованы в сборнике “Свет двуединый”, изданном с подзаголовком: “Евреи и Россия в современной поэзии”.

*Пускай другого рода я
И племени иного, —
Но вы напрасно у меня
Конфисковали слово.*

Горько читать эти откровения о “Другом роде-племени” после того, как ты поверил поэту, сказавшему ранее:

*Был русским плоть от плоти
По мыслям, по словам,
Когда стихи прочтёте —
Понятней станет вам.*

Ну вот мы прочитали стихи из “Триптиха” и поняли, что первую половину жизни поэт может быть одного рода-племени, а во вторую половину каким-то чудом переродиться в другой род и в другое племя. Но мало того.

*Где-то в сороковые впервые
Мне указано было на дверь,
Стыдно, что не покинул Россию.
И уже не покину теперь.*

Составители и редакторы книги “Свет двуединый” Михаил Грозовский и Евгений Витковский поверили Александру Петровичу, что он “уже не покинет Россию”, и я получил от него в те годы письмо, где было клятвенно сказано: “Я прожил жизнь и умру в России”. И что же в итоге? Ну невольню обманул меня — так это естественно в наше время! К тому же я — русский гой. Но обманывать своих соплеменников Грозовского и Витковского? Этого я от Александра Пейсаховича не ожидал. За это ведь его любой раввин и любой секретарь партийной организации осудили бы и призвали бы покаяться.

Но поэт не кается, а обвиняет эпоху.

*Получилось — виноваты
Иудеи — супостаты,
На которых нет креста
В том, что взорван храм Христа*

.....
*Раскрестьянили деревню,
Расказачили Кубань.
И в подвале на Урале
Государь со всей семьёй
Получилось, — мной расстрелян,
Получилось — только мной.*

(Из “Позёмки”, посвящённой Николаю Тряпкину)

Пошлым и затасканным приёмом доведения мыслей своего противника в споре до абсурда Александр Межиров пытается обесценить его аргументы и взгляды. В ответ же он может получить проще простого: — *Нет, не вы, Александр Петрович, расстреляли “Государя императора со всей семьёй”, а мещетчковый революционер Янкель Юровский со своими поделельниками Шайей Голщёкинским и Лазарем Пинхусовичем Войковым.* Команду “расстрелять” дал из Москвы Яков Свердлов, в числе расстрельной команды были пленные мадьяры с фамилиями Эдельштейн, Гринфельд и Фишер... Утешу Александра Петровича тем, что рядом с “мадьярами” расстреливали Романовых и двое русских — некто Ермаков и ещё один негодяй, фамилию которого я забыл. “Раскрестьянили деревню”... Да, но в этом Межиров ни на йоту не виноват. Нарком сельского хозяйства в годы раскулачивания был некто Яковлев, он же Эпштейн... “Расказачили Кубань” — ну об этом исполинском плане, составленном Л. Троцким, Александру Петровичу подробно могла рассказать его родная тётушка Розалия Землячка.

А что касается взорванного “иудеями супостатами”, как пишет сам Межиров, “Храма Христа Спасителя”, то, конечно, его взорвали специалисты неизвестной национальности и его обломки убирались чернорабочими русскими и татарами, но проспект Дворца Советов на месте храма подробно был разработан знаменитым архитектором тех времён Борисом Иофаном, верю, что он был не “иудеем”, а скорее всего фанатичным безбожником и так же, как Александр Петрович, честным коммунистом.

А “Позёмка” метёт и метёт по русской земле, но следы содеянного не застреваются, не исчезают, они терзают душу...

*Получилось, что некстати
Мне попался тот журнал,
Где прочёл твоё “Проклятьё”
И поэта не узнал.*

*Или, может быть, оплошка
Эта белая обложка,
Под которой только тьма
Чёрная и вопль “Проклятья”
Против иноверца-тата,
Строки твоего письма.*

Я помню это стихотворение “Проклятьё” Николая Тряпкина. Помню, как мы поменяли жёлтую обложку на белую, как я искал для журнала эмблему, которая соединила бы восьмидесятые годы двадцатого века с веками минувшими — с некрасовским “Современником”, с пушкинским, с более ранними временами, вплоть до смутных, когда Россия отбивалась от польско-литовско-шведской Антанты, направляемой Ватиканом, когда у меня в голове вдруг вспыхнули слова “Минин и Пожарский”. Помню, как мы собирали этот номер с белой обложкой, на которой стоял оттиск великого памятника, изваянного Мартосом, и в котором было стихотворение “Проклятьё” и остальное содержание, ошеломившее Межирова: “Эта белая обложка, под которой только тьма чёрная”...

Спустя тридцать лет я отыскал этот номер, чтобы убедиться, какой “чёрной тьмой” он преисполнен:

Перечисляю. В шестом номере “Нашего современника” за 1991 год, где напечатано стихотворение Н. Тряпкина “Проклятьё”, столь возмущившее по-

эта, был опубликован роман писателя первой русской эмиграции “Неугасимая лампада” о Соловецком лагере, которым руководили Глеб Бокий и где бесчинствовали Натан Френкель с Дерибасом. Там же были размышления Вадима Кожинова “Об эпохе Святой Ольги”, главы из книги философа Ивана Ильина “Поющее сердце” о нравственных основах христианско-православной этики. А на обложке анонсировались публикации Дм. Балашова “Похвалы Сергию” (о Сергии Радонежском), воспоминания священника Дмитрия Дудко, очерк Льва Гумилёва “Князь Святослав Игоревич”. И всё это было под белой обложкой с памятником Минину и Пожарскому. Обо всём этом поэт выразился так: “Эта белая обложка, под которой тьма и тьма”. А может быть, пытаюсь выжать из себя благодатные слёзы среди раскалённых от беспощадного солнца камней Стены Плача, он всё-таки, увидев “полунищего алима”, вспомнил “калеку”, спящего “на паперти холодной” в Троице-Сергиевой Лавре, вспомнил промёрзшие окопы под Колпино, вспомнил нечто сказанное и не поддающееся забвению:

“Я жил в морозной пыли, закутанный в снега”, “Вот и покончено со снегом, с московским снегом голубым”...

“О смерти Межирова, — как пишет в своих воспоминаниях его племянница Ольга Мильмарк, — по русскоязычному израильскому радио сообщили раньше, чем в Москве и Нью-Йорке”.

ЕЛЕНА ЛАРИНА, ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ

РЕАЛЬНОСТЬ БИОГЕНЕТИЧЕСКИХ ВОЙН

120 лет назад в Гааге по инициативе России прошла первая в истории мирная конференция. Её главной задачей была выработка условий, открывающих дорогу к вечному миру. Однако уже на конференции выяснилось, что большинство государств, в том числе тогдашние империи – Великобритания, Германия, Австро-Венгрия, Франция и Османская империя – оказались не готовы к такой радикальной инициативе. Конференция закончилась паллиативными решениями: принятием трёх конвенций: “О мирном решении международных столкновений”, “О законах и обычаях сухопутной войны” и “О морской войне”. Кроме того, на конференции были приняты три декларации, запрещающие военное использование наиболее смертоносных вооружений того времени, включая снаряды, взрывчатые вещества, разрывные пули и химическое оружие.

Последующая история показала, что человечество не готово к вечному миру. Более того, все ведущие страны в мирный период разрабатывают все доступные виды вооружений для того, чтобы использовать их с тем или иным размахом в военное время. В XX веке неоднократно было использовано химическое оружие, включая удушающие газы, как на фронтах Первой мировой войны, так и против крестьян Тамбовской губернии в годы гражданской войны. Американцы сбрасывали атомные бомбы. Они же вместе с французами заливали напалмом леса в Юго-Восточной Азии, сжигая не только людей и инфраструктуру, но и сотни тысяч животных, птиц и т. п. Разрывные пули используются практически всеми странами мира. Они стали одним из главных источников смерти в Великой Африканской войне конца XX – начала XXI веков, в которой погибло более 5 млн человек.

Наша эпоха наглядно доказала, что, несмотря на запреты и ограничения, любая новая технология, базирующаяся на сделанных открытиях, будет доведена до своего практического применения, и это применение повсеместно имеет гражданский, военный и криминальный характер. Биотехнологии, включая, в первую очередь, генную инженерию, геномное редактирование и синтетическую биологию, в последние 20 лет пережили подлинную революцию и сегодня полностью готовы к практическому использованию. Не стоит прятать голову в песок и полагать, что биогенное оружие получит меньшее распространение, чем не только ядерные, но и кибервооружения, и не окажется в руках авантюристов, экстремистов, криминала и террористов. Поэтому важно преодолеть свойственное глобальным медиа замалчивание возможностей, рисков и угроз биотехнологий, генной инженерии и синтетической биологии, по возможности разобраться, с чем на этот раз столкнулось человечество

и наша страна, в частности. И опережающим образом разработать ответные меры. В нынешнем мире, как показала новейшая история, есть только одно надёжное равновесие – это равновесие страха.

До последнего времени наиболее популярными аббревиатурами в сфере технологий были STEM, AI, IT. Несколько лет назад в одном из выступлений гургу биотехнологий Дж. Метцля была впервые использована аббревиатура BEGEN для описания биотехнологического пакета. Аббревиатура расшифровывается как синтетическая биология, геновая инженерия, евгеника, нейронаука.

В отличие от IT-, AI- и интернет-технологий, технологическому пакету BEGEN уделяется крайне мало времени при обсуждении главных проблем современности на заседаниях мировых лидеров, встречах руководителей и собственников крупнейших корпораций и на международных конференциях, к которым приковано внимание мировой общественности.

Для этого имеется несколько причин. Пока же отметим, что прилагательное Деер (глубинные) используется неслучайно и не является данью моде. Деер на основные, используемые для международного общения языки переводится многозначно и является своего рода термином-облаком. Глубинный – это одновременно скрытый, тайный, загадочный, неизвестный, непонятный, избегающий наблюдения и т. п. Все эти свойства как нельзя лучше характеризуют рассматриваемый технологический пакет.

Причины недостаточной публичности обсуждения BEGEN

Существует, по меньшей мере, пять причин, почему технологическому пакету BEGEN уделяется на порядки меньшее внимание, чем IT и AI. Это притом, что как созидательный, так и разрушительный потенциал BEGEN значительно превосходит потенциал хорошо известных и повсеместно обсуждаемых IT- и AI-технологий.

Причина первая – экономическая. BEGEN – это огромный, высокомонополизированный бизнес. В XXI веке BEGEN с каждым годом всё более активно пронизывает здравоохранение, особенно в развитых странах. На разработках BEGEN существует сегодняшний современный высокомонополизированный рынок Большой Фармы.

Что касается рынка здравоохранения, то он характеризуется следующими цифрами. По прогнозам, в период с 2017 по 2022 годы общемировой объём расходов на здравоохранение вырастет с 7,724 до 10,059 трлн долларов США, увеличиваясь на 5,4% ежегодно. Персонализированная медицина, распространение и развитие технологий, появление конкурентов из сферы инноваций, а также из других отраслей, рост спроса на альтернативные варианты медицинского обслуживания и совершенствование моделей оплаты услуг – факторы, оказывающие влияние на финансовые результаты организаций, которые образуют экосистему здравоохранения. Как следствие, на рынке внедряются технологические решения, проводятся слияния и поглощения, развиваются партнёрские связи лишь в той мере, в какой всё это контролируется ведущими транснациональными фармацевтическими компаниями и госпитальными сетями.

Более 2 трлн долларов стоят в настоящее время 7 ведущих фармацевтических компаний. Совокупная прибыль 10 ведущих фармацевтических компаний в 2018 году составила почти полмиллиарда долларов. Первые 25 гигантских фармацевтических компаний, на которые приходится более 70% оборота рынка биотехнологий, включают в себя 12 американских компаний, 3 немецких, по 2 швейцарских и британских и по 1 французской, японской, израильской, датской, ирландской и голландской компании.

Биотехнологии чем дальше, тем больше требуют расходования гигантских средств на разработки, на доклинические и клинические испытания лекарств, медицинских технологий и генов модификаций. Поэтому фармакология и биотехнология в целом – это одна из наиболее капиталоемких отраслей производства.

В отличие от подавляющего большинства других экономических сфер, в фармакологии наряду с изготовителями оригинальных, прошедших полный цикл клинических испытаний и выпускаемых на предпринятиях со строгим контролем технологий и сырья лекарств существует огромный и увеличивающийся с каждым годом сектор производства и оборота дженериков. В основном он сосредоточен в Китае, Индии и странах Восточной Европы.

Лекарства-дженерики, хотя и используют формулы оригинальных лекарств, в силу исходного материала, качества оборудования и технического контроля в подавляющей своей части имеют существенно меньшую эффективность, чем оригинальные лекарства. Кроме того, в принципе в дженерики могут быть добавлены оригинальные компоненты, решающие иные, нелекарственные задачи, например, способствующие привыканию к определённым веществам.

На примере фармацевтических биотехнологий наглядно видно, что технологический прогресс в настоящее время стремительно усугубляет неравенство не только по доходам, но и по всей совокупности условий, определяющих человеческую жизнь. Сформировавшаяся в 50–60-е годы прошлого века единая медицинская система в развитых странах мира полностью уничтожена. Не только развивающиеся страны, но и Северная Америка, и Европа живут в мире двух медцилин: медицины для богатых и для остальной части населения. Если в Северной и Центральной Европе уровень фармацевтического и медицинского обслуживания среднего класса остаётся высоким, то в Соединённых Штатах, ряде стран ЕС, на всём постсоветском пространстве высокотехнологические решения в сфере BEGEN являются прерогативой только богатых и очень богатых. Как показали исследования голландских и канадских университетов, дженерики могут быть использованы и в деструктивных целях, например, для существенного понижения иммунитета тех, кто принимает эти лекарства. Именно по этой причине фармацевтическая безопасность уже стала одним из главных компонентов национальной безопасности.

Причина вторая – технологическая. Генная инженерия и синтетическая биология имеют парадоксальные свойства. Они, как правило, на начальной стадии фундаментальных исследований требуют огромных капиталовложений. Однако после технологического освоения того или иного метода генной инженерии и синтетической биологии ситуация кардинальным образом меняется. Наиболее популярные в настоящее время технологии генной инженерии предполагают наличие оборудования и исходных материалов стоимостью не в миллионы и даже не в сотни тысяч, а в тысячи долларов. В этих условиях ведущие разработчики методов генной инженерии и синтетической биологии и биоинформатики стремятся как можно больше и плотнее засекречивать свои разработки и открытия. После их публикации в научных журналах и размещения оборудования в шоу-румах и на выставках практически любая биотехнологическая группа оказывается способной быстро и дёшево повторить достижение первопроходцев.

Львиная доля достижений современной биотехнологии и, прежде всего, в области генной инженерии приходится лишь на две страны – Соединённые Штаты и Китай. В отличие, например, от IT, AI и робототехники, значительную часть расходов на базовые исследования несут научные подразделения Пентагона, американского разведывательного сообщества и Научный фонд США, предоставляющие гранты как стартапам, так и ведущим университетам. Что же касается Китая, то здесь государственное финансирование составляет абсолютно преобладающую долю расходов на прорывные биотехнологии, генную инженерия и синтетическую биологию.

Третья причина – когнитивная. Как уже отмечалось, для подавляющей части не только населения, топ-менеджеров и предпринимателей, но и лиц, принимающих политические решения, BEGEN остаётся непонятным, окружённым слухами и мифами технологическим пакетом.

В отличие от IT и робототехники, с которыми население постоянно и осмысленно сталкивается, использование BEGEN носит скрытый характер. Даже там, где население сталкивается с результатами действия биотехнологий, например, в сфере ГМО сельскохозяйственных культур и животных, сами компании-производители и медиа стараются насколько возможно скрывать это обстоятельство.

В силу недостаточного уровня фундаментальных знаний вообще и биологических, в особенности, как лица, принимающие решения, так и население стремятся не вдаваться в обсуждение вопросов, связанных с разработкой и использованием BEGEN, стремятся отгородиться от обсуждения рисков и угроз от биотехнологий в широком смысле слова.

Если для населения – это не нужное ущемление, то для руководителей – сфера, где может проявиться их некомпетентность, а соответственно уязвимость в принятии жизненно важных политических решений.

Поэтому по всему миру всё более развивается опасная тенденция – передоверить вопросы развития и применения BEGEN биологам, геномным инженерам, биоинформатикам и т. п. в качестве советников и консультантов, полностью формирующих мнение правительственных чиновников. Сегодня с уверенностью можно утверждать, что для высокотехнологических стран тема сплошного биотехнологического образования является одной из наиболее настоятельных задач в области образования.

Причина четвёртая – политико-оборонная. Со второй половины 80-х годов прошлого века наиболее проницательные военные мыслители по обе стороны Атлантики пришли к выводу, что в условиях запрета химического и бактериологического оружия на повестку дня встала тема, как минимум, ограничения биотехнологических разработок, особенно связанных с изменением генома человека, а также созданием в рамках синтетической биологии принципиально новых фрагментов человеческого генома, не существовавших ранее, на основе их синтеза из живого материала.

У журналистов-расследователей и лиц, выражающих мнение разведывательных структур, есть подозрения, что целый ряд стран фактически, в основном без формального разрешения развернули работы по военному использованию достижений BEGEN. Эта тема всемерно табуируется практически во всех ведущих странах мира. Табуирование реализуется не только через замалчивание, но и через намеренное замусоривание информационного пространства нелепыми публикациями вроде рассказов о встречах путешественников с человеко-обезьяной, полученной методом геной инженерии в Южной Азии, Сибири и даже в Калифорнии. Такого рода замусоривание порождает не только дезориентацию, но и пренебрежительное отношение населения к действительно важным новостям о геной инженерии и синтетической биологии, сигнализирующим о появлении значительных рисков и серьёзных угроз устойчивости обществ.

Наконец, пятая причина имеет исторический характер. Важная составляющая технологического пакета BEGEN – это евгеника. В конце XIX – начале XX веков евгеника или улучшение характеристик населения осуществлялась за счёт искусственной селекции, а также принудительной стерилизации представителей отдельных групп населения. В XXI веке задачи евгеники имеются в виду решать на основе так называемого дестабилизирующего искусственного отбора и геной инженерии с элементами синтетической биологии.

Генная инженерия, CRISPR, TALEN и новая медицина

“Через 20 лет химиотерапия уйдёт в прошлое, – уверен глава Wellcome Trust Sanger Institute, профессор Джереми Фарпер. – Мы будем оглядываться на сегодняшние методы лечения рака и ужасаться им. Равно как сегодня ужасаемся примерам лечения электричеством в начале прошлого века. Генетика – главное подспорье медицины в будущем. Редкие врождённые пороки, рак и даже инфекции мы будем лечить, используя геномную терапию”.

Если нынешняя IT-революция в основном связана с программно-аппаратным освоением математических, конструкторских и материаловедческих достижений 60–70-х годов прошлого века, то в геной инженерии сложилась принципиально иная картина.

Решающие прорывы произошли в последнее десятилетие. Темпы динамики прикладной геной инженерии таковы, что лечебные методы на основе геномики массово внедряются, не дожидаясь полной разгадки функционала генома человека. Технологический прорыв геной инженерии связан с тремя этапными событиями.

Во-первых, после реализации сравнимого по масштабам с Манхэттенским проектом проекта “Геном человека”, выдвинутого Дж. Бушем-младшим, все идёт к тому, что до 2025 года население всех развитых стран мира будет иметь генетические паспорта с полными характеристиками личного генома.

Во-вторых, в 2013 году до технологического уровня было доведено открытие 1987 года инструмента редактирования генома CRISPR.

В-третьих, в 2015 году до производственного уровня была доведена технология TALEN. Если CRISPR позволяет редактировать геном, то TALEN даёт возможность вводить на место удалённого фрагмента “генетическую заплатку” (генетический материал под замену). Генетические заплатки доставляются

в клетку в виде генно-инженерных конструкций, с которыми уже внутри живой клетки нарабатываются соответствующие РНК, белки и формируется новый ген или фрагмент гена.

Главное достоинство CRISPR и TALEN в их достаточно высокой точности, совместимости с любым живым организмом и растением и дешевизне. Если на заре генной инженерии секвенирование генома стоило несколько миллионов долларов, то в настоящее время редактирование генов обходится примерно в 100 долларов и занимает несколько часов.

Уже сегодня очевидно, что в 20-е годы нынешнего века генная инженерия произведёт гораздо больший переворот в реальной производственно-хозяйственной деятельности людей, чем IT-революция. Генетическая инженерия, в том числе редактирование генома, позволит:

- сделать сельскохозяйственные культуры гораздо более питательными, вкусными, устойчивыми к погодным условиям и болезням. В конечном счёте, место ГМО займут генетически отредактированные (ГР) культуры и организмы;

- приступить к лечению так называемых одногенных редких заболеваний. Большинство заболеваний затрагивает несколько генов и сегодня ещё не может быть вылечено при помощи генного редактирования. Это задача 20-х годов текущего века. Однако уже сегодня генное редактирование с использованием CRISPR позволяет справиться с редчайшими заболеваниями, которыми в совокупности болеет примерно 1% американцев, то есть осуществить так называемый генетический драйв. Генетический драйв – это изменение не просто генотипа одного животного или растения, но генотипа целого вида. Обычно любой организм передаёт потомству примерно половину своих генов. Однако использование технологий генного редактирования позволяет повысить вероятность передачи нужных генов по наследству почти до 100%, а ненужных – снижать почти до нуля;

- дополнить традиционные методы химиотерапии и хирургии геномной или генной терапией. С 1995 по 2019 год в мире проведено более 2,5 тысячи клинических исследований генно-терапевтических аппаратов. По состоянию на начало 2020 года, прежде всего, в Соединённых Штатах, Великобритании, Японии, странах ЕС из фазы испытаний в область повседневного практического применения перешли препараты и технологии, позволяющие успешно бороться с 50 генетически детерминированными заболеваниями человека.

Наибольшие успехи достигнуты в стабилизации состояния больных, ремиссии, а в отдельных случаях и излечении таких заболеваний, как комбинированный иммунодефицит, гемофилия, гемоглобинопатия, кистозный фиброз, ахроматопсия, амавроз Лебера, эпилепсия, остеоартрит, герпес, болезнь Паркинсона и некоторые виды онкологических заболеваний, в том числе молочной железы.

В целом современные методы генной инженерии позволяют эффективно и точно воздействовать на ДНК с целью исправления возникших мутаций. Это открывает широкие возможности их использования в исправлении нарушений, влекущих за собой опухолеобразование.

В классической интерпретации репрогенетика предполагает отбор человеческих эмбрионов с определёнными свойствами из получаемых “естественных” вариантов. Однако технология редактирования генома позволяет расширить возможности подхода за счёт создания вариантов генома эмбриона, невозможных для данной пары родителей. При этом возникает множество вопросов этического свойства, которые человечеству ещё предстоит решить.

Рынок биоинформатики и генной инженерии является наиболее динамичным сектором глобальной производственной экономики. Если в 2010 году он не превышал 200 млрд долларов, то в 2020-м превысит 1 трлн долларов в год. Несомненными лидерами на современном рынке генной инженерии с использованием CRISPR являются три страны: Соединённые Штаты, Китай и Япония.

Например, по патентам, выданным на изобретения, связанные с генной инженерией и CRISPR, на компании США в конце 2018 года приходилось 872 заявки, на Китай – 858, на Японию – менее 70. Также по 2018 году подведена статистика публикаций в области генной инженерии, в том числе с использованием CRISPR, имеющих высокий уровень цитирования. На Соединённые Штаты приходится 898 публикаций, на Китай – 824, на Японию – 228, на Германию – 197, на Великобританию – 112, на Россию – 18.

Синтетическая биология без мифов и предубеждений

Степень искажения реального положения дел в синтетической биологии, допускаемая не только общедоступными медиа, но и специализированными нон-фикшн изданиями, ещё выше, чем в геномной инженерии. Не только среди неискушённой публики, да даже и среди правительственных чиновников и военных бытует мнение, что синтетическим биологам удалось создать искусственную жизнь. Эта нелепица проистекает из названия дисциплины – синтетическая, то есть искусственная биология. Современные высокотехнологичные направления вообще чреваты вводящими в заблуждение фразеологией и названиями. Синтетическая биология в этом плане сродни искусственному интеллекту. Ни одно, ни другое не имеет никакого отношения к реальности.

Ещё одно распространённое заблуждение заключается во мнении, что синтетические биологи программируют жизнь и вставляют в ДНК фрагменты написанного на компьютере программного кода. Наконец, некоторые, в том числе сами синтетические биологи полагают, что их дисциплина является практическим приложением биоинформатики, то есть использованием программно-алгоритмического подхода к созданию жизни.

Синтетическая биология, – пожалуй, самое молодое и стремительно развивающееся направление биотехнологий. Оно берёт своё начало в работе команды одного из наиболее известных геномных инженеров Крейга Вентера, осуществленной в 2010 году. Им удалось создать копию бактерий крупного рогатого скота *Mycoplasma mycoides*.

Понять несведущему в биохимии, биофизике и биотехнологиях принципы синтетической биологии практически невозможно. При этом важно понимать принципиальное различие между геномной инженерией и её конкретным разделом – синтетической биологией. Геномные инженеры в основном занимаются биологической комбинаторикой. Они ищут различные варианты модификации существующих организмов, макромолекул и других биологических объектов за счёт изменения их характеристик, путём комбинирования различных существующих в природе генов.

Синтетические биологи конструируют не существовавшие никогда в природе биоконструкции и вставляют их в живые клетки, гены и т. п., наделяя их принципиально новыми возможностями и свойствами.

Колоссального успеха добилась команда Вентера в 2016 году. Ей удалось, используя синтетическую биологию, создать 473-элементный геном бактерии. Как удалось выяснить к настоящему времени, это минимально возможный геном, включающий только гены, необходимые для жизни. Значение этого генома в том, что теперь он используется различными группами синтетических биологов как биологическая основа создания не существующих в природе биоконструкций. Это своего рода минимальная живая платформа для создания организмов, никогда не существовавших в природе.

Согласно оценке, выполненной специалистами Цюрихского технологического университета, к 2024 году в рамках синтетической биологии исследователи смогут заказывать минимальные последовательности ДНК в качестве биологической основы программных решений онлайн, практически так же, как любители электроники в настоящее время покупают детали на eBay.

Синтетические биологи решили создать уже в 2020 году стандартизированные перечни биологических компонентов и наборы открытых кодов не существовавших ранее биоорганизмов. Сейчас трудно описать и предусмотреть все направления практического, в том числе коммерческого использования достижений синтетической биологии. Например, в 2019 году германской исследовательской группе по синтетической биологии удалось создать не существовавшие в природе бактерии. Имея средой своего обитания воду, они питаются исключительно нефтью и нефтепродуктами и уже на стадии испытаний показали эффективность в очистке водоёмов от нефтепродуктов. В конце 2019 года эту технологию закупила крупнейшая в мире нефтегазовая компания Exxon Mobil.

Одной из наиболее спорных, широко обсуждаемых и наводящих ужас на лиц, принимающих решение, и население является создание химер человеко-животных. Создание химер сопряжено с необходимостью преодоления дефицита трансплантационного материала. В 2019 году только в Соединённых Штатах в очереди на операции по пересадке тех или иных органов стояли

120 тысяч человек. Ещё большая очередь в странах ЕС. В условиях дефицита трансплантационных материалов сложился огромный криминальный рынок человеческих органов, объёмы которого составляют порядка 1,2–1,5 млрд долларов.

С первых дней своего существования за эту проблему взялась синтетическая биология. Как известно, органы отдельных животных, в том числе свиней, используются как трансплантационный материал для человека в качестве временной замены удалённых органов. Люди способны жить определённый период времени с такого рода органами, принимая огромные дозы лекарств, блокирующих отторжение (до полугода), в ожидании поступления человеческих органов.

В 2019 году лаборатория доктора Джорджа Черча сообщила, что им удалось, используя CRISPR и методы синтетической биологии, создать принципиально новый вид животных, называемых условными свиньями. Внешне они действительно выглядят как свиньи. Однако в их генотипе отсутствуют три гена свиней, которые и вызывают быстрое отторжение свиных органов в случае их временной трансплантации человеку, и присутствуют дополнительно девять совершенно новых, полученных методами синтетической биологии на основе существующих генов человека. Новая генная комбинация обеспечивает трансплантологическую совместимость физиологии человека и свиньи, на порядок более высокую, чем естественная. Синтетически сконструированные свиньи плодородны, то есть дают генетически изменённое потомство и обладают показателями здоровья, заметно превышающими норму.

В силу высокой засекреченности подобных исследований официальной информации о начале клинических испытаний свиней-ксенотрансплантантов объявлено не было. Но среди наиболее известных синтетических биологов циркулирует информация, что такого рода испытания начнутся не позднее 2022 года. Для того чтобы оценить ювелирную точность и эффективность работы синтетических биологов, напомним, что число активных генов у человека составляет примерно 25 тысяч, а у свиньи – 22 тысячи.

Известно также, что без огласки в ряде лабораторий Китая, Японии, возможно, Мексики (в последнем случае принадлежащих американским компаниям) ведётся работа по созданию гибридных эмбрионов человека и животных с целью получения неотторгаемых органов для проведения трансплантаций.

Достоверно установлено, что в 2019 году исследовательская команда Токійского университета начала выращивать ткани человека в эмбрионах грызунов и пересаживать эти гибриды в суррогаты для дальнейшего развития. Фактически поставлена задача – создать технологию на основе достижений синтетической биологии выращивания человеческих органов в эмбрионах иных биологических видов, в первую очередь, грызунов и свиней. Данную информацию подтверждает и тот факт, что Япония стала второй после Китая страной, официально разрешившей при выполнении определённых условий и строгом государственном контроле осуществление генно-инженерных и синтетически биологических работ по созданию химер или гибридных эмбрионов человека и различных видов животных.

Ещё одна не только дискуссионная, но и сомнительная сфера использования синтетической биологии связана с явлением генного допинга. В 2019 году Всемирное Антидопинговое Агентство (WADA) сообщило о начале практических работ по включению запрета на генный допинг в перечень антидопинговых правил.

По официально не подтвержденным данным, лаборатории синтетической биологии в Китае и Южной Корее освоили метод искусственного создания на естественном геномном материале генов, которые значительно увеличивают количество белков и гормонов, обычно вырабатываемых клетками при предельных физических нагрузках. Такого рода генные манипуляции в настоящее время не могут быть замечены методами антидопингового контроля и дают обладателям искусственных генов заметные и критические преимущества над остальными спортсменами. Известно также, что DARPA и Оборонное Агентство по уменьшению угрозы (DTRA) осуществляли в 2017–2019 годах закупки генетического материала жителей определённых районов Кении, Эфиопии, Перу. Жители этих районов известны как непревзойдённые марафонцы, мастера бега на дальние дистанции.

Приобретение подобного генетического материала является своего рода косвенным подтверждением возможности использования методов синтетической биологии в военных целях. В первую очередь, они сопряжены со значительным или даже скачкообразным повышением выносливости и иных физических возможностей бойцов спецподразделений за счёт изменения их генома.

Новая евгеника. Большие данные встречаются с геной инженерией

Генетики вместе с медиками ещё в начале 70-х годов прошлого века начали использовать методы генетики сначала для отработки, а потом и массового применения искусственной или внутриматочной инсеминации или искусственного оплодотворения (ЭКО). В рамках этого метода предварительно обработанная сперма мужа или донора вводится в полость матки женщины в периовуляционный период.

В 1978 году эти усилия завершились успехом, и в Великобритании родилась девочка Лесли Браун – здоровый и нормальный ребёнок, появившийся на свет таким образом. По состоянию на сегодняшний день в развитых странах мира, где ведётся такая статистика, родилось с использованием ЭКО более 1,7 млн детей. Статистические данные, а не суждения, позволяют с уверенностью утверждать, что дети, рождающиеся в результате искусственного оплодотворения, имеют лучшие показания по здоровью, чем в целом их поколение. В значительной степени это связано с тем, что уже в 1990-е годы были разработаны методы массового скрининга эмбрионов на генетические расстройства. В ряде стран мира, например, в Исландии, Австралии, Китае, Дании и Соединённом Королевстве врачи обязаны информировать беременных женщин о том, не выявлены ли при скрининге какие-либо генетические расстройства вроде синдрома Дауна. Согласно статистике, по Соединённым Штатам, Австралии, Дании и прибрежным мегаполисам Южного Китая в 90–98% случаев при выявлении серьёзных генных отклонений беременность прерывается по желанию родителей.

Для эффективного использования улучшающей или евгенической геной инженерии необходимы огромные массивы данных по геномам конкретных людей. Только на основе гигантских данных по генетическому скринингу и наличию полной медицинской статистики можно установить достоверные причинно-следственные связи между теми или иными генетическими отклонениями и заболеваниями.

В этой связи с середины десятых годов XXI века в мире развернулась беспрецедентная гонка получения больших геномных данных на основе секвенирования геномов каждого конкретного человека и передачи их в национальные банки данных. Например, в Соединённых Штатах действует All of Us Research Program. На её реализацию Конгресс выделяет ежегодно больше 200 млн долларов или 2 млрд за десятилетний период. Кроме того, реализуются программы на уровне отдельных штатов, а также программы медицинских центров и страховых компаний на платной основе, когда предоставляющие геномную информацию получают определённую сумму денег или скидки на обслуживание. Подобные программы реализуются в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Японии.

Самая масштабная программа осуществляется в Китае. По инициативе Си Цзиньпина в рамках Тринадцатого пятилетнего плана развития биотехнической промышленности, принятого по инициативе Председателя Си, до конца 2020 года не менее 50% всех новорождённых должны получить геномные паспорта, а к 2025 году – 100%. Результаты сплошной геномной переписи новорождённых собираются сопоставлять с единым банком медицинских сведений в масштабах страны и интегрировать, в конечном счёте, с данными системы социального кредита.

Согласно данным ВОЗ, до 2025 года не менее 1 млрд человек будут иметь геномные паспорта, а до 2030 года – более 2,5 млрд. Осмысление этого беспрецедентного объёма данных, его сопоставление с электронно-санитарными и поведенческими записями станет одной из главных сфер применения суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Наиболее развитые страны примерно в середине 20-х годов нынешнего века будут располагать в режиме реального времени полной статистикой, позволяющей

установить корреляционные и причинно-следственные связи между генными характеристиками и показателями здоровья, индикаторами жизненных успехов и т. п.

Во второй половине десятых годов в различных странах мира, в том числе в США, Великобритании, Нидерландах, Японии, Южной Корее, Бразилии, Мексике, России, Китае, Швейцарии и Италии, были проведены по сходным методикам исследования зависимости различных характеристик от генетических факторов. Удалось выяснить, что генетические и эпигенетические факторы определяют не только цвет глаз, волос, конституцию с точностью до 80%, но и гораздо менее очевидный параметр, такой как стиль или тип личности по типологии Майерс-Брикс. Здесь вероятность достигает 55%. Статистика также поставила точку в спорах между сторонниками человека как "чистой доски" или "автомата", чьи параметры предопределены полностью в генах, применительно к уровню интеллекта. Обе крайние позиции оказались, как и следовало ожидать, неправильными. Отмеченные выше исследования показали, что в зависимости от конкретного вида интеллекта (когнитивный, эмоциональный, коммуникативный) предопределённость составляет от 55 до 65%. Остальное зависит от личной судьбы и окружающей ребёнка, а затем взрослого человека среды.

Евгенетическая проблематика прогрессом медицины и геномикой переведена из теоретической темы в практическую плоскость. В ведущих странах мира уже сегодня отработана методика долговременного хранения спермы. Параллельно в течение последних трёх-пяти лет осуществлён прорыв в технологиях выращивания эмбриона вне материнской утробы, что называется, в пробирке.

Хотя официальные публикации по этой тематике отсутствуют, данные разведывательных органов и частных исследовательских агентств свидетельствуют, что уже в нескольких клиниках по обе стороны Атлантики, в Китае и, возможно, Южной Корее и Японии полностью отработаны методики выращивания человеческих эмбрионов в пробирке до двух-четырёх месяцев.

Более того, судя по научным публикациям, уже сегодня нет никаких препятствий для того, чтобы в течение ближайших двух-трёх лет иметь все необходимые возможности для пребывания плода в течение всего периода времени его развития в нематеринской органической среде.

Таким образом, уже в ближайшие годы мужчины с определённым уровнем доходов смогут иметь хранимый набор из 5-10 собственных эмбрионов и, соответственно, возможность сравнивать их по генетическим показателям. В силу особенностей человеческой генетики эти эмбрионы будут заметно отличаться друг от друга по конкретным геномам и соответственно по шансам в будущей жизни. Иными словами, родитель сам сможет выбрать, какой или какие из эмбрионов получат шанс родиться на свет, а какие будут уничтожены или использованы для различных биологических целей, даже не имея при этом каких-либо генетических нарушений.

Подавляющая часть наиболее осведомлённых экспертов в области биотехнологий не сомневаются, что в ближайшие пять лет теория и практика определения влияния генов на различные способности, склонности и параметры человека сделают доступным так называемый дизайн младенцев. Пока использование генной инженерии в медицинских целях ограничивается выявлением всё расширяющегося круга наследственных заболеваний. Это соответственно ведёт к резкому уменьшению шансов появления на свет младенцев со значительными генетическими отклонениями. По данному вопросу, как отмечалось выше, сложился консенсус между правительствами, населением и бизнесом в большинстве технологически развитых стран мира. Однако уже на этой стадии возникают серьёзные этические и социально-политические проблемы.

Комбинация генного скрининга с практикой ЭКО даёт неоспоримые и всё более увеличивающиеся преимущества богатым перед бедными и даже средним классом иметь намного более генетически здоровое и приспособленное к турбулентной жизни потомство. Вряд ли кто-то будет спорить, что возможность выбрать из 10 зародышей лучшего представляет собой огромный гандикап перед рождающимися безвариантно младенцами, тем более в странах, где запрещены аборты.

Технологически появление дизайнерских младенцев возможно уже сегодня. Возможно появление на свет младенцев, рождённых в результате генной

инженерии и дестабилизирующего искусственного отбора с поражающими воображение интеллектом, волей и стрессоустойчивостью, с одной стороны, и генетически покорных, ориентированных на выполнение простых рутинных операций и удовлетворение элементарных житейских потребностей — с другой. Генная инженерия и синтетическая биология позволяют редактировать геном и соответственно модифицировать нужным для заказчика образом геном и соответственно получать детей из пробирки с определённым набором способностей, предрасположенностей и характеристик. Главный вопрос сегодня — не в технологии внесения изменений, а в установлении надёжных корреляционных и причинно-следственных связей между тем или иным генетическим набором и характеристиками рождающегося ребёнка. Ещё более важна не просто морально-этическая, а юридическая оценка правомерности использования подобных технологий.

Лишь относительно небольшая часть наследственных болезней и способностей или характеристик определяется одним или небольшим числом установленных генов. Подавляющая часть ключевых способностей, например, интеллекта в его креативных, рациональных и поведенческих компонентах зависит, как стало известно уже в настоящее время, не от одного какого-то локализованного параметра мозга и нескольких генов в геноме, а от гораздо более сложной комбинации параметров.

Подавляющая часть как теоретических, так приборно-аппаратных, методических и технологических компонентов этой работы к настоящему времени уже находится в распоряжении генных инженеров. По мнению специалистов западного разведывательного сообщества, вне зависимости от запретов, биотехнологи, скорее всего, под государственным протекторатом, приступят к наработкам практического инструментария генной инженерии и синтетической биологии, имеющим евгенические цели. Вполне вероятно, что одна группа подобных коллективов в нескольких, наиболее продвинутых в области генной инженерии странах будет вести эту работу в интересах военных и разведывательных сообществ, а другая будет проводить исследования и практические разработки за счёт наиболее состоятельных и имеющих наибольший лоббистский потенциал элитных групп. В отличие от производства ядерного, химического и сложного бактериологического оружия, евгенические разработки генных инженеров и синтетических биологов по возможностям сокрытия и маскировки гораздо больше напоминают группы хакеров и производителей мощного кибероружия. Евгеническую генную инженерию с компьютерными программами роднит не только относительная дешевизна и скрытность, но и ещё один предельно опасный признак. История IT свидетельствует, что, вне зависимости от запретов и противодействия, если какой-то новый вирус теоретически и алгоритмически может быть разработан, то он обязательно будет разработан и опробован (при этом, к счастью, не обязательно использован). С высокой степенью вероятности можно предположить, что этот принцип, именуемый в кругах хакеров принципом неотвратимой реализуемости, будет характерен и для генной инженерии и синтетической биологии.

Согласно докладам, представленным в Конгресс Соединённых Штатов, а также в ЕС, прогнозируется, что к середине 20-х годов текущего века удастся с достаточно высокой степенью точности увязать генетические локусы и иные генные характеристики с ключевыми наследуемыми параметрами, в том числе интеллектом, энергичностью и стрессоустойчивостью.

С этого момента “дизайнерские младенцы”, в том числе рождённые вне материнского лона, из гипотетической возможности станут технологической реальностью. В том случае, если технологическая реальность будет реализована на практике, это будет означать уже в среднесрочной перспективе пятнадцати-двадцати лет конец человечества как единого вида. Богатые, влиятельные и привилегированные смогут наращивать генетические характеристики своего потомства, негласно создавая младенцев с программируемыми параметрами. Одновременно чисто технологически возможно будет производить младенцев с подавленными по конкретным направлениям интеллектуальными способностями, пониженной стрессоустойчивостью и повышенным уровнем склонности к подчинению. Британским генным инженерам ещё в 2018 году на основе достижений эпигенетики удалось за три поколения вывести особо пугливых, подчиняющихся любым указаниям мышей.

Как это ни парадоксально, применительно к базовым эмоциям вроде страха, ярости и т. п. большой разницы между человеком и мышами с точки зрения генных механизмов, а соответственно эпигенетических воздействий нет. Иными словами, евгеническая генетика уже не является не только фантастикой, но и характеристикой отдалённого будущего. В интервале между 2025 и 2030 годами все необходимые методики, технологии, приборы и биологические материалы для этого, а также массивы данных будут полностью созданы и, вероятно, уже испытаны.

В этих условиях руководство многих стран мира занимает двойственную позицию. Одни страны, например, большинство государств ЕС, действуют методами жёстких запретов, отсутствия правительственной поддержки подобных исследований и запрещения соответствующих технологий. В то же время правительства, военно-разведывательные круги и бизнес в Китае, США и Японии в основном распространяют жёсткие запреты на несанкционированные частные исследования. При этом, в случае законодательных запретов соответствующие правительства делают исключения для тех разработок, которые ведутся в государственных интересах и под государственным контролем.

При этом государства строго карают несогласованные частные исследования по данной проблематике. В конце 2019 года срок уголовного заключения и значительный штраф получил китайский исследователь Хе Дзян Куй, осуществивший редакцию генома детей, заболевших СПИДом. Строго говоря, его работа не выходила за пределы медицинского использования генной инженерии. Однако она велась вне государственного плана, с привлечением к работе генетиков и медиков из Западной Европы и США и в основном за счёт средств американских инвесторов. Поэтому за рядовую работу Хе Дзян Куй получил срок, в то время как другие китайские исследователи публикуют отчёты о своих изысканиях в области генетики эмбрионов в ведущих мировых медицинских журналах без каких-либо наказаний, более того, с санкции властей.

Для того чтобы ужесточить контроль, в Китае подготовлен законопроект, регулирующий исследования, разработки и технологии в области генной инженерии, синтетической биологии и других потенциально опасных медицинских технологий. В отличие от законодательного запрещения регулирования ДНК в репродуктивных целях в США, Великобритании и большинстве стран ЕС, в готовящемся законе, который будет контролировать Госсовет, запрещается проводить генно-инженерные и синтетическо-биологические исследования и операции с человеческими эмбрионами в случае, когда это будет противоречить «этическим или моральным принципам». Любому юристу хорошо известно, что этические или моральные принципы не являются не только принципами прямого действия, но и носят не нормативный, а оценочный характер с позиции того, кто эти нормы устанавливает.

По состоянию на конец 2019 года большинство представителей военно-разведывательного сообщества стран НАТО, а также ведущие эксперты из биотехнологического бизнеса уверены, что гонку в области генно-инженерных и синтетическо-биологических инструментов и технологий, делающих высокоэффективной научно обоснованную евгенику, остановить не удастся, если запрет не будет носить всеобщий характер. Это не удастся сделать, если хотя бы одна страна откажется от подписания возможного международного соглашения, либо, как это часто бывает в современном мире, имплементирует юридические документы, но не будет их выполнять в полном объёме. По мнению авторов доклада, по крайней мере, в ближайшие годы обеспечить всеобъемлющий, охватывающий все технологически развитые государства, а также бизнес-структуры и научные центры запрет на евгенические разработки в области генной инженерии и синтетической биологии не удастся.

Гены как оружие

Подавляющая часть публикаций не только в малодостоверных интернет-источниках, но и в известных медиа по теме генного оружия базируется на непроверенных фактах, некомпетентных суждениях и фейковых сенсационных новостях. Долгое время в медиа всех континентов муссировалась информация об искусственном создании СПИДа в американских биологических лабораториях и появлении птичьего гриппа в результате утечки биоматериалов из китайских тайных генных предприятий.

В то же время само по себе отсутствие серьёзных научных и исследовательских работ на эту тему заставляет подозревать, что соответствующие исследования ведутся. Их тайный характер в значительной степени связан с тем, что генетическое оружие полностью подпадает под характеристику биологического. В свою очередь, биологическое оружие, согласно Женевскому протоколу 1925 года и Конвенции о биологическом оружии от 1972 года, категорически запрещено не только применять, но и разрабатывать.

На скептический лад в отношении соблюдения запрета на разработку генного оружия настраивает то обстоятельство, что уже в 90-е годы прошлого века были опубликованы многочисленные документы, неопровержимо доказывающие, что, по крайней мере, в СССР, США и, вероятно, в Китае до 1991 года биологическое оружие не просто разрабатывалось, а находилось в распоряжении спецподразделений и учитывалось в военной стратегии и планах тактического развёртывания.

Наиболее достоверный, хотя по понятным причинам односторонний, текст об использовании генной инженерии в военных целях опубликован в 2019 году М. Дж. Эйнско, полковником вооружённых сил США, под заголовком “Биоружие следующего поколения” для предоставления в Конгресс.

По мнению автора, в настоящее время генные вооружения разрабатываются в Китае, Северной Корее, вероятно, в Израиле, Иране и России. Согласно информации шведских уважаемых медиа, разработки биологического оружия следующего поколения ведутся и в ряде стран НАТО, прежде всего, в США.

Эйнско задаётся вопросом, почему, несмотря на гигантский разрушительный потенциал и факты применения в Первой мировой войне, ни химическое, ни биологическое оружие не было применено нацистами на полях боя и в тылу в период Второй мировой войны.

Опираясь на интервью с ведущими военными историками, а также специалистами в области биологического и химического оружия, он формулирует следующий вывод, носящий консенсусный характер. Вследствие своих характеристик химическое и особенно биологическое оружие имеет на порядок более непредсказуемые последствия в применении, чем даже ядерное оружие.

Эпидемия, искусственно вызванная в одной стране, с высокой степенью вероятности перекинется и на страну, применившую биологическое оружие. Кроме того, даже подозрение в применении биологического оружия одной стороной военного конфликта может привести к его массовому использованию другой, сомневающейся стороной. Де-факто применение биологического оружия будет означать развязывание глобальной войны вообще без правил, более того, войны, которая может продолжаться уже после того, как одна из сторон будет полностью уничтожена.

Согласно информации, полученной в ходе интервью Эйнско, первыми к подобным выводам пришла JASON Group. В состав группы, действующей уже более 50 лет, входят на добровольной основе американцы – Нобелевские лауреаты по различным направлениям науки, – а также выдающиеся исследователи и учёные, внесшие признанный вклад в мировую науку.

В 1997 году группа по собственной инициативе представила тогдашнему Президенту США Б. Клинтону доклад “Об угрозах генной инженерии и высоких биотехнологий”. В последующем раз в пять лет группа уточняет и дополняет базовый доклад конкретными примерами и соображениями.

Группа выделила пять главных направлений футуристических генно-биологических угроз.

Направление первое – разработка и использование двойного биологического оружия. Специалисты по вооружению знают, что достаточно давно большая часть химического оружия производится и хранится как бинарное вооружение. Бинарные вооружения состоят из двух капсул, в каждой из которых хранятся вещества, оружием не являющиеся, и по большей части безопасные для человека. После принятия решений об использовании химических вооружений бинарные боеприпасы монтируются на носители и запускаются в сторону врага. При взрыве вещества смешиваются и становятся смертоносным химическим реагентом. JASON Group предположила, что в силу высоких репутационных и санкционных рисков, связанных с производством и хранением, а тем более применением биогенного оружия, генные инженеры вполне могут реализовать в ходе производства биовооружений бинарный принцип.

В этом случае в мирное время даже при наличии международных инспекций можно достаточно надёжно скрыть факт производства биогенного оружия и тем более доказать это юридически.

Направление второе – разработка и использование модифицированных генов. Наиболее простой и доступный уже к моменту написания первого варианта доклада JASON Group способ производства генного оружия – это искусственное усиление или изменение геномных факторов традиционных болезней.

По мнению JASON Group, к разработке такого рода “генетического вооружения для бедных”, в первую очередь, могут быть склонны бедные, технологически неразвитые государства-изгои вроде Северной Кореи и Ирана, либо страны вроде Пакистана и Индии, имеющие собственную ограниченную научно-технологическую базу. Сюда же попадают и террористические организации, которые, скорее всего, смогут купить такого рода биологическое оружие у государств-изгоев. Жизнь показала правоту прогнозов JASON Group. Именно модифицированный вариант сибирской язвы был обнаружен в Соединённых Штатах вскоре после 11.09.01. Споры с сибирской язвой рассылались в конвертах чиновникам и военным в США.

JASON Group полагали, что данное направление представляет небольшой интерес для технологически развитых стран, поскольку не решает главной проблемы – управляемого установления пределов применения генного оружия. Согласно докладу, генно-биологическое оружие может быть массово применено в том случае, если сфера его использования будет контролироваться и ограничиваться.

Направление третье – создание супербойцов. Ещё в СССР и США, начиная с 60-х годов прошлого века, в рамках реализации космических программ велись объёмные биомедицинские работы по максимальному повышению уровня выживаемости человеческого организма в зависимости от низко- и высокотемпературных предельных нагрузок, повышению физических параметров в части скорости бега и продолжительности марш-бросков, поднятия тяжестей и т. п. В 80-е годы прошлого века подобные работы были развёрнуты в Израиле, а на рубеже нулевых – в Китае. JASON Group были уверены, что практически все биотехнологически развитые страны мира, имеющие серьёзные вооружённые силы, будут активно заниматься тем, что в спорте получило название генный допинг, то есть максимизацией физических и нейрофизиологических способностей и возможностей.

Направление четвёртое – создание генно-биологических вооружений лимитированного ущерба. Поскольку главным недостатком биологического оружия является неконтролируемый характер его применения и распространения, JASON Group полагали создание лимитированных генных вооружений магистральным направлением совершенствования биогенных разработок. По их мнению, технологически развитые государства чем дальше, тем больше будут стремиться к созданию путём генной инженерии и синтетической биологии таких вирусов, которые бы не угрожали летальным исходом либо тяжкими заболеваниями солдатам и офицерам вооружённых сил противника.

Ещё в 2002 году JASON Group предположили, что будущее биогенного оружия – это применение в гибридных и прокси-войнах. Само по себе биогенное оружие должно носить своеобразный гибридный характер. Оно призвано поражать комбатантов и некомбатантов противника, но лишь временно выводить их из строя либо заметно снижать их способность вести боевые действия или работать в тылу. Например, эпидемии простудных заболеваний, расстройств желудка, головной или зубной боли и т. п. могут резко ограничить боеспособность противника и, по сути, вывести из строя на определённый период времени его передовые спецподразделения. Именно на этом направлении JASON Group предлагали сосредоточить основное внимание.

Наконец, направление пятое – разработка и производство этноориентированных биогенных вооружений. Господствующая в официальной генетике и по сегодняшний день точка зрения состоит в том, что невозможно создать и применить биогенное оружие, ориентированное на конкретные группы населения, выделенные по национальному, расовому и иным признакам. Между тем, в последние годы руководители высшего уровня в сфере национальной безопасности – Директор Национальной разведки Д. Клеппер и Председатель Совета Безопасности России Н. Патрушев – говорили о возможности и, более

того, реальной опасности разработки и применения генетического оружия, ориентированного на определённые группы населения.

Практикующие генные инженеры высказываются, что в споре официальных генетиков и высокопоставленных политиков правы именно политики. Действительно, не может быть создано биогенное оружие, поражающее граждан одной страны и безвредное для граждан другой. Гражданство – это не биологическая, а юридическая категория. Генное оружие любой степени жёсткости, от вызывающего слабое недомогание до обуславливающего летальный исход, может быть ориентировано на любую группу, имеющую специфические генетические маркеры. Если маркер, позволяющий выделить группу, существует, то генно-биологическое оружие любой мощности и интенсивности может быть создано. А если не существует, то не может.

По состоянию на сегодняшний день известно, что для представителей различных рас биогенные маркеры существуют. При этом следует оговориться, что наличие или отсутствие такого маркера является статистической категорией и не во всех случаях может быть уточнено для каждого конкретного человека. Приведём пример. Более 80% представителей негроидной расы оказываются более устойчивыми к малярии, чем белые, если на их эритроцитах отсутствует Ar Duffy, являющийся рецептором для паразитов.

Согласно исследованьям, сделанным для руководства индийских вооружённых сил, вполне возможно и, более того, вероятно, что в период до 2025 года создание биологического оружия массового поражения, которое способно планомерно уничтожать любые человеческие популяции, заданные по ключевым генетическим признакам, станет вполне возможным. Его поражающие элементы – искусственно созданные микроорганизмы (патогены), в том числе штаммы бактерий и вирусов, изменённые с помощью технологий генной инженерии, способные мгновенно вызывать болезни и негативные изменения в организме человека. С его помощью можно будет вызывать изменения в наследственности, обмене веществ или поведении миллионов людей. Генетическое оружие массового поражения обладает возможностями мгновенного уничтожения целой расы.

О реалистичности создания генетического оружия свидетельствует и тот факт, что научные центры ряда стран, например, США, занимаются скупкой генетической информации по населению различных регионов, прежде всего, тех, где имеются американские интересы или расположены страны, являющиеся или имеющие большие шансы стать врагами США. Авторы доклада полагают, что причины скупки не имеют отношения к разработке и производству этнически ориентированного биогенетического оружия США. Однако ряд ведущих медиа с серьёзной репутацией высказывают такую гипотезу.

Вероятно, по этой же причине Китай законодательно запретил предоставление на сторону медицинскими учреждениями или биотехнологическими фирмами данных по геномам китайских граждан. Также, согласно китайскому законодательству, зарубежные фармацевтические компании не имеют права самостоятельно проводить клинические и доклинические испытания лекарств с забором лабораторных данных за пределы Китая.

Согласно выводам JASON Group, Оборонное Агентство по уменьшению угрозы (DTRA) правительства США призвано ежегодно осуществлять разведывательный мониторинг относительно возможности разработки, а тем более производства биогенных вооружений и при обнаружении подобной угрозы срочно докладывать Министру обороны и Президенту о высшем уровне угрозы для Америки. Хотя DTRA ответственно за разведку и противодействие разработке, производству и использованию оружия массового поражения, в том числе биологического, и имеет огромные объёмы финансирования, оно мало кому известно в США. Более того, в большинстве справочников оно не включается в список разведывательных агентств.

В настоящее время, благодаря отчёту руководителя Агентства перед одной из комиссий Конгресса, стало известно, что главную угрозу применения биогенного оружия против населения США Агентство видит либо в террористических актах с использованием генетически модифицированных вирусов по образцу сибирской язвы начала нулевых годов, либо через деструктивную модификацию продовольствия, поступающего в отдельные штаты страны из латиноамериканских стран. Как отмечается в материалах Агентства, “в современном мире страны с низким уровнем продовольственной и лекарственной

безопасности оказались беззащитны против биогенного оружия, в том числе относительно простых его образцов, изготавливаемых террористами или по их заказу подпольными биогенными лабораториями”.

В последние несколько лет в ООН и ряде других международных организаций активизировались сторонники заключения всеобъемлющего международного соглашения по запрещению разработки и использования оружия на основе генной инженерии и синтетической биологии. При всей желательности подобного рода соглашения, можно выразить большой скептицизм. В последние годы разрываются существовавшие десятилетия договоры о стратегических и массовых вооружениях. Китай категорически отказывается подписывать любые соглашения в этой сфере. Несмотря на всеобщие призывы, международные организации даже не приступили к подготовке всеобъемлющего соглашения по предотвращению кибервойн и борьбе с киберпреступностью. В этом контексте полагать, что в реалистические сроки можно будет добиться заключения и ратификации проверяемого, предполагающего международный контроль соглашения о запрещении разработки и применения биотехнологического и генно-инженерного оружия, – прямо скажем, маниловщина.

Печальный императив нашего времени состоит в том, что Россия должна приготовиться жить в условиях существования биологического и генного оружия, быть готовой к развязыванию этно-биологических войн и геноцидных операций с использованием вирусов, выведенных искусственно синтетической биологией. Это, в свою очередь, предполагает наличие у страны разветвленной инфраструктуры, обеспечивающей максимально безвредное подавление очагов эпидемий, вызванных применением биотехнологического оружия, и наличие собственных биологических вооружений, способных нанести неприемлемый ущерб врагам, партнёрам и даже временным союзникам.

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

СТОНЫ СТРАНЫ

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

“Хождения по мукам”

Письмо из Бурятии – от Миши Князева и его мамы: “Здравствуйте, Сергей Александрович! Спешим поделиться с Вами радостной вестью. Вручили паспорт гражданина Российской Федерации! Такая радость к Новому году! Восемилетние хождения по мукам закончились. Всё моментально закрутилось после выхода Ваших запросов и передачи “Двенадцать”. Верим, что теперь всё будет хорошо”.

Михаил – молодой человек родом из Крыма. После развода родителей в 3-летнем возрасте он вместе с мамой обосновался в Бурятии. Ему уже 22 года, и всё это время он жил без паспорта. Странно, дико? Увы, закономерность бюрократического абсурда.

Его мама, Ольга Викторовна, только в 2004 году оформила российское гражданство после многолетнего хождения по кабинетам. А Михаил, вписанный в паспорт матери, до сих пор считался лицом без гражданства. Не получал главный документ, начиная с 2011 года, когда ему исполнилось 14 лет. Годы издевательств!

Только с 2016 года в миграционной службе Бурятии сменилось четыре начальника отдела. Ускорило ли и оздоровило ли это работу на их направлении? Да нет, каждый раз весь процесс – сбор документов, подача заявления и т. д. – бедному Михаилу приходилось начинать заново.

Он окончил Гусиноозёрский энергетический техникум, получил специальность техника-электрика. Но на официальную работу без паспорта не брали, поэтому он не мог толком помогать семье, в которой ещё трое несовершеннолетних братьев, инвалид-отчим и неработающая мать. За всё это время обивания порогов и хождения по инстанциям дали только РВП (разрешение на временное проживание). Да ещё и потребовали уплатить 18 тысяч рублей как “лицу без гражданства”.

Человек родился в Крыму, 20 лет живёт в России, которая не признавала его своим гражданином и называла “лицом без гражданства”. Дело не в законах. Дело в бездушии.

Я направил запрос в республиканское МВД. Ответил лично министр – с извинениями. И вот – перед Новым годом – вопрос решён, паспорт выдан. Вторя Князевым, хочется верить, что всё у них будет хорошо.

Путь сироты

В Самаре освобождён в зале суда 20-летний Игорь Шагин. Выпускник детдома. Укравший в магазине упаковку шоколадок стоимостью 1600 рублей.

Я писал запросы, говорил о нём с думской трибуны, пробил телеэфир. А ещё была атака толпы злобных комментаторов: “Пускай сидит!” После ареста, как рассказано в подробном заявлении Игоря, его подвергли избиениям и истязаниям, требуя взять на себя вину за другие кражи. Проверка Следственного комитета не установила пытавших.

Но важно, что суд убрал из дела “явку с повинной”. Потому что ни в чём Игорь не признавался. И никаких доказательств чего-либо, кроме выноса конфет, нет.

Игорь встречал Новый год не в тюрьме. Спасибо всем, кто проявил человечность. Всё-таки это чудо, что мы выцарапали паренька из неволи. Но он по-прежнему идёт по краю. Такова судьба русского детдомовца. Завтра он может, как говорится, оступиться и загреметь. Надо сделать всё для него и для других сирот.

Вышло моё интервью одному православному сайту, где я печалился, что положенного жилья для сироты так и не появилось. Об этом же пришлось рассказать во весь голос на разных других медийных площадках. И вот – убеждаюсь, как порой резво чиновники реагируют на общественный шум – департамент опеки попросил Игоря срочно приехать, чтобы оформить документы на квартиру.

Уже скоро он должен въехать в собственное жильё.

Важно помогать тысячам и тысячам, которые остались без родни и без кого-либо. У них нет крыши над головой, а впереди – тюрьмы, вокзалы, могилы.

Но спасение всех невозможно без спасения конкретного человека. Всё же здорово, что у Игоря будет дом и работа.

Это для него вопрос жизни и смерти.

Мусорный ветер

Повторно внёс в Госдуму законопроект, смягчающий ст. 212.1 УК РФ (“неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования”). Законопроект предполагает, что уголовное наказание по ст. 212.1 УК не должно применяться вовсе, если человек не совершал насильственных действий.

У граждан есть право на протест. И поводы есть. Например, отравление их земли мусором. Но протестовать запрещают, а тому, кто мирно выходит на улицу, грозит тюрьма. Строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области не поддерживают 95 процентов жителей региона. Мне постоянно пишут оттуда – с возмущением и всё ещё с надеждой быть услышанными.

А под Казанью разогнан палаточный лагерь противников строительства мусоросжигательного завода. Люди подверглись административному преследованию. Административки легко превращаются в уголовки. Нужен подробный и открытый разговор власти и граждан – с ответами на вопросы. Вместо замалчивания проблемы и затыкания ртов дубинками и приговорами.

Мой законопроект полностью повторяет рекомендации Конституционного суда, которые должны учитываться и исполняться. Мирный протест не может быть основанием для тюремного заключения. Это принципиально.

Дети нынешней войны

Это отдельная тема – получение российских паспортов жителями много-страдального Донбасса.

Для заложников войны – возможность обрести хоть какие-то права. Часто говорят о детях войны, поколении тех, кто вырос во время Великой Отечественной. А там дети войны современной – все, от мала до велика... Нельзя издеваться над и без того измученными, затягивая досмотр на границе, где выстраиваются очереди. Хорошо, что ускорилась выдача паспортов, возникла возможность электронной подачи документов, но и с этим не надо тянуть.

Вот недавнее письмо Елены Зайцевой из Донецка, которой, счастливи, что помочь смог.

Написала она так: “Муж – уроженец и гражданин РФ ещё со времён распада СССР. Последние 17 лет проживает в Донецке. Я родилась и постоянно проживаю в Донецке, имею паспорт ДНР. У нас двое детей, 13 и 16 полных лет, родились и с рождения зарегистрированы в Донецке. Въезд с детьми на Украину невозможен – могут арестовать как “сепаратистов”, муж и его брат в базе “Миротворца”. Миграционная служба отказалась принимать документы на получение нашими детьми российского гражданства. Заявили, что российские паспорта им не положены. Почему детям отказали в гражданстве ещё на этапе оформления? Сидели всю войну в 10 км от линии фронта безвыездно и под обстрелами и стали вдобавок лицами без гражданства”.

Приложив все нужные документы, направил запрос в центральный аппарат МВД России. И вот новое письмо Елены: “Огромное Вам спасибо за содействие! Вчера мне позвонили из республиканской миграционной службы и пригласили заново подать документы уже вместе с детьми. Всё, дают паспорта!”

Что я про это думаю? Надумал следующее. Мне с Донбасса приходит немало писем с жалобами на несправедливость, но помочь сложно. Люди зачистую в отчаянии. Я всё-таки решил – буду давать ход всем серьёзным просьбам, искать возможность помощи и на самих этих территориях. Пишите, жители Донбасса.

Нельзя бросать людей, если их, как сообщают обычно в отписках наши чиновники, “статус не определён”. Они людьми быть от этого не перестают. И я чувствую ответственность за происходящее с ними. Уж точно по поводу паспортов могу обращаться официально на депутатском бланке в российское МВД.

И ещё. В очередной раз призвав писать мне всех, кто сталкивается с несправедливостью (напомню, на ящик shargunov@list.ru), задумался. А хорошо бы мне писали и способные помогать тем, кому плохо. Может быть, нам как-то соединить усилия?

У меня всего один штатный помощник и ежедневные горы обращений со всей страны и, как видите, не только. Но хорошо бы появились и другие помощники. Добровольные. Особенно ценно, чтобы это были юристы, люди, знакомые с законотворческой работой. Но самое главное – люди с совестью.

“Законсервировать роддом”

Оптимизация – в этом слове слышится посвист косы. Как бы ни ломались от денег государственные сундуки, уничтожение медицины (а значит, и людей) продолжается – “по причине экономии”.

Вопрос-то простой: когда остановится проклятая коса?

Решения о закрытии или какой-либо оптимизации социальных учреждений – детских садов, школ, поликлиник, больниц – невозможно принимать без учёта мнения людей, которых такие решения затрагивают напрямую. Казалось бы, очевидно. По факту всё совсем иначе. По факту – разгром тут и там.

Отправлял депутатский запрос по ситуации с больницей в Ульяновской области. Там, как сообщали мне в письме медработники, было решено принести в жертву оптимизации Сурскую районную больницу и больницу села Астрадамовка (структурное подразделение районной больницы).

Более сорока этих самых медработников получили уведомление о сокращении, значительная часть персонала узнала о переводе на должности уборщиц. С копеечной оплатой труда. Как сообщалось, сотрудники больницы вынуждены покупать всё за свой счёт – от тряпок до лекарств. Техперсонал не имеет льгот, положенных медикам, а сами больницы не располагают ни оборудованием, ни возможностями для забора требуемых анализов.

И вот – ответ председателя правительства Ульяновской области. Обещано не проводить “сокращение медицинского и прочего персонала, а также сокращение штатных единиц государственного учреждения здравоохранения Сурская районная больница”. Хорошо? И на том спасибо.

Местные рассказывают, что только огласка и протест остановили оптимизацию, и поздравляют дружный коллектив районной больницы с маленькой

победой. Как пишут мне из Ульяновской области, “если бы вовремя не зашумели, то остались бы без работы”.

Для меня отдельная часть жизни — истории борьбы с оптимизацией. Конечно, не в одиночку. Удалось спасти от закрытия Заклинскую и Бельскую школы Дновского района Псковской области, школы в деревне Пушкино и селе Никола Яранского района Кировской области. В Алтайском крае не закрыли родильное отделение клинической больницы № 11 города Барнаула.

Получилось защитить незаконно уволенных или переведённых на другие должности медработников Анжеро-Судженской городской больницы Кемеровской области и работников областной детской клинической больницы в Великом Новгороде. А вот в городе Новоалтайске пока не удаётся побороть чиновников, пожелавших оптимизировать роддом.

Прилетал на Алтай. На личном приёме жители Новоалтайска подробно рассказали о том, что их возмущает. В городе почти 75 000 жителей, а ближайшее родотделение теперь находится в 200 км. Одновременно принято решение “законсервировать” роддом № 2 в Бийске. “Консервация” — такой щадящий или издевательский эвфемизм, подразумевающий закрытие. Но и сопротивление всей этой беде продолжается.

Сирота кубанская

В простой истории с кубанским сиротой Васей Попковым отражается всё слишком знакомое: неготовность судов оправдывать невиновных и железная воля следствия доводить дело до обвинительной логики, даже если нет оснований. Логика абсурда.

Сирота из посёлка Мезмай Краснодарского края расчистил тропинку между стадионом и школой от сухих стволов деревьев и завалов веток. Бесплатно, по доброте душевной. Заботясь о прохожих. После этого он предстал перед судом по обвинению в незаконной рубке деревьев в крупном размере. Парню грозило до четырёх лет лишения свободы с большим денежным штрафом.

На защиту Василия встали его односельчане, которые обратились ко мне за помощью.

В итоге дело против кубанского сироты закрыто. Это хорошо. Но очень плохо, что оно было открыто. Считаю неправильной и опасной формулировку “по примирению сторон”. Важно, чтобы не воспользовались юридической наивностью сироты и не оставили его с пожизненной печатью судимости.

Я обратился в краевую прокуратуру с требованием полного пересмотра этого дела. Рад, что был услышан.

Прокуратура Краснодарского края обжаловала постановление Апшеронского районного суда, поскольку решение суда не является для молодого человека реабилитирующим. Жду полного оправдания невиновного. А неплохо было бы и спросить с тех, кто сфабриковал дело.

Вот что рассказал мне недавно сам Василий:

— Я просто расчистил тропинку, всё, я больше ничего не делал. Я хотел доброе дело людям сделать. Отвели меня на место якобы преступления. Нашли там два пенька. Участковый говорит: “Встань с пилой и сфотографируйся”. Я говорю: “Зачем?” Тогда он ставит возле пенька пилу и фотографирует. А эти пеньки никакого отношения не имели к тому сухостою, который я прибрал.

Русский русскому помощи

Направлял запросы в защиту семьи священника Анатолия Черногора. Веря, что он, покинувший Украину по причине притеснений, в скором времени сможет в полной мере назвать Россию домом вместе со всей семьёй — матушкой Наталией Васильевной и тремя малыми детьми: Глебом, Анастасией и Гликерией. Получилось.

Вот пришло письмо: “Уважаемый Сергей Александрович! Сердечно вас благодарим. Слава Богу, с помощью вашего обращения в МВД России 16 января всей нашей семье выдали РВП для проживания в России. Пусть Бог благословит ваши труды”.

Дальше буду добиваться гражданства для Черногоров. Но не только для них. Для всех соотечественников. Если наших людей по-прежнему отталкивают и не пускают, странно при этом сокрушаться по поводу обезлюживания страны.

Испугались – и вернули

Кстати, неожиданная победа над ювеналкой в Симферополе.

Не успел я написать запросы и сделать несколько звонков, там чиновники с каменными лицами вдруг отступили.

Поэтому сообщаю уже не о трагедии, а о счастливом финале.

Из Симферополя мне пришло письмо сироты Яны Коленко.

“Я являюсь лицом, оставшимся без родительского попечения, проще говоря, ребёнком-сиротой. Кто может защитить сироту?! Вот моя история: находясь в Симферопольском приюте для несовершеннолетних, я познакомилась с семьёй Серёгиных. Они были добры ко мне, как никто за всю мою недолгую жизнь.

Меня душат слёзы отчаяния и бессилия. Семья Серёгиных согласилась оформить надо мной опеку и дать мне шанс на нормальную жизнь. Да, я подросток, таких редко берут в семьи, в таких, как правило, никто не верит, и мы никому не нужны. Но мне очень повезло, у меня появился шанс жить в семье, как все дети.

Но! Начальник опеки отказала семье Серёгиных в опеке надо мной! Она дала им заключение о невозможности быть опекунами, якобы у них “нет опыта”, хотя в их семье воспитывается четверо приёмных детей, своя дочь-подросток, жилищные и материальные условия им позволяют оформить надо мной опеку! Пожалуйста! Я умоляю помочь мне, маленькому бесправному человеку! Я на коленях умоляю вас о помощи! Я просто не переживу расставание с людьми, которые заменили мне родителей! Я погибну! Сжальтесь! Пришлите сюда какую-то комиссию, я не знаю, как это правильно сделать, но Вы-то наверняка знаете! Я хочу жить в семье! Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье!”

Яна была у Серёгиных с сентября.

На Рождество её, кричащую и плачущую, забрали и поместили в приют.

На каком основании? Такое ощущение, что просто назло, чтоб показать власть, причинить боль. Хотя мне пишут и про финансово-имущественную подоплёку.

А через пару дней случилась победа! Испугались – и Яну вернули. Пока на полгода.

“...Всегда бессильный виноват”

Ночью в посёлке Полетаево Челябинской области сожжён дом Натальи Анатольевны, той самой женщины, у которой по беспределу отобрали племянниц. Ей в эти дни угрожали за то, что она открыто рассказала о том, как чиновники разрушили её семью. Дом сгорел дотла. Пожар начался снаружи, рассказывают соседи. Погиб её муж, Виктор Иванов, 47 лет. Он стучался изнутри. Его не успели вытащить.

Наталья Анатольевна была на дежурных сутках в больнице, где она работает санитаркой. Утром она с журналистами договорилась поехать прямо с работы к себе, чтобы показать, что условия в доме абсолютно нормальные. Но дома уже не было.

Я знаю, чиновники переполошились после моего запроса и статьи, за которыми последовал вал публикаций. Ведь получается, девочек отняли у тётки без всяких причин, лишь бы не давать положенную квартиру. А одну из них, Лизу Кудрявцеву (девочку с ДЦП) довели до полусмерти.

Испугавшись, они перевели Лизу из “реабилитационного центра” в посёлке Старокомышинск в Челябинск к “лучшим врачам”. Выяснилось, что для спасения её жизни теперь требуется операция. Дай ей Бог выжить.

Я не знаю, какие слова подобрать для этого ада.

Объяснения чиновников по челябинской истории (через подчинённые им структуры и СМИ) предсказуемы. “Дом сгорел сам”, – объявили чуть ли не в первые минуты, как стало известно о случившемся. “В сарае, где курицы, оставили на ночь неисправный обогреватель”, – так объясняют то, что дом загорелся снаружи.

“Никакого обогревателя у нас в курятнике не было”, – ответила мне овдовевшая Наталья Анатольевна, буквально убитая горем, убеждённая, что это

не “совпадение”, а поджог. Её, не пьющую и не курящую, добропорядочную больничную санитарку, уже записали в асоциальные алкоголички – нужно же как-то оправдать изъятие детей. И пускай соседи говорят, что это была приличная достойная семья. Чиновники не отступят.

Тронешь звено – громыхнёт цепь

Дело не в Челябинской области. Такое возможно в любой другой.

То же самое было в отношении Ирины Байковой в Алтайском крае, когда трёх дочерей отобрали за бедность, а в ответ на возмущение матери (в итоге победившей) – шельмовали её, оклеветывали, даже прессовали ОМОНОм.

То же было со священником Андреем Ореховым из села Хороль Приморского края – внаглую забрали детей и избили, когда не смирился (но и он всё-таки победил).

То же было и в Москве, где в конце года наконец-то пересмотрено решение разлучить Ирину Королёву с её шестилетним внуком Денисом Резаповым, которого она воспитывала в одиночку. Претензий никаких к воспитанию не было. Повод отправить в детдом мальчика – бабушка сдавала его квартиру, а деньги тратила на оплату коммунальных услуг.

У чиновников любого уровня один метод: всё отрицать и обвинять самих жертв. И дожимать их. Ведь то, что волнует всякого начальника: не потерять должность. И все начальники снизу доверху связаны между собой. Тронешь звено – громыхнёт цепь. Проблема в системе, где даже неплохие люди играют по общим правилам, прикрывая плохих.

Большие беды

В Думе на встрече с премьером Михаилом Мишустинным не мог не сказать ему о больших бедах.

Был, что называется, услышан. Премьер всё записал в блокнот и согласился с необходимостью разобраться с тяжелейшими вопросами.

Я говорил о трагедии оптимизации – больниц, школ, домов культуры, библиотек.

И о детдомовцах без крыши над головой и без надежды.

Где и как они живут? По закону у них должно быть своё жилье. А в реальности они выходят в безвоздушное пространство сиротства. Их, согласно официальным данным, почти 270 тысяч по стране. Они попадают на улицу. А дальше – тюрьмы и могилы.

До сей поры помощь им – это только обещания.

Шла речь и о катастрофической нехватке лекарств.

Нескончаемые письма боли со всей страны.

АЛЕКСАНДР ЖДАНОВСКИЙ

полковник в отставке, историк

ИЗ ДУХОВНОГО СОСЛОВИЯ

Маршал А. В. Василевский

В когорте выдающихся советских полководцев достойное место принадлежит Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза А. М. Василевскому.

Будущий полководец – выходец из духовной сословия. Родился в селе Новая Гольчиха на территории Среднего Поволжья. Его отец, обладая хорошим голосом, устроился в хор Костромского собора. Из Костромы отец вернулся в родные места и стал церковным регентом и псаломщиком в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда (ныне Вичугского района Ивановской области). Здесь отец женился на дочери псаломщика села Углец того же уезда. В 1912 году в семье было уже восемь детей. Будущий полководец был четвертым. Первый сын умер. Брат нашего героя, Дмитрий, стал врачом, потом офицером Советской Армии, брат Виктор штурманом боевой авиации, брат Евгений председателем колхоза и агрономом. Сестры Екатерина, Елена и Вера учителями, Маргарита – научным работником.

В 1909 г. Василевский окончил Кинешемское духовное училище и осенью начал учиться в Костромской духовной семинарии.

В июле-августе 1914 г. перед последним классом семинарии Александр Василевский проводил каникулы у себя дома, где узнал о начавшейся мировой войне.

В книге воспоминаний “Дело всей жизни” он пишет: “Война опрокинула все мои прежние планы и направила мою жизнь совсем не по тому пути, который намечался ранее. Я мечтал, окончив семинарию, поработать года три учителем в какой-нибудь сельской школе и, скопив небольшую сумму денег, поступить затем в агроэкономическое учебное заведение, либо в Московский межевой институт. Но теперь, после объявления войны, меня обуревали патриотические чувства. Лозунги о защите Отечества захватили меня. Поэтому я неожиданно для себя и для родных стал военным”.

Покинув дом, Александр вернулся в Кострому и с несколькими одноклассниками держал выпускные экзамены экстерном, чтобы отправиться в армию.

В январе 1915 года эту группу направили в распоряжение костромского воинского начальника, в феврале группа была в Москве, в Алексеевском военном училище, которое располагалась в Лефортове.

А. М. Василевский поясняет: “Решение стать офицером было принято мною не ради того, чтобы сделать карьеру военного. Я по-прежнему лелеял мечту быть агрономом и трудиться после войны в каком-нибудь углу бескрайних российских просторов”.

Василевский был выпущен из училища 20-летним прапорщиком. Он вспоминал: “Я серьезно изучал сочинения А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Д. А. Милютина, М. Д. Скобелева, а также М. И. Драгомирова.

Прежде чем попасть на фронт, до сентября 1915 года ему пришлось побывать в ряде запасных частей. Затем он оказался на Юго-Западном фронте – в 9-й армии, составлявшей левое крыло фронта.

Весной 1916 года, незадолго до начала известного Брусиловского прорыва он был назначен командиром первой роты 409-го Новохоперского полка 103-й пехотной дивизии. Командир полка Леонтьев признал первую роту одной из лучших в полку по боевой подготовке, воинской дисциплине и боеспособности. Этот успех объяснялся доверием, которое оказывали ротному командиру солдаты. Его рота отличалась успешными боевыми действиями в ходе Брусиловского наступления.

После октября 1917 года у Александра Михайловича назревало решение оставить военную службу. Он вспоминал: “Старая армия и Советское государство несовместимы. Значит, военной карьере пришел конец. С чистой совестью готовился я отдаться любимому делу, трудиться на земле. В конце ноября 1917 года я уволился в отпуск”.

Но отдых в родных краях длился недолго. Он убедился, что обстановка в стране не такая, чтобы думать о сельскохозяйственном вузе. Также не было средств к существованию, было необходимо сделать выбор дальнейшего жизненного пути. И он был сделан в пользу продолжения службы: в конце декабря 1917 года Кинешемский уездный военный отдел при местном Совете переслал Василевскому телеграфное сообщение о том, что общее собрание 409-го полка, в соответствии с действовавшим тогда в армии принципом выборного начала, избрало его командиром полка.

15 января 1918 года был издан декрет об организации РККА. После июня 1918 года начался развернутый призыв в РККА по мобилизации. Резко возросло число военных инструкторов. Из них примерно пятая часть являлась бывшими офицерами, остальные унтер-офицерами. Как у военного инструктора дело у Василевского шло неплохо, но полного удовлетворения он не получал. “Мне казалось, что я мог бы принести больше пользы, так как имел уже некоторый боевой опыт. Однако военотдел не привлекал меня более к активной работе по защите Советской Родины... сказалось некоторое недоверие ко мне, как выходцу из семьи служителя культа, офицеру царской армии, имевшему чин штабс-капитана”, – отмечал Василевский.

С разрешения уездного военкомата он подал заявление с просьбой зачислить его учителем.

В сентябре 1918 г. он прибыл сперва в начальную школу села Верховье, а затем села Подъяковлево Новосильского уезда.

В апреле 1919 года Василевский был призван Новосильским уездным военкоматом на службу в РККА и направлен в 4-й запасной батальон, дислоцированный в городе Ефремове. Его назначили взводным инструктором (помощником командира взвода).

Летом 1919 года резко обострилась военно-политическая обстановка. К Тульской губернии приближался Южный фронт. В Тулу из Ефремова был переведен 4-й запасной батальон, который был развернут в полк двухбатальонного состава. Василевского сначала назначили командиром одной из рот, а по прибытии в Тулу полк приступил к формированию третьего батальона, командиром которого стал Василевский.

По приказу ревкома в начале октября 1919 года он вступил в командование 5-м стрелковым полком Тульской стрелковой дивизии, которая в декабре получила приказ отправляться на Западный фронт. В порядке реорганизации в соответствии с боевой обстановкой.

Вышестоящие начальники неизменно отмечали его успешные и умелые боевые действия.

В 1924 году – первом году военной реформы – Василевский возглавлял дивизионную школу младшего командного состава.

В 1926 году, будучи командиром 143-го стрелкового полка, Василевский прошёл годичное обучение на отделении командиров полков стрелково-тактических курсов “Выстрел”. Это одно из старейших и авторитетнейших заведений Вооруженных Сил СССР.

По окончании курсов в августе 1926 года Василевский вернулся в свой 143-й полк. Он отмечал: “В то время командующим войсками Московского

округа стал Борис Михайлович Шапошников. В своих воспоминаниях я буду много писать об этом необыкновенном человеке”.

В конце ноября 1928 года Василевского переводят в отстающий 144-й стрелковой полк. И осенью 1930 года на инспекторской проверке эта часть занимает в дивизии первое место. Отличную оценку он получил в том же году и на осенних окружных маневрах.

В 1936 году после службы в Приволжском военном округе Василевский зачисляется в Академию генерального штаба, по окончании которой в звании комбрига он получил назначение в Генеральный штаб.

Сначала исполнял там должность помощника начальника оперативного отдела, а с середины 1939 года, когда создано Оперативное управление, стал помощником, затем заместителем начальника управления по западу. Он стал ведущим лицом при разработке наиболее ответственных планов советского командования.

В начале Великой Отечественной войны, 25 августа 1941 года А. М. Василевский назначается начальником Оперативного управления и одновременно становится заместителем начальника Генерального штаба.

Непосредственно участвует в планировании операций по отражению вражеских ударов и разгрому немецко-фашистских войск на подступах к Москве.

С. М. Штеменко вспоминал: “...Все возникшие трудности преодолелись им с завидным спокойствием, с изумительной выдержкой. Глубокое знание природы войны и способность предвидеть ход и исход самых сложных сражений очень скоро выдвинули А. М. Василевского в первый ряд советских военных руководителей.

Отличительной чертой Александра Михайловича всегда было доверие к подчинённым, глубокое уважение к людям, бережное отношение к их достоинству. Он тонко понимал, как трудно сохранять организованность и четкость в критической обстановке неблагоприятно развивавшегося для нас начала войны, и старался сплотить коллектив, создать такую рабочую обстановку, когда совсем не чувствовалось бы давление власти, а лишь ощущалось крепкое плечо старшего, более опытного товарища, на которое в случае необходимости можно опереться. За его теплоту, душевность, искренность мы все платили ему тем же. Василевский пользовался в Генштабе не только высочайшим авторитетом, но и всеобщей любовью” (Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны Кн. 1. М.: Воениздат, 1981, с. 182).

Далее генерал С. М. Штеменко вспоминал, что не один раз работа Василевского в действующей армии была сопряжена с большим риском для жизни, но всегда выполнялась в срок и с безупречной точностью, а доклады его в Ставке отличались исчерпывающей полнотой и ясностью. Эти его качества Верховный Главнокомандующий оценил в полной мере и всё чаще стал посылать Александра Михайловича на фронт, когда возникала необходимость поглубже проанализировать тот или иной вопрос и выработать наиболее верное решение, сформулированное в виде готовых предложений. Александр Михайлович умел постоять за собственную точку зрения даже перед Верховным Главнокомандующим, делая это тактично, но достаточно твёрдо.

Далее Штеменко подчеркнул:

“Для оперативного почерка А. М. Василевского характерна решительность замысла, стремление окружить противника, отсечь ему пути отхода или расколоть его группировку таким образом, чтобы по мере развития операции угроза изоляции нависала бы над ним всё более и более. Таковы типичные черты Острогожско-Россошанской, Сталинградской, Белорусской, Мемельской и многих других операций, подготовка и проведение которых осуществлялась при личном участии Александра Михайловича. Печать решительности лежит и на Восточно-Прусской операции, во время которой А. М. Василевский командовал 3-м Белорусским фронтом, заменив погибшего в феврале 1945 года И. Д. Черняховского. За свои действия он всегда был готов безоговорочно держать ответ перед Родиной, а это, как известно, является высшим проявлением мужества военачальника. Успехами не кичился. Враг всякого приукрашательства, Василевский никогда в таких случаях не акцентировал внимания на собственной персоне, хотя роль его была подчас решающей” (Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. Книга первая. С. 183).

В июне 1942 года А. М. Василевский был назначен начальником Генштаба, сменив Б. М. Шапошникова, который в свою очередь 30 июня 1941 года сменил на этом посту Г. К. Жукова. Сталин предпочёл использовать его командный опыт непосредственно в войсках.

Василевский вспоминал о Шапошникове: "... Борис Михайлович образно называл Генеральный штаб "мозгом армии", вполне резонно и научно обоснованно говорил, что начальник Генерального штаба должен постоянно быть в центре военных событий, во главе его работы, его проблем, чувствовать пульс борьбы с врагом на всех фронтах и оказывать на неё влияние.

Но вряд ли справедливо усматривать в этих ценнейших советах Б. М. Шапошникова как бы его рекомендации, что наиболее выгодным, целесообразным и постоянным местом для работы начальника Генерального штаба для успешного выполнения им и Генштабом в целом могут быть лишь стены Генштаба и Ставки.

Я считаю, в этом вопросе Борис Михайлович полностью разделял линию Ставки. Работая под его непосредственным руководством в течение последних месяцев 1941-го и первой половины 1942 года и имея с ним в дальнейшем до 1945 года постоянную телефонную связь, которая позволяла мне нередко вести разговоры с ним и получать от него необходимые советы, я не мог не убедиться в этом" (Василевский А. М. Дело всей жизни. С. 467).

Важнейшие вопросы стратегического планирования обсуждались предварительно в Ставке в узком кругу лиц – И. В. Сталин, Б. М. Шапошников, Г. К. Жуков, А. М. Василевский, Н. Г. Кузнецов.

Г. К. Жуков отмечал: "Кого посылала Ставка в качестве своих основных представителей в Действующую армию?"

Прежде всего, членов Ставки, в том числе К. Е. Ворошилова, Г. К. Жукова, С. К. Тимошенко. Постоянным представителем Ставки в войсках являлся начальник Генерального штаба А. М. Василевский...

Лично мне за годы войны пришлось выезжать в Действующую Армию в качестве представителя Ставки не менее 15 раз.

Так же много бывал на фронтах и Александр Михайлович Василевский. Нам не раз приходилось вместе выезжать в район военных действий и участвовать в разработке и проведении таких крупных операций, как Сталинградская, битва на Курской дуге, наступление на Правобережной Украине и освобождение Белоруссии. Все, кому приходилось работать с Александром Михайловичем, отмечают его глубокие знания, четкость и ясность мышления. А. М. Василевский не терпел недоработок и "догадок на авось", а всегда требовал от лиц, готовивших операции, твердых, точных данных и обоснованных прогнозов. С большим удовлетворением я всегда вспоминаю нашу дружную работу по организации и проведению операций (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. Кн. 1. Изд-во "Агентство печати новости". М., 1978. С. 291-292).

В феврале 1945 года А. М. Василевский прибыл в Действующую армию не как представитель Ставки, а как командующий 3-м Белорусским фронтом, заменив одного из лучших полководцев Красной Армии, одного из талантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Великой Отечественной войны.

По решению Ставки Верховного Главнокомандования 21 февраля 1945 года действовавшие в Восточной Пруссии войска были приданы в состав 3-го БФ. На этот фронт была возложена ответственность за ликвидацию всех находившихся там соединений противника. 1-й Прибалтийский фронт упразднился, а его войска, переименованные в Земландскую группу (по наименованию полуострова), включились в состав 3-го БФ. Генерал армии И. Х. Баграмян был назначен командующим Земландской группой войск и одновременно заместителем командующего 3-м БФ.

БФ последовательно осуществил успешные операции по ликвидации следующих группировок врага: сначала разгромил наиболее крупную, хейльсберскую; затем, перестроив войска, нанес последовательные, хорошо подготовленные удары по кенигсберской и, наконец, по земландской группировке.

А. М. Василевский вспоминал подвиги своих подчинённых по 3-му Белорусскому фронту.

"В боях за Кенисберг советские воины вновь проявили изумительную стойкость, бесстрашие, массовый героизм. За примерные подвиги около

200 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Назову некоторых из них: рядовые А. Н. Бордунов, А. А. Людвиченко, В. П. Миронов, П. Е. Павлов, сержанты Ф. С. Игнаткин, И. В. Кутурга, Н. М. Королёв, И. Н. Федосов, старшины А. Т. Сучков, А. Е. Черемухин, И. П. Чиликин, лейтенанты И. П. Сидоров, парторг роты Г. Ф. Молочинский, командир батареи А. П. Шубин, командир взвода С. А. Мельников, комсорг батальона А. М. Яналов, командир пулеметной роты Н. А. Катин, командиры стрелковых дивизий генерал-майоры И. Д. Бурмаков и М. А. Пронин, командующий артиллерией 11-й гвардейской армии генерал-лейтенант П. С. Семёнов, командиры корпусов генерал-лейтенанты М. Н. Завадский, генерал-майор С. С. Гурьев и многие другие. Командующий 43-й армией генерал-лейтенант А. П. Белобородов и лётчик гвардии старший лейтенант П. Я. Головачёв были награждены второй медалью “Золотая Звезда”. Тысячи воинов получили ордена, десятки тысяч – медали. Правительственных наград были удостоены многие полки и дивизии, а 97 частям и соединениям присвоено почетные звания Кенигсбергских. Учрежденная в июне 1945 года медаль “За взятие Кенигсберга” была вручена всем участникам борьбы за столицу Восточной Пруссии” (Василевский А. М. Дело всей жизни. С. 457).

В последующем немаловажную роль в создании благоприятных условий для успешного проведения Берлинской операции сыграл 3-й Б. Ф. Когда И. В. Сталин предложил А. М. Василевскому принять командование войсками этого фронта, он охотно согласился.

Вместе с тем, он большим сожалением расстался тогда с замечательным коллективом Генерального штаба после почти восьмилетней непрерывной работы в нём. Он вспоминал: “С этим коллективом я встретил и войну, с ним я пережил самые её трудные и тревожные для страны дни, с ним я радовался и нашим первым победам, которые для нас, генштабистов, имели ещё и особый смысл” (Василевский А. М. Дело всей жизни. С. 464).

На посту начальника генштаба А. М. Василевского сменил его 1-й заместитель генерал-армии А. И. Антонов.

Проведенная в исключительно сложных условиях Восточнопрусская наступательная операция явилась одним из показателей огромной боевой мощи Советских Вооруженных Сил и зрелости военного искусства.

Богатый боевой опыт накопили не только наземные войска, но и Балтийский флот, совместно действуя на протяжении всей этой операции. Флот, блокируя побережье Восточной Пруссии, наносил успешные удары по важнейшим морским коммуникациям врага.

Как известно, заключительным этапом Второй мировой войны явилась кампания советских войск на Дальнем Востоке.

Александр Михайлович вспоминал: “То, что мне придётся ехать на Дальний Восток, я впервые узнал летом 1944 года. После окончания Белорусской операции И. В. Сталин в беседе со мной сказал, что мне будет поручено командование войсками Дальнего Востока в войне с милитаристской Японией.

А о возможности такой войны я был уже осведомлён в конце 1943 года, когда возвратилась советская делегация во главе с И. В. Сталиным с Тегеранской конференции. Мне было тогда сообщено, что наша делегация дала союзникам принципиальное согласие помочь в войне против Японии...

Союзники признавали решающее значения вступления СССР в войну против Японии. Они заявляли, что только Красная Армия способна нанести поражение наземным силам японским милитаристов.

“Победа над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы” – такого мнения придерживался главнокомандующий американскими вооруженными силами в бассейне Тихого океана генерал Макартур” (Василевский А. М. Дело всей жизни. С. 496–497).

Как только закончилась Восточнопрусская операция, Василевский был отозван Ставкой с 3-го БФ на должность заместителя народного комиссара обороны. 27 апреля он включился в работу над планом войны с Японией. Но до Ялтинской конференции никакой детализации плана войны против Японии не производилась.

Война должна была развернуться на территории площадью около 1,5 млн кв. км и на глубину 200–800 км, а также на акватории Японского и Охотского морей. План состоял в том, чтобы одновременно нанести со стороны Забайкалья, Приморья и Приамурья главные и ряд вспомогательных ударов по

сходящимся к центру Северо-Восточного Китая направлениям с целью расчлени и разгромить по частям основные силы Японской Квантунской армии.

Это армия за лето 1945 года удвоила свои силы. Японское командование держало в Маньчжурии и Корее две трети своих танков, половину артиллерии и отборные императорские дивизии. К началу войны против СССР японская армия на Дальнем Востоке вместе с марионеточными войсками местных правителей насчитывала свыше 1 млн человек.

Японские военные силы опирались на богатые материальные, продовольственные и сырьевые ресурсы Маньчжурии и Кореи и на маньчжурскую промышленность, производившую в основном всё необходимое для жизни и боевой деятельности.

Оба Дальневосточных фронта не имели достаточных сил для разгрома японских войск и скорейшего окончания войны. В срочном порядке была проведена небывалая ранее стратегическая перегруппировка сил и средств с западного театра военных действий на Дальний Восток. Осуществлялись перевозки по однопутной железнодорожной магистрали в крайне сжатые сроки на огромные расстояния от 9 тыс. до 12 тыс. км. Это не имело себе равных в истории 2-й мировой войны, является поучительной стратегической операцией. Это стало под силу только СССР.

Все сосредоточенные на Дальнем Востоке войска были объединены в три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные, которым соответственно командовали Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, генерал армии М. А. Пуркаев.

Руководство Военно-морскими силами на Дальнем Востоке Ставка возложила на Главнокомандующего Военно-морскими силами СССР адмирала флота Н. Г. Кузнецова.

Непосредственно Тихоокеанским флотом командовал адмирал И. С. Юмашев. Амурская флотилия была под началом контр-адмирала Н. В. Антонова.

30 июля 1945 года было создано Главнокомандование советскими войсками на Дальнем Востоке и главнокомандующим был назначен А. М. Василевский.

Наступление советских войск проходило в условиях упорного сопротивления врага. Совместное с Монгольской народно-революционной армией наступление развилось успешно. Именно успешные действия Советских Вооруженных Сил, по признанию японского руководства, а не атомная бомбардировка городов Японии 6 и 9 августа 1945 года, решили судьбу Японии и ускорили окончание Второй мировой войны.

С 19 августа японские войска почти повсеместно начали капитулировать. В плену у советских войск оказалось 148 японских генералов, 594 тыс. офицеров и солдат. К концу августа было полностью закончено разоружение Квантунской армии и других сил противника, располагавшихся в Маньчжурии и Северной Корее. Успешно завершились операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.

По завершении Великой Отечественной войны 24 июня 1945 года на Параде Победы сводный полк 3-го Белорусского фронта возглавил А. М. Василевский.

Высшим военным орденом — орденом “Победа” дважды награждены А. М. Василевский, Г. К. Жуков, И. В. Сталин.

Выдающийся советский русский полководец Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский в книге воспоминаний “Дело всей жизни” писал: “Я счастлив и горд, что в труднейшую для Родины минуту мог принять посильное участие в борьбе наших доблестных Вооруженных Сил и вместе с ними пережил горечь наших неудач и радость победы”.

ИРИНА УШАКОВА

ЗА ЧЕСТЬ РОССИИ И СЕРБИИ

*Памяти слависта, председателя Общества Русско-Сербской дружбы
Ильи Числова*

Повторю известное, но это данность: Сербия близка нам по крови и по духу, но ещё и потому, что это страна, где нас, русских, любят.

Сходство нашей истории и единство славянской судьбы бесспорны. От битвы с мусульманским миром на Косовом поле и на Куликовом поле – до освободительного движения на Балканах в 1870-е годы, о котором так живо написал Ф. М. Достоевский в “Дневнике писателя”, от Первой мировой войны и геноцида славян в Ясеновце в 1941–1945 годах до столкновения с англосаксонской агрессией в конце XX века: нам было прописано разрушение экономики и культуры изнутри, а сербам уготованы ковровые бомбардировки и заражение территории обеднённым ураном.

В 1990-е и 2000-е годы одним из лидеров консолидации русского патриотического движения и радетелем русско-сербской солидарности стал известный переводчик, член Союза писателей России (с 1992 года), председатель Общества Русско-Сербской дружбы, главный редактор Собрания творений святителя Николая Сербского на русском языке Илья Михайлович Числов (14.03.1965–16.12.2019).

Молодого учёного ценил художник Илья Глазунов. Для скульптора Вячеслава Клыкова Числов был главным помощником и консультантом по сербским вопросам. Он решал вопросы, подготавливал возможность установки первой работы В. Клыкова в Сербии (Нови-Сад) – памятника преподобному Сергию Радонежскому, – затем святителю Николаю Сербскому в Белграде. Илья Михайлович встречался и не раз беседовал с академиком И. Р. Шафаревичем, с писателем В. Г. Распутиным, сербским философом и публицистом Драгошем Калаичем, чьи сборники статей, к примеру, “Третья мировая война”, перевёл на русский.

Илья Числов с отличием окончил славянское отделение филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности “сербский язык и литература”, учился в аспирантуре Института славяноведения и балканистики РАН, преподавал в Государственной академии славянской культуры, в православных учебных заведениях.

Его мастерски созданные художественные переводы признаны в профессиональной среде лучшими. Главный труд его жизни – перевод творений святителя Николая Сербского, а также религиозно-философской поэмы “Луч микрокосма” величайшего сербского и крупнейшего южнославянского поэта, митрополита и правителя Черногории Петра II Негоша (1813–1851), по своему поэтическому дарованию равного для сербов нашему Пушкину.

“Специфика сербского вопроса, – говорил И. Числов, – заключается в том, что сербы при своём, несомненно, более западном менталитете (обусловленном, прежде всего, причинами географическими) одновременно сохранили в себе гораздо больше исконного, нежели те, кого они всегда (и абсолютно справедливо) почитали за старшего брата. “Сербы – такие, какими мы были когда-то”, – эти слова Вячеслава Клыкова весьма точно отражают суть затронутой проблемы. Открывая для себя Сербию, мы открываем самих себя. Вновь обретаем собственное естество (или по крайней мере какую-то часть онога)”.

И. М. Числовым написаны сотни научных и публицистических статей об истории, культурной и духовной традиции России и Сербии, переведены десятки книг замечательных сербских поэтов (Слободанки Антич, Ранко Радовича) и прозаиков (Лиляны Хабьянович-Джурович), составлена Антология сербской поэзии XX века (2003). Числова заслуженно считают исследователем духовного наследия святого Саввы Сербского, редактором трудов преподобного Иустина (Поповича).

Во многом благодаря И. М. Числову православные люди в России осознали значение для нас Сербии и сербской традиции. И верно, слушая горячие выступления Числова, ощущая теплоту его любви к солнечным Балканам, невозможно было не полюбить Сербию. И – свидетельствовать – невозможно было остаться равнодушным к православным святыням. Ему дана была мудрость – не по годам – и дар укреплять человека в вере.

С момента учреждения Общества Русско-Сербской дружбы (1991) И. Числов был его секретарём, а с 1996 года – председателем Общества. Ежегодно члены Общества проводили сами или участвовали в конференциях по славистике, бывали на различных мероприятиях в Сербии, Черногории. В 2015 году на Видовдан (день Косовской битвы) И. Числов возил студентов и школьников даже в ныне оккупированное, но по-прежнему не сломленное сербское Косово. С 1995 года председатель Общества ежегодно организовывал школьный праздник в день святого Саввы Сербского в Ховринской православной гимназии, а затем в школе имени апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Москве.

Владыка Черногорский и Приморский Амфилохий (Радович), несомненный авторитет в православном мире, благословлял Илью Числова много лет. “Я жив только благодаря молитвам владыки Амфилохия”, – говорил он в последние месяцы жизни.

В 2017–2018 годах Общество Русско-Сербской дружбы принимало в Москве известного поэта Ранко Радовича, провело две презентации поэмы Петра Негоша в переводе И. Числова. Выходили десятки публикаций на церковные и культурологические темы, Илья Михайлович выступал на радио “Радонез”, “Русский мир”. Его чеканный голос, внушительный тон и академическая манера выступлений незабываемы! В Сербии и в России прошло несколько выставок и творческих встреч, посвящённых семье последнего русского Государя. Сербы помнят, что Русский Царь спас их в 1914 году, и платят благодарной памятью и любовью нам. Улицы многих сербских городов называют именем Государя Николая II, а в Белграде в его честь возвели уже второй памятник.

Выступления Ильи Числова на патриотических собраниях, на страницах “Нашего современника” и “Русского вестника” ещё в начале 1990-х бодрили дух соратников и укрепляли русскую соборность. Это было время разрухи и неразберихи, из которого, несмотря ни на что, пробивалась надежда на возрождение национальной культуры и русского самосознания...

В апрельском номере “Исторической газеты” за 1999 год мы дали обращение Слободана Милошевича, а также подборку писем простых американцев своему президенту с требованиями прекратить бомбёжку Югославии. Тогда же одно за другим проходили мероприятия в поддержку сербов, в основном в здании Международного центра славянской письменности и культуры, где выступал в том числе Илья Числов. Редактор “Исторической газеты”, мой учитель Анатолий Парлара, хорошо знавший отца Ильи Михайловича – далеко не последнего человека в литературе и на общественном поприще в 1970–1990 годы, – сказал об Илье: “Вот кремень! Он выступил за всех нас!”

Илья Михайлович до конца оставался таким же непреклонным бойцом, как и в 1990-е годы. Он не был замкнут в профессиональном научном мире,

хотя до последних дней работал в архивах со старославянскими текстами, переводил святоотеческую литературу. Его острая публицистика помогала нам разбираться во многих тревожных явлениях современной жизни, понимать духовные основы политических отношений России и Сербии.

К 20-летию начала американско-НАТОвской агрессии против суверенной Югославии в газете “Слово” был опубликован его материал “Уроки славянского мужества”. В нём, частности, автор напоминал: “Несмотря на предательство Ельцина и Черномырдина, несмотря на колебания собственного политического руководства (под давлением не столько с Запада, сколько с Востока), сербский славянский народ и православное сербское воинство явили миру подлинное чудо стойкости и героизма, равно как и ясное понимание глубинного смысла происходящего. Сербские зенитчики сбивали новейшие самолеты США, Англии и Франции с помощью устаревших ракетных комплексов, умело используя возможность горной местности и радиопомехи. Подполковник Живота Джурич, расстреляв боекомплект, пошел на таран (!) американского бомбардировщика и погиб вместе с не успевшим катапультироваться врагом. Иконы с изображением трёхлетней Милицы Ракич – одной из первых жертв американских ракетно-бомбовых ударов по сербским городам и сёлам – вскоре стали известны по всей стране, и, хотя до официальной канонизации дело тогда не дошло, почитание этой юной мученицы в ряде сербских областей приобрело такой же характер, как и аналогичное почитание у нас на Руси священномученика младенца Гавриила Белостокского”.

Мы говорим сегодня о безвременно почившем выдающемся учёном потому, что он не просто внёс вклад в сербистику и славянскую литературу и историю, но он расширил для русских и сербов понимание нашей истории и культуры, дал нам возможность осознать самих себя, а это нам сейчас необходимо, прежде всего.

Для И. Числова переводческая деятельность героического сербского эпоса и святоотеческой литературы стала жизнью и судьбой. Героическое восприятие мира руководило им. Русский учёный верил, что и для Европы, “любимой дочери Христа”, по словам святителя Николая Сербского, стержнем остаётся героический идеал, несмотря на попрание европейцами христианской традиции. Поэтому столь высоко ценил он героическое начало в сербской традиции и генетической памяти. “От легендарных юнаков до нашего современника Симо Дрлячи, бывшего начальника полиции города Приедора, предательски окружённого уже в “мирное” время целым взводом британского спецназа (при поддержке бронемашин и вертолётов), но всё же успевшего встретить прицельным одиночным выстрелом первого из натовских убийц, красной нитью, под цвет крови и багряницы, проходит в сербской традиции эта центральная, жизнеутверждающая линия, – писал И. Числов в своей статье “Косовский завет”. – Под цвет крови и багряницы – ибо в основе всего лежит Косово, царская жертва на Косовом поле”.

В конце XIV столетия сами западные европейцы сравнивали битву на Косовом поле с битвой при Пуатье (732), положившей конец арабскому наступлению с Юга. “И тогда уже, – продолжал Числов, – поражённая многими язвами, уврачевать которые можно было бы только елеем истинной веры, а никак не с помощью яда католицизма, в ту пору Западная Европа всё ещё сохраняла немалую толику прежней чести и достоинства. Если бы тогдашние европейцы могли видеть своих жалких потомков, поддержавших в 1999 году военную агрессию США против сербского народа, они, вероятно, содрогнулись бы – если не от стыда, то от презрения”.

В работах Ильи Михайловича русские, сербы – лучше, чем мы есть на самом деле. Он мог резко судить тех, кто проявлял слабость в защите национальных интересов. Но он поддерживал тех, кто хоть сколько-нибудь послушал России. Сколько раз в тесной квартирке Числовых находил уютный поэт Николай Мельников! Сколько сербских фильмов перевёл Илья Михайлович для международного славянского кинофестиваля “Золотой витязь”, у истоков которого стояли Н. Мельников и Н. Бурляев! Сколько рукописей для переводов бесконечно летело к нему от русских и сербов, и редко с кого он брал деньги за работу. “Это надо для дела!” – был один ответ. Илья вкладывал монетку в каждую протянутую руку, останавливаясь в подземном переходе, среди людского потока на тротуаре, даже если мы очень спешили на какое-то мероприятие. “Равнодушием отчей земли не обидел” – это о нём.

К Илье Михайловичу, вне сомнения, относится понятие “русский интеллигент, представитель элиты”. И вовсе не потому, что он мог на сербском языке читать курс латыни. Элита – это те, кто берёт на себя ответственность за всё, что происходит со страной и с народом. Как горько, что такого уровня слависту в последние полтора десятка лет не нашлось места на кафедрах наших вузов! Досадно, когда представляешь, что могла получить от него наша молодёжь.

При общении с Ильёй Числовым, обладавшим огромной эрудицией, глубоко знавшим и любившим зарубежную и русскую историю, литературу, философию, казалось, что он человек XIX века. Особо близки ему были славянофилы А. С. Хомяков, С. Т. Аксаков, К. Н. Леонтьев, Ф. М. Достоевский. Лермонтовские строки приводили его в восторг, возвращая ко времени раннего детства, когда и вошли они в его плоть и кровь. Из Серебряного века ему был близок Николай Гумилёв – офицер, одним из первых испивший чашу русской трагедии.

Илья Числов сам был русским офицером. Служил в войсках ПВО, хотя в МГУ была военная кафедра. Его деды воевали в Великую Отечественную, прадеды были царскими офицерами. Ему одинаково близки были герои Куликовской битвы, Косовской битвы и герои Первой мировой войны, святые Борис и Глеб и воин Женя Родионов. Он глядел будто поверх нашего земного времени. Брал только суть. Спешил жить – честно, напряжённо и предельно просто.

И. Числов часто повторял, что святитель Николай Сербский верил в возрождение, в воскрешение Европы. Приводил пример, как 12 итальянских солдат приняли Православие в монастыре Высокие Дечаны в Косове, где с древних фресок смотрят на нас святые воины с обнажёнными мечами и Христос с мечом в деснице, говоря, что “не мир Я принёс вам, но меч”.

Если бы он не был человеком глубоко верующим, о нём можно было бы говорить только в горизонтальном измерении. Но Илья был человеком, устремлённым в Вечность, соизмерявшим каждый свой шаг со святоотеческим учением. Без благословения духовника и без Святого Причастия он не приступал ни к какой работе. Зная это, помня его искренность во всём, теперь легче думать о переходе его в Вечность. И всё же смириться с его уходом невозможно, потому что ему замены нет.

Нынче, в разгар грозных событий в Черногории Илья был бы уже там, как и прежде – в 1992 году, в 1999-м. Теперь же он ушёл туда в другом качестве. И сербы знают это лучше нас. Свидетельством тому приходящие нам, его соратникам, письма из Сербии. “Многие сербы зажигают сегодня свечу за великого сербского друга”, – написал общественный деятель Ранко Гойкович.

Радиожурналист Мария Живкович, вот уже 20 лет автор передачи “Матушка Россия” на радио “Светигора” (Черногорско-Приморская епархия), прислала, в частности, такие слова, обращённые к Илье, в Вечность: “Кто бы ещё сказал о нордическом мифе, индоевропейских достоинствах и художественном наследии Византии в православной сербской культуре, кто бы изрёк, что “сербская духовная культура – основа сербской славянской стойкости”, если бы Вы “случайно” не попали в сербскую группу во время своей учёбы в МГУ?

Но сейчас я слышу Вас особенно ясно и отчётливо, когда Вы говорите, что сербы в большинстве своём в нравственном отношении выше своего врага. Причём “не на копьё”, как говорят у нас, а “на два копьё”. Дорогой Илья, не посмеют Вас забыть те, кто Вам столь обязан и за кого Вы были готовы умереть”.

Нам же остаётся стремиться быть достойными лучших представителей своей нации. “Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стонет” (Притч. 29: 2).

Илья Михайлович, воспитавший в Вере и любви к Отечеству троих собственных детей, отдавал все силы работе со школьниками, понимая, что прививать, поддерживать православную и национальную традицию необходимо с детства. Девять лет вместе с послом Сербии в России Славенко Терзичем они организовывали в Сербском посольстве музыкальные и поэтические конкурсы “Сербия в сердце моём” (все эти годы конкурс, как и само Общество Русско-Сербской дружбы, работали без малейшей материальной поддержки). Школьники со всей России приезжают на этот форум и читают наряду с русской классикой произведения Петра Негоша, Йована Дучича, Милана Ракича,

Владислава Петковича Диса, Светислава Стефановича и др. Если бы по нашему ТВ показали хоть на пять минут эту мощную славянскую стихию, так естественно воспринимаемую детьми, то по контрасту с ней все смогли бы наконец увидеть ту бездну извращённого сатириками-русофобами пластмассового мира, в которую мы все опрокинуты!

“Русский воин непобедимого славянского духа”, – сказала об Илье Числове руководитель Историко-этимологической школы “Ростки” им. академика О. Н. Трубачёва, преподаватель церковно-славянского, английского и немецкого языков школы им. лётчика Н. Ф. Гастелло (г. Долгопрудный) Н. С. Корольчук.

Лучшим другом Ильи Числова был участник Балканской войны, русский доброволец Владислав Кассин. Надо отметить, что учёному академического склада, каким был Числов, заслужить уважение людей, прошедших ужасы войны, нелегко. Но Илья заслужил. Как Михаил Лермонтов заслужил доверие казачьей сотни. Учёный-славист был одного боевого духа с русскими добровольцами.

“Духовное наследие славянского мира, – считал Илья Числов, – востребовано сегодня самой жизнью. Роль Церкви в современном обществе, особенно в православных странах, стремительно возрастает. И точно так же естественным образом крепнет и актуализируется европейская и индоевропейская самоидентификация славян. Глупо было бы не считаться с этим объективным процессом. И поистине самоубийственно – пытаться противостоять ему”.

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ “ПРОБУЖДЕНИЯ”

ЧУВСТВО РОДИНЫ В ЭПОХУ СМУТЫ

Год назад “Наш современник” начал публикацию романа Андрея Тимофеева “Пробуждение”. Первые две части появились в мартовской книжке журнала, ещё две в апрельской.

Роман вызвал живой отклик. 17 материалов в газете “Правда”. 2 статьи и 70 комментариев на сайте “Росписатель”. 2 рецензии в “Дне литературы”. По одной в “Нашем современнике” и “Красной весне” (газета движения “Суть времени”).

Давно ли вы читали столько откликов на литературную новинку? Полярно противоположных – восторженных и разносных. Признайтесь, такой реакции не было много лет.

Почему же роман Андрея Тимофеева выломился из общего ряда? Почему сочинение молодого автора, не разрекламированного премиально-издательским лобби, оказалось в центре литературно-общественных споров?

Конечно, первой приходит мысль о таланте писателя. И мы ещё будем говорить о его мастерстве. Однако талант – понятие достаточно субъективное: кто-то способен оценить, кто-то нет.

Поэтому начну с причины бесспорной. “Пробуждение” насыщено приметами недавнего времени – событиями, ожиданиями, опасениями эпохи драматичной, переломной, как тогда казалось. Роман открывается фразой: “Эта история началась для меня 15 марта 2014 года, накануне референдума о статусе Крыма”.

И далее – без сюжетной раскачки, – как газ под давлением выталкивается из баллона: “...Где-то у метро, на автобусных остановках, в уютных кафешках собирались тысячи людей – собирались, чтобы потом разделить на две части, на два больших митинга”.

И глубже – по разлому, до сих пор раскалывающему общество: “Один должен был состояться на проспекте Сахарова – мои знакомые называли его белоленточным... О втором, начинавшемся рядом с метро Трубная, я знал совсем мало, но в нём собирался участвовать мой друг и сосед по съёмной квартире Андрей Вдовин, человек мрачный и суровый, а потому и митинг представлялся мне именно таким”.

Любопытная деталь – о противниках белоленточников рассказчик Владимир Молчанов сообщает на контрасте: “...О втором... я знал совсем мало”.

Значит, про собравшихся на Сахарова он знает больше, но всё внимание сосредоточивает на их оппонентах. Так на первой же странице герой делает выбор. Точнее, первый шаг на пути к выбору, который приведёт его к движению “Суть” под руководством Сергея Кургузова.

Не стану оценивать этот шаг, хотя я много говорил о нём с Тимофеевым. Меня как редактора прежде всего волновало наложение романного сюжета на воспоминания о реальных событиях. Год назад эти воспоминания обострились предельно: в марте отмечали пятую годовщину присоединения Крыма и начала донбасской кампании.

Я торопил Андрея. И в конце концов пошёл на серьёзный риск: сдал в типографию первые две части, ещё не зная, чем кончится роман. Риск оправдался! Дыхание узнаваемой эпохи наполняет, движет многоуровневую романную структуру. Опытный критик, друг Валентина Распутина Виктор Кожемяко, открывая дискуссию в “Правде”, заметил: “Время совсем недавнее, не успевшее остынуть. Жар украинско-донбасских событий словно овеивает страницы повествования, жгуче отражаясь в чувствах, мыслях и даже в судьбах персонажей, хотя живут они далеко от разгоревшейся войны – в Москве” (“Правда”, № 98, 2019).

События горячей эпохи органично и мощно вписаны в роман. Вот митинг “Сути”: “... Вдруг в стилом воздухе раздался хриплый голос: это был маленький человек в меховой шапке, стоявший на сцене у микрофона... Он сделал паузу, так что пространство вокруг натянулось и стало слышно, как кто-то коротко кашлянул, где-то лязгнуло железное ограждение, ветер вздохнул во флагах (тем, кто хотел бы начать разговор с таланта автора, предлагаю насладиться мастерством описания. – А. К.). А потом... по площади пронеслось надрывное: в Москве майдану не бывать...”

“В Москве майдану не бывать”, – повторили за человеком в меховой шапке сотни людей. Сначала – неуверенно, стесняясь своих голосов, слишком разных и нестройных. Но уже в следующее мгновение перестали сдерживаться, почувствовав знакомый напор в хриплых словах, как волки чуют запах своей стаи, и тогда вся площадь закипела: “В Москве майдану не бывать... В Москве майдану не бывать...”

Сцена митинга продублирована в третьей части – на этот раз он посвящён годовщине Октябрьской революции. А между двумя яростными многофигурными “фресками” – множество политической конкретики: зарисовки собраний “Сути”, куда вслед за Андреем и его девушкой Катей приходит Володя Молчанов, описание сбора вещей для Донбасса, хроника пикетов с раздачей листовок, рассказ об “осенней школе” в Васильевском, где Кургузов и его окружение программируют сознание участников.

Но эпоха, насквозь пропитанная политическими страстями, – лишь один пласт, один уровень сложного текста. “Пробуждение” – роман не только о времени, но и о любви. Молодой критик Юрий Харлашкин даже задаёт вопрос: “Что в романе главное: политика или любовь?” (“Правда”, № 12, 2019).

Если бы им задался сам Андрей Тимофеев, он бы написал произведение одномерное. К счастью, прозаик не разделяет тематические пласты. Политика, Эпоха вмешиваются в любовные отношения Кати с Андреем и Володи с комиссаршей “Сути” Варварой. Время корёжит их, испытывает на излом, и это вмешательство в человеческие судьбы придаёт тексту драматизм. С болезненной остротой вводит тему: человек – история, занимающую роковое место в веке XX. И, как показывает Андрей Тимофеев, не менее актуальную в новом столетии.

Уже на второй странице автор сталкивает порыв Кати, пришедшей на митинг поддержать любимого, с безличной мощью толпы. “Катя изо всех сил замахала ему ладошкой, но Андрей не заметил”. Здесь зерно любовного сюжета – до последних страниц, до прозрения Андрея, его превращения из зомбированного пушечного мяса в мыслящего и чувствующего человека, – события будут воспроизводить ту же матрицу.

Писатель ещё раз закрепляет мотив одиночества Кати, предельно расширяя его смысл. Уходя с митинга, Володя обернулся – “и не смог различить Катину фигурку посреди огромной площади”.

Столкновение человеческого порыва и надчеловеческого безразличия поднято на новый уровень, достигая впечатляющего обобщения. Если в первом случае Андрей мог заметить жест Кати (он стоял всего в нескольких

шагах от неё, но, увлечённый речами ораторов, не оглядывался), то во втором фигурку девушки не различить: масштаб человеческий сменяется масштабом истории.

Тему любви автор отдаёт Кате и Варе. Андрей и Володя – эмоционально ведомы. Они слишком рациональны и потому не способны полностью отдаться чувствам. “...Спрашивается, кто важнее ему – я или эта ячейка, – жалуется Катя рассказчику. – Почему ему больше нравится заниматься всякими политическими делами, чем быть со мной? Но ведь так не должно быть”.

Катя “мечтает оторвать (Андрея. – А. К.) от политики, оформить брак, родить ребёнка и подумывает даже вернуться в родной городок, чтобы жить в нём спокойной семейной жизнью, – пишет Валентина Семёнова, иркутский критик, знакомая с Валентином Распутиным. – Перед нами искренняя, непосредственная, с оттенком милой шаловливости молодая женщина... Катю жаль: она пока не догадывается, что история имеет свойство повторяться, и над её супружеством с Андреем нависла серьёзная опасность” (“Правда”, № 104, 2019).

Катя по-детски религиозна. Стремясь спасти любовь, она идёт в храм. Андрей Тимофеев психологически точно запечатлел эту сцену: “...Именно там, в глубине, находится единственный источник чуда, и в отчаянной надежде прикоснуться к нему и пришли сюда все они”.

Позднее она расскажет о своём порыве Володе: “...Я поняла... главное, это когда после самого мерзкого и отчаянного настроения вдруг просыпаешься, и так светло, и чувствуешь, как будто Бог рядом, и ты точно уверена, что это Он”.

Чистая вера так велика, что рассудительный Володя столь же эмоционально откликается на Катины слова: “Я смотрел на неё и удивлялся – откуда это в ней. Она выросла в обычном районном городке, ходила в школу, поступила в институт, но это стремление испытать мир и найти в нём главное, различить, что правдиво, а что нет, а потом прилепиться к этому правдивому, – было в ней всегда”.

Может быть, рассказчик, поддавшись силе Катиного чувства, преувеличивает. Девушка не стремится “испытать мир”, она хочет любви, семьи, счастья. Но, если вдуматься, разве не любовь – основа жизни и мира? По слову апостола: “Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто... Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится” (Ап. Павел, 1 Коринф. 13: 1-2, 8).

И откликаясь не только на Катину признанию, но будто вдохновляясь словами апостола, Володя – да нет, сам автор – торжественно завершает сцену: “...Почему-то казалось мне, что останутся в этом воздухе её, Катины, слова, и останется её уверенность, и её красота – и будут вечно, и ничто уже не сможет стереть из памяти мира ни одного доброго её слова, ни одной улыбки, ни одного движения души – и этого достаточно будет, чтобы мир стоял ещё”.

Поразительное проникновение в душу женщины, любование её душой! В современной литературе только у Валентина Распутина найдём такое же глубокое понимание женского характера. Думаю, не случайно среди ценителей “Пробуждения” оказались критики, близкие к писателю – Виктор Кожемяко, Валентина Семёнова.

А за героинями Распутина угадываются женские образы золотого века русской литературы. Ни в коем случае не равняю с ними Катю. Времена другие, да и масштаб другой. Говорю лишь о верности автора “Пробуждения” русской классической традиции. Той вере в животворное назначение женщины, которое отличает отечественную литературу.

Может показаться, что я делаю слишком поспешные выводы на основании одного женского образа. Но я помню Женю из повести Андрея Тимофеева “Навстречу”, Настю из “Меди звенящей”, героинь его рассказов.

Менее удачен, на мой взгляд, образ Вари. Это изломанный характер из замутнённого патологическими любовными отношениями истока. Характер, соединяющий несоединимое – горячечную сексуальность, истовую религиозность и революционный догматизм.

Конечно, в нынешние времена всевозможных патологий предостаточно. Однако плохо верится в то, что их можно соединить с партийным фанатизмом и подлинной религиозностью.

Это новый для Тимофеева женский образ. Сконструированный, искусственный.

Не стал бы придавать большое значение этой неудаче молодого писателя. За полвека работы в литературе я усвоил: плохой критик (и редактор) судит о тексте на основании неудач. Он в упоении выхватывает дисгармоничную строку, неточный эпитет и потрясает находкой: “Смотрите, не получилось!” Талантливый мастер оценивает текст по вершинам. Нет, он не отворачивается от неточностей и помарок (а они есть даже у лучших из лучших), указывает на них и по мере сил старается исправить. Но значимость написанного определяет, исходя из писательских удач.

Любовь в романе драматически переплетена с насилием. Не физическим – в “Пробуждении” нет brutальных сцен – психологическим. Движение “Суть”, куда от Кати уходит твердолобый Андрей и где Володя Молчанов встречает Варвару, настоящая секта.

Поначалу рассказчик пытается убедить себя и своего давнего институтского друга Бориса: “...Всё равно я уверен, что это не секта”. На что получает раздумчивый ответ: “Хорошо, если так... Просто самые опасные секты как раз-таки не те, где сразу видно, а те, по которым вроде и не скажешь – правильные вещи говорят”.

В конце романа, провожая участников ячейки на “осеннюю школу” в Васильевском, мать одного из них причитает: “Секта какая-то, за что же нам такое наказание”.

Слова на собраниях действительно говорят правильные. Главная мысль: “Все мы считаем гибель Советского Союза своей личной трагедией”. Так думает и Володя Молчанов. Так считают миллионы людей по всей России.

А дальше начинается обработка сознания. “В его (Кургузова. – А. К.) словах была одна повторяющаяся мысль, что теперь всё изменилось, что началась война, в которой можно только победить или умереть”.

Даже вдумчивый Володя поддаётся внушению: “...Живое ожесточение этих слов действовало на меня”. Однако у него хватает здравомыслия, чтобы отметить “ожесточение” в речах руководителя “Сути”. В другой раз Володя выражается более точно – “безумное ожесточение”. И наконец: “Лицо Кургузова замерло на экране, искажённое остервенелой гримасой...”.

Имя Кургузова для членов ячейки “обладало магической силой”. Он не только пугает происками врага (“идёт война, идёт уже сейчас, каждую минуту...”), но и обольщает “неспящих”, как он их называет, коллективной силой: “...Раньше, поодиночке, вы были слабыми, вы были белыми воронами, но теперь нас тысячи, и мы уже настоящая сила. Вместе мы новое войско, новая армия”.

Ощущение коллективной спайки и дарованного ею могущества (недаром рассказчик отметил “запах стаи”, вдохновлявший сторонников “Сути”) затягивает в организацию таких людей, как Андрей. “...Слаженность и эффективность вызывала у Андрея уважение, и, может, именно она и стала для него окончательным аргументом, чтобы взяться за дело и записаться, наконец, в актив”.

По Андрею можно судить и о результате обработки. Володя, с симпатией относящийся к старому другу, вынужден признать: “Меня часто пугали его налитые ненавистью, ничего не видящие глаза в те моменты, когда Андрей говорил о каких-нибудь либералах или других врагах, и страшно было подумать, до чего он может дойти в своём ожесточении”.

Такие зомбированные ребята – а их, к сожалению, становится всё больше – представляют опасность не столько для врагов России, сколько для неё самой. Они стремятся подменить вектор развития страны. На ненависти достойного будущего не построить! Мы должны быть первыми в инновациях, в созидании, а не в разрушении.

“...Ваша элита может только убивать тех, кто с ней не согласен”, – срывается Володя на собрании ячейки. “А кто хочет убивать?” – деланно недоумевает функционер Паша. – “Вы, вы!”.

Володя Молчанов – прямая противоположность Андрею и Паше. Именно ему доверяет Тимофеев роль рассказчика.

Повествование от первого лица – испытанный приём русской классической прозы. Вспомним “Капитанскую дочку”, “Подростка”, “Жизнь Арсеньева”. Это придаёт произведению особую доверительность, исповедальность.

Юрий Харлашкин пронизательно замечает, что особой “тематической линией” “Пробуждения” становится “совестливость” текста. “...Эта тема пунктиром обозначена на протяжении всего романа” (“Правда”, № 112, 2019).

Валентина Семёнова обращает внимание на человеческие качества Володи: “Вызывает симпатию его миролюбивый настрой, доброе расположение к друзьям, отсутствие предрешений по отношению к кому-либо и чему-либо”. Критик подчёркивает: “Характер повествователя определяет интонацию романа – она мягкая, сочувственная” (“Правда”, № 104, 2019).

Особую достоверность роману придаёт с любовью выписанный быт. Не в надмирных сферах “чистого разума”, не на расчерченной шахматной доске осуществляют герои свой жизненный и нравственный выбор. Они дружат, ссорятся, плачут в узнаваемых приметах украинной московской малометражки, которую снимают вскладчину.

“Квартира была старая, в ней постоянно ломались то замок от двери, то кран в ванной; тоненькие дощечки выскакивали из паркета и, попадая под ноги, весело и шумно разлетались по коридору”. Это не просто жильё, случайный приют для ночлега. Квартира в “Пробуждении” – полноправный герой. Она заполняется шумом гостей во время праздничных посиделок. Сиротливо пустеет после ухода Андрея: “Дома окна были распахнуты настежь, и ветер по-хозяйски ходил из комнат в прихожую и обратно”.

Этот маленький мир оживает и страдает вместе со своими обитателями. Особое обаяние придаёт ему пушистый “гений места”: “На звук из комнаты стремительно вбегал Маркиз, Катин кот, и в упоении кидался на первого человека, которого видел. Если это была сама Катя, она тотчас же брала его на руки и принималась настойчиво гладить. Мы с Андреем обычно просто стряхивали кота на пол, а Рома, четвёртый сосед, ещё и тихо ругался при этом”.

Автор не просто живо описывает квартиру. Он наполняет её точно подмеченными подробностями жизни. Вот, к примеру, ночной разговор Володи с Катей. Она рассказывает о ссоре с Андреем и его уходе. “Маркиз медлен но ходил по кухне, недоверчиво глядя на наши неподвижные фигуры. Но вдруг Катя поднялась и в нервной необходимости что-нибудь сделать шагнула к плите, взяла в руки коробок, чиркнула два раза спичкой – газ вспыхнул и мерно зашипел”.

Неразвитый эстетически читатель спросит: “А что здесь такого?” Поясню. Как редактор и как эксперт (член жюри всевозможных конкурсов, руководитель семинаров молодых писателей) я постоянно сталкиваюсь с необходимостью оценить литературное произведение. Вроде бы всё в наличии: идея, интрига, диалоги, но именно присутствие (или отсутствие!) точных бытовых и одновременно психологических подробностей вроде этой – “в нервной необходимости что-нибудь сделать шагнула” – свидетельствует о мере художественной достоверности текста.

Андрей Тимофеев не ограничивается описанием квартиры и её обитателей. У него всё вовлекается в повествование, выполняет своё назначение. Вот границы квартиры: лестница, по которой герои поднимаются к чердаку, чтобы, стоя у закопчённого окошка, покурить и душевно поговорить о главном; законный пейзаж – “край пустынной улицы: мостовая в крупных каменных плитах, трамвайные рельсы, описывающие круг, в центре которого одинокий фонарь”.

А дальше до горизонта неприятные городские окраины. Автор оживляет и этот холодный мир. Ветер у Тимофеева “осторожный”. Снег “лёгкий, почти весёлый”. Трамвай... Но лучше прочтём: “...Совсем рядом звякнул трамвай, обливая нас густым жёлтым светом, и мы опасливо сгрудились у деревьев, уступая ему мостовую целиком. А когда на нас опять опустился полумрак, ещё некоторое время шли молча вдоль путей, провожая два пронзительных глаза”.

Наглядность описаний – не только свидетельство изобразительного мастерства. С её помощью автор добивается достоверности. Читатель видит, слышит, ощущает происходящее. И верит писателю.

Верит, что мир в романе воссоздан, а не придуман. Он имеет прочную жизненную основу. Автор честен и правдив в описаниях.

Существенный момент, на который обратила внимание Валентина Семёнова. Герои “Пробуждения” – нормальные молодые люди. Казалось бы, что тут необычного? Критик поясняет: “Роман привлёк моё внимание тем, что он о современной молодёжи. Причём о молодёжи, которую нечасто встретишь на книжно-журнальных страницах последних лет и даже десятилетий. Ей подходит слово “нормальная” – то есть без стремления к “крутизне”, без тяги к порочным удовольствиям, без пристрастия к нецензурной лексике и т. д. Это молодежь, обживающая Москву” (“Правда” № 104, 2019).

Тот, кто не пропускает литературные новинки, думаю, согласится с В. Семёновой. Современная литература переполнена всевозможными “фриками”, людьми с изменённым сознанием и девиантным, как говорят медики, поведением. Причём, издатели и члены жюри громких премий привечают именно такую литературу. Если в произведении нет геев и лесбиянок, больных СПИДом, отсутствуют сцены изнасилования и пр. (“литературные реалии” из произведения лауреатов), то с мечтой о наградах можно распрощаться.

Сегодня нужно мужество, чтобы писать о “нормальных” людях. Мужество и художественная честность. Андрей Тимофеев обладает этими редкими качествами.

Сильные стороны “Пробуждения” – достоверность и задушевность интонации – сливаются воедино в потрясающей сцене у Курского вокзала. Это смысловая вершина романа, объясняющая и оправдывающая название – “Пробуждение”.

Но прежде чем перейти к этой сцене, задержимся на подступах к ней. Обратим внимание на мысль, которую осторожно, дабы не опозлить плакатностью, пытается сформулировать Володя. Возвращаясь с собрания ячейки, он ощущает “лихорадочное волнение от того, что где-то там, за сотни километров, есть легендарная жизнь, где стоят на защите своей земли русские люди и говорят: “Мы не отступим”.

Но мало со стороны полюбоваться “легендарной жизнью”. Восхищение ею испытали многие, тем более, официальная пропаганда настойчиво подталкивала именно к такому отношению. Чувство Володи глубже: “... Мне теперь казалось, что и я имею какое-то отношение к этим людям, потому что и я тоже – русский человек”.

Кто-то поспешит осудить рассказчика. Дескать, не горячее это чувство, недостаточно выражен патриотизм. Осудят, а Володя в финале романа купит на свои сбережения лекарства и повезёт их в Донбасс.

Но прежде ему нужно испытать мысль на подлинность, а себя – на причастность к “русским людям”. Не эффектное, зато честное отношение. “Это чувство было... достаточно явным и вроде бы настоящим”.

И опять предвижу гул недовольства: “Вы только послушайте – “вроде бы настоящим”. Он, видите ли, не уверен”.

Да, не уверен. В эпоху тотальных манипуляций совестливый человек вынужден любую мысль проверять на подлинность. Чтобы под видом своей не повторять внушение какого-нибудь собирательного Киселёва.

Ещё и ещё возникает в романе связка: человек – страна. Рассказчик пытается понять, насколько она крепка и как глубока она в его душе, в самом существе Володи Молчанова. Это попытка самоопределения. Не зря роман называется “Пробуждение”.

Самоопределение через осознание своей связи с Родиной. Своей русскости. Очень точное наблюдение – человек, пытаюсь ответить на вопрос: кто я? – в конце концов приходит к своим национальным корням. Принимает их. Или отвергает. Как Иванушка из фонвизинского “Бригадира”: “Тело моё родилось в России, это правда; однако дух мой принадлежит короне французской”.

Но большинство не задумывается ни о себе, ни о России! “Всё ОК. Кто за “Клинским”?”

Вот почему осторожная совестливость, с какой Володя идёт к постижению своей русскости, вызывает у меня не осуждение, но сочувствие и теплоту.

“... Чем дольше я сидел в тишине, тем сильнее охватывало меня другое, более сильное чувство, как если бы что-то плохое случилось с кем-то из моих близких (разрядка моя. – А. К.). Будто действительно человек в меховой шапке был прав, и приближалось страшное, может, начало большой войны... Я подумал о стране, наверное, я любил её, но не понимал до конца, что же это на самом деле значит”.

Понимание придёт на последних страницах “Пробуждения”. И не просто понимание — чувство Родины.

Приведу цитату, пространную, потому что в сцене у Курского вокзала мысль не даётся, как готовая формула, а вызревает, рождается из впечатлений, настроения, ощущения окружающего мира: “Впереди горели огни стеклянного моста, ведущего на лениво просыпающийся “Атриум”. Поднялся в сверкающую сытую желтизну торгового центра, в просторные холлы, где белые лица манекенов окружали со всех сторон. Казалось, здесь-то, в довольстве и мерцании, всё замылено, освобождено от боли. Но вот попало одно человеческое лицо, другое, и все несчастные, перекошенные, одинокие среди показной роскоши.

Возможно, пришедшие в неё из той же безысходности, что и я, только желая ещё и купить что-нибудь, а потом надеть и пройтись по блестящим коридорам, выпрашивая чей-то даже не восхищённый, а хоть бы завистливый взгляд. Несчастные болезненные люди бродили вдоль бутиков, и с верхнего этажа было видно в прогал, как их много на уходящих вниз этажах, и никому нельзя было помочь, хоть бросайся вниз и, тщетно хватаясь за огромные шары свисающих на гирляндах люстр, разбивайся насмерть о мраморные полы. Вышел обратно к вокзалу, бесцельно шатался по морозу, попав уже к другим несчастным — нищим, жавшимся к стенам, уныло бубнящим таксистам, мятым приезжим, устало волочившим огромные сумки, — и эти едва ли были счастливее тех, из “Атриума”.

А у самого входа в метро остановился, беспорядочно оглядываясь, и подумал, что здесь, в Москве, те же страдающие беззащитные люди, что и на Урале, и в Питере, и в том же Луганске, и не обязательно уезжать, чтобы помочь им — вот они перед тобой, помоги хоть кому-то, отдай жизнь хоть одному. И тогда все они разом слились для меня в один огромный организм, который захотелось назвать Родиной. Родина жила здесь, на привокзальной площади, мёрзла на деревянных ящиках из-под хурмы, взмывала в пластмассовый мир бутиков, тряслась по рельсам на тысячи километров вокруг, она была настоящей, я ощущаю её в сыром ноябрьском воздухе, она мучилась и страдала, моя погибающая Родина, но я не знал, как её спасти, и нужно ли ей то, что могу сделать я”.

Намеренно привёл текст целиком, чтобы читатель в полной мере ощутил его живое движение, мощную динамику горьких признаний, мастерскую широту картины, зримую точность контрастных зарисовок.

Можно восхищаться яркостью описаний сверкающего детища постсоветской Москвы — “Атриума”, сытого, как точно подмечает Андрей Тимофеев, рая для богатых. И порадоваться социальному чутью автора, сумевшего разглядеть “среди показной роскоши” несчастных одиноких людей. В сущности перед нами описание не только роскошного торгового центра, но своего рода символ новой Москвы — внешнее великолепие, за которым — отчуждение и страдания людей.

Можно ощутить мрачное притяжение бездны, характерное именно для таких мест — схожее чувство захватило меня в Берлине, когда с верхнего этажа циклопического вокзала Банхоф я смотрел на бесчисленные пролёты железного “человейника”.

Можно отметить грустную наблюдательность автора, которому сияние “Атриума” не помешало увидеть “мятых приезжих”, “устало волочивших огромные сумки”.

Но мне важно показать, что все эти запоминающиеся детали и образы сливаются воедино, рождая прочувствованные слова о “погибающей Родине”.

В русской литературе, великой во многом благодаря глубокому переживанию связи со страной, мало найдётся подобных признаний! Не смотрите на молодость и недостаточную известность автора. Вчитайтесь в текст.

К сожалению, сегодня утрачена культура чтения. Умение отдаться обаянию слова. Поверить ему. Пойти за ним. Читают, а в голову лезут литературные рейтинги, чужие концепции, предубеждения. Отбросьте эту ерунду и погружитесь в текст.

Попробуйте найти похожий. Разве что у Александра Блока: “Родина — это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку, но бесконечно более уютное, ласковое, беспомощное, чем отдельный человек...”

Не закрываю список. Наверняка каждый припомнит своё, у сердца хранимое. Но ведь у сердца хранят самое дорогое! И то, что текст молодого автора естественно, без натяжек входит в этот заветный ряд – наивернейший показатель его значимости.

Сцена у Курского вокзала – вершина “Пробуждения”. Здесь можно было бы поставить точку. Отъезд героя в Луганск – важная частность. Не более того.

Володя мог бы поехать на Урал или в Питер. В огромной России столько мест, где люди нуждаются в помощи. Мог бы остаться в Москве – у Андрея Тимофеева есть замечательный рассказ “Нина”, где православные волонтеры пытаются спасти заболевшую бездомную женщину на одном из московских вокзалов.

Конечно, выбор маршрута имеет значение. В 2014-м в разгар боёв на Донбассе поездка с лекарствами в Луганск была особенно важна. Но главное всё-таки в том, что герой дорос до осознания необходимости помочь страдающим. В этом смысл “Пробуждения”.

А дальше уместно припомнить слова Фёдора Достоевского, которыми он завершает “Преступление и наказание”: “Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его... Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ наш окончен” (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в тридцати томах, Т. 6, Л., 1973).

ПРАВДОИСКАТЕЛИ И “МАСТЕРА ЗЛОСЛОВЬЯ”

Признаюсь в искушении на этом и завершить статью. Ограничиться анализом романа. Разбирать многочисленные отклики – занятие хлопотное. А если они грешат явной недобросовестностью, то и неприятное.

Но именно реакция читающей публики во многом определяет оценку произведения. Его литературную судьбу. А подчас и судьбу его автора.

Вспомним драму позднего Пушкина, переросшего своих читателей. Публика не поняла и не приняла его вершинные творения. Многие из них остались неопубликованными при жизни поэта. Разбирая ненапечатанные стихи Пушкина, Евгений Баратынский изумился. В письме жене от 6 февраля 1840 года он писал: “Все последние пьесы его отличаются чем бы ты думала: силою и глубиною!”

Подумайте, какое обеднённое представление о русском гении мы бы имели, если бы его рукописное наследие не увидело свет! В том, что сегодня мы знаем всего Пушкина, заслуга не только его публикаторов и биографов. Не менее важна роль критики, привлекавшей внимание к его творчеству и утвердившей славу Пушкина как первого русского поэта.

Постижение таланта, определение его истинной значимости – это, как правило, борьба различных взглядов, концепций, интерпретаций. Борьба за писателя, а нередко против него.

Виссарион Белинский первым осознал и утвердил место Пушкина в отечественной поэзии. Но он же не принял и превратно истолковал христианский настрой “Выбранных мест из переписки с друзьями”. Его ожесточённая полемика с Гоголем оказалась роковой: потребовалось полтора столетия, чтобы литературная общественность объективно оценила последний труд великого писателя. И это произошло не само собой, не в результате “течения лет”, а стало итогом усилий критиков-традиционалистов, прежде всего Игоря Золотусского.

Даже произведения, признанные классическими ещё при жизни автора, не всегда постигаются во всей полноте замысла. Известны нападки участников сражений 1812 года на “Войну и мир” Л. Толстого. Автора обвиняли в искажении роли Александра I и его генералов в победе над Наполеоном и даже в недостатке патриотизма. Среди критиков были не только верноподданные ветераны, но и такие люди, как выдающийся поэт, основатель Русского исторического общества Пётр Вяземский и герой Бородинской битвы Авраам Норов.

В завершение краткого экскурса повторю то, что писал не раз: мало предложить читателю достойный художественный текст. Необходимо растолковать его, расставить акценты, выделить наиболее (и наименее) удачные

сцены и образы. И – немаловажное уточнение – защитить произведение и автора от некавалифицированных суждений и недобросовестных нападок.

Роман Андрея Тимофеева “Пробуждение” предоставляет для этого широкие возможности. Дело не только в значимости произведения. Не хочу ни приуменьшать, ни преувеличивать её. И разумеется, ни в коем случае не равняю “Пробуждение” с классикой.

Дело прежде всего в обилии откликов и в полярности их. Борьба за интерпретацию – и за самого писателя – в данном случае очевидна. А потому полезно осветить позиции спорщиков, оценить их аргументы и уяснить намерения.

Большинство материалов опубликовано в двух изданиях – газете “Правда” и на сайте “Росписатель”. Они резко отличаются по тону, подходу к тексту и объективности оценок.

Открывая дискуссию в “Правде”, Виктор Кожемяко отметил злободневность романа. Привлекает, по его словам, и то, что “о современных молодых пытается по-своему рассказать почти их сверстник”. Критик отдал должное и журналу “Наш современник”: “Тот факт, что “Пробуждение” появилось именно здесь, закономерен. Можно с уверенностью сказать, что ни в одном литературном журнале не работают так много и внимательно с молодыми авторами, как в “Нашем современнике” (“Правда”, № 98, 2019).

Сознаюсь, меня тронуло признание заслуг журнала. Сейчас в писательской среде модно говорить о работе с молодежью. Но почему-то забывают (не хотят?) сказать о том, кто этим занимается. Можно подумать, будто всё совершается само собой. Сами находят авторы, сами отбираются и публикуются произведения.

На самом деле за каждой публикацией новичка – самоотверженный труд редактора. Именно самоотверженный: откуда, если не оторвав от себя, взять силы и время на поиск талантов? Приходится читать множество рукописей, и хорошо, коли одна из десятка окажется стоящей. Надо ездить на семинары и форумы. Уметь привлекать норовистых дебютантов. Преодолевая отчаянное сопротивление, вычищать словесную невнятицу, обрубать лишние сюжетные линии, делая текст компактным, динамичным.

Вот и с “Пробуждением” пришлось поработать: изменить начало, сразу введя рассказчика, убрать стилистические шероховатости. К счастью, А. Тимофеев умеет слушать и править. Качество, отличающее талантливого писателя.

Даже коллеги нередко спрашивают меня: а стоит ли тратить столько сил? Какова отдача?

Судите сами: наши ведущие молодые авторы – лауреаты престижных премий. О них пишут критики. Их переводят. Произведения Андрея Тимофеева, Юрия Лунина, Андрея Антипина публикуются на французском, итальянском, китайском. А Елена Тулушева вообще “чемпион” – её рассказы переведены на 10 языков.

Великолепный результат! Оценка в том числе и нашей работы.

Главное: с каждым годом круг авторов расширяется. Молодёжный номер “Нашего современника” традиционно выходит в августе. В 2017-м в нём напечатаны 20 прозаиков и поэтов. В 2018 – 30. В 2019 – 38. А ведь мы печатаем молодых и в течение всего года.

Но вернёмся к дискуссии о “Пробуждении”. Публикации в “Правде” можно разделить на два разряда – статьи профессиональных литераторов и отклики партийных активистов.

Профессионалы выделяют различные стороны романа. Юрий Харлашкин – “совестливость текста”. Валентина Семёнова – жизненную укоренённость героев. Ирина Иваськова анализирует женские образы. Главной удачей она считает образ Кати: “Катя – живая, цельная и, пожалуй, единственная среди персонажей романа не нуждающаяся в том самом “пробуждении”... Катя уже проснулась. Она уже живёт, пусть её внутренний мир при этом не так уж сложен и многозначен” (“Правда” № 108, 2019) .

Партийцы делают акцент на социальной проблематике: “Пробуждение” – о современных проблемах молодых людей, ищущих своё место в жизни, – отмечает А. Онисенко, секретарь по идеологии Приморского райкома КПРФ (Санкт-Петербург). – Они стремятся к наполнению своей жизни серьёзным содержанием, которое оправдывало бы их существование, но ориентиров

чётких у них пока нет. . . Это действительно характерно для нынешних поколений молодёжи, и в целом такая тенденция передана в романе правдоподобно” (“Правда”, № 112, 2019).

Не забывают сказать и о мастерстве романиста: “Автор ярко и рельефно раскрывает становление мировоззрения молодых людей в поисках ответов на вызовы времени: война на Украине, тотальная несправедливость в России, способы изменения ситуации и другие темы”, – пишет Артём Александров, секретарь Тамбовского обкома КПРФ (“Правда”, № 112, 2019).

Обращаю внимание на ранг откликнувшихся. Видимо, роман А. Тимофеева заинтересовал, “зацепил” этих серьёзных людей.

Рядовые активисты тоже в целом положительно отзываются о “Пробуждении”. Наталья Бухвал, библиотекарь из Пскова, называет роман “необычным”. “В чём же необычность этого произведения молодого автора? – спрашивает она. – Уже хотя бы в том, что в центре его – представители достойной части современной молодёжи. Ведь как сейчас прозаики пишут о молодых. Обычно в связи с какой-либо наркоманией, криминалом, компьютерной зависимостью и прочими пороками. У Тимофеева – иное”.

Бухвал подчёркивает: “. . . Роман поднимает очень важные вопросы. Что делать молодым, когда пробуждается гражданское сознание? Как не попасть им в ловушку политических кукловодов, использующих искренние намерения юных в своих целях?” (“Правда”, № 108, 2019).

Не обходится и без критики. В основном она связана с неочевидной партийной принадлежностью героев и самого автора. Стремясь привлечь к “Пробуждению” как можно больше внимания, В. Кожемяко обозначил как главную тему романа “становление молодых коммунистов” (“Правда”, № 98, 2019).

Разумеется, это преувеличение. Опытные партийцы спокойно уточнили: “Герои произведения – молодые люди левых взглядов” (“Правда”, № 112, 2019). Однако рядовые члены КПРФ не на шутку возбудились: “Думается, называть коммунистами молодых героев “Пробуждения” рановато, – строго указывает А. Крюков из Ростова-на-Дону. – Как (они. – А. К.) думают менять жизнь в своей стране? Какой хотят видеть экономику, государственное устройство? Об этом в романе молчат. Может быть, берегут тайну? Зато ходят в церковь и дома молятся” (“Правда”, № 112, 2019).

Последняя фраза походит на донос. Но и начальные обвинения не лучше. Крюкову невдомёк, что, если бы А. Тимофеев взялся отвечать на вопросы о государственном устройстве и экономике, у него бы вышел не роман, а политический трактат.

Предъявляет претензии и Евгений Мельник, член КПРФ из Орла: “Да, Тимофеев показывает естественное стремление молодёжи к справедливости, её патриотизм, обращение к советскому прошлому, знаковым фигурам, желание быть близкой и сопричастной к большой идее – это всегда лежит в основе молодёжного восприятия коммунистической идеологии. Но это ещё не коммунистическая идея”.

От констатаций Е. Мельник переходит к обвинениям: “Или автор сам не знает, кто такие коммунисты и у него весьма смутное представление об их идеологии, или он сознательно лукавит, и тогда нежелание расставить все точки над “I” вызывает сомнение в настоящих мотивах его творчества” (“Правда”, № 135, 2019).

Кажется, будто это твердолобый Андрей из “Пробуждения” шагнул из романа в реальную жизнь и с подозрением уставился на автора.

Ну что же, это ещё одно доказательство художественной зоркости А. Тимофеева. Он сумел разглядеть характерный тип начётчика, считающего: либо ты стопроцентно соответствуешь доктрине, либо тебя, голубчик, надо “разъяснить”.

Кто-то из участников дискуссии упрекал героев, прежде всего Володю Молчанова, в недостатке политической активности. Видимо, критики исходили из убеждения, что истинный коммунист должен быть образцом боевитости. Браковали и сам роман, лишённый крутого сюжета.

Недовольным ответила Елена Волкова из Дмитрова: “Насчёт того, что роман “Пробуждение” скучный, скажу: по сравнению с развлекательной литературой – например, детективами или триллерами – любое художественное произведение может показаться скучным” (“Правда”, № 135, 2019).

Запомним эту мысль. Она пригодится при разборе писательских откликов на роман А. Тимофеева.

В целом, несмотря на отдельные критические выплески, дискуссию в “Правде” отличает доброжелательный настрой, стремление объективно оценить роман как социальное явление и художественное произведение.

Обсуждение на сайте “Росписатель” сложилось иначе. Тон задала статья воронежского критика Вячеслава Лютого “В координатах духа и воли” (10.12.2019).

Необходимое уточнение. Статью Вячеславу Лютому заказал я. И предназначалась она для “Нашего современника”. Я знал Вячеслава Дмитриевича как вдумчивого критика, чуждого дешёвой патетики и в то же время обладающего широтой видения. Однако полученный материал заставил меня сомневаться в объективности В. Лютого.

Вступление смущало обилием абстрактных и высокопарных рассуждений: критик мечтал о произведении, способном “высечь искру, которая почти надмирным светом выхватит из мутного сумрака важнейшие черты происходящего”. Впрочем, Лютый признавал, что “здесь речь идёт скорее о произведении-великане”.

Мечтать, как говорится, не вредно. Но не худо бы соотносить мечты с реальностью.

Где эти высеченные “искры” в современной литературе? Измерять такой отсутствующей в наличной словесности мерой дебютный роман молодого писателя нелепо. И безответственно. Этак размахнувшийся в пылу вдохновения критик зачеркнёт не только новинку, но и весь литературный процесс.

А кстати, какие романы, написанные тридцатилетними, припомнит воронежский автор? Лютый не упоминает ни имён, ни названий. А я могу перечислить: Андрей Антипин “Капли марта”, Дмитрий Филиппов “Я – русский”, Сергей Доровских “Время весны”, Женя Декина “Плен”. Чтобы расширить список, добавлю “роман в повестях” Платона Беседина “Дети декабря”.

Я говорю о произведениях, написанных в русской литературной традиции. Ориентированных на реалистическую литературу. Постмодернистские изыски просьба не предлагать.

Пять романов – сколько пальцев на руке. Возможно, я пропустил одно-два названия. Всё равно не густо.

А ведь это не только художественные высказывания отдельных молодых писателей. В каком-то смысле это исповедь поколения. И, поверьте, читая крупномасштабную прозу, мы можем получить больше сведений о поколении, чем от всевозможных социологических обследований. То есть помимо литературной, они имеют и общественную ценность.

Все названные произведения я либо печатал, либо рецензировал. Свидетельствую: роман Андрея Тимофеева наиболее значительный. Под статью ему только повести Андрея Антипина – “Горькая трава” и “Дядька”. Но это повести, а мы обсуждаем роман.

Казалось бы, тут критику и проявить внимание, оказать поддержку молодому автору. Или, на худой конец, попытаться понять, какую разновидность романного жанра тот предлагает читателю. Теория, а главное, практика литературы знает немало таких разновидностей.

Определить, в каком жанре работает писатель, чрезвычайно важно. Критик не обязан любить автора, но, по слову Пушкина, “писателя нужно судить по законам, им самим над собою признанным” (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, М-Л, 1949). Это постулат, на котором основывается работа критика. От автора басни нельзя требовать эпического слога, в философском романе не стоит искать любовных приключений.

В. Лютый совершает фундаментальную ошибку. Он предлагает (в данном случае подошло бы слово “навязывает”) Тимофееву в качестве образца роман Н. Чернышевского “Что делать?” Критик объявляет его “наилучшим примером отечественного идеологического романа”.

В русской классике XIX века все романы – идеологические. “Война и мир”, “Преступление и наказание”, “Подросток”, “Братья Карамазовы”, “Обломов”, “Отцы и дети”. И вот они – “второй сорт”, а “Что делать?” – “наилучший пример”.

Экстравагантный выбор. Притом, что Лютый признаёт: в романе Н. Чернышевского “действительность угадывается только в самых общих чертах”, “свойственные жанру романа черты у Чернышевского размыты”.

Сам Николай Гаврилович, к его чести, невысоко оценивал своё писательское мастерство. На первых страницах “Что делать?” он признавался: “У меня нет ни тени художественного таланта”. Понятно, здесь не обошлось без смирения паче гордости. Но, с другой стороны, — это трезвая критическая оценка. Чернышевский был талантливым критиком.

Обратиться к прозе его заставили обстоятельства. Свой единственный роман он написал в заключении. Любой намёк на политическую пропаганду из уст узника был бы незамедлительно пресечён. Что же до снов Веры Павловны — героини романа, то это всего лишь сны. Художественная выдумка, извольте заметить.

Расчёт Чернышевского на формализм цензуры оправдался. Роман увидел свет. И сразу стал политической сенсацией. Но даже это не сделало его образцовым.

Зачем же Лютому понадобилось апеллировать к “давнему произведению почти забытого (по его словам. — **А. К.**) отечественного литератора и революционера”? А затем, чтобы “гвоздить” им молодого писателя.

Лютый усматривает в “Пробуждении” “едва уловимый спор” с романом Чернышевского. И тут же объявляет: “Такие параллели (какие? об этом, что показательно, ни слова. — **А. К.**) многое проясняют в произведении современного прозаика”.

Цель этой откровенной манипуляции ясна. Отказывая Чернышевскому в умении изображать действительность (а как же связь с традицией русского реалистического романа?), Лютый заявляет, что этот недостаток “компенсируется” “идейной устремлённостью героев”. Перед нами — утверждает критик — “молодые люди, одержимые (так!) идеей служения человеку”. У Тимофеева таких “одержимых” двое — Андрей и Варвара. Остальные герои “Пробуждения” — нормальные люди. Это и становится основанием для обвинения: “Володя Молчанов погружён в свой свободный ум, снисходителен, начитан и одновременно — поразительно теплохладен... Грубоватый Андрей... кажется более симпатичным человеком, нежели умница Молчанов”.

Кому кажется? Лютый именует Володю “теплохладным”. Но мы-то помним его восторженное: “. . . Останутся в этом воздухе её, Катины, слова, и останется её уверенность, и её красота — и будут вечно, и ничто уже не сможет стереть из памяти мира ни одного доброго её слова, ни одной улыбки, ни одного движения души — и этого достаточно будет, чтобы мир стоял ещё”.

Но что критику чистая Катя с её трогательной любовью, её наивной верой? Лютый отзывается о ней: “Склонная к неврастении”.

Поразительно! Участники дискуссии в “Правде” чуть ли не единодушно (рабочий А. Парфёнов, критик Ю. Харлашкин, прозаик И. Иваськова) оценивают образ Кати как несомненную удачу романа, а для Лютого она “неврастеничка”. Критик В. Семёнова пишет о “миролюбивом настрое”, “добром расположении” Володи Молчанова. А воронежский “зоил” объявляет его “теплохладным”.

Симпатичны ему комиссарша Варвара и Андрей с “налитыми ненавистью глазами”.

Показательно, что критик “консервативного направления” внезапно взял за образец нигилистический роман. Хотя, казалось бы, ему должен быть ближе роман Николая Лескова “На ножах”, написанный в прямой полемике с Чернышевским.

Конечно, критик имеет право на ошибку. Надо только успеть вовремя исправить её. А для этого почаще сверяться с текстом — как там написано?

К сожалению, Лютый этим пренебрегает. Не желает замечать жанровую природу “Пробуждения”, продолжая поверять роман “образцовым” “Что делать?”.

Но если у Чернышевского роман-утопия, то у Тимофеева — роман воспитания. Что явствует из названия — “Пробуждение”.

Роман воспитания — почтенная, хотя и не слишком распространённая разновидность жанра, восходящая к диалогии о Вильгельме Мейстере Гёте и “Дэвиду Копперфильду” Диккенса, а у нас к пушкинской “Капитанской дочке”, “Подростку” Достоевского, романам Гончарова. Литературоведы относят сюда же трилогию Л. Толстого “Детство”, “Отрочество”, “Юность”, которую писатель намеревался завершить четвёртой частью и опубликовать под общим названием “Четыре эпохи развития” (Е. Краснощёкова. Роман воспитания —

Bildungsroman – на русской почве. Карамзин, Пушкин, Гончаров, Толстой, Достоевский. Спб., 2008).

Наиболее авторитетно о романе воспитания высказался выдающийся теоретик Михаил Бахтин. Он рассматривает “массовый” тип романа, в котором герои внутренне статичны: “Герой есть та неподвижная и твёрдая точка, вокруг которой совершается всяческое движение в романе... Движение судьбы и жизни такого готового героя и составляет содержание сюжета, но самый характер человека, его изменение и становление не становятся сюжетом”.

Таковы, замечу, и герои Чернышевского, которыми восхищается Лютый.

Этому “господствующему” типу романа Бахтин противопоставляет “иной, несравненно более редкий тип романа, дающий образ становящегося человека. В противоположность статическому единству здесь даётся динамическое единство образа героя... Изменение самого героя приобретает сюжетное значение, а в связи с этим в корне переосмысливается и перестраивается весь сюжет романа” (М. М. Бахтин. Роман воспитания и его значение в истории реализма (по Гёте). Постановка проблемы романа воспитания).

Такой роман написал Андрей Тимофеев. Именно поэтому в нём не происходит чрезвычайных событий. Вершиной романа становится не “большой поступок”, о котором хлопочет Лютый, а осознание рассказчиком связи со страной и ответственностью за неё и за русских.

Не замечая специфики “Пробуждения”, Лютый всё дальше отходит от романа. Игнорирует его проблематику. Моральный выбор, который непросто даётся герою (а кто бы так, запросто, бросил всё и поехал на войну), он объясняет нарочито вульгарно: “Баба изменила”.

Напомню то, о чём писал не раз: всё, что мы говорим о других, немало рассказывает о нас. В данном случае намеренное упрощение проблематики, откровенная пошлость формулировки не слишком хорошо характеризует критика В. Лютого.

Проблему политической секты, стоящую в центре “Пробуждения”, и – подчеркну особо – чрезвычайно актуальную сегодня, критик просто не замечает. Так же, как и другую – взаимоотношения человека и истории. Лютый объявляет Катю “истеричной”. А соответственно – её переживания из-за потери Андрея, которого “мобилизуют” грозные события в Донбассе, для него не имеют значения.

Игнорируя реальную проблематику романа, Лютый навязывает свою. Он обвиняет Володю и Катю в склонности “к социальному христианству как доктрине мирной и человеколюбивой”. Сколько иронии в этих словах! Сразу вспоминается, что критику нравятся иные слова и герои – “одержимые”.

Ещё менее состоятельны претензии к героям и автору “Пробуждения” в том, что они якобы хотят “начать свою жизнь с чистого листа”, забывая о драматичной истории России.

Нерв романа – переживание трагедии распада страны. Этим объясняются поступки героев: сбор пожертвований для Донбасса, лихорадочное внимание к сводкам боестолкновений, участие в митингах и пикетах “Сути”.

А вот что пишет Лютый: “Всё прошлое страны для него (Володи Молчанова. – А. К.) ушло далеко-далеко... Даже сравнительно недавняя и кровавая осень 1993 года...”

Для него чужая молодая смерть и боль в том, уже отошедшем в другое тысячелетие октябре, судя по всему, ничего не значит”.

Судя по чему? Хотел бы напомнить Вячеславу Дмитриевичу, что профессионалы должны отвечать за свои слова. Обвинение, которое он выдвигает против молодого писателя, слишком серьёзное. Но на чём оно основано?

В романе о 93-м говорится только раз – с болью. На митинге 7 ноября старушка причитает: “В 1993 году ходила я на Горбатый мост, вот там было страшно, родные мои... Вы не застали, вы ещё маленькие были, а мы-то видели всё...” Ей отвечает один из членов ячейки: “Мы выросли, бабушка”. И эти скупые слова – как клятва при наследовании памяти. Именно потому, что они сказаны на митинге, посвящённом борьбе за страну и её историю (день 7 ноября).

Почему о 1993-м не сказано больше? Потому что роман Андрея Тимофеева о событиях 2014-го. Борьба продолжается. И рассказчик стремится найти в ней своё место.

Если Вячеславу Лютому так хочется прочесть роман об Октябре, то кто же мешает? Есть недооценённый полузабытый роман Юрия Бондарева “Бермудский треугольник” — как раз о воприятии трагедии глазами молодых. Есть документальная повесть священника Виктора Кузнецова “Так было. Расстрел” — впечатляющее свидетельство участника событий.

Кстати, почему бы критику не написать об этих произведениях? Не напомнить о них? А мог бы и сам засесть за повествование о кровавом октябре. Нет, он не будет делать ни того, ни другого, удобней попрекать молодого автора: что же ты не сказал о той эпохе?

Войдя во вкус, критик усиливает нападки. Причём, использует недостойный, на мой взгляд, приём. Во второй статье “Поступки и скупые слова” (“Росписатель”, 25.12.2019) Лютый говорит вроде бы обобщённо — о “молодёжи”, “молодом сознании”, но говорит в связи с “Пробуждением”. Так что сказанное адресуется автору: “...Сегодня линия несоответствия взглядов поколения старших и младших практически полностью детерминирована отношением даже не к наличному социуму, а к полноте наследия, которое старики в состоянии передать молодёжи... В противном случае твоя собственная идентификация будет стёрта, стерилизована, а сам ты окажешься человеком не только без рода и племени, но и без нравственного закона и ощущения неисчерпаемой бездны бытия”.

Сказано о важном, чрезвычайно существенном. Но как сказано! Раздражает высокопарная краснота (“неисчерпаемая бездна бытия”), а главное — абстрактная постановка вопроса. Идёт ли речь о писателях или обо всей толще поколений? А если о писателях, то кто эти “старички” и “молодые”?

И что они собираются передавать? Лютый пишет: “Одно слово старика может перевернуть жизнь молодого”. Ну так найди такое слово! Для начала нужно самому возвыситься до него.

Возвращаясь к обвинениям Лютого в адрес молодых, замечу: предьявлять их Андрею Тимофееву нелепо. Ведь это он третий год организует грандиозное Всероссийское совещание молодых писателей в Химках, где 130 начинающих авторов встречаются с наставниками и где происходит плодотворный диалог поколений.

Андрей Тимофеев подготовил Антологию критики второй половины XX века, собрав важнейшие статьи В. Кожинова, М. Лобанова, Т. Глушковой, П. Палиевского, Ю. Селезнёва. Такова реальная работа по освоению духовного наследия.

Что же в конце концов хочет от Тимофеева Лютый? Судя по названию его второй статьи (“Поступки и скупые слова”), — поступка, действия, экшена. Составление Антологии — не в счёт? Совещание в Химках — не в счёт? И роман — один из немногих романов поколения — похоже, не засчитан.

Почему же? Ответ туманен: “В этой истории что-то готово было случиться, но не случилось. Что-то готово было назваться и определить себя, но робко промолчало. Кто-то готов был сделать шаг, но стало непонятно, куда идти — и в полной растерянности человек двинулся наугад... Именно здесь кроется изъян представленного сюжета” (“Росписатель”, 25.12.2019).

Критик неправ трижды!

Фактически. Володя в романе двинулся не “наугад”, а поехал помочь туда, где помощь была всего нужнее. Рядовые читатели это поняли. “Желая помочь страдающим в Донбассе людям, Владимир покупает инсулин для диабетиков и едет в Луганск”, — пишет Елена Волкова из Дмитрова (“Правда”, № 135, 2019). Она сравнивает Молчанова с выпускниками школ, которые после 22 июня 1941 года осаждали военкоматы. Вот как высоко оценен поступок героя!

Почему же этого поступка не замечает профессиональный критик?

Лютый просчитался и с точки зрения социологии. Где в реальной жизни он сегодня видит рыцарей без страха и упрёка? Но если их нет в действительности, почему он требует от писателя придумать, сконструировать их?

И вновь читатели оказались пронительнее, зорче критика. “К сожалению, — пишет в “Правде” Виктор Василенко из Белгорода, — среди героев “Пробуждения” нет современного Павла Власова... Но я бы не спешил ставить это в упрёк писателю. Ведь герой Горького — не вымысел писателя, он взят из реальной жизни своего времени, а в нынешней жизни в левом движении спрос на “Павлов Власовых” намного превосходит предложение” (“Правда”, № 129, 2019).

И наконец, Лютый неправ с художественной точки зрения. Жажда эффектного финала, решительного поступка, экшена – злосчастная примета нашего времени. Эпохи, когда действия внешние ценятся выше, чем происходящее в душе человека.

Вспомним ещё раз финал “Преступления и наказания”. В предпоследнем абзаце Достоевский пишет о Раскольникове: “Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достанется, что её надо ещё дорого купить, заплатить за неё великим, будущим подвигом” (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 6, Л., 1973).

Вот оно, искушение Лютого – “великий подвиг”. Но Достоевский, упомянув о нём, к “подвигу” не возвращается. Избегает героики как действия внешнего. Писателю важно, что душа героя преобразилась. Подвиги – это для журналистов и историков.

А другие романы Фёдора Михайловича? Многие ли из них завершаются значимыми событиями?

Да поймите же, что предмет художественной литературы – жизнь души и сердца. “...Тут дьявол с Богом спорят, а поле битвы – сердца человеческие”, – утверждал Ф. Достоевский (Полн. собр. соч., т. 14, Л., 1976).

Борьбу за торжество добра и ответственности молодой писатель показал талантливо и честно. Можно ли упрекать его за приверженность русской художественной традиции и глубокое понимание сущности литературы?

Об откликах на публикации Лютого много говорить не буду. Поражает единообразие. Обычно в этом винят коммунистов: мол, все, как по команде. Но, смотрите – “Правда” представила живую читательскую разногласицу, а писательский сайт...

Тенденции две: восхваления Лютого, иной раз за гранью здравого смысла. Его объявляют не только “выдающимся нашим современником”, но и “устами, которыми озвучивается Слово” (“Росписатель”, 26.12.2019). Некая Анастасия пишет с заглавной буквы – Слово как одно из имён Бога.

Другая тенденция – поношения Андрея Тимофеева. “А зачем такие “писатели” вообще нужны, которые, по словам Критика, устали чувствовать себя русскими, – возмущается Евгения. – Зачем нам в такую тяжёлую эпоху такие писатели, как Тимофеев, если толку от него нет?” При этом Евгения с гордостью объявляет, что “Пробуждение” не читала и не собирается: “Лично я не притронусь к его роману”.

Комментарии излишни.

Воздержусь от обобщений. Я говорю о конкретных публикациях, которые представляются мне неудачными.

В современной литературе мало произведений о молодёжи. Талантливых тридцатилетних авторов можно пересчитать по пальцам. На мой взгляд, это необходимо учитывать при обсуждении романа одного из самых перспективных молодых писателей.

Завершая статью, процитирую письмо Виктора Василенко из Белгорода: “Если роман дойдёт до широкого круга молодёжи (а в интернете он уже распространяется читателями), то наверняка будет способствовать духовному и политическому пробуждению тех, от кого во многом зависит судьба России” (“Правда”, № 129, 2019).

ВИКТОР КОЖЕМЯКО

ЛЮБОВЬ И ОПОРА ПИСАТЕЛЯ РАСПУТИНА

В памяти они неразделимы

Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна Распутины...

Светлана Ивановна и Валентин Григорьевич...

В моей памяти они неразделимы, не живут друг без друга, и когда я думаю об одной половине этого удивительного единства, почти непременно каждый раз возникает передо мной и вторая половина.

Далеко не у меня одного в душе так осталось. Читаю объёмный том вышедших в Иркутске воспоминаний, посвящённых великому русскому писателю, и с радостью встречаю здесь о спутнице его жизни то, что самому хотелось бы сказать. Ну, например, “вижу Валентина Григорьевича с чудной его женой Светланой. Светлана была воистину женщина-свет! Красива, улыбка, скромна до невероятного! Пара!”

“Женщина-свет” – сказано хорошо и точно. Свет не только внешней красоты, но и внутренней, что сполна ощутил я за двадцать лет общения с этой замечательной семьёй. Видя их обоих в различных ситуациях, многое пережив вместе с ними, всё глубже осознавал необыкновенную роль жены в биографии Валентина Распутина.

И заключил для себя, что человек, более полувека прошедший рядом с Валентином Григорьевичем его подвижнической дорогой, слившийся с ним накрепко в общности радостей и горестей, главных трудов и невыносимых испытаний, как и он, достоин поклонения. Именно потому я решил написать про Светлану Ивановну, какой навсегда её запомнил. Вместе с Валентином Григорьевичем...

Это было после расстрела Верховного Совета

В моём представлении жизнь их резко делится на две части – счастливую и несчастливую. Конечно, это не значит, что сперва были одни лишь удовольствия, а потом ничего отрадного не случилось совсем. Однако мера, масштабы счастья и несчастья оказались несопоставимыми. Ведь бедствия их семьи переплелись с гигантской катастрофой всей страны.

Мне выпало общаться с ними и достаточно близко их узнать как раз в это наитруднейшее время. Близость нашу не преувеличиваю, однако взаимная доверительность заметно возрастала, вплоть до дружбы семьями. Понятно же, что людей, с которыми знаменитый Валентин Распутин поддерживал

более или менее постоянные отношения, существовало в его жизни множество. У нас сложилось так, как сложилось.

Первая встреча? Личное знакомство? Ох, личного тут было почти ничего. А встретился я впервые с ними обоими одновременно. У них дома, в московской квартире на Старокопюшенном переулке, где затем больше всего мы и встречались. Ещё поэтому как-то быстро утвердилось у меня ощущение их слитности: способствовала тому домашняя обстановка, где, как правило, были они вдвоём.

Даже дверь по звонку открывали нередко вместе. Запомнилось, что первый раз было именно так. Запомнилось и чувство предельной сосредоточенности, владевшее мною тогда.

Ещё бы! Журналист “Правды” по предварительной договорённости прибыл для беседы с известнейшим писателем. Раньше бесед с Распутиным у меня не случалось. Кроме того, настраивали на особую ответственность время и повод предстоящего разговора.

Скажу, какое это было время: вскоре после расстрела Верховного Совета России в октябре 1993 года. А непосредственным поводом, заставившим меня обратиться к Валентину Григорьевичу Распутину, стало интервью в связи с тем расстрелом, которое дал газете “Подмосковные известия” поэт Булат Окуджава.

Вот уж 25 лет прошло, но не забылось потрясение, пережитое при чтении его интервью. Было такое чувство, что я задыхаюсь. Так же задыхался я при виде жуткого, кошмарного зрелища в центре Москвы, демонстрировавшегося несколько дней назад по телевидению. Но что говорит о нём “проникновенный лирик” Окуджава!

“Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним не было. И, может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это — заключительный акт. Поэтому на меня слишком удручающего впечатления это не произвело”.

Да разве может такое быть?! Не веря глазам своим, я вдруг начал мысленно перебирать имена высших литературных и нравственных авторитетов, которые достойно ответили бы на этот прямо-таки людоедский пассаж.

Увы, передо мной лежала ещё одна газета — “Известия”, а в ней было напечатано перед расстрелом Дома Советов обращение под заголовком “Писатели требуют от правительства решительных действий”. И 42 подписи тех, кого называли “инженерами человеческих душ”. Авторитеты? Вроде бы да... Вроде бы! Окуджава-то — среди них. А последняя подпись, в нарушение алфавита, то есть подцепленная, видимо, в последний момент, — Виктора Астафьева, объявившего себя с некоторых пор рьяным сторонником президента Ельцина.

Словно голос свыше подсказал мне в те минуты имя возможного моего собеседника по поводу Окуджавы. Имя писателя, чья подпись под этим коллективным письмом, подтолкнувшим кровавую бойню, ни в коем разе не могла появиться.

Я позвонил Валентину Распутину. Что говорить, давно по-особому любил этого писателя и старался не пропускать ничего, что выходило из-под его пера. Он и в “Правде” выступал с интереснейшими и очень важными публикациями. Но тогда это была главная газета страны, а теперь она с огромным трудом высвобождается из-под очередного ельцинского запрета. Многие, казалось, верные в прошлом авторы, даже если не порвали с нами немедленно, затем под разными предлогами стали отходить всё дальше и дальше. Согласится ли Распутин на рискованное предложение?

А он согласился сразу. Больше того, мне показалось, как будто ждал подобного звонка.

— Когда разрешите приехать? — спрашиваю я.

— Да хоть сейчас.

Так начиналась наша работа

И вот я в его рабочем кабинете. Скупое осеннее солнце сперва подсвечивает наш разговор, а потом в сумерках скрывается. Но мы продолжаем говорить, и никаких ограничений в моих вопросах от собеседника не следует.

Он только вскользь попросит прислать ему подготовленный текст беседы – “для уточнения”. Я же, грешным делом, подумал: “Ну вот, срежет все острые углы”.

К сожалению, такое бывало и бывает нередко. Причина обычно банальная: не уколоться бы об эти углы, не вызвать недовольства у власть предержащих.

Видимо, Валентин Григорьевич угадал мою мысль (по выражению лица, что ли?) и, реагируя, с некоторой даже поспешностью стал разъяснять, чем вызвана его просьба:

– Понимаете, говорун экспромтом я бываю не очень точный. А хочется, чтобы до читателя доходило всё в лучшем виде. Но для этого дополнительно подумать надо, слово самое уместное поискать или фразу перестроить. Остроты же убавлять не намерен.

В дальнейшем я с радостью убедился, что он ничуть не лукавил. В будущих наших беседах, которые публиковались в “Правде” и “Советской России”, а затем составили три книги, не помню ни одного случая “срезания углов”. Вся работа его по улучшению этих текстов вполне сравнима с писательской работой над словом в художественных произведениях. Он и сам говорил: “Публицистика в этом смысле не отличается для меня от повести или рассказа”.

Так что, читая книги его бесед со мной – “Последний срок: диалоги о России”, “Боль души”, “Эти двадцать убийственных лет”, – знайте: он относился к ним без скидок, с обычной и неизменной распутинской взыскательностью. Другое дело, что работать из-за наступавших на него недугов становилось ему всё труднее. По этой причине сроки, запрашиваемые им на “уточнение” той или иной беседы, иногда растягивались...

Согласно истинному гостеприимству

Но это будет потом. А сейчас вернёмся в тот октябрьский день или уже вечер, когда завершали мы наш первый разговор. Я стал благодарить Валентина Григорьевича и прощаться, однако услышал за спиной женский голос:

– Нет, нет, мы вас просто так не отпустим. Ведь время ужинать, а то вам с голоду и домой не добраться.

Это было первое, что я от неё услышал, смущённый таким радушием. Валентин Григорьевич в ответ на мою растерянность и отнекивания только шутливо развёл руками: дескать, она хозяйка – ничего поделать не могу.

Так неожиданно оказался я за семейным столом у Распутиных, что потом в течение двух десятков лет повторится многократно. И здесь уже впору задуматься об их сложившемся домашнем укладе, каким к тому времени я его застал.

Читая упомянутый том воспоминаний разных людей о Валентине Григорьевиче, любовно изданный недавно талантливым иркутским поэтом и его родственником Владимиром Скифом, я наталкивался не раз на схожий момент – приглашение Распутиным кого-нибудь из будущих мемуаристов к себе домой “почаёвничать”, а то и переночевать, коли речь шла о заезде человека. Причём близость приглашаемых, насколько я заметил, вовсе не обязательно была какой-то особенной. Началось так ещё в красноярской юности, когда были Валентин и Светлана молодожёнами, и продолжилось на всю оставшуюся жизнь.

Что же побуждало одного создавать “лишние неудобства” в быту, а другую безропотно их принимать и переносить? Всё-таки основная тяжесть этих неудобств, как ни крути, ложилась на жену.

Корысти или любому её подобию места в таких приглашениях вспоминающие не находят. Ни в молодые годы начала их семейной жизни, когда был он журналистом краевой газеты, а она – преподавателем высшей математики в Технологическом институте, ни тем более тогда, когда стал Распутин знаменитым писателем: тут уж другие за честь почитали его пригласить.

Ну, скажите, какая выгода ему и жене его оставлять на ужин человека, которого они видят в первый раз и ещё не известно, увидят ли во второй? Возвращаясь от них и размышляя на сей счёт, объяснил я это себе укоренённостью истинного гостеприимства. Когда просто неловко бывает проводить за дверь человека, зная, что сам после этого сядешь есть. Не может так быть, не должно. Если угодно, диктует это откуда-то из глубины глубин чувство, названное нравственным императивом. Отмирающее ныне чувство?..

Наверное, чересчур задержался я на “проблеме” приглашения за стол. Но как думал тогда, так и пишу. О том пишу, что остановило моё внимание в памятный первый день, а затем и вечер у Распутиных.

Перебарывая понятную стеснительность, как-то незаметно окунулся в удивительно обаятельную, тёплую атмосферу, создавшуюся словно сама собой. Однако создала её душевностью своей хозяйка дома, принявшая на себя, как теперь говорят, обязанности ведущей.

Конечно же, она по-своему выручала мужа, уставшего после долгой нашей деловой беседы. Но в общении этой действительно красивой и очень чуткой женщины не было при том ничего наигранного, нарочито искусственного, деланного – сама естественность и простота.

Темы разговора поначалу переходили с одной на другую, пока ожидаемо не задержался он на главной теме этих дней. А как же! Она ведь проникла во все поры столицы и страны, в каждую семью и квартиру. И что удивляться, если от обстоятельного обсуждения с Валентином Григорьевичем мы опять пришли в конце концов к тому же: к расстрелу Дома Советов на Краснопресненской набережной.

Только теперь больше нас обоих говорила жена Распутина. Страстно говорила, горячо. Помню, рефреном у неё повторялось:

– Ну, скажите, как такое могло произойти?

А я думал: она же не слышала нашего разговора с мужем, но мысли её с ним полностью созвучны. И это впечатление, которое повторится у меня позднее в разных обстоятельствах, вынес я в тот вечер из их дома.

Узнавал её постепенно

Надо прямо сказать: до этого я фактически ничего о ней не знал. И лишь постепенно выяснялось, насколько уникальна, интересна, глубока её собственная личность.

Коротко о характере и содержании моих отношений с Валентином Григорьевичем, сделавших меня вхожим в их дом. Это было его решение – согласиться на беседу для “Правды” в условиях гонения власти на нашу газету. Первая беседа ему явно понравилась, о чём он сам сказал мне после её публикации. Безусловно, на том отношения могли бы закончиться, но не кончились, продолжившись надолго.

Я и сейчас затрудняюсь однозначно ответить, что в решающей степени определило их продолжение. Однако факт остаётся фактом, и это опять-таки был его выбор. Для меня же, понятно, такое доверие со стороны Распутина стало исключительно важным.

Как строилось наше сотрудничество? Не сразу, но установился в беседах свой постоянный ритм. Если сначала они не были регулярными и откликались на текущие события, которые его больше всего волновали (по принципу “не могу молчать”), то со временем он предложил следовать назначенной системе. А продиктовал эту систему, можно сказать, их образ жизни той поры.

С весны до поздней осени они старались жить на иркутской земле. А к зиме возвращались в Москву. Так вот, за время их отсутствия по просьбе Валентина Григорьевича готовил я ему свои очередные вопросы. Расширенные, занимавшие по нескольку страниц. И предполагавшие анализ не только отдельных фактов за год, но и тенденций в жизни политической, общественной, культурной. Хотя чаще, увы, антикультурной. . .

Подготовка этих вопросов занимала меня постоянно. Иногда мы перезванивались, что-то согласовывали. Когда же наступал срок нашей встречи, у меня возникало одновременно чувство праздника и экзамена.

В самом деле, выходя из метро на Арбат и приближаясь к их дому, я испытывал редкостный душевный подъём, соединённый с напряжением ответственности, какая тоже редко бывает.

Я уже говорил, что встречали в дверях, как правило, они вместе. А пока мы с Валентином Григорьевичем работали в его кабинете, незримое присутствие Светланы Ивановны нам сопутствовало. Это ведь она, несмотря на все жизненные невзгоды, умела поддерживать для мужа атмосферу наибольшего благоприятствования. Но чего это стоило ей, особенно в те годы, о которых я пишу. . .

С 1991-го, рокового для страны, Распутин волею власти и её “демократической” obsługi был окончательно поставлен в положение изгоя. Травить его “демократы” начали ещё раньше, а после “Слова к народу”, которое он под-писал, всеми силами стремясь остановить уничтожение Советской державы, это были уже не отдельные злобные выпады и атаки. Он оказался теперь в плотном кольце враждебности – оказался вместе со своей семьёй.

Дорогой ему женский образ

Многие сегодня, наверное, и не знают, что Распутиных в то время реши-ли даже вышвырнуть из их московской квартиры. И вышвырнули бы, как рас-сказывали мне, если бы на защиту мужа и дочери не поднялась Светлана Ивановна.

Удивляться не стоит, что главным защитником дома от гонителей стала она, а не всемирно известный писатель. Валентин Григорьевич мог упорно постоять (и действительно стоял!) за других, только не за себя.

Между тем выселение грозило серьёзными сложностями не только им обоим, но и жившей с ними дочери Марии, которая тогда поступила в Мос-ковскую консерваторию и делала здесь первые успешные шаги. А сам Вален-тин Григорьевич был остро необходим в столице, где всё чаще по просьбам людей приходилось ему выступать в самых разных аудиториях. Особенно нуж-ен он был Союзу писателей России, который “демократы” уже внесли в чёр-ные списки на расправу и за который предстояло настойчиво бороться.

Словом, потребовались от Светланы Ивановны огромные усилия, чтобы, отстаивая квартиру, найти сочувствующих в коридорах московской власти. И это при том, что в обычной жизни, как признают знающие люди, никакой особой предприимчивостью она никогда не отличалась.

Хотя тут не предприимчивость решающей стала, пожалуй, а, скорее, си-ла душевная, соединённая с готовностью подвижничества. Я выскажу сейчас мысль, которая уверенно вызрела у меня за годы общения с ними обоими. Вот справедливы восхищения женскими образами в повестях и рассказах Распутина. А ведь они, по моему убеждению, отразили и прекрасный образ его жены, всё лучшее в ней.

Приведу о женщинах фрагмент из беседы писателя с иркутским литерату-роведом и критиком Надеждой Степановной Тендитник:

“В традициях русской литературы доверять именно женщинам выражение основных авторских мыслей. Так было в прошлом веке, так и в нынешнем продолжается. Связано это вообще с ролью женщины в нашей жизни. Жен-щина – содержательница и хранительница домашнего очага, мать и воспита-тельница детей. И то, каким будет человек, с каким сердцем он станет жить, в большей степени зависит от матери, чем от отца. Женщина – мягкость, неж-ность, доброта и душевность, красота и тайна человеческая. Женщина – глу-бина и чуткость чувств, их предельная развитость и отзывчивость. Но вместе с тем – житейская мудрость, наследованная от поколений предков, потому что женщина, оставаясь с семьёй, не могла растерять её по ближним и даль-ним дорогам... Поэтому она для литературы была и остаётся благодатным, надёжным материалом, без которого никак не обойтись не только в любовных сценах (которые тоже важны в литературе), но и в постановке и решении са-мых глубоких гражданских и человеческих проблем.

Критика отмечала, что у меня лучше всех получаются женские образы, – это старуха Анна в “Последнем сроке”, Настёна в “Живи и помни”, старуха Дарья в “Прощании с Матёрой”. Мне это и приятно, потому что то, что можно было доверить, что хотелось выразить в той или иной повести, у меня полу-чается лучше всего с помощью женских характеров”.

Один из них, данный самой жизнью и вошедший в основу образов лите-ратурных, – это, безусловно, характер его жены.

Его жена и мать Марии

Чем больше узнавал её, тем более в этом утверждался. К тому времени, когда стал я посетителем их дома, основные повести, о которых говорит Валентин Григорьевич в процитированной беседе, были им уже написаны.

Предстояло написать трагическую “Дочь Ивана, мать Ивана” и цикл горьких рассказов, также отразивших реалии “убийственных 90-х”.

Сюжет новой повести, которая писалась им, я знал. В безысходном положении, когда невозможным оказалось найти правду, чтобы наказать виновных в глумлении над дочерью, мать берётся за ружьё и сама приводит в исполнение вынесенный ею приговор.

У Распутиных тоже дочь – Мария, или Маруся, как они её называют. Есть ещё и сын Сергей, но он со своей семьёй живёт в Иркутске. Маруся, как я уже упоминал, училась в Московской консерватории, после окончания которой стала здесь же работать.

У неё было две специальности – история музыки и орган, на котором она давала сольные концерты. Бывали её концерты органной музыки и в родном Иркутске, куда она готовилась всегда с особым старанием и волнением.

Не каждый раз заставлял я её дома, однако встреч было достаточно, чтобы почувствовать характер и отношения с родителями. По натуре она заметно схожа была с отцом, схожа особенно молчаливостью и сдержанностью. Но когда была с матерью, казались они мне двумя одноклассниками-подружками, готовыми подолгу доверительно шептаться, смеяться и шутить между собой.

Уже задним числом, когда будет написана “Дочь Ивана, мать Ивана”, а Марусю в 2006-м постигнет своя трагедия, унёсшая её жизнь, я думал: работая над этой повестью, Валентин Григорьевич наверняка видел за её героинями самых близких ему женщин. Видел и ужасался тому, что пришлось пережить литературным дочери и матери, ещё не зная, что уготовила судьба матери и дочери в его семье и ему самому...

Положение Светланы Ивановны будет даже тяжелее и безысходнее, чем у мстительницы из повести. Там хоть был персонаж, которому она могла отомстить за надругательство над любимым человеком. А кому персонально адресовать возмездие за гибель в авиакатастрофе 125 человек, в том числе дорогой, бесценной её Маруси? Аварии самолётов со смертельным исходом резко участились потому, что в условиях наступившего капитализма “бизнесмены” начали закупать по дешёвке зарубежный авиахлам, недопустимый в перевозке людей.

И вот очередной результат: только что были живы эти 125 – и уже их нет. Каким непоправимым горем рухнула это на Светлану Ивановну и Валентина Григорьевича! Есть фотография, запечатлевшая момент, когда они со своим сыном Сергеем идут на процедуру опознания. Страшно смотреть на всех троих...

Есть и ещё один снимок, сделанный около пяти лет спустя талантливейшим фотомастером Павлом Кривцовым и вошедший в его альбом “Святая Русь”. Здесь – прощание мужа и жены, когда уже ясно, что она обречена.

Трудно сказать, кому из них хуже. Валентин Григорьевич откинулся на спинку кресла, совершенно обессиленный. А Светлана Ивановна, заботливо склонившись над ним, пытается мужа утешать. Удар судьбы оказался столь сильным, что, в конце концов, мать не смогла перенести смерть дочери...

А мне врезался в память последний мой разговор с Марусей, когда вышла она с матерью провожать меня в переднюю (Валентин Григорьевич накануне улетел в Иркутск, а я приехал за оставленным им материалом). Так вот, прощаясь, мы разговаривали, и Светлана Ивановна вдруг сказала:

– Извините, пожалуйста, у Маруси возникло затруднение, в котором я не могу ей помочь. Может быть, вы помните, чьи это стихи?

*О милых спутниках,
которые наш свет
Своим сопутствием
для нас животворили,
Не говори с тоской:
“Их нет”, –
Но с благодарностью:
“Были!”*

– По-моему, это Жуковский, – ответил я, не вполне, впрочем, уверенный.

Приехав домой, заглянул в книгу. И вздохнул с облегчением: не ошибся.

Как они оказались вместе – на всю жизнь

Моя тема – жена писателя. Большого, выдающегося, великого. Созданное Валентином Распутиным невозможно переоценить. Но рядом с творцом бывает человек, чей вклад в его наследие тоже заслуживает высокой оценки.

Из русской классики у меня прежде других вспоминается имя жены Достоевского. Дело ведь не только в том, что она под диктовку стенографировала его гениальные романы. Дело в глубине понимания, в личностном совпадении чего-то необыкновенно важного для творчества и в стремлении это важное творцу отдавать.

А как Светлана Молчанова стала женой будущего писателя? Достаточно подробно рассказывает о ней в своих воспоминаниях младшая её сестра Евгения Ивановна. Повторять полностью не буду, но сослаться кое на что из свидетельств знающего человека я просто обязан.

Во всём есть внешнее и внутреннее. Вот внешнее в описании сестры:

“С Валентином Распутиным, начинающим журналистом, Светлана познакомилась, когда училась на физико-математическом факультете ИГУ (Иркутского госуниверситета. – В. К.). Высокая, стройная, спортивная (она любила играть в большой теннис), красивая, с тонкими чертами лица, да ещё и знающая толк в литературе, она не могла не привлечь его внимания. Они начали встречаться”.

А вот о том же, внешнем, говорит много лет спустя сам Валентин Распутин:

“... После окончания университета неожиданно для себя я поступил на работу в молодёжную газету. И вот однажды, на набережной Ангары, неподалёку от университета, встретил свою будущую жену. Встретил её, ну и, конечно, увлёкся. Она была хороша собой, она и сейчас хороша, а тогда была хороша особенно”.

Подобных встреч бывают тысячи и тысячи. Вполне обычно. Молодой журналист, красивая девушка-студентка. Могли вскоре и “разбежаться”. Вполне. А если всё же не разбежались, если он станет известным писателем, а она его женой на всю жизнь? Чтобы понять это, надо внимательнее всмотреться в их внутренний мир.

Евгения Ивановна: “... Помогают нам в этом сохранившиеся письма В. Г. и дневники С. И. той поры. Валентину и Светлане едва за двадцать. Но уже чувствуется тонкий писательский талант в тоскующих и одновременно самoirоничных посланиях юного иркутянина, уроженца своей любимой деревни Аталанка. Она во время летних каникул уехала с группой студентов на строительство клуба в колхоз, и вот он пишет ей. Не каждый, далеко не каждый может так щемяще пронзительно выразить то, что переживает:

“Салют, Светка!

А завтра был дождь, и я решил пересмотреть своё отношение к погоде. Теперь моя любимая – солнце. Мне было грустно, потому что шёл дождь и потому что ты уехала чёрт знает куда. В магазинах продавали квас и водку. Люди ходили по лужам под зонтиками. И шёл дождь. А я должен был слушать фестивальные песенки про любовь и радость жизни. У меня болела голова.

А потом было солнце. Утром я по привычке зашёл в магазин. В тот самый, который новый и который стоит напротив вашего дома, и чуть было не позвонил тебе. А потом вспомнил, что тебя нет. Ну, и не надо. Подумаешь, невидаль, Светка! Задавала Светка, каприза Светка. Ну, и не надо. Вечно она издевалась надо мной...

Да, Светка, завтра вечером я еду в Кутулик. Буду там дней пять. Не бойся – постараюсь тебя не увидеть, в ваш колхоз не ездить. Я благоразумный человек и знаю, как тебе сделать приятное.

А клуб, поди, растёт и растёт. Ты, поди, главная фигура на строительстве, и с тобой советуется сам председатель колхоза. Вы, поди, взяли соцобязательство закончить строительство не за месяц, а за полмесяца, для чего увеличить фронт работ, повысить производительность труда, снизить себестоимость того-то и того-то, потребовать, принять, обязать, нажать и т. д. и т. п. Чудо, а не работнички...

Стоп, Светка. Я хотел отправить тебе целых пять вот таких листов и подробно осветить, какой я в тебя влюблённый, но подлое начальство догадалось, что моя голова занята совсем не тем, чем ей полагается заниматься, и соизволило отправить меня в Шелехов для освещения вопросов технического прогресса.

Такова жизнь. И ничего не поделаешь.

Верь, что я и в самом деле в тебя влюблённый и что мне многого стоит не удобрить это письмо горькими слезами. Я напишу тебе из Кутулика. А сейчас мне грустно, и грущу я по тебе, и мне тяжело, и мне обидно, и я напишу, и я буду хорошим, и ты мне ответишь, и мы встретимся, и я буду счастливым, и всё будет хорошо.

Пока, Светка. Знала бы ты, как мне хочется с тобой поболтать. Надеюсь, что со временем мне это удастся. Адью.

Я – это Валька. А то ты, чего доброго, перепутаешь ещё”.

Написано 6 июля 1960 года. А почти в это же время та, кому письмо адресовано, записывает у себя в дневнике своего рода жизненное кредо:

*Надо жить в полную
силу. Дерзать. Творить.
Бояться повседневности.
Подчинять её себе.
Всегда везде быть сильной,
независимой.
И чтобы все это знали.
И никогда не раскисать,
по крайней мере, чтобы никто
не видел этого.*

Евгения Ивановна заметила от себя о сестре: “Этим принципам она следовала всю свою жизнь”.

Я ей верю. Абсолютно. Потому что многое за двадцать лет нашего знакомства видел сам и во многом убедился.

Выделю два факта и кое-что ещё

Что же касается влияния Светланы Ивановны на мужа (влияние их было, конечно, взаимным), то необходимо, по-моему, сослаться на два факта, относящихся к первым годам их совместной жизни.

Факт первый. Окончив университет, она не осталась в Иркутске, а поехала с мужем и полторагодовалым сыном на самостоятельную и весьма нелёгкую жизнь в Красноярск. Так решила и на том настояла.

Факт второй. По истечении всего нескольких лет именно она убедила мужа покинуть газету и перейти на профессиональную писательскую работу. Был тут безусловный и немалый риск. Но она пошла на него, готовая лично многим поступиться. Почему? Верила в талант Валентина Распутина и хотела, чтобы условия для творчества были у него наилучшими.

Очень много значило это! Всерьёз надо сказать: сложись иначе, могло и не быть писателя Распутина, каким вознесётся он на всю страну и весь мир. Есть тут роль жены или нет?

Младшая сестра отмечает в старшей следующее: “Светлана была незаурядной, многогранной личностью. После её смерти остались дневники, которые она вела в студенческие годы, ещё до замужества: две общие тетради, где она записывала все свои сокровенные мысли, размышления о жизни, понравившиеся ей стихи, отрывки из прозаических произведений, впечатления о прочитанном”.

Список упомянутых в дневнике книг внушительный. Любовь к литературе очевидна, так что Валентину со Светланой было о чём поговорить. И это, несомненно, их тоже объединяло, тоже продиктовало ей дневниковую запись 20 сентября 1960 года: “Часто сейчас мне стало казаться, что В. Р. – судьба моя”. С февраля 1961 года, по свидетельству сестры, они уже не расставались.

Приведу ещё весомый вывод от Евгении Ивановны: “Светлана была очень заботливой, любящей женой, старалась создать Валентину все условия для работы, но вместе с тем она – первый читатель, строгий и справедливый критик. Конечно, он понимал, что она значит для него”.

Понимал, ценил, был благодарен... Это я уже от себя пишу, потому что, несмотря на природную сдержанность Распутина, его чувства к ней нельзя было не заметить. И настанет момент, когда скажет, словно выдохнет: “Она для меня – всё”.

Соучастие было разным

Читая том воспоминаний о нём, собранных и изданных мужем Евгении Ивановны Молчановой – поэтом Владимиром Скифом (вместе с ней!), во многих из них встречаю имя Светланы Ивановны. Да, видимо, все или почти все, с кем он дружил или встречался, особенно писатели его круга, Светлану Ивановну знали и с теплотой душевной написали о ней. Причём вспоминают не только бытовые какие-то подробности, но и связанное с писательской работой, с литературой. Валентин Григорьевич и она, Светлана Ивановна, возникают здесь в том дорогом для меня единстве, которое недопустимо забыть.

С волнением читал у самарского писателя Эдуарда Анашкина историю издания книги его рассказов под названием “Запрягу судьбу я в санки”. Было это на стыке 1990-х и “нулевых” годов, а началось знакомство двух авторов чуть не за полвека до этого. Да сколько таких знакомств у Распутина к тому времени произошло, попробуйте вообразить. В моём представлении едва ли не самый тяжкий груз для широко известного человека – поддерживать добрые отношения с бессчётным числом людей, каждый из которых надеется, да и в самом деле право имеет, на эти отношения. А уж среди писателей обычное дело – вручить свою книгу или рукопись с тем, чтобы “широко известный” посдействовал в издании либо публично откликнулся.

Много раз был я свидетелем, как на всяческих встречах нагружали Валентина Григорьевича настолько, что приходилось помогать ему потом доставлять нелёгкую книжную ношу домой. Однако при всём при том нередко он и сам “вызывал огонь на себя”. Вот про такой именно случай и рассказывает Эдуард Константинович Анашкин. Приехав в Москву из своего села Майское Самарской области и заглянув в правление Союза писателей России, пересёкся здесь неожиданно с Валентином Григорьевичем. И тот, поздоровавшись, спрашивает: “А где новая рукопись? С собой?” Будто специально разыскивал!

Рукопись оказалась с собой. Получив её, Распутин обещал посмотреть и сказать своё мнение. А под конец пригласил к себе, в Староконюшенный, где Анашкин ранее уже бывал.

Но на сей раз, боясь быть навязчивым и не желая отнимать у Валентина Григорьевича драгоценное время, по знакомому адресу он не поехал. И что же далее? Читайте:

“Возвращаюсь домой в Самарскую область. Через несколько дней после возвращения от Распутина звонок: “Ты почему не пришёл ко мне? Я разыскивал тебя в Переделкино, не нашёл, сказали, что уехал. К твоей новой книге я написал короткое предисловие. Когда получишь письмо, позвони, если с чем-то не согласен. Буду ждать звонка... Светлане Ивановне очень понравились твои рассказы, она даже плакала”.

Автор тут же замечает: *“Может, и нехорошо в том признаваться, но, услышав слова о том, что фактически я довёл до слёз Светлану Ивановну, я обрадовался!”*

А я, признаюсь, обрадовался ещё и потому, что в который раз получил подтверждение совместной работы и общего мнения супругов Распутиных. То, что Валентин Григорьевич среди своей занятости и нездоровья сам вызвался прочесть рукопись, а потом написал предисловие к будущей книге, свидетельствует: ему труд давнего товарища пришёлся по душе. Но прочитал этот труд не он один, а и жена его тоже. Интересно, кто первый? Как обсуждали? А в оценке рукописи слёзы Светланы Ивановны, конечно, стали убедительным аргументом за издание.

“Эта книга, – отметит в предисловии Валентин Григорьевич, – написана бывшим детдомовцем, и вся она – от начала до конца – посвящена им же. Надо ли говорить, что это особого психического склада люди, униженные своим сиротством и оскорблённые той жестокой действительностью, которая с каждым годом всё беспощадней продолжает творить сиротство. Спасти их может только совокупное добро...”

Статью свою он назвал “На добро – добром!” И сам же на деле показал, как должно быть: позаботился, чтобы рассказы, выпущенные, к сожалению, небольшим тиражом, были переизданы в целом ряде журналов и газет. И журнал “Уроки литературы” даже организовал во многих школах занятия по этим рассказам!

“Как хорошо, что вы есть”...

А сколько ещё предисловий, рекомендаций, сочувственных писем и отзывов, критических разборов появилось из-под пера Валентина Григорьевича за эти последние два десятка лет его жизни...

Что говорить, не основное это дело для прославленного писателя. Он и сам иногда сетовал: вот, дескать, ничего другого уже не могу, а потому трачу время на всякую “мелочёвку”.

Помогать другим — вот что стало основной его заботой в те переполненные болезнями и страданием годы. А жена, самый близкий ему человек, находившийся рядом, делила эту заботу на двоих.

Знаю, что Светлана Ивановна, как и в случае с Анашкиным, бралась читать рукописи и книги, чтобы подсказывать мужу, что, на её взгляд, заслуживает наибольшего внимания. Доверявший ей, он прислушивался всегда очень внимательно.

Вот и наши с ним беседы, продолжавшиеся все эти годы, освящены были её участием. Потому что не только набирала она их на компьютере, выполняя чисто техническую работу, но и, как я понял, высказывала Валентину Григорьевичу свои советы и пожелания.

Беседам этим, о чём я уже говорил, он придавал большое значение, видя в них тоже способ помощи людям. Многие в эту непроглядно тёмную и глухую пору ждали его слова, а ведь широкой трибуны в СМИ ему не давали. Из газет только “Правда” и “Советская Россия” остались с ним.

— Как хорошо, что вы есть, — говорил он, вручая мне текст, над которым после очередного нашего разговора по обыкновению долго и тщательно работал. И я по-особому обрадовался, когда однажды, принимая в его отсутствие от Светланы Ивановны набранные на компьютере листы, услышал от неё то же самое:

— Как хорошо, что вы есть...

Расскажу для сравнения

Задержусь здесь, чтобы высказать ещё одно наблюдение чрезвычайной важности. За годы журналистской работы довелось мне “по долгу службы” встречаться со многими известными людьми. Встречи происходили при разных обстоятельствах и оставляли разные впечатления. Так вот, насколько смелы были мои собеседники?

Речь, конечно, о смелости гражданской. Горько, досадно и обидно бывало, если человек, казавшийся тебе чуть ли не воплощением принципиальности, вдруг на глазах начинал меркнуть. А такое случалось, к сожалению, не единожды. Вступал в силу и брал верх “принцип” чеховского Беликова: “Как бы чего не вышло...”

Расскажу одну из поразивших меня историй, связанную с известным кинорежиссёром. Я долго присматривался и прислушивался к нему, прежде чем позвонил с предложением выступить в “Правде”. После 1991-го для многих “деятелей культуры”, крепко обнявшихся с ельцинской властью, это стало невозможным, категорически недопустимым. Но со временем кто-то свои позиции переменял, а про этого режиссёра мне говорили, что он и раньше к установившейся власти относился критически. Короче, прорывавшиеся иногда оппозиционные высказывания и поступки его я воспринимал как вполне резонные.

Побеседовать со мной он согласился. Даже, показалось мне, с радостью. Встреча была назначена у него дома, как только он вернётся из недолгой поездки в Испанию. И встреча действительно состоялась. Но...

Странно было в первые же минуты заметить, что интонация заданного им общения резко отличается от той, которая была в телефонном нашем разговоре. Тогда — приветливость и радушие, а теперь — официальность, граничащая с неприязнью. Что случилось? Прямо-таки другой человек...

Разговор, когда я включил диктофон, тоже пошёл соответственно. Собеседник безо всякого повода с моей стороны раздражался, выговаривал мне то за какой-нибудь вопрос, то за непонравившуюся реплику, которая якобы сбивала его “с мысли”. Но мысли эти были настолько невнятные и противоречи-

вы, что понимались с трудом. А всё яснее становилось: он старательно уходит от острых современных проблем, интерес к которым и свёл меня с ним.

Промучились мы таким образом часа два. При этом у меня нарастало сомнение: а хочет ли он, чтобы эта беседа была подготовлена к печати и опубликована? При прощании, однако, договорились: я на основе диктофонной записи готовлю текст, а он потом вносит свои поправки, дополнения, сокращения и т. д.

Но ничего он делать не стал. Через какое-то время позвонил и сказал: беседа его не устраивает, печатать её не согласен.

Неудачи в работе бывают. Однако меня не отпускало явное изменение отношения его к предложенной работе. Сперва обрадовался, а затем обозлился. Хотя ведь ничего плохого за это короткое время я ему не сделал.

Свет на происшедшее пролила одна моя знакомая из кинематографической среды. Услышав мой рассказ и мои сетования, высказалась чётко:

— Это жена. Влияет на него сильно! А тут как раз им обоим должны были премию телевизионную вручать. Ну, и рассудите: к чему в такой момент газета “Правда”?

Ох, как всё просто, оказывается. Жена...

Пока мы с ним беседовали, она, популярная актриса, была дома, однако к нам не вышла, а объяснение по поводу назначенного интервью между ними, стало быть, уже состоялось. И актриса одолела режиссёра. Впрочем, насколько упорно он сопротивлялся — тоже вопрос.

Могло ли произойти что-либо подобное между мужем и женой Распутиными? Нет и ещё раз нет! Да если допустить возможность этого, тогда следует признать, что книги наших бесед просто не состоялись бы. По остроте с режиссёрским интервью они несравнимы: Валентин Григорьевич остроты не избегал, а Светлана Ивановна к тому его не понуждала. По очевидной для меня причине: их боль за переживаемое Россией была общей.

И, конечно, не могла жена давить на мужа, чтобы поумерил он прямоту и резкость своих выступлений. Говорил и писал так, как думал. А она думала, как и он.

Когда привозил я номер “Правды” или “Советской России” с очередной нашей беседой, в её глазах светилась радость. Да, рождалось всё это при её участии, она сама печатала текст, однако ей хотелось ещё раз перечитать его в газете. Улучив несколько минут, присаживалась для этого где-нибудь на кухне.

А при следующих наших встречах рассказывала мне, какие были отклики от знакомых и незнакомых, интересуясь также, что пришло в редакцию. Наиболее интересные письма из тех, которые я привозил, читались вслух. Бывало, она говорила:

— Смотрите, это может стать темой для обсуждения.

Очень верно она чувствовала самое для людей наболевшее.

“Она для меня всё”...

Среди воспоминаний Евгении Ивановны Молчановой прочитал я признание Валентина Григорьевича жене, оставленное в связи со знаменательной для них датой на титульном листе вышедшей к тому времени книги “Сибирь, Сибирь...”: *“Моей Светке-Светлане в день 40-летия нашей совместной и довольно счастливой жизни — эту книгу как знак благодарности за подвиг мученичества и любви и как результат наших общих трудов”*.

Он и книги на память очень вдумчиво всегда подписывал. Но здесь, по моему, особенно старался выразить (и выразил!) самое главное в своём отношении к ближайшему человеку.

Перечитываю и восхищаюсь. Как вы думаете, почему он написал “совместной и довольно счастливой жизни”, а не просто “счастливой”? А именно потому, я считаю, что она ведь совместная. В счастливости для себя сомнений нет, а за жену категорически судить не берётся, вставляя тактичное, с оттенком предположительности, присловье “довольно”.

Зато всё более чем определённо в признании того, что значит для него этот человек. Утверждает с благодарностью её “подвиг мученичества и любви”, а книгу, и, конечно, не только эту, оценивает как результат их общих трудов.

Ни капли сомнения нет у меня, что написал он так с полнейшей искренностью, а не просто отдавая дань некоему юбилейному “политесу”. Сама жизнь и далее будет это по-разному подтверждать.

Он ведь не знал, не мог знать в день их семейного сорокалетия, что ещё больший подвиг любви, мученичества, общих трудов выпадет Светлане Ивановне на десятилетие следующее, которому суждено будет стать в её жизни последним. Тяжкие болезни мужа, которые, словно сговорившись, ещё яростнее пошли в атаку на него, грозя самым страшным – утратой памяти. Гибель горячо любимой дочери Маруси. И, наконец, около двух лет спустя эхом той невероятно глубоко пережитой трагедии – удар по ней самой: рак.

Понятно, что свалившееся на них переносили они вместе, изо всех сил помогая друг другу. Но давайте учтём: она всё-таки женщина. Смерть Маруси, с которой душевно были они накрепко связаны, настолько надорвала её изнутри, что Валентин Григорьевич даже месяцы спустя писал в своих письмах о “постоянно плачущей жене”. Хотя вне дома никому она не плакалась и не жаловалась, что поражало, например, мою жену.

Впрочем, эти горести и удары, эти хвори, слившиеся в непрерывном потоке, со временем уже не давали возможности верно понять со стороны, кому из них двоих сейчас тяжелее и кто кого больше поддерживает. Во всяком случае, долго не показывавшаяся на людях после роковой авиакатастрофы Светлана Ивановна просто вынуждена была брать себя в руки для совершенно необходимой помощи мужу. Получалось, что он без неё даже из дому выйти не может. А если выйдет, того и гляди заблудится.

– Она для меня всё: глаза, уши, память, – сказал он мне однажды, когда навещал я его в клинике нервных болезней имени Россолимо. Находился он здесь в палате с писателем Леонидом Бородиным, а для разговоров мы уходили куда-нибудь в конец больничного коридора.

“Она для меня всё...” Сказано было по-распутински негромко, но внушительно. И второй раз он повторит это, обращаясь уже к моей жене, когда будут они со Светланой Ивановной у нас дома в гостях на Масленицу.

Увы, продолжительное лечение и в этой клинике мало тогда помогло. Он рассказывал, как неожиданно потерял сознание в аэропорту, и память, к сожалению, тоже не улучшилась.

Однако непостижимым образом жизнь заставляла их держаться. Вот и масленичное застолье в тот день никаких следов уныния не обнаруживало. Шутили, смеялись, вспоминали что-то забавное. А ведь Светлана Ивановна уже перенесла операцию и длительную химиотерапию, о которой слышал я от Валентина Григорьевича, что даётся она ей очень нелегко.

И такая особая чуткость

В узком кругу и в домашней обстановке было, разумеется, проще. Но жизнь вытаскивала их и на авансцену, где приходилось мобилизовываться, как говорят, по полной. Я видел: тут особенно у них включалась взаимовыручка.

Любившая Распутина всей душой Татьяна Васильевна Доронина в самое трудное время находила возможность его поддержать. В своём театре устроила, например, великолепный вечер в честь 70-летия писателя. Тогда он ещё имел силы выйти перед огромным переполненным залом и произнести большую раздумчивую речь, завершившуюся под бурные овации.

Совсем иначе чувствовал себя, когда Татьяна Васильевна пригласила их на премьеру спектакля “Деньги для Марии”. Какой-то особо тяжкий по состоянию выпал для него день. Едва мы встретились в фойе, первое слово, которое я от него услышал, было: “Боюсь”. Вот, дескать, выступать придётся, а я не могу. Успокоения мои, что будет это происходить на Малой сцене, а не в главном зале, не очень подействовали. Убедительнее оказалась Светлана Ивановна. “Знаешь, – сказала она, – тебе и не надо выступать. Достаточно поблагодарить людей за работу”.

И перед спектаклем, и после я невольно любовался ею. В белой кофточке, с букетом цветов казалась она необыкновенно светлой и лёгкой, как будто никаких болезней не бывало у неё и в помине. Чего стоило ей так собраться!

Секрет, разумеется, в том, что слишком хорошо понимала состояние мужа в те часы и минуты, а потому заранее взяла основное напряжение на себя.

Валентин Григорьевич выполнил её совет, и действительно, слово искренней благодарности после спектакля достойно заменило пространную речь, необходимость которой так мучила его. А Светлана Ивановна и дальше, когда чуть ли не вся труппа во главе со своей выдающейся руководительницей разместились за накрытыми столами, продолжала очень искусно мужа выручать. Тост произнесла от имени их обоих, отвечала на какие-то вопросы с разных сторон и всё время поддерживала беседу с Татьяной Васильевной, сидевшей между ними. То есть Валентину Григорьевичу можно было спокойно молчать, чего и хотелось ему в данный момент более всего.

До последнего вздоха

Обманное у меня возникло тогда впечатление, что Светлана Ивановна твёрдо идёт на поправку. Обманное. . .

Вскоре узнал, что она опять в больнице. А ещё через некоторое время, совершенно неожиданно, Валентин Григорьевич отправится вместе с ней в последний для жены авиарейс до Иркутска.

Пятнадцатого марта 2012 года, в день его 75-летия, на открывающейся в павильоне ВДНХ выставке-ярмарке “Книги России” мы должны были вместе подписывать читателям возле стенда издательства “Алгоритм” только что вышедший полный сборник наших бесед, получивший название “Эти двадцать убийственных лет”. О встрече договорились заранее. Но вечером накануне — телефонный звонок.

— Извините, — слышу в трубке глуховатый голос Валентина Григорьевича, — к сожалению, завтра быть не смогу. Я не говорил вам, что со Светланой Ивановной совсем плохо, здесь врачи фактически отказываются от неё. Надо лететь в Иркутск: Ганичев помог с самолётом. Так что ночью отправляемся. . .

Ровно полтора месяца осталось ей. И всё это время, как знаю из рассказов её сестры Евгении Ивановны, муж от неё не отходил. До последнего вздоха.

Ушла она 1 мая — в день рождения своего отца, замечательного поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского, чьё имя в 1961 году было присвоено главной иркутской библиотеке.

День многолетней семейной радости, двойной праздник стал теперь и днём скорби. . .

Однако, вспоминая Светлану Ивановну — этого прекрасного человека, так много сделавшего своей самоотверженностью, чтобы состоялся жизненный и творческий подвиг Валентина Распутина, — мысленно повторяю незабвенную пушкинскую строку: “Печаль моя светла”...

Вспоминаю и строки Василия Андреевича Жуковского, про которые спросили меня однажды Светлана Ивановна и Маруся:

*О милых спутниках,
которые наш свет
Своим сопутствием
для нас животворили,
Не говори с тоской:
“Их нет”, —
Но с благодарностью:
“Были!”*

Они обе были тогда. И был жив Валентин Григорьевич, от которого я, как и многие другие, их не отделял. А затем начались расставания.

С Марусей в июле 2006-го я проститься не мог. Но прилетел в Иркутск через год и был на поминании у них дома.

9 июля. Вместе стояли над усыпанной цветами могилой на Смоленском кладбище, с высоты которого открывался великолепный вид на родной их город.

Ночевали на даче. И Светлана Ивановна снова вспоминала, что именно для этого дома везла Маруся из Москвы удачно найденный, как она сообщила, подарок: флюгер на крышу в виде петушка. Не довезла.

Через пять лет, в 2012-м, я опять был в Иркутске. И опять мы пришли на могилу, только Светланы Ивановны с нами уже не было. Она лежала рядом с дочерью.

— Здесь и я лягу, — тихо сказал Валентин Григорьевич.

Что ж, воспринял я это совершенно естественно.

Почему же не сбылось?

Болит сердце. Болит и болит...

Передо мной телеграмма, которая пришла от них в день моего 75-летия. Перечитываю её, и снова всплывает в памяти многое, и опять поражаюсь их доброте: *“Дорогой Виктор Стефанович! Дорогой юбиляр! Поздравляем! Чтобы поздравлять вас и Аллу Васильевну ещё долго и долго, мы готовы жить сколько угодно и оставаться вашими друзьями. Искренне, с любовью и благодарностью, Распутины”*.

Это был февраль 2010-го. После гибели Маруси минуло три с половиной года. Светлане Ивановне оставалось около двух лет, а Валентину Григорьевичу — меньше пяти.

“Готовы жить сколько угодно”, — пошутили они в той телеграмме. Увы, так не получается. Но, к счастью, они вместе навсегда останутся в книгах Валентина Распутина, которым жить вечно.

Виктору Стефановичу Кожемяко — 85!

Виктор Кожемяко широко известен как журналист-правдист, автор содержательных книг, в которых собраны его беседы с Валентином Распутиным, Вадимом Кожиновым, Александром Зиновьевым. Читателей привлекает и его бескомпромиссная защита советской цивилизации, и её героев.

***Сердечно поздравляем нашего давнего автора и друга!
Здоровья, вдохновения, новых талантливых книг.***

Редакция

ЮРИЙ ИВАНОВ

СТИХОТВОРНЫЙ УПРЁК РАСПУТИНА

Пятьдесят шесть лет разделяют дни моего общения с Распутиным и, естественно, река Времени многое унесла в неведомое... Однако память кое-что сохранила.

В начале 1963 года я трудился учителем в Черногорске Красноярского края и нештатно сотрудничал с газетой "Красноярский комсомолец". Где-то в феврале-марте того года на страницах молодёжи стали появляться публикации за подписью "В. Распутин".

Стилистика, язык зарисовок, очерков этого автора заметно отличались от скороспелых, "холодных" материалов журналистской братии. Они были украшены образностью, метафоричностью и неведомой магией словесной волшебной мозаики...

Пытаясь понять секреты публицистического мастерства, я с интересом и белой завистью по два-три раза перечитывал распутинское творчество, так как тоже пытался наполнять корреспонденции элементами художественной прозы.

В марте 1963 года я получил из Красноярска телеграмму за подписью главного редактора Василия Полустарченко: "Приезжай работать штатной основе".

Приглашение я принял с радостью, потому как с ранней юности мечтал заниматься публицистикой. Здесь, в редакции газеты, состоялось моё личное знакомство с Валентином Распутиным. Оказался он молодым, стройным мужчиной выше среднего роста, слегка сутулым и... И с необычайно острым взглядом задумчиво-грустных глаз.

В нашем молодёжном, развесёло-смешливом коллективе он, как правило, был задумчиво-сосредоточенным, серьёзным. Создавалось впечатление, что Валентин молча свершает некую умственную работу. И действительно, в этот период он уже писал художественные рассказы.

В начале моей профессиональной журналистской деятельности Валентин протянул мне руку дружбы и помогал советами.

Периодически время обеда мы проводили в его жилой комнате, которая располагалась в студенческом общежитии лесотехнического института и была выделена его жене Светлане, преподавателю вуза. Общежитие находилось неподалёку от редакции и, прихватив по пути кефир, горячие ливерные пирожки, мы быстро перекусывали, а потом... А потом Валентин читал мне свои литературные творения.

Я не ведал, почему он, довольно закрытый человек, знакомил меня с ещё неопубликованными рассказами. Кроме искренних слов одобрения я, уступающий Распутину в литературном мастерстве, сказать ничего не мог...

Помню, что за время нашего общения с Валентином к нему дважды приезжали друзья-журналисты из г. Иркутска. Всей компанией мы продолжительное время обедали в ресторане "Север" и вместо тостов много, интересно говорили

о литературе. Но тосты всё-таки были, и один из них Распутин посвятил мне, лестно сказав о способностях.

Увы... Моё пребывание в газете ограничилось несколькими месяцами. На бюро крайкома комсомола первый секретарь Олег Колесниченко изрёк: “Есть предложение не утверждать Юрия Иванова заведомо газетой, а утвердить его руководителем оборонно-спортивного сектора крайкома комсомола”. Члены бюро, не спрашивая моего согласия, единогласно проголосовали “За”.

Почти четыре десятилетия, белкой в колесе чиновничьей телеги, я добросовестно крутился, но всегда помнил о вещем для меня стихотворении Распутина...

О каком послании речь?

С первых же дней комсомольские дела увлекли меня так, что я как-то резко оборвал свою связь с газетой и Валентином. Однако однажды я получаю по почте открытку со стихотворным текстом:

*Можно прийти, можно уйти,
Даже не бросив: “Простите...”
Но только пойми, там — впереди,
Снова всё та же обитель.*

*Можно шубу с лисой купить,
Можно себя приподнять на два чина,
Но ты пойми! Вон тот тупик —
Твоя ненаписанная картина...
А ты бы мог!
Ужели рок?*

По почерку и смыслу послания я сразу узнал Распутина.

На волне эмоций написал Валентину ответ. Там были и такие строчки:

*...Когда мозги расправят спину,
Когда душа от тяжести застнет,
Схвачу я кисть и напишу картину...*

Более тридцати лет мои мозги “расправляли” спину.

Написал ли я ту “картину”, которую имел в виду Валентин? Думаю, что нет... Но скрытый призыв друга молодости я всё-таки исполнил и вернулся в литературную обитель... через 38 лет.

Только в 64 года вышла моя первая книга стихов. Сегодня, в 82 года, я автор 20 небольших книжек прозы, стихов, публицистики. С 2010 года член Союза писателей России и с 2014 года — член Союза журналистов России.

Все эти десятилетия с Валентином Распутиным я общался только через его художественные произведения.

Правда, иногда поздравлял его в телеграммах с новой книгой, новой наградой.

Весной 2006 года я позвонил Валентину Григорьевичу в Москву и пригласил его на юбилейные торжества старейшего в Сибири литературного объединения “Стержень” г. Саяногорска, которым в ту пору руководил. Талантливым костяком нашего объединения были строители Красноярской, Саяно-Шушенской, Майнской гидроэлектростанций. Со многими из них у Распутина были давние творческие, товарищеские связи. Кроме этого, лучшие строители ГЭС были воспеты Валентином в годы его журналистской деятельности.

К сожалению, Валентин Григорьевич, по объективным причинам, приехать к нам не смог.

P. S.

Закончив краткие воспоминания о выдающемся писателе сибирской земли В. Г. Распутине, я вдруг осознал, что нужно увековечить память о нём на красноярской, хакасской, земле. Ведь он так талантливо, художественно-ярким Словом создал Образ Героического Времени и Образы Героев Исторических Молодёжных Строек Нашего Отечества.

г. Абакан

ПАМЯТЬ

К 80-летию Евгения Курдакова

ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ



ОЗЕРО. ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ЛЕТА

ДНЕВНИКОВАЯ ПОВЕСТЬ-ЭССЕ

*Далеко от лугов, где ребёнком я плакал,
упустив Аполлона...*

Вл. Набоков "Слава"

1942

Уэльслей

*Не прощу себе ненаписанного "Залива" ...
"Ангел, бабочка, цветок..."*

У меня давно было желание пожить в одиночестве у большой воды, послушать птиц, шум воды и ветра, пропитаться этим и написать что-то такое, где ничего не происходит, где нет базара житейского и мирской суеты, а есть просто небо, волны, птицы и свободная душа.

Поселившись на Озере и очаровавшись им, я не думал, что то, от чего я сбежал, возвратится ко мне, неназойливо, властно, и вновь докажет, что от жизни бежать не просто не нужно, но и бесполезно.

22 июля, 1989 года, суббота

Долгая десятичасовая дорога на Зайсан: Усть-Каменногорск—Самарка—Курчум—северный берег озера: между Аксуатом и Кызылгузом, больше 300 километров с долгой переправой через Иртыш.

Сразу за Казнаковской переправой кончилась алтайская поздняя горная зелень и пошла унылая желтовато-сизая полынная полупустыня, где за всё

лето выпал лишь один дождь — 28 июня (о нём писали в газетах как о манне небесной)...

23 июля, воскресенье

Вчера приехали затемно, и, как только я выгрузил вещи, колья, дрова, машина ушла... В полумраке глотнул из фляжки холодного чая, лёг на полуразвёрнутую палатку, прикрылся ветровкой и замертво уснул...

Утром оглядел пустынный берег огромного светлого озера, где мне придётся прожить больше недели. Белёная, выжженная земля, светлая вода до горизонта, бесцветное небо; всё знойно, ветрено, залито солнцем...

В километре — несколько жилых землянок, глинистое арбузное поле, трактор, движок, прутья каких-то посадок: нищее кооперативное поле...

Перетащил вещи ближе к воде, над обрывчиком поставил палатку, побросал в неё вещи и сразу снарядил спиннинг: миллиметровая леска и тяжёлая блесна в ладонь с большим кованым тройником.

Ловил взаброд, уходя по грудь метров на семьдесят за границу взмученной воды.

Щуки брали сразу, по шлепку блесны: сильный удар, подсечка, и всякий раз утомительное и долгое вытаскивание бьющейся сильной рыбы на берег, ибо в воде с блесны её не снять...

Все мои действия сопровождали чайки, крича и едва ли не садясь на голову.

Ошкерив пару щук, нарубил их на куски. Потом разжёл костёр из дров, привезённых с собой, и поставил на огонь ведро воды для ухи... Когда вода забурлила, бросил в неё немного картошки, горсть пшена, пару луковиц и щепоть соли. Потом, ткнув ножом картошку — сварилась ли? — набросал в ведро нарубленной рыбы, сразу отодвинул угли от ведра: уха должна допариваться крайне медленно...

И пока варилась уха, я спустился к воде сполоснуть руки. Над головой прошлестела большая гусиная стая. Зрелище было любопытное: старые гуси обучали молодняк перестройке клина на ходу. Да, клин намного сложнее стаи, в принципе, это великолепно отлаженная биолокаторная антенна, безошибочно улавливающая притяжение древних земных разломов — этих вечных путей птиц и людей.

Передний гусь, очевидно, вожак, постоянно перекликается с задним. При повороте влево клин делается тупым, вправо — острым... В этом был какой-то глубинный смысл, накопленный видом ещё в ледниковый период, и видно, что молодым всё это давалось нелегко...

Мимо постоянно пролетали утки, бакланы, иногда цапли...

На гребне арыка застывшей мумией чернела скопа, алтайский каракуз. Зной, белое выжженное небо, невыносимо сверкающая вода...

Уха получилась отменной...

После вечерней рыбалки (десяток щук, пара судаков, несколько огромных окуней), когда шкерил рыбу, внимательно осмотрел щук. Да, здесь их две разновидности: толстая, короткая, серая — это озёрная, местная, и узкая, тонкая, зелёная — иртышская, проходная...

Квадратом вокруг палатки я вбил привезённые колья, натянул провод для вяления рыбы и сделал растяжки, чтобы не свалило ветром. Потом я выкопал метровую яму за бугром сзади палатки, спустил в неё толстый пластиковый мешок из-под удобрений, резиновым ведром натаскал в мешок воды и размешал в нём две пачки соли — получился крепкий рассол — тузлук, в который я свалил пойманную днём рыбу. Всё это я прикрыл емшаном — мягкой и пряной степной полынью, которая здесь росла сплошняком. Через пару дней, когда рыба просолится, её нужно будет промыть, и она перекочет на проволоку для вяления. А ещё через пару дней её можно будет есть...

Ночью слушал в палатке, как снаружи гудели мириады насекомых — зелёных травяных комариков, тех, что днём незаметно шныряли под ногами.

Звон нарастал, прокрадывался в глубину сознания, и, казалось, это звенит сама земля... И я уже знал, что —

*Из этого звона родится к утру
Всё то, для чего я живу и умру...*

Потом вдалеке жутко захохотали чем-то встревоженные мартины, зашумел ветер, травяные комарики как-то сразу тяжёлым дождём осыпались на палатку, забил, застучал в обрывы прибой, да так и грохотал до утра.

Перед сном вышел на минуту из палатки: над чёрным озером стояла пугающе огромная мутная луна... Центр Евразии...

* * *

Над Зайсаном потянули гуси...

24 июля, понедельник

Проснувшись, открыл палатку: озеро!

Сейчас, с утра, оно было синевато-стальное, тревожное.

На песке громоздилась гряда выброшенного прибоем камыша — вот и топливо мне на все дни. Косой ветер сбоку загоняет волну прибоя на берег, и волна непрерывно как бы бежит по кромке песка.

Да, озеро живое. Живое, как я. Оно дышит, спит, просыпается, двигается...

Полетели куда-то черноголовые чайки, вслед — две красивые крупные утки атайки с чрезвычайно быстрым и прямым полётом: они неслись, как выпущенные из катапульты...

Просматривая и снаряжая спиннинг, я спустился к воде. Красивая мокрая галька у берега блистала всеми цветами. Но поднятая в ладони, она тут же высыхала и тускнела. Да, цеолиты, гипсы, алебастры...

Снова пролетела стая чаек во главе с крупной цаплей, которая летела как-то легко, играючи. Голова в полёте откинута к туловищу: вылитый птеродактиль...

Куда это заторопились птицы?

Скопа, видимо, вчерашняя, с широким белым хвостом кружила над “своим” арбузным полем, видимо, высматривая мышей...

Опять с заброда выгнали с десятков щук и судаков, потом надоело. Я пропшерил рыбу, которую в этой жаре лучше обрабатывать немедленно, покидал балыки в тузлук и доел вчерашнюю уху. Она оказалась вкуснее свежей...

На берегу ругались чайки из-за оставленной мною обрезки, а я решил посмотреть окрестности.

Ходил километров за пять к саксаульникам на правом мысу, которые я приметил ещё утром. Может быть, как раз эти заросли и дали название берегу этого залива — Караганды... Неподалёку виднелся хорошо ухоженный бахчевник, постукивал движок. Как-нибудь надо заглянуть и туда...

Саксаул рос прямо из песка, на буграх высокого берега. Внизу всё побережье было сплошь обваловано чёрными истлевающими камышовыми плавнями. Собственно, это был уже полуторф, который кое-где слабо дымился. Видимо, кто-то нерасчётливо жёг здесь костёр. Сейчас в плавни лучше не соваться, ничего не стоит провалиться в невыгоревшую тлеющую яму, запоросленную мусором, да и сгореть заживо. Такие случаи уже бывали...

На узкой песчаной косе восседали огромные мартины. Не те ли, что гомонили и хохотали ночью? Рядом отдыхали утки, чибисы, чайки, а вдали, в глубине залива крейсировало несколько величественных пеликанов. Последние годы они постоянно летовали на Зайсане...

Неожиданно пролетела саксаульная сойка, похожая на карликовую сойку. Я пошёл посмотреть, кто её спугнул, — оказывается, здоровенный ленивый полоз, который, почувяв меня, стал комком собираться в развилке дерева...

После обеда, то есть после ещё не надоевшей ухи, которую в этот раз я сварганил уже из одних щучьих и окунёвых голов, пришлось заняться хлебом, который уже начал черстветь. Ничего не поделаешь, нужно было резать

его на сухари и раскладывать сушиться на солнце... Потом я лёг в тени палатки, глядя в пустынное белёсое небо.

Время остановилось, я его просто не чувствовал, это было верным признаком духовного оздоровления от бестолочи и гула жизни...

Господи, да за этим я и приехал сюда!

На вечерней рыбалке, до того, пока какой-то огромный судак не оборвал мне блесну, успел вытащить несколько щук и окуней и, к своему удивлению, огромную пёструю сорожку, то есть плотву, весом с килограмм. Никогда даже и не слышал, чтобы сорожка брала на блесну, случайно зацепилась, наверное...

Вечером опять куда-то большими клиньями потянули гуси, и я вдруг вспомнил, что сегодня день рождения отца, ему исполнилось бы 77 лет... Я достал фляжку, нарезал колбасу и помянул отца под фантастический салют огромных звёзд, ещё не затуманенных тяжёлым светом встающей луны...

И опять долгое засыпание под запах емшана и неумолчный звон живой жизни вокруг...

25 июля, вторник

Утром открыл палатку и вздрогнул: озеро до самого неба. Никак не могу привыкнуть...

Ветер западный, небо чистое: будет жара...

Далеко слева на крутом мысе Кзыл-Огуз (Красный Бык) то и дело возникали небольшие вихри-смерчи и, прогулявшись немного по степи, исчезали. Надо бы как-нибудь сходить туда, посмотреть, как рождаются смерчи...

Против ветра низко, в метре над водой летели бесконечной чередой птицы: чайки, утки, бакланы, цапли...

За ночь на берег выбросило ещё один вал разного водяного хлама, старого камыша, водорослей, травы.

Самоочищающаяся способность озера поразительна. Да, это воистину огромный живой организм не только со сложным биоценозом, но и с непрерывной работой воды, впитывающей в себя огромное количество солнечного тепла, кислорода и беспрестанно перемешивающееся ветром. Озеро чисто по самой своей сути, как человеческое дитя. Чиста вода, чисты берега, чисты рыбы и птицы озера.

Вода прозрачна и очень мягка. Все соли и растворы давно вынесены вон из озера гигантским внутренним потоком Иртыша, пронзающим озеро насквозь. Это один из самых старых водоёмов Земли, ему, страшно подумать, 60 миллионов лет, верхнемеловой период. Миллионлетний Байкал — младенец перед Зайсаном, который помнит ещё динозавров, окаменелые яйца-ядра которых находят на его высоких террасах...

Есть ещё одна особенность Зайсана: ложе его из окаменевшей глинистой гальки — мощнейший и надёжнейший фильтр. Это ложе, утрамбованное и выглаженное мощным потоком Иртыша, беспрепятливо и многократно процеживает воду, а золотоносные речки с хребтов Манрака, Саура и Тарбагатая, впадающие с юга, облагораживают воду ионами золота. Потому здесь так быстро заживают раны, так вкусна, почти целебна рыба, густой бульон из которой (уха) бодрит, омолаживает, очищает...

Облака обходят озеро, они его как бы перепрыгивают по дуге, над куполом тёплого влажного воздуха, стоящего всегда над водой; дожди же выпадают всегда в отдалении. Три сотни солнечных дней в году, это больше, чем в Крыму, но в Крыму нет этой массы живой пресной воды...

Размышлял я об этом, когда рыбачил, стоя по грудь в воде. Солнце палило нещадно, приходилось то и дело окунаться в воду, но и сквозь рубашку, которую я не снимал, и сквозь шляпу постоянно ощущалось мощное давление жгучего ярчайшего света. Живого, но опасного, если не знать коварных облучающих свойств его пламени...

После обеда из похлёбки с тушёнкой (уха уже стала приедаться) я промыл от тузлука первый улов и вывесил рыбу на проволоку для провяливания.

Какое-то время я с удовольствием обзирал серебристые, жирно-прозрачные балыки, потом прикрыл их от мух марлей, которую всегда возил с собой на “большие” рыбалки — иначе рыбу не сохранишь...

Вечером снова густейший звон — журчание мириад зелёных полынных комаров. Воздух буквально пропитан ими, это уже не воздух (в метре над землёю), а живой бульон, взвесь жизни, почти единый зыбкий организм, своеобразный Солярис, причём вполне мыслящий, вернее, разумный.

И вновь, когда я в палатке зажёл свечу, по парусине застучал гулкий, нарастающий словно бы дождь: так комары реагировали на свет...

Когда этот дождь участился до густого, “осеннего”, я задул свечу, и стук мгновенно прекратился, зато стал отчётливее колеблющийся журчащий звон... Сколько жизни на земле!..

Укладываясь в спальник, я неожиданно вспомнил ходячие журналистские бредни о Зайсане. С чьей-то нелёгкой руки его название переводили, как “озеро звенящих колоколов”. Перевод был столь же нелеп, как и безвкусен. Если уж быть до конца патетичным, то Зайсан лучше назвать озером звенящей и плещущей неистребимой жизни.

На самом же деле это древнее бореальное (то есть ещё общеязыковое) название было предельно простым и точным. Номинатив ZAISAN обозначал Водное Обетование Живого. Вполне возможно, что так его называли древнейшие насельники этих мест, бродяги-ихтиофаги (рыбоеды), о которых у Геродота сохранились туманные полуфантастические сведения... Поэтому и до сих пор в некоторых языках Востока зайсанами зовут господ, распорядителей, начальников, то есть “дающих” и “кормящих”...

Но это я додумывал уже, наверное, во сне...

* * *

Во время штормов гибнет много молодежи, берега бывают почти сплошь усеяны мальком судака.

Вчера, когда рыбачил, судачок взял блесну из-под ног, когда я, осматривая катушку, случайно дернул несколько раз леску. Маленький хищник не выдержал блеска железки и обречённо повис на тройнике.

На Западном мысе килограммовая щучка взяла на червя. Удочка с леской 0,2 мм еле выдержала. На удочку при волнении рыбачишь вслепую. Просто время от времени поднимаешь удочку и иногда там кто-то сидит, сорожка или подлещик.

Вода у берегов мелка, рыбачить можно только с лодки или взаброд, иногда до 100 метров. В округе нет ни одного сразу глубокого места. Взаброд на ветру трудно выдержать больше 2-3 часов, особенно утром, когда воздух ещё не прогрелся.

26 июля, среда

С утра, отловив свою “норму” рыбы, в этот раз я не стал её обрабатывать, а запускал живьём в небольшую закрытую лагуну ниже палатки. Я решил прогуляться к далёкому мысу слева, там, где вчера я видел какие-то зарождающиеся смерчи или вихри. Не давало покоя ещё и его странное название — Кзыл-Огуз (Красный Бык), а у меня вообще была слабость к необычной топонимике.

...Аул на высоком мысе, два десятка домов. Рядом — обрывы со страстиграфией бывшего Празайсана. Всё было на этой планете. Сверху — песчано-лёссово-галечная пустыня. Через 2 метра — галечные пласты, как слоёный пирог, — это рушились горы, скатывалась галька. Потом слой жёлтой охры с опресневшей цементной коркой. После накопления охр, видимо, было, ох, как жарко на планете. Ниже охр — серые жирные глины. Ещё ниже — глины бурые, похожие на перебродившие торфы. И в самом низу — чёрные глины — илы древнего Зайсанского моря — заливы Сибирского океана.

Мазар наверху плато. Где-то предвоенный. Нищий, глиняный мазар, из ям торчат полусгнившие деревянные перекрытия. Кованные вручную гвозди.

В Заливе перед Кызыл-Огузом у меня сошла у самого берега огромная, килограммов на десять, щука. Слава Богу, а то тащить назад.

Сегодня наконец-то почувствовал зайсанское солнце. В небе — ни облачка, ни дымки. Солнце жжёт отвесно, откровенно, безжалостно. Начинаю обгорать.

Заметил, когда наклонялся за рюкзаком, что совершенно свободно беру с земли предметы, не чувствуя большой спины. Лечит, лечит озеро, солнце...

...Сейчас, в полдень, озеро под палаткой серо-серебристое, всё посверкивает бликами волн. Передо мной только две линии — граница берега и граница водного горизонта, по которому вот уже два часа тянется похожий на длинный ботинок, чуть видный силуэт самоходной баржи. Изредка пролетают птицы, чаще серые чайки, стрижи, иногда утки и гуси.

Солнце, небо. Вода, песок, птицы, рыба... Мир прост, незапутан и внешне пустынен, но до предела наполнен жизнью. Впрочем, он сам — жизнь.

Берег беспощадно сух, гол, в сухой колочке и огромном количестве нор. Здесь если и есть жизнь, то она под землёй. Впрочем, все кустики — в мириадах зелёных комаров, которые тучами вылетают из-под ног. Это ночные певцы, заглушающие даже Озеро.

После обеда рыбачил удочкой и спиннингом. Поймал 3-4 щуки, 3 огромных окуня и 10 сорожек.

Вечером сильнейший штиль. Озеро — точное отражение неба: голубовато-розовое с золотом на западе. Воду и небо невозможно было бы отличить, если бы не тонкая полоска противоположного берега, вернее, гор.

В штиль можно убедиться, что Зайсан — куполообразен: громадное вздутие прозрачайшей воды. Это оттого, что озеро лежит на дне громадной чаши, и, описывая собою земную кривизну, оно как бы выпирает на дне чаши.

Сильно устал, перегрелся, перегорел. Всё же солнце здесь опасно. Сильная тошнота, слабость, ничего не ем.

Ночью при луне озеро чёрное, берег белый, небо в звёздах. Чернота без деталей, глухая, глубокая. Озеро не принимает лунного света.

Лёгкие блики под луной.

27 июля, четверг

Моя палатка на краю обрыва сразу почувствовала южный ветер, поднявшийся с утра. Парусина надулась. И палатку стало мягко выдавливать вон с берега. Сильный прибой — шелестящие удары с гулом. Утро светлое, просторное.

Зайсан темнее обычного, словно ещё хранит ночную тьму в себе.

Чайки дежурят у промоины, где, как в садке, плавает вчерашний улов.

Утки спешат на западные заливы.

Снова день. Снова зной и ветер.

...Озеро к обеду стихает. Штук 700 чаек отдельными стаями потянулись на западные заливы — там, видимо, пожива, рыбозавод снимает сети. Оповещение у чаек превосходное.

Гусей всё же мало. Летят чаще выводками, цепочками, реже клином.

Опустевает природа. Только рыбы ещё достаточно.

Самая лучшая рыба на Зайсане — своя, то есть туземная, эндемичная: окунь и сорожка. Сазан (балхашский пришелец) тоже хорош. Но, пожалуй, только весом, количеством мяса. Окунь и сорожка вкусней. Судак болеет — много его с язвами, наверное, ему по душе вода солоноватая.

Древние кочевники-ихтиофаги, наши предки из палеолита, — интересно, как они консервировали рыбу без соли? Просто сушили?

Трудно поверить, глядя на эти голые песчаные берега, что здесь когда-то в изобилии водились кабаны и тигры. Впрочем, озеро было вдвое меньше и было окружено густейшим ожерельем камыша. Камыш после затопления погиб, а его торфяная основа всплыла и десяток лет плавала по озеру островами-плавнями. Теперь плавни догнивают по берегам заливов.

Песок горяч невыносимо. Над притихшим озером — слабое марево — это испарения. Горизонт в такое пекло выцветает, и вода почти сливается с небом.

Перед обедом часа два рыбачил. Взброд по грудь. Вытащил семь щук, одна килограмма на четыре, и окуня.

...Моя чайка. Это, видимо, старый самец серой чайки. Большой, как селезень, он садится рядом на воду, глядя, как я спиннингую. Иногда он взлетает и провожает блесну, не вынося её рыбьего блеска. Вчера я шкерил щук и оставил ему потроха на песке. Впрочем, он резонно рассудил, что это будет постоянно. Что ж, пока я здесь, постараюсь обеспечивать ему ужин.

Щука берёт сразу после шлепка блесны. По ходу — гораздо реже. Рефлекс на звук не менее важен рефлекса на блеск.

После хватки щука идёт какое-то время спокойно, наверное, не соображая, какая сила её выталкивает вон из воды. На полпути она приходит в себя и начинает энергично сопротивляться, а у самого берега устраивает буйство. Вот здесь как раз чаще всего она сходит.

Пасть у щуки — это капкан с многорядными зубьями.

Пасть у судака — костистый тоннель.

Пасть у окуня — западня.

...Серая чайка оказалась самкой. Она привела большого, как сама, чайка, клевать щучью голову, плавающую на отмели. Тонкое нежное ржаньегогот, заканчивающееся свистом.

...Штиль, страшное пекло. Прошло овечье стадо, овцы дышат открытым ртом, громко, хрипло, прячут головы в тень друг друга. Спасение в плотном стаде. Козы, более сообразительные, идут по кромке воды, где копытам не так жарко.

...После полуденного штиля задул ветер с востока, из Синцзяня. Жаркий, обжигающий ветер, как из печи. Котловина озера постепенно наполнилась пеклом, озеро потемнело и вздулось волнами. На дальнем возвышенном мысе поднялся пыльный смерч, потом другой, третий. Они вздымались всё выше, жёлтые и дымные, кружа и переплетаясь, исполняя какой-то страшный бесшумный танец. Потом они покатали на стоянку, и я боялся за свою хлипкую старенькую палатку, но смерчи прошли стороной.

Ночью сильный обжигающий ветер, палатка, полная песка и пыли, еле выдерживает напор суховея. Прибой не просто шумит — грохочет. Небо чисто, продуто, огромные звёзды.

...Озеро. Днём в штиль зелёный комар полчищами двинулся к воде и полчищами погибал в ней. Озеро вдоль берега сплошь покрылось плёнкой комаров, и плёнка эта постепенно росла. Эфемериды. Ночью прибой работал, как огромный комбинат с шипящими автогенными цехами и мощным пресс-молотом.

Трудно заснуть в тяжёлой духоте палатки, забитой песком и рвущейся с кольев, под рёв неумолчный прибоя.

28 июля, пятница

Открыл палатку — грохочущее озеро гонит грязную волну на берег тяжело и единообразно. Первый раз озеро предстало в таком неприглядном виде. Рыжий цвет солнца, оцветившего с востока спины волн. На небе хлопья облаков, может быть, погода изменится. Противоположный берег виден на редкость отчётливо: отроги и вершины Манрака и тонкая полоса степи, уходящая справа за водяной горизонт: западнее озеро гораздо шире.

Чайки, утки с утра начали своё движение на кормёжку. Вчера видел гусей, летящих не углом, а буквой М. Видимо, соединились две стаи и ни одна не хотела уступить лидерства.

Ласточки жмутся к обрывам, сильный ветер выносит их вон — к воде, но они кульбитами всё же возвращаются на маршрут.

Купался. Вода рыжая, волны полуметровые, сбивают с ног, вообще Зайсан страшен в такой ветер. На мысе Кзыл-Огуз опять кружили смерчи и опять прошли стороной.

Ветер неожиданно, в 10–15 минут сменился с восточного на западный и шквалами ударил вдоль берега. Началась сильнейшая пылевая буря. Ветер погнал тучи песка и замёл спуски в землянки.

Палатка, бедная моя двадцатилетняя “памирка” сложилась пополам и стала трещать по швам. Пришлось положить её на землю, прижав кольями, а вещи перетащить в землянку.

Пошёл дождь, прибил пыль, и вот я, наконец, подняв палатку и вновь обустроившись, оглядываю при свете свечки прошедший сумасшедший день.

...Свиреп же бывает Зайсан, всё у него чрезмерно, во всю силу. Сегодня он так и не успокоился, порыбачить не удалось, хотя спиннинг кидал в эти огромные мутные волны: пробовал новую катушку. Волны сбивали с ног, накатываясь беспрерывно, а рыба, конечно же, отошла в глубину.

Хоть бы ночь переночевать, ветер опять крепчает, и Зайсан шумит страшно.

Чувствую, моё идиллическое отношение к озеру исчезает. Трудно здесь, — и это не последние сюрпризы озера... В палатку бьёт сильный дождь — хоть бы не пришлось убежать в землянку.

29 июля, суббота

Утро тихое, солнечное. Зайсан успокоился. Рыбачил, поймал 8 щук и двух судачат.

И всё же прекрасно озеро, когда штиль и солнце. Снуют ласточки над обрывами, покрывают чайки над водой, хохочут мартыны. Над степью тянут гуси, и стаи розовых скворцов взрываются с полынного пригорка. Наливаются арбузы на бахчах, стучат дизели насосов, — но там, вдали, над мысом Бархот, вновь подымливают вихри, пока ещё слабые, чуть видные.

* * *

*В мареве высоком и туманном,
На исходе ветреного дня
Потянули гуси над Зайсаном,
Меж собой устало гомоня.*

...Опять в штиль вода слилась с небом, и невозможно отличить, где одно переходит в другое.

...На мысе Бархот стоит землечерпалка, грузит песок на баржи.

Рядом, в урочище Киин-Кириш, — цветные охры. Прекрасный пигмент для красок и сфера применения возможного кооператива.

Охра, цемент, алебастр — копай, дробь, укладывай в мешки и продавай дачникам, цветоводам, животноводам, отделочникам.

Последняя ночь. Гроза в округе. Молния над Зайсаном. Раскаты грома. Волки.

* * *

*В мареве горячем и туманном
На исходе ветреного дня
Потянули гуси над Зайсаном,
На ходу устало гомоня.*

*Потянули чибисы и чайки
Вслед туда, где в розовый закат
Торопливо выпорхнули стайки
Первых звёзд, мерцающих вразлад.*

*К ночи ветер стихнет понемногу,
И высокой млечной полосой
Звёздную гусиную дорогу
Ночь отметит в бездне вековой.*

*И опять сомкнутся до слиянья
Ширь воды и берега вдали,
Где хранятся, как предначертанья,
Знаки неба в памяти земли.*

Наброски к “Озеру” и “Заливу”:

Жизнь отвлекает от озера, вбирает в себя. Всё чаще ухожу в землянки, разговариваю с кооператорами.

“Архангельский мужик” — открытие перестройки. Но этих мужиков немало, и большинство из них так и канули в безвестность, сломавшись в бесконечной борьбе с бесчеловечным строем жизни.

Сломался и умер, надорвавшись, **Кузьмин*** в Катаве, железный мужик, мечтавший о большом хозяйстве. Он председательствовал в колхозе, бился о стену и, увидев, что система непробиваема, ушёл в частники. Держал лошадей, скотину, сажал в лесу тайные картошечные огороды.

Он выезжал зимой на санях, запряжённых прекрасным сытым конём. Рядом мчалась страшная красивая собака, а на санях стоял его знаменитый красавец — козёл, чёрный и зеленоглазый, как чёрт, ничего и никого не боящийся. Больше всего он любил сигареты, — жевать, конечно, и выпрашивал их у мужиков.

Заказать что-то в нужном количестве — стройматериалы, технику, горючее — невозможно, хотя, в принципе, всё есть. Действуют обмены, знакомства, обходные пути. Механизма Дела — не существует:

а) запутанное землепользование и землевладение;
б) не отрегулированы деловые взаимоотношения;
в) везде и всюду между деловыми работающими людьми встаёт промежуточным тормозом чиновник;

г) подозрительная, недоверчивая финансовая система;

д) двусмысленный статус кооператива;

е) надзаконная, превышающая власть местных ведомств — милиции, маленьких директоров и начальников, председателей, которые, в свою очередь, раболепно исполнительны, опять-таки не перед законом, но перед вышестоящими чиновниками.

Россия — страна казённая.

Как остаться честным, открыто-энергичным, процветающим хозяином в этой системе?

Маяковский: “Я знаю — город будет, // я знаю, саду — цвести, // когда такие люди // в стране Советской есть...” — этот барабанный гимн “покорителей” природы ли, нормальной работы, к сожалению, вошёл не то что в плоть, в самую государственную суть. Вечное покорение, война, напор, надрыв, которому лицемерно придали благообразное название “энтузиазм”.

Один из вождей, знавший, что за этим словом кощунственно и лицемерно прячется многое: бардак, неразбериха и маргтышкин труд — так до конца дней своих не смог его выговорить правильно и, ломая челюсти, произносил “энтуазизм”.

* * *

Иногда вставать не хотелось. Сквозь сон я ещё слышал... и снова проваливался в сон, чтобы проснуться, наконец, от яркого солнца, бьющего в полог, и от громкого треска скворцов.

Эта большая стая слепышей и взрослых, кочующая здесь по береговым холмам Залива, каждое утро опускалась на палатку и кучи плавника, собранного мною для костра. На высвеченном солнцем брезенте, как на японском экране, передвигались и порхали тени птиц, такие отчётливые, что различалось каждое пёрышко крыльев, и по прозрачности их можно было легко определить, слеток это или взрослый скворец.

* Муж М. Ф. Кузьминой, тёти по отцу Е. В. Курдакова. Проживал в Челябинской области.

Немного погодя стая разом, как по сигналу, с шумом поднималась и улетала. И я тоже вставал и выходил из балагана на солнце. К слепящей воде Залива.

* * *

Сильный шелест в небе, со свистом: огромная (десятки тысяч) стая скворцов, волнообразно разворачиваясь, пронеслась над холмами, плавно и гибко обтекая вершины. Внутри стаи — несколько рыжих канюков, которые, не отставая, как приклеенные, проделывали вместе со скворцами все их стайные манипуляции. От этих хищников, кормящихся скворцами, стае уже не избавиться. И здесь подобие некоей административно-паразитической прослойки...

* * *

Чайки, возбуждённо крича, взмывали в воздух, носились над головой и рассаживались у самой кромки воды, ожидая, когда я начну шкерить рыбу.

Я насаживал живцов, забрасывал закидушки и брался за рыбу, разделявая её через хребет на балык. Обрезь и кишки я выбрасывал чайкам, и вода кипела от пикирующих вниз птиц.

...Было безветренно. Залив зацвёл ещё с утра, и слабая полоска жидкой зелени, ещё вчера окаймлявшая берега, набухла и расплзалась прямо на глазах. Жгуты микроскопических слизистых водорослей вытягивались далеко от берега, и сплошное тёмно-зелёное слоевище их, пузырясь, как бы слабо дышало.

Я заметил, что граница слоевища там, далеко от берега, очерчивает какой-то неслучайный контур. Не берег ли это затопленного водохранилищем Иртыша? Водоросли, как и утренний бриз, точно фиксировали начало материнских глубин, и Иртыш, даже затопленный, брезгливо отодвигал непрошенных обитателей тёплых мелководий.

Мне показалось ещё, что слоевище водорослей отпечатывает собою ещё нечто — там, где затонувший гребень бывшего берега был выше, водоросли были явно зеленей: видимо, они чутко откликались на глубину воды.

Различались и мелкие отдельности рельефа дна, какие-то круги, полосы, квадраты... Возможно, эти неясные и зыбкие отпечатки были плодом моего воображения, но... Может быть, это было и впрямь едва видимым негативом рельефа бывшего мыса, на котором сейчас проступили черты бывшего андроновского поселения. Здешные места как раз были одним из центров древней культуры бронзового века...

...Сколько я здесь? День, месяц, год? Почему опять растянулось и перепуталось время, превратившись просто в жизнь, и почему всё, оставшееся там, в городе, — телефоны, мастерская, трамваи, пишущая машинка, рукописи, друзья, семья, книги, — стало маловажным, случайным и далёким? Может быть, от одного, самого главного, — от предчувствия возможной, но не сбывшейся судьбы, от мгновенного соприкосновения с должным, но навсегда потерянным?

Вот и опять над берегом притихшего залива запорхали чибисы, опять подул прохладный бриз с холмов, и на востоке низко зажглась вечерняя звезда. Вот и лодка деда заметно продвинулась к берегу, а значит, пора разжигать костёр и варить ужин. И, поднявшись на обрыв, к балагану, я последний раз оглянулся на закат, заливавший золотом запад.

* * *

Он был полон тайн, мой Залив. Не имея ничего, кроме воды, неба и голых пологих берегов, он притягивал к себе неудержимо. Иногда зимой в городе в самую рабочую глушь, в стремительно набежавшей усталости от суеты, говорильни, бестолковщины достаточно было просто запереться

в мастерской и, бросившись на топчан, полежать с час, вспоминая простой балаган деда, жёлтый каньон, выходящий к воде, кучи плавника на берегу, опутанные водорослями и старыми сетями, мокрый песок у кромки воды, плотный, с чёткими бороздами перловиц, — достаточно было вспомнить хотя бы это, чтобы как-то не то чтобы успокоиться, но, может быть, просто устыдиться временной потери разницы между суетой и вечностью...

А лучше было не только представить Залив, но и услышать его в себе, его прибой, птиц и даже ту редкую тишину по утрам, когда ещё темно, но звёзды уже померкли, и слышно только, как позвякивают живцы в ведре, неугомонные живучие семидырки, выловленные в ручье каньона...

День начинался с жаворонков. Там, где-то в стороне, над сухими холмами, раздаётся вдруг короткая трель, чуть ощутимая, как просверк, как звон в ушах, — и смолкнет так надолго, что подумается: не показалось ли?.. А немного погодя неожиданно обнаружишь, что в той стороне, заливаясь, журчит другой жаворонок, третий — и вот уже все жаворонки округи развесили звоны свои у кромки ночи прямо над восходящим солнцем...

Это было тоже одной из тайн залива и его пустынных берегов. Всю его сложную музыку можно было до конца понять, только собрав всё по отдельности, по всплеску, по звону, по шелесту откатывающихся и набегающих волн...

Позже поднималась рябь, скользила по воде, крестила её линиями и полосами, обозначая пути шквалов, а к полудню Залив сильно раскачивало, он становился шумным, гулким, тесным. Какие-то круги, словно бы масляной, ровной, без волн, воды, часами стояли посреди кипящей зыби залива, и это было тоже необъяснимо.

К вечеру появлялись чибисы. Они прилетали из низины, заваленной гниющими камышовыми плавнями, и с печальным кывыканьем начинали вечерний облёт берега. Издали их можно было принять за необычных чёрных чак-ек, но полёт сразу же выдавал их — полёт их не был похож ни на что. Так порхают ещё только бабочки и летучие мыши, зигзагообразно колтыхаясь из стороны в сторону, легко и непредугаданно меняя направление...

Полыхал костёр, в его свете вдруг резко оживали вещи при балагане: старые сети, вёсла, сапоги, а округа темнела и делалась неразличимой...

А ночью, проснувшись, как от толчка, и открыв в темноту глаза, вдруг услышишь мощный звон степи, волнообразно зудящий, восстающий как бы из самой земли, этот стрекот миллионов крошечных живых существ, камышовых комаров и ночных сверчков, поющих так слитно и единогласно, что поймёшь вдруг, что они все — не маленькие отдельные, но единый живой организм, который сам, в свою очередь, часть чего-то ещё большего, того, к чему принадлежат рыбы и птицы залива, его вода, ветер над водой — и я сам, не одинокий здесь, а растворённый навечно...

1989

*Публикация Ю. Е. Курдаковой
г. Усть-Каменогорск*

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 9.

КОЖИНОВ И БАХТИН

(продолжение)

Было очевидно, что издать книгу Бахтина о Рабле невозможно без “реабилитации” самого имени исследователя. Самый надёжный путь был – переиздание “Проблем творчества Достоевского”. И Кожинов стал искать возможные пути подхода к “ответственным товарищам”.

В разговоре с заместителем главного редактора журнала “Знамя”, заведующим кафедрой Академии общественных наук, членом редколлегии “Вопросов литературы” и бывшим лагерником Борисом Леонтьевичем Сучковым Вадим Валерианович оперировал тем, что книга Бахтина вызовет восхищение во всём литературном мире. И нарвался на соответствующий ответ. Сучков отреагировал однозначно пренебрежительно:

– Да о чём Вы говорите! На Западе давным-давно написали о Достоевском интереснее и глубже, чем этот ваш Бахтин!

Кожинов онемел от подобной категоричности. В это время он усиленно внушал одному западному литературоведу необходимость издать в Европе именно сочинение Бахтина.

“Писал ли Вам итальянский литературовед Витторио Страда, который, как я слышал, хотел предложить Вам написать предисловие к полн<ому> собр<анию> Достоевского? В Италии сейчас такой высокий интерес и уважение к русской культуре, что было бы, по-моему, очень уместно, если бы Вы сделали нечто на основе Вашей замечательной книги...” (Из письма В. Кожинова М. Бахтину от 23 февраля 1961 года).

Имя Витторио Страда Кожинов ещё раньше мог слышать и от Эвальда Ильенкова, и от Бориса Слуцкого. Аспирант филологического факультета МГУ, член Итальянской коммунистической партии, тот уже был автором нескольких статей о советских писателях и своеобразным “соучастником” издания в Италии “Доктора Живаго” (именно он передал издателю Фельтринелли просьбу Пастернака игнорировать какие бы то ни было его телеграммы с требованиями остановить публикацию). Ильенков вполне мог рассказать Кожинову историю несостоявшегося в Италии издания своей книги “Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” Маркса”. Страда взял “для прочтения” машинописный экземпляр книги – и переслал в издательство. И в это же самое время грохнул скандал с изданием пастернаковского романа. Эвальда Васильевича заставили написать письмо с отказом от итальянского издания, а в Отечестве она была издана два года спустя.

В общем, Страда, гордо называвший себя “ревизионистом”, был, что называется, “отвязанный малый”, бравировавший своей свободой и с удовольствием “соучаствовавший” во всех скандальных историях, в каких мог. Кожинovu показалось, что сама судьба посылает ему иностранного авантюриста для участия в фундаментальной аванюре.

Вадим Валерианович услышал от Витторио, что в Италии планируется издание собрания сочинений Ф. М. Достоевского с приложением тома, включающего в себя несколько фундаментальных работ о классике. Страда стал называть имена Виктор Шкловского, Аркадия Долинина, Леонида Гроссмана... Тут Кожинov и перебил его:

– Послушайте, Витторио, это всё книги не такие уж и значительные. Есть совершенно гениальная книга о Достоевском – Михаила Михайловича Бахтина. Вот какую книгу Вам следует издать прежде всего!

По реакции Страды он понял, что тот имя Бахтина слышит впервые. И – поддал жару:

– А не могли бы Вы оказать мне одну услугу?

– Что такое?..

– Я очень прошу Вас, когда Вы вернётесь в Италию, пришлите в агентство “Международная книга” письмо, свидетельствующее о желании вашего издательства опубликовать книгу Бахтина. Это, разумеется, ни к чему Вас не обязывает, но мне Вы окажете тем самым серьёзную услугу. Напишите к тому же, что, поскольку сам Михаил Михайлович Бахтин живёт в Саранске, то здесь, в Москве, его интересы представляет Вадим Валерианович Кожинov, к которому Вы и просите обратиться для соответствующих переговоров.

Продвинуть издание Бахтина в Италии означало автоматически сдвинуть “недвижимую глыбу” в виде “Советского писателя” в СССР.

Страда написал Бахтину:

“В согласии с издательством я считаю целесообразным, чтобы предисловие этого, самого полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского принадлежало русскому литературоведу. Я хорошо знаю Вашу очень оригинальную и интересную книгу о творчестве Ф. М. Достоевского, и мне хотелось бы, чтобы эта книга была вступительным исследованием итальянского перевода сочинений Достоевского. Но надо было бы приспособить Вашу книгу для этой цели. Между прочим, и Вы, может быть, хотели бы ее немножко переработать”.

В ответном письме Бахтин назначил срок представления работы через четыре месяца, “так как моя книга потребует довольно значительной переработки и обновления”.

Так началась самая настоящая аванюра. Кожинov задействовал “итальянский рычаг”, поскольку положение, поистине, обязывало.

Он уже посещал издательство “Советский писатель”, где беседовал со своим давним товарищем по аспирантуре Львом Шубиным – пришёл с книжкой Бахтина и со словами: “Вот, Лёва, совершенно гениальная книга, надо её издавать...” – И Шубин включился в борьбу за издание Бахтина.

Потому что это была именно борьба. Как потом вспоминал Кожинov, “ситуация складывалась так, что напоминало битьё головой о камень... Я совершенно не знал о том, что директор издательства “Советский писатель” Лесючевский был очень тесно связан с Ленинградским ОГПУ и как раз тогда, когда Бахтина арестовали и судили. То ли он состоял в штате, то ли ещё как-то сотрудничал, но по крайней мере ему отлично были известны все обстоятельства дела Бахтина (и особенно то, что Бахтина тогда ещё не реабилитировали). Я глубоко убеждён, что Лесючевский ни в коем случае не хотел печатать книгу. Но, конечно, он не афишировал этого, действовал, как вообще действуют люди этого типа, незаметно, через аппарат...”

Необязательно было состоять “в штате”, чтобы исполнять обязанности “литературного консультанта” или “эксперта” и писать отзывы на стихи Николая Заболоцкого и Бориса Корнилова, чтобы поспособствовать лагерному заключению и ссылке для одного и смертному приговору для другого... Кожинov в самом деле не ведал, что “Советский писатель” – последнее место, куда бы он мог обратиться с идеей “переиздать Бахтина”, но сразу же ощутил явное сопротивление... Тем более, что пришёл он в издательство не с пустыми руками.

Лев Шубин посоветовал ему написать соответствующее письмо с обоснованием необходимости издать книгу и собрать, по возможности, самые “громкие” подписи.

И Кожин начал действовать.

Для начала он нажал на Ермилова, который написал в правление “Советского писателя”, что считает крайне целесообразным переиздание книги Бахтина. Далее начался сбор подписей под письмом.

Первым был Леонид Петрович Гроссман, достаточно высоко (при всей дальнейшей полемике) оценённый Бахтиным ещё в книге 1929 года: “Л. П. Гроссмана нужно признать основоположником объективного и последовательного изучения поэтики Достоевского в нашем литературоведении”. Книгу Бахтина он, естественно, знал, тут же сказал, что очень высоко её ценит, и с радостью пригласил Вадима Валериановича к себе. Но когда увидел, что ни одной подписи под письмом ещё нет – вся его радость куда-то испарилась. Начались вопросы: “Кто Вы такой, откуда пришли?” – он словно подозревал визитёра в какой-то каверзе.

Кожин вышел из себя.

– Потому у нас так плохо всё и идёт, что как только дойдёт до дела, никто не хочет пошевелиться. Господствуют у нас разные негодяи, а люди только жалуются, как надо проявить хоть небольшую смелость – прячутся в кусты, не желают поддержать хоть одно благородное дело...

“Я даже не надеялся, что он подпишет, и поэтому просто решил излить душу, – вспоминал Кожин. – Но, представьте себе, это на него подействовало”.

Гроссман с интересом смотрел на дерзкого молодого человека. Кожин, почувствовав, что настроение у собеседника изменилось, решил его “добить” поистине нетривиальным ходом.

– Леонид Петрович, я всегда относился к Вам с восхищением. Не только из-за Ваших литературоведческих работ. Я прекрасно знаю Ваш “Венок сонетов о пушкинской плеяде”, который был издан в 1919 году в Одессе и стал сейчас библиографической редкостью. И там есть прекрасные стихи, – вот, например, заключительный сонет.

И начал читать:

*Был полдень жизни. Тени залегли
На обликах Петра и Дон-Жуана,
Напев Бахчисарайского фонтана
И чумный пир, смолкая, отошли.
Скончался Дельвиг. В пропасти земли
Ушёл Вильгельм из невского тумана,
И страсть кавалергардского шуана
Уже смутила сердце Натали.
Но он, ещё не чувствуя обиды,
Устав на буйных празднествах Киприды,
Был тих и прост. В покое зрелых сил,
Не веря в страсть, заздравных чаш не пеня,
Он терпкое вино сомненья пил
Из синих книжек мудрого Монтеня.*

“Как, Вы это помните?!” – Гроссман был совершенно покорён. Наверняка никто, ни один человек не помнил тогда этих стихов. А этот вдохновенный наглец...

А Кожин продолжал читать один сонет за другим.

И уже не возникало вопроса – откуда появился этот визитёр. Автограф на письме тут же был получен.

Следующим текст подписал Владимир Ермилов – уговаривать не пришлось. Постепенно текст обрастал нужными автографами – Виктора Владимировича Виноградова, Аркадия Семёновича Долинина (к нему Вадим специально съездил в Ленинград), Валерия Фёдоровича Кирпотина, Леонида Николаевича Тимофеева, Леонида Ефимовича Пинского... Добрался Кожин и до заместителя заведующего отдела культуры ЦК КПСС Бориса Сергеевича Рюрикова (у него только что вышла книга “Марксизм-ленинизм в литературе и искусстве”, и волей-неволей встаёт вопрос: знал ли он, что благословляет своей подписью выход книги, в которой не было ни грана талмудического “марксизма”?)... На очереди был Виктор Шкловский.

По телефону тот мгновенно дал своё согласие. Но когда Кожинов привёз ему текст письма и Шкловский, вперившись в него, увидел подпись Ермилова — то в возмущении замахал руками: у него уже успела выйти печатная стычка с Ермиловым, его литературным врагом ещё с 1930-х, который разнёс книгу “За и против” в “Коммунисте” — в статье “Против ложного истолкования Достоевского”. Шкловский, по мнению Ермилова, Достоевского неоправданно “революционизировал” (очевидно, в духе времени). Виктор Борисович ответил в “Вопросах литературы” полемической заметкой “Против”.

— Послушайте, это что же вы мне предлагаете?! Чтобы я подписался рядом с этим негодяем Ермиловым? Да ни за что!

Кожинов предвидел такую реакцию. И заготовил беспроницаемый ответ. Тем более, что на его глазах свою подпись, не говоря ни слова, поставил Долинин, по которому в своё время “катком” прошёлся тот же Ермилов.

— Виктор Борисович, Вы меня разочаровываете...

— В чём дело? — взвился Шкловский.

— Я вообще-то считал, что Вы — самый эксцентричный человек, проживающий на территории Союза Советских Социалистических Республик. Это же крайне оригинально, что Вы подписываетесь рядом с Ермиловым. Вам обязательно надо поставить свою подпись, ведь это Ваш стиль — удивлять других... Представьте, как это будет читаться: Вы — рядом с Ермиловым, своим злейшим врагом...

Приём сработал безукоризненно.

— А пожалуй, Вы правы, — произнёс Шкловский и подписал ходатайство. В нём, в частности, говорилось:

“Обращаясь в издательство, мы исходим из личных особенностей М. М. Бахтина (в настоящее время он руководит кафедрой в Мордовском государственном университете) — человека, который едва ли бы сам выступил с предложением о переиздании своей книги (в самом деле. — С. К.). Представляется необходимым, чтобы инициатива в этом вопросе исходила от издательства. Мы просим Правление издательства “Советский писатель” включить монографию М. М. Бахтина в план изданий 1962 года и известить об этом автора”.

Отнёс письмо Кожинов в “Советский писатель” и — успокоился. А через некоторое обнаружил, что ничего толком не движется. И пришёл к заведующей редакции критики и литературоведения Татьяне Конюховой.

— Почему нет никаких известий об издании книги Бахтина? У Вас же письмо с подписями лучших специалистов по Достоевскому, которые пишут о необходимости издания книги.

— О чём Вы говорите? Я ничего не помню. Какое письмо? Кто подписал? Когда подписал? — Конюхова не понимала (или сделала вид, что не понимает), о чём речь.

(Письма, как оказалось, она тогда и в глаза не видела. Получила его из рук Лесючевского лишь через полтора года, когда книга Бахтина уже готовилась к выходу).

Кожинов понял, что говорить не о чем. Единственный выход — как можно скорее предать письмо гласности. То есть напечатать его текст.

...А пока Кожинов регулярно писал Бахтину и получал ответные сердечные письма.

Из письма М. М. Бахтина от 3 мая 1961 года:

“Меня очень огорчает временная задержка с опубликованием Вашей работы (речь идёт о книге Кожинова “Происхождение романа”. — С. К.). Но, насколько мне известно, ни одна книга (даже “маститых”) не проходит гладко, и при этом всегда есть какая-нибудь подоплёка (того или иного рода). Убеждён, что Ваша книга не может не пробить себе дороги...”

Моё мнение о Вашей книге, конечно, самое искреннее. Я до сих пор ещё нахожусь под её обаянием. Что же касается до проблемы языка романа, то она, по существу, выходит за пределы поставленной Вами задачи.

Ваше письмо было для меня очень интересным и отрадным (с этим письмом, которое, к сожалению, не сохранилось, Кожинов послал Бахтину книгу Эвальда Ильенкова “Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” Маркса” и стихи Бориса Слуцкого. — С. К.). Всё, что Вы пишете о нашей молодой поэзии, живописи и эстетике, было для меня новым (я знал только немного поэзию Слуцкого, которого, кажется, недооценивал). Книгу Ильенкова

и “Вопросы эстетики” обязательно прочту, как только позволит время. Беда в том, что я перегружен всякой ненужностью, а для настоящего и серьёзного прочтения не осталось ни времени, ни сил.

Очень благодарен Вам за стихи Слуцкого. Я их читаю и перечитываю. Они очень сильные и очень мрачные. Во всяком случае, это настоящая поэзия. Но я их ещё не вполне “освоил”. Почти в каждом из стихотворений я ещё спотыкаюсь об отдельные слова и целые строки, которые, как мне кажется, ломают образ. Например, в совершенно изумительном стихотворении об онемевшем кино последние две строки как-то сужают образ и конкретизируют его не в том плане. Повторяю, я ещё не освоился с поэзией Слуцкого, но её поэтическая значительность для меня уже и теперь несомненна.

Вы пишете о своём интересе к моим работам. Но дело в том, что я долгие годы работал без определённых возможностей опубликования, поэтому у меня не было стимула придавать своим работам внешнюю законченность, упорядоченность и удобочитаемость, т. е. то, что обычно делается только тогда, когда работа готовится к печати. Поэтому, чтобы послать Вам что-нибудь, я должен проделать известную работу. И я непременно это сделаю (мне хочется послать Вам кое-что о языке романа), но только в каникулярное время.

Над предисловием к Достоевскому я ещё не начал работать. Да и вряд ли что-либо выйдет из этого дела: от Союза писателей, который должен оформить договор, до сих пор нет никаких известий. . .”

В это время, время борьбы за издание Бахтина, ожидания утверждения к выпуску “Происхождения романа” и работы над новыми теоретическими статьями, в жизни Кожинова происходили и другие драматические перипетии. Уйдя от первой жены и связав свою жизнь с Еленой Ермиловой, он всё ещё ощущал себя в “промежуточном” положении, в состоянии внутреннего разрыва и, судя по всему, долго не мог успокоиться и войти в рабочую колею. Он съехал из ермиловской квартиры, снял себе комнату на улице Воровского рядом с ИМЛИ, о чём и сообщил Бахтину в письме от 7 июня.

“Дорогой Михаил Михайлович!

Простите за долгое молчание. . . Не писал я в силу очень веских причин. . . В моей жизни произошли всякие душещипательные и в то же время авантурные события. . . Результат, во всяком случае, ясен — у меня изменился адрес. . . Как говорил мне посетивший меня Л. Е. Пинский, я живу через дом от того дома, где жил В. Р. Гриб (литературовед и эстетик, печатавшийся в “Литературном критике” и умерший ещё до войны. — С. К.). Может быть, Вы бывали у него?

С большой радостью прочитал Ваше последнее письмо, в котором всё говорит о взаимопонимании, о внутренней душевной общности, — не в чисто личном смысле, конечно (на это я не смею претендовать), но в смысле серьёзного и ценного дела, которому хотелось бы отдать всю жизнь, чтобы тем самым взять от жизни действительно много. Не самоотвергаться, а утверждать себя.

Книжку мою о романе всё же утвердили к изданию — правда, с определёнными купюрами. К счастью, они (пока) не касаются принципиального существа концепции. Поскольку время ещё есть, я собираюсь кое-что переделать в духе Ваших замечаний (особенно относительно античной и средневековой прозы).

Между прочим, Ваше замечание о концовке стихотворения о немеющем кино я передал автору, и он с Вами согласился, обещав переделать. Вообще хочется сказать Вам, что многие люди здесь хорошо Вас знают и очень ценят. О Вашей книге о Достоевском только на днях я слышал поистине восторженные отзывы от В. Б. Шкловского, Л. П. Гроссмана и даже. . . М. Б. Храпченко, В. В. Ермилова, В. Я Кирпотина и др.

Хочется послать Вам несколько стихотворений поэта, которым я более всего увлечён в данный момент, — позднего Мандельштама. Может быть, Вы не знаете этих стихов. Тогда, мне кажется, они будут Вам интересны. . .”

Стихотворения Мандельштама тогда ходили по рукам, Кожинов с упоением читал очаровавшие его “Воронежские тетради” и, естественно, не мог не поделиться радостью своего открытия.

Что касается “Происхождения романа”, то Вадим Валерианович, готовя книжную редакцию, не только вписывал усвоенное от Бахтина (“Слово в ро-

мане выступает не только как *средство* изображения, но и как *предмет* изображения), но прямо привёл цитату из бахтинского письма:

“На античной почве мы находим целую группу жанров, которую сами греки называли областью “*серьёзно-смешного*”... Само название звучит очень романно. В эту область древние относили ряд *средних жанров*: жанр сократического диалога, обширную литературу симпозионов, мемуарную литературу, “мениппову сатиру” и др. Сами древние отчётливо сознавали отличие этой области от эпоса, трагедии и комедии. Здесь вырабатывались особая (новая) зона построения художественного образа, зона контакта с незавершённой современностью (осознанный отказ от эпической и трагической дистанции) и новые типы профанного и фамильярного слова, по-особому относящегося к своему предмету. Здесь начинает формироваться и особый тип почти романного диалога, принципиально отличный от трагического и комического (такой диалог можно кончить, но не завершить, как незавершённые и люди, его ведущие).

Во многом опираясь на Бахтина, Кожин в “Происхождении романа” утверждал бессмертие романа, как жанра, ибо бессмертна жизнь, питающая роман. Отдельные фрагменты книги он опубликовал в “Литературной России” под заголовком “Гибель или возрождение? Проблема романа на Западе” в то время, когда в мире повсеместно звучали слова о кризисе, а то и конце романа. Разобрав сущность романов “эссеистского” и “эскапистского” типа в современном буржуазном мире, исследователь пришёл к неизбежному выводу:

“Совершенное изображение, воссоздание человеческой жизни в романе вовсе не противоречит глубокому познанию этой жизни, проникновению в её внутренний смысл. Более того, живость, действенность, подлинно яркая образительность нераздельно связаны с богатством смысла, **прямо пропорциональны ему**... Подлинный художник творит не “как в жизни”, но “как жизнь”. Он словно покушается на монопольное право жизни создавать людей, события, вещи и дерзко создаёт их сам, — подражая жизни, но в то же время и соперничая с ней, опережая её, создавая таких людей, такие события, возможность рождения которых лишь **заложена** в жизни... Чтобы действительно “подражать” жизни, художник неизбежно должен быть мудрым, как сама жизнь, вобрать в себя её внутреннюю “осмысленность”, или, говоря заострённо, проникнув в “замысел” самой объективной жизни, порождающей все явления, художник способен “подражать” её творческой деятельности... Ценность и даже необходимость этого специфического освоения мира... — несомненна и непреходяща.

Вот на что покушаются ниспровергатели романа. Но их пророчества не могут смутить тех, кто видит целостное развитие современной литературы... Роман — слишком ценная и мощная форма искусства и человеческой культуры в целом, чтобы можно было вообще с ним расстаться... Именно поэтому он **возрождается** в каждую эпоху...”

И здесь Кожин перекидывает мостик уже к бахтинской книге “Рабле в истории реализма”. К его мысли о смерти, чреватой рождением.

* * *

16 июня 1961 года он получил новое письмо из Саранска. Писала жена Бахтина Елена Александровна.

“Дорогой Вадим Валерьянович!

Нам необходимо встретиться как можно скорее. Это нужно для Вас, для Мих. Мих. и для меня.

У нас в квартире настоящий ад, особенно теперь — после моей болезни. Однако мне кажется, что день-два можно просуществовать в любых условиях. Я зову Вас не в гости. Это зов моей души! Так нужно. Нужно скорее!

Потому посылаю письмо с оказией, чтобы не думалось, что Вы его почему-то не получили.

Телеграфируйте о дне своего приезда, номере поезда и вагоне, для того, чтобы можно было Вас встретить.

Е. Бахтина”.

Это письмо Кожинovu передала приехавшая в Москву из Саранска историк Нина Григорьевна Куканова — она и её муж входили в круг ближайших друзей Бахтина.

“Застать Вадима Валериановича было невозможно, — вспоминала она, — и только в день отъезда мы наконец созвонились и договорились встретиться у станции метро “Кропоткинская” (тогда “Дворец съездов”). Передо мной стоял щупленький юноша, и мне показалось странным: почему Елена Александровна возлагает такие большие надежды именно на этого юношу...”

А “щупленький юноша” прочитал в послании самую настоящую мольбу о помощи. “Её просьба была связана с тем, — вспоминал он впоследствии, — что она тяжело заболела, боялась, что уже не выживет, умрёт, и видела во мне человека, которому она может, так сказать, с рук на руки сдать М. Бахтина. Она прекрасно знала о нашей переписке, как я к нему отношусь, с каким преклонением. Знала и то, что есть группа молодых людей, которые так же высоко его ценят...”

Что говорить! Положение это Кожинov оценил, как пиковое. Старый человек, пребывавший несколько десятилетий в забвении, нуждается сам (уже не его книги, а он сам!) в неотложной помощи. Видимо, его предстоит утешать, поддерживать, выводить из мрачного состояния, короче говоря, оказаться в роли духовного и душевного санитара... Вадим позвал с собой Сергея Бочарова и Георгия Гачева. И сподручнее действовать, и ехать вместе веселее.

“Мы ехали в плацкартном вагоне, — вспоминал Сергей Бочаров, — и я помню, что Вадим мерился силой в армрестлинг (тогда этого слова ещё никто не слышал. — **С. К.**) с солдатами, и один солдат его положил, на что Вадим очень обижался”.

...Всю ночь в поезде читали стихи. Кожинov одаривал своих друзей неопубликованным Мандельштамом:

*Вооружённый зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидетелься пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.*

*И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черногoлосым:
Я только в жизнь вливаюсь и люблю
Завидовать могучим хитрым осам.*

...Саранск. “Провинция и печать запустения”, — как писал Кожинov о тогдашнем городе.

Он сразу же отправился к Бахтину домой, а Бочаров и Гачев — по направлению к местному университету. Там, на тротуаре они и увидели Бахтина, опирающегося на костыль. Подъехала машина, патриарх сел в неё и исчез. Через некоторое время молодые люди также добрались до его дома.

Они трое сидели в небольшой комнате напротив человека, которому приехали оказывать скорую помощь. Они прибыли говорить — а сами сидели и слушали, боясь пропустить хотя бы слово. Перед ними был великан. Чудо отечественной истории. Выходец из Серебряного века, но он, казалось, вмещал в себя несколько мировых эпох. Такого они ещё не видели в своей жизни.

Бахтин говорил, говорил и непрерывно курил.

Это о н поднимал их. Это о н вселял в них абсолютную уверенность в нескончаемость бытия. Живая история вошла в их жизнь — и пространство её расширялось до горизонтов невообразимых. Кожинovu он запомнился с той встречи, как человек абсолютно уравновешенного мышления — ничего похожего ни на пессимизм, ни на вульгарный оптимизм. И полное отсутствие столь привычной в том социуме, в котором жили до сих пор три друга, какой бы то ни было иерархичности. “Эти жуткие тридцать лет никак его не раздавили, он был абсолютно уверен в своём призвании, миссии, если хотите... И не было у него ни грана тщеславия, а у нас — ощущение полного равенства. К каждому человеку он обращался, как к самоценному и равному: “Ты еси!” (Кожинov).

(“...Ты еси, — писал потом Бочаров. — Ключевое слово, про которое мало сказать, что это слово философское, — это слово прямо религиозное, слово молитвы Господней, завещанной нам самим Христом...”)

Ученица Владимира Турбина Леонтина Мелихова примерно так же передавала своё первое впечатление от чтения книг Бахтина и личного общения с ним: “Мы привыкли при чтении литературоведческих книг перескакивать со страницы на страницу. А тут – как в поэзии, как в прозе Достоевского – нельзя пропустить ни одного слова. Читаешь – и знаешь, допустим, что в XIX веке был Жуковский. Это – оттуда... Мы мыслим иерархически. Здесь ничего подобного не было абсолютно. Ему очень нужен был каждый человек”.

Через пятнадцать минут после начала разговора Гачев обратился к Бахтину: “Михаил Михайлович, скажите, как жить, чтобы стать таким, как Вы!..”

В это время он стоял на коленках на полу, опираясь локтями о стол, – и было полное ощущение, что Гачев преклонил перед Бахтиным колени.

Видимо, в мыслях так же стояли перед Бахтиным Кожин и Бочаров.

Они видели перед собой подлинно великого человека, у которого нет ни малейшего зазора между жизнью и словом.

Бахтин сразу же расставил все точки над “и”. “Я не литературовед. Я – философ”. И тут же, уточняя, чтобы не было никаких недомолвок: “Но я не марксист. Не марксист”.

Да требовалось ли это уточнение?! В книге о Достоевском не было ни грана “марксизма”, столь привычного во всех книгах о классике.

А какая может быть первая реакция на великую личность из XIX столетия, прошедшую адские круги в XX-м, которая предлагает послушать отрывки из незаконченных сочинений, начатых три-четыре десятилетия назад и никому неизвестных?!

Энергия слова на бумаге и энергия того же философского слова, произнесённого автором... Тут остаётся лишь замереть, впитывая в себя звукомысль... Мысль сама по себе уже знакома по “Проблемам творчества Достоевского”... Но здесь она начинает играть иными красками.

Бахтин читал фрагменты из “Слова в романе”:

“Слово живёт вне себя, в своей живой направленности на предмет; если мы до конца отвлечёмся от этой направленности, то у нас в руках останется обнажённый труп слова, по которому мы ничего не сможем узнать ни о социальном положении, ни о жизненной судьбе данного слова (дальнейшие слова при публикации были выделены, и я не исключаю, что Бахтин выделял их и голосом. – С. К.). Изучать слово в нём самом, игнорируя его направленность вне себя, – так же бессмысленно, как изучать психическое переживание вне той реальности, на которую оно направлено и которую оно определяется...”

Всякий роман в его целом с точки зрения воплощённого в нём языка и языкового сознания есть гибрид... Художественный гибрид требует громадного труда: он насквозь простилизован, продуман, взвешен, дистанцирован. Этим он в корне отличается от легкомысленного, бездумного и бессистемного, часто граничащего с простой безграмотностью смешения языков у посредственных прозаиков. В таких гибридах нет сочетания выдержанных систем языка, а просто смешение элементов языков. Это не оркестровка разноречием, а в большинстве случаев просто не чистый и не обработанный прямой авторский язык.

Роман не только не освобождает от необходимости глубокого и тонкого знания литературного языка, но требует, кроме того, ещё знания и языков разноречия...”

Он говорил о слове “Роман как литературный жанр”, которое прозвучало в ИМЛИ за несколько месяцев до начала войны, о текстах “Эпос и роман”, “Проблема текста” – как работах, нуждающихся в дополнении. Говорил о предполагаемой книге “Жанры речи”... Вспоминал – совершенно отстранённо и как бы даже смеясь про себя – как его обвинили во “фрейдизме” после защиты диссертации “Рабле в истории реализма”...

Всё слышанное воспринималось, как горящее бытие.

– Михаил Михайлович! Что Вы посоветуете нам читать?

– Читайте Розанова!

“Что-о-о?! Кого-о-о?!”

“Розанов” – это была фамилия в самом начале 1960-х не то чтобы совсем непривычная, но насыщенная крайне отрицательными “флюидами”.

Кожин, вращавшийся в кругу литературоведов старшего поколения, изучавший и комментировавший Маяковского (в частности его “анти-антисе-

митские” стихи), проникнутый абсолютным отрицанием любого “юдофобства”, ибо усвоил в послевоенные годы, что сей народ больше всех пострадал как во время Великой войны, так и после неё (в “антикосмополитической” кампании), слышавший, что “Василий Розанов” и “антисемитизм” – это своеобразное тождество, – был поражён.

И – запомнил. Запомнил – кого надо читать.

Никому бы он не поверил так, как Бахтину.

... Они уезжали из Саранска ошеломлённые, вдохновенные, в состоянии великой радости от прикосновения к тому великому, ради чего хотелось сворачивать горы. Тянуло на новые творческие подвиги.

* * *

Вадим Кожинов – Михаилу Бахтину. 5 июля 1961 года.

“Дорогой Михаил Михайлович!

Мы всё ещё переживаем эти прекрасные два дня встречи с Вами и Еленой Александровной – так, как будто простились только вчера. Даже говорим почти исключительно об этом. Необычайно высоко ценя Ваши книги, я всё же никак не мог подозревать, насколько Вы сами больше, глубже и сильнее их. Ужасно хочется, чтобы начатые Вами работы приобрели достаточно законченную форму. У ваших, ещё не очень старых друзей есть впереди по меньшей мере лет 30–35, и, поверьте, мы будем использовать всякую возможность обнародования столь ценимых нами трудов. . .

Сегодня мне особенно хочется думать о времени – сегодня мой день рождения, 31 год. . . Какая-то выразительность есть в этой дате – 30 лет ещё молодость, а тут уже явный поворот. Между тем, я начал действительно жить лишь лет пять назад – до этого не было внутренней самостоятельности. Просто какое-то движение в потоке. Давно уже не было поколения, которое взросло бы так поздно. Но, быть может, в этом есть и положительный момент – какое-то ощущение второй молодости в том возрасте, когда обычно уже успокаиваются и начинают двигаться по нисходящей линии. Мы же всё ещё ищем, обретаем новые ценности. Вот хотя бы во время встречи с Вами, в чём-то нас изменившей. . .”

И далее Кожинов пишет Бахтину о новых знакомствах в литературном мире (как о расширяющихся горизонтах): о том, что он побывал у теряющего память Алексея Кручёных, от которого узнал о живом Моисее Альтмане; о Якове Голосовкере, “филологе и своеобразно мыслящем эстетике”, о разговорах с ним, о готовящейся к изданию его книге “Достоевский и Кант” и неопубликованной статье “Оргиазм и число” (которую, судя по всему, Кожинов читал прямо у Голосовкера). О том, что вышлет Бахтину том стихотворений и трагедий Иннокентия Анненского, вышедший в 1959 году в Большой серии “Библиотеки поэта”, и текст доклада о Достоевском голландца Схохта на IV Международном съезде славистов. . . А в конце – опять возвращается к саранской встрече:

“По правде сказать, я волнуюсь – не разочаровали ли мы Вас при ближайшем рассмотрении? Не предстали ли мы как невежды, верхогляды и люди, полные предрассудков? В оправдание могу только сказать, что мы ещё духовно молоды, и из нас ещё может выйти что-нибудь путное. Не обязательно, но может. Особенно из Гачева. Словом, если что не так – не обессудьте. . .”

Через месяц пришло ответное письмо Михаила Михайловича:

“Мы, конечно, всё время вспоминали и вспоминаем Ваше посещение. Это – одно из отраднейших событий за долгие годы моей жизни здесь. Вы не только не разочаровали меня, но, напротив, превзошли все мои ожидания. Я представлял себе Вас несколько более узкими и кабинетными людьми, ожидал встретиться и с некоторыми обычными в наше время предрассудками, и меня поразили Ваше жизненное богатство и великолепная открытость Вашего сознания. С такими качествами люди растут, не старея, и никогда не предадут своего первородства за чечевичную похлёбку. Совершенно уверен в Вашем будущем, поскольку оно будет зависеть от Вас самих.

Вы пробыли у нас всего только полтора дня, но когда вы уехали, мы почувствовали, что наш дом опустел. . .”

Далее Бахтин писал, что “только приступает” к переработке “Проблем творчества Достоевского”, набрасывал краткий план этих “переработок” и сообщал, что “от Страды (который обещал писать из Италии) и от Союза писателей никаких известий не получал...”

Галина Борисовна Пономарёва (будущий директор Государственного музея Ф. М. Достоевского в Москве), позже побывавшая у Бахтина, передавала его слова: “Знаете, как он к этим учёным отнёсся? Чуть ли не в первую встречу со мной, или во всяком случае в последующие дни после первого нашего разговора, он с удивительной весёлостью и необычайной дружелюбностью сказал о всех троих: “Они владеют двумя языками”. Надо быть в том времени, во всяком случае, хорошо чувствовать то время, чтобы понять, насколько это была оценка очень уважающего этих людей человека и очень их ценящего и уже приблизившего их к себе. Владение двумя языками – это было условие, чтобы жить в том времени и не быть управляемым официозом... И этих людей тогда нельзя было назвать даже и в этом поверхностном плане, внешнем плане жизни марксистами... И М.М. говорил о них, я бы сказала, Боже, упаси! – не со снисходительностью, хотя бы даже естественной в возрастном смысле, – нет-нет, он говорил с не то что фамильярностью, а с необычайной дружелюбностью, что ставило их буквально на одну плоскость с ним, и чувствовалось, что они его очень заинтересовали...”

В другом разговоре Галина Борисовна “уточнила” этот интерес Бахтина: встреча эта была для него очень трудным переживанием: он, давно потерявший надежду на публикацию своих произведений, наблюдая десятилетиями катастрофический упадок гуманитарной науки и философии, пришёл к выводу, что “всё уже кончено” – и оказалось, что всё опять начинается, и каково было “начинать” в его возрасте?

(Кстати, о марксизме. Английский филолог и искусствовед С. Митчелл, познакомившийся с Кожинным – которого он назвал “экзистенциалистом” – в декабре 1962 года, жаловался ему: “В Англии так трудно быть марксистом... Нас там так мало... Но... в Советском Союзе я вообще не встретил ни одного марксиста!”)

* * *

В это же время Кожиннов делал всё, чтобы ускорить “итальянское” издание.

Из письма М. М. Бахтину от 30 октября 1961 года:

“Выполняя Ваше поручение, я сразу же обратился в агентство “Международная книга”. Референт по Италии, Ольга Владимировна Полканова, заявила мне, что до неё лишь только что дошло Ваше письмо (не знаю, насколько это соответствует действительности)... Я объяснил ей всю ситуацию, и, по её словам, дело не представляет большой сложности. Вся суть собственно в том, что агентство претендует на полное посредничество между Вами и издательством Эйнауди... Главное же заключается в том, что агентство считает очень желательным определённое обновление книги... Правда, я указал на возможность простого переиздания книги 1929 года со специальным редакционным примечанием по этому поводу. И это, кажется, не вызвало возражений...”

Бахтин ответил 11 ноября:

“Дорогой Вадим Валерианович!

Благодарю Вас за письмо и за посещение Международной книги. Оно возымело надлежащее действие, и я уже получил от них сообщение о заключении договора.

Книгу свою я переделываю так, как Вам в своё время сообщал. Работа подходит к концу. Я написал нового текста около 6 печ. листов (из них больше половины о карнавальных традициях). Рукопись вышлю в “Международную книгу” к концу этого месяца”.

Но Кожиннов ни в одном из писем не упомянул о своей беседе с директором сей “Международной книги” Афанасием Змеулом, у которого он добился личного приёма.

Тот был неприятно удивлён и визитом, и просьбой – и не собирался это скрывать. Но, что называется, не на того напал.

– Простите, – вежливо осведомился визитёр. – Я вижу, Вы достаточно холодно относитесь к моему предложению, но, поверьте, совершенно напрасно: вполне может получиться вторая история с Пастернаком.

Лысоватый Змеул, внешне очень похожий на Хрущёва, побелел. Ещё несколько лет назад он делал всё возможное, чтобы остановить издание “Доктора Живаго” в Италии.

– Как это так?!

– Так, что сложилась драматическая ситуация. Итальянское издательство хочет получить эту книгу, а нам было бы выгоднее, чтобы она вышла в Москве. О самом Бахтине давно забыли (! – Кожинов намеренно сгущал краски. – С.К.), он человек, не обладающий никакой властью. А книга лежит в “Советском писателе” без всякого движения. И если она выйдет за рубежом раньше, чем у нас в стране, – будет скандал не меньший, чем с книгой Пастернака.

Это наиболее правдоподобная версия кожиновского разговора со Змеулом. Дело в том, что через много лет в других беседах Вадим Валерианович, возможно, не помня уже многих деталей, а возможно, намеренно придавая этой истории ещё более авантюрный характер, говорил, что “книга уже в Италии”, хотя Бахтин продолжал работать над совершенно новым её вариантом (текст его неизвестен до сих пор). Но представить себе, чтобы Кожинов, даже с его любовью к риску, пошёл на такую откровенную ложь, едва ли возможно.

Впрочем, Змеулу вполне хватило и услышанного.

– Что же делать? – растерянно произнёс он.

Кожинов тут же достал свой текст письма в “Советский писатель” с настойчивой рекомендацией издать “Проблемы творчества Достоевского” в “Советском писателе” с тем, чтобы за границей книга печаталась по советскому изданию. И попросил оформить письмо на бланке “Международной книги”. И присовокупил в придачу:

– Вы знаете, в этом издательстве сидят сплошные бездельники. Пошли-те письмо с курьером, пусть курьер привезёт Вам ответ.

5 февраля 1962 года бахтинская рукопись была отправлена в Италию, где бесследно исчезла. А 27 марта Бахтин писал Кожинову, что камень под названием “Советский писатель” наконец сдвинулся с места.

“Дорогой Вадим Валерианович!

Получил официальное предложение от редакции “Советский писатель” о переиздании моего Достоевского и уже ответил на него согласием. Сегодня получил рецензии и редакционное заключение.

Всем этим я всецело обязан Вам и только Вам. Примите мою глубочайшую благодарность!

Сейчас я приступаю к новому пересмотру всей книги. Рукопись я хочу сдать издательству непременно до лета, так как летом Елене Александровне и мне придётся куда-нибудь поехать подлечиться. Итальянский вариант книги меня не удовлетворяет. Здесь мне снова понадобится Ваша помощь, на этот раз критическими замечаниями и советами (особенно по четвёртой главе). В ближайшее время я просмотрю и продумаю всю работу и тогда попрошу Ваших советов уже по конкретным вопросам.

Если Вы найдёте это удобным, то передайте мою благодарность В. В. Ермилову и А. А. Белкину за их прекрасные и благородные рецензии...”

По совету Кожинова “Проблемы творчества Достоевского” были переименованы в “Проблемы поэтики Достоевского”. Это, с одной стороны, могло облегчить продвижение издания, с другой – более соответствовало дополненному содержанию.

И бахтинские дополнения к книге, в курсе которых, естественно, был Кожинов, непрерывно державший руку на пульсе событий, открывали для него новые и новые глубины в постижении бытия и Слова, которое “было у Бога” и “было Бог”.

“...Трагический катарсис (в аристотелевском смысле) к Достоевскому неприменим. Тот катарсис, который завершает романы Достоевского, можно было бы – конечно, не адекватно и несколько рационалистично – выразить так: ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди...”

Тогда, в Саранске, Кожинов узнал от Бахтина о его приятельских отношениях с Фединым — они близко общались ещё в 1920-е годы. Правда, когда после ссылки Михаил Михайлович вернулся в Москву и позвонил Константину Александровичу — тот, уже ставший “комиссаром собственной безопасности”, предпочёл его не узнать... Но Кожинов сразу понял, что письмо, подписанное Первым секретарём Союза писателей СССР, безусловно ускорит издание бахтинской книги.

К Федину пробиться было практически невозможно. Главное — никто не знал, в какое время и где он находится.

И Кожинов позвонил в секретариат Союза.

Дальше начался настоящий карнавал. Утрируя немецкий акцент, Кожинов звал в телефонную трубку:

— Я дойче шрифштеллер, я Ганс Гюнтер... Когда Федин, ваш Федин жил в Дойчлянд, я хотел назвать Германий... он был мой камрад, мы очень дружили с ним... Я приехал ин Москву и хотел видеть Федин, говорить с ним... Да-да, видеть!

Секретарша поверила всему и сообщила, когда Федин вернётся к себе домой.

...Кожинов дежурил у подъезда. Подъехала машина с Фединым, тот прошёл в дом. Вадим выждал положенное время, поднялся на нужный этаж и позвонил в квартиру. Дверь отворила дочь — и Кожинов закричал прямо с порога:

— Я приехал от Михал Михалыча Бахтина! Он был дружен с Константином Александровичем!.. Он...

Федин выглянул из комнаты.

— Он жив?!

— Да, конечно...

— Входите....

Кожинов описал все трудности с прохождением книги в “Советском писателе”. И тут же в прихожей получил подпись Федина под письмом с настоятельной просьбой ускорить издание Бахтина.

Книга была уже набрана, но в печать не отправлялась: Лесючевский сделал всё, чтобы её движение было остановлено с тем, чтобы, когда пройдут все сроки, набор был рассыпан. И Кожинов снова прорвался к Федину уже на его дачу.

О том как это произошло, пусть расскажет сам Вадим Валерианович:

“Подхожу к ограде, калитка открыта, никакого звонка нет, никто не подходит, хотя на территории дачи, как мне известно, было человек 5-6 obsługi. Но пройти нельзя: через весь двор протянута проволока, к которой прицеплен огромный волкодав, контролирующий дорожку к дому. Приоткрываю калитку — собака злобно рычит... А я панически боюсь собак. По всей вероятности, это связан с тем, что (реальный факт!) мою мать, когда она была мной беременна, искусила собака... Тут, правда, здоровый пёс, но всё равно — страх! Поскольку я жил тогда неподалёку от Федина (на даче Владимира Ермилова в Переделкине. — **С. К.**), я вернулся к себе, взял велосипед, потом широко открыл фединскую калитку, отъехал подальше, разогнался и — ворвался во двор! Волкодав буквально обезумел. Он мчался за мной, но добратся до меня не мог: я отчаянно крутил педали, и ему никак не удавалось вцепиться в мою ногу зубами. Я врзался прямо в терраску, быстро взлетел на неё — это у меня всё было так рассчитано. Собака — исходит яростью и пеной, бьётся в истерике (не выполнила свою “боевую задачу”!)... Выскочили какие-то люди... И среди них, я вижу, — дочь Федина, а одновременно его хранительница и секретарь, такая крупная женщина, несколько даже мужского облика. Она меня уже знала, и я, обращаясь к ней, прохрипел: “Простите, но иначе я не мог прорваться. Решается вопрос о книге М. М. Бахтина...” — и протянул ей листки заранее составленного письма. Она вырвала у меня их из рук, а тут уже, слышу, сам Федин высунулся из окна второго этажа: “Что такое?...” Причём, точнее, это было даже два письма. Я специально заготовил на всякий случай, как двустольное ружьё, два послания — одно в издательство “Советский писатель”, а другое — в “Художественную литературу” (там шли переговоры об издании книги “Творчество Франсуа Рабле и народная

культура средневековья и Ренессанса”. — **С. К.**). Названия издательств я не обозначил, а написал только имена и отчества директоров... Боялся, знаете ли: если Федин смекнёт, что речь идёт сразу о двух книгах, то возмутится, скажет, мол, мало одной, так ещё и вторая... Поэтому я всё и “зашифровал”, будто бы ходатайство одно, но адресовано двум разным должностным лицам... И книги, конечно, тоже не назвал, а просто написал в обоих случаях: “Книга Бахтина...” Причём составлено это было в резких тонах, от имени Фебина: дескать, я уже обращался по данному поводу, но ничего не движется, а Бахтин не может ждать, он старый, больной и много испытывавший человек, вы должны ему помочь и т. д. Ну и дочь, значит, взяла эти листки, ушла. Собаку тем временем слугитель Фебина отвёл в сторону... Вскоре дочь принесла подписанные Константином Александровичем бумаги, я, весьма опасаясь волкодава, уехал на велосипеде и сразу же отправил их по адресам...”

А вот текст письма, который подписал Федин:

“С большим огорчением узнал, что издание книги М. М. Бахтина по причине перегрузки плана переносится на следующий год.

О выдающейся культурной ценности работы М. М. Бахтина мне вместе с рядом авторитетных товарищей довелось не так давно говорить в печати (23 июня 1962 года “Литературная газета” опубликовала подготовленное Кожинным письмом за подписью В. В. Виноградова, Н. М. Любимова и К. А. Фебина. — **С. К.**). Но дело не только в исключительных достоинствах книги. М. М. Бахтин человек очень пожилой и очень больной. Его работы не публиковались более тридцати лет.

Естественно пожелать, чтобы книга М. М. Бахтина шла вне очереди, в самом первом ряду. Какие-либо отсрочки в данном случае, на мой взгляд, и не рациональны, и не справедливы...”

“Вообще, тогда я уже понял одну существенную вещь, — говорил Колжин через много лет. — ...Официальные указания часто не принимали во внимание: мало ли что — кто-то мог о чём-нибудь попросить, а кто-то из чиновников по должности вроде как бы должен был отреагировать таким официальным указанием... Неизмеримо сильнее действовали личные обращения. Вот эти письма и были составлены именно так, и одна женщина, выдав себя за дальнюю родственницу Фебина, отнесла одно из них Лесючевскому. Не располагая сведениями о том, какую резолюцию наложил на письмо Лесючевский, но что интересно... дата фебинского письма точно совпадает с датой подписания книги в печать...”

Одновременно Кожин делал всё возможное для издания книги о Рабле. И сплошь и рядом, дабы добиться результата, он брал пример с героев плутовских романов, подробно описанных им самим.

(Продолжение следует)

ОТ “НАШЕГО СОВРЕМЕННОКА” ОТКАЗАТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич, поздравляем Вас с 30-летием руководства журналом “Наш современник”! Хочется сказать Вам слова благодарности за Вашу подвижническую деятельность на благо России, русских людей. Ваш ум, талант, честность вызывают в нас чувство восхищения и любви.

Недавно вновь перечитывали всей семьей Ваш двухтомник “Поэзия, судьба, Россия”, хотелось свериться с Вашими оценками некоторых поэтов и писателей. Перебрали книги в своей библиотеке, некоторые выбросили (Евтушенко, Межиров, Кугультинов). Воспитанные на большом почтении к книгам, предлагали знакомым и незнакомым – никому не нужны. И мы не хотим захламлять свой дом.

Мы выписываем Ваш журнал уже более 20 лет. В последние годы Советской власти журнал брали в библиотеке и тоже читали. Мы являемся читателями журнала “Наш современник” не менее 40 лет. Сначала – старшее поколение, наши родители (отца, участника Великой Отечественной войны, умного и бесконечно доброго и светлого человека, уже нет на этом свете), затем присоединились и мы с мужем, а сейчас и дети читают. В советское время читали, конечно, и “Юность”, и “Новый мир”, “Иностранную литературу”, “Москву”, “Молодую гвардию” и т. д. Но постепенно отсеялись сначала русофобские журналы, затем и по безденежью патриотические, но от “Нашего современника” отказаться невозможно. Ведь русский человек должен на что-то опираться в своем мировоззрении, и Ваш журнал и ещё газета “Завтра” дают нам эту опору.

В последних номерах журнала за 2019 год Вы печатаете свое новое произведение “К предательству таинственная страсть...”. Прочитываем с восторгом. Как всегда точно, умно, талантливо и бескомпромиссно. Bravo, Станислав Юрьевич! Многих Вам лет, здоровья (за здоровье мы подаем за Вас записки в церкви) и новых прекрасных книг!

С огромным уважением и любовью
семья **Матveenко Елена, Валерий и Алена**
и **Копотилова Нина Александровна** (95 лет)
г. Новосибирск.

P. S. Станислав Юрьевич, в нашей библиотеке есть Ваши книги “Сквозь слезы на глазах”, “Возвращенцы”, “Сергей Есенин”, “Русский полонез”, “Любовь, исполненная зла” и другие. Нельзя ли выслать наложенным платежом Вашу новую книгу “К предательству таинственная страсть...”?

Елена Матveenко

Дорогие наши читатели!

Благодарю за сердечное письмо, за любовь к журналу “Наш современник”, за то, что наш журнал и наши книги попадают в дружеские руки. Книга “К предательству таинственная страсть” ещё не издана. Пока она в течение, видимо, полугодия будет публиковаться в каждом из номеров журнала. Но после её издания в виде книги я, конечно, сразу же вышлю её вам.

Всего доброго. Ваш Ст. Куняев

* * *

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

С большим интересом прочитал в журнале “Наш современник” Ваш материал “К предательству таинственная страсть”.

При правлении страной И. В. Сталиным я прожил 26 лет. При Сталине чётко работала созданная им система, суть которой заключалась в том, что всё делалось для блага народа, а продукты питания выпускались качественные. Сейчас же людям в магазинах продают разную дрянь, которой запросто можно отравиться.

Мои родители работали на фабрике, а мой дядя (старший брат отца) работал в колхозе. Так что я с детства не понаслышке был знаком с рабочим и крестьянским трудом.

Жили мы в посёлке Мстёра, что в Вязниковском районе Владимирской области. Само название говорит о том, что там проживали мастеровые люди.

Хорошо помню, что при Сталине большое внимание уделялось обучению и воспитанию подрастающего поколения. В школе у нас преподавателями по всем предметам, кроме литературы, были мужчины, с большим опытом работы, многие вернулись с фронта после ранений. Оценки в классные журналы и дневники ставились не в баллах (от 1 до 5), а словами – “очень плохо”, “плохо”, “посредственно”, “хорошо”, “очень хорошо”.

Семь классов школы я закончил с похвальной грамотой, остальные три года доучивался в вечерней школе на украинском языке в Винницкой области, где проходил срочную службу.

Полученные знания были настолько прочными, что позднее я успешно поступил и с отличием закончил Военную академию тыла и транспорта в Ленинграде.

После семилетки учёбу пришлось отложить, и в 14 лет я пошёл работать на военный завод, выпускавший самолёты П-5, где и был принят в ряды Ленинского комсомола прямо на рабочем месте возле одного из самолётов.

Сталин уделял авиации особое внимание, поэтому директорами самолётостроительных заводов были, как правило, генералы. Директору нашего завода Сталин лично звонил и требовал увеличить объёмы выпускаемой продукции. Нам, молодым рабочим, часто приходилось грузить продукцию на машины ЗИС-5 и сопровождать их до железнодорожной станции, нередко очищая от снежных заносов дорогу, и даже устанавливая на отдельных участках сколоченные нами деревянные щиты для задержания снега.

В 17 лет я был призван в армию и после трёхмесячных курсов отправлен на фронт. Это был последний сталинский военный призыв. Довольно быстро дослужился до старшины, а при общении с пленными немцами использовал знания немецкого языка, полученные в школе. В 1953 году я увидел Сталина в мавзолее, где он покоился вместе с Лениным...

С искренним уважением,
участник Великой Отечественной войны,
полковник-инженер в отставке

Н. А. Чернышев
г. Серпухов.

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Позвольте мне выразить своё восхищение Вашим выступлением на юбилейном вечере О. А. Платонова. Обращение к юбиляру мы приняли и на себя. Да! С нами не только учителя словенские Кирилл и Мефодий, но и очень нами, русскими, любимые Георгий Свиридов, Юрий Селезнёв, Юрий Кузнецов, чьи стихи, посвящённые Вам в день 60-летия – “Ветерану 3-й мировой”, Вы замечательно прочитали на этом форуме.

Люблю перечитывать Ваши стихи из книги “Сквозь слёзы на глазах...”:

*Сквозь слёзы на глазах и сквозь туман души
весь мир совсем не тот, каков он есть на деле...*

*кружат над головой бесшумные стрижи,
несутся по песку стремительные тени*
.....

И это Вы написали 53 года назад! А как будто бы сейчас.

Очень проникновенно сказал о Вас Георгий Свиридов: “Стихи Куняева отличает страстность чувства и страстность мысли. Его поэзия нагружена большим смыслом, большими идеями, не поверхностными, а лежащими на глубине духовной жизни”.

А на 50-летнем Вашем юбилее умная и пронизательная Татьяна Глушкова сказала очень значимые для дальнейшей Вашей жизни слова: “Куняев – не изгой. Он – собеседник государства. Глубокий, серьёзный и в то же время всецело ответственный в каждом своём слове, он понял, что на фоне глобальности следует выбрать узость” (по-евангельски – “узкий путь”):

*Эти кручи и эти поля
и грачей сумасшедшая стая,
и дорога... Ну, словом, земля
не какая-нибудь, а родная.*

А Вадим Кожин, отмечая в творчестве Вашем следование Пушкинской традиции, пишет: “Для создания поэтического творения необходимо всякий раз, если воспользоваться строками самого Станислава Куняева,

*...подтвердить
причастие к истинам высоким,
прекрасным, вечным и жестоким
и душу настезь отворить”.*

Вот именно таким, настезь открывающим душу прекрасному и светлому в нашем мире, я увидела Вас на сцене ЦДК.

А внизу, в вестибюле, я приобрела три номера “Нашего современника”. И только уже дома, в Лиозно, просматривая их, обнаружила в 12-м номере свою статью “Арзамасские припевки”. Даже не ожидала! Это было для меня неожиданным сюрпризом. Сердечное спасибо Вам, дорогой Станислав Юрьевич! С большим интересом прочитала главы из книги “К предательству таинственная страсть”, содержание которой выходит далеко за рамки названия и больше походит на литературную энциклопедию XX века. Многие суждения стали для меня настоящим открытием.

Низкий поклон и глубокая благодарность Сергею Станиславовичу за его замечательные и глубокие статьи о Вадиме Кожине и особенно душевно, с любовью – о Юрии Селезнёве. Я давно ждала такой рассказ о любимом авторе книги о “Достоевском” серии ЖЗЛ. С упоением читаю его и перечитываю. Да! Как не хватает нам таких людей сегодня.

В начале своего повествования автор привёл фразу Вадима Кожина: “Есть люди, о которых говорят, что на них земля держится. Юрий относился именно к таким людям. И сейчас, после его ухода, у меня есть ощущение, что земля пошатнулась”.

Из рубрики “Память” очень тронула статья моего земляка нижегородца Валерия Сдобнякова “Гость нового века” о покойном талантливом поэте Юрии Андрианове, о котором тоже мой земляк, замечательный поэт Николай Рачков написал прекрасные стихи:

*Под листопадом грустным,
Лишь Музою осенён,
Он слишком был старорусским
Для барахольных времён.
Не торговался с веком,
Чтоб совести не избыть.
Он был таким человеком,
Которого не забыть.*

Хочется вернуться ещё и к Вашим стихам, написанным сорок пять лет тому назад (!), которые становятся всё более и более актуальными, подобными пушкинским “И ненавидите вы нас...”:

*Опять разгулялись витии —
шумит мировая орда:
Россия! Россию! России!..
Но где же вы были, когда
от Вены и до Амстердама
Европу, как тряпку, кроя,
дивизии Гудериана
утюжили ваши поля?
.....
Нет, все-таки взглянем сквозь годы
без ярости и без прикрас:
прекрасные ваши “свободы” —
что было бы с ними без нас?!*

Эти стихи стали настоящей классикой.

Спасибо Вам, дорогие русские люди Станислав Юрьевич и Сергей Станиславович! Журнал “Наш современник” по совету Дмитрия Жукова читаю с 1982 года.

С глубоким уважением и признательностью
Н. К. Тихомирова, краевед
г. Лиозно Витебской области. Беларусь

“В Сургуте открылся Рубцовский зал”

22 января в Библиотеке № 21 по адресу ул. Бажова, 17 состоялась презентация Рубцовского зала — культурного пространства, посвящённого жизни и творчеству российского поэта Николая Рубцова. Теперь жителям города доступны коллекции прижизненных изданий, книги с автографами и дарственными записями. Открытие зала состоялось в рамках празднования 115-летия первой публичной библиотеки в Сургуте.

Николай Михайлович Рубцов (1936–1971) — один из отечественных поэтов, чьё творчество по праву считается национальным достоянием России. В Сургуте всегда было немало поклонников его поэзии: литературные встречи, посвящённые памяти поэта, проводятся в Сургуте ежегодно, начиная с 1988 года, энтузиасты собирают материалы о жизни и творчестве поэта. Основой для создания Рубцовского зала стала коллекция основателя и руководителя Рубцовского центра в Сургуте Сергея Алексеевича Лагерёва, приобретённая городом в 2017 году.

В настоящее время все документы (а это почти две тысячи единиц) переданы для хранения и работы с ними в библиотеку на ул. Бажова, 17. В коллекции — более 400 документов на русском и иностранных языках, более 600 экземпляров периодических изданий, газетных и журнальных вырезок, свыше 800 фотографий. Многие фотографии, а также два прижизненных сборника С. А. Лагерёву передала вологодская писательница Нинель Старичкова — близкий друг Рубцова и жена фотографа Николая Александрова, сделавшего снимки поэта.

Главным мероприятием открытия стала презентация выставки, на которой представлены наиболее интересные предметы коллекции. Среди них — рукописи отдельных произведений (например, стихотворения “На вокзале”), несколько уникальных фотографий, включая снимки школы, в которой учился Н. Рубцов, репродукции работ вологодских художников, занимавшихся оформлением его книг. Особую ценность представляют прижизненные издания Рубцова, в частности, первый машинописный поэтический сборник “Волны и скалы”. Все книги обладают владельческими признаками, а также автографами и дарственными надписями. Также гостям были представлены медальоны с изображением Николая Рубцова, копия его посмертной маски, портреты поэта, написанные

тюменским художником Александром Овчинниковым, и малый бюст, созданный скульптором Николаем Селивановым.

Выставка будет работать до конца февраля.

г. Сургут

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Только что в журнале “Философия хозяйства”, издаваемом в МГУ, вышли мои тезисы под названием “Русские”. В этой работе я цитирую “Слово о полку Игореве”, Есенина и Вас. Достойная компания! Заключительный тезис выглядит так: “Русский рецепт жизнеспособности: “...когда не хватает тепла — люби леденящую вьюгу!”. Люблю. И, знаете, помогает! Спасибо за рецепт! Здоровья Вам и долголетия!

Александр Юрьевич Горбачёв,
старший преподаватель кафедры русской литературы
Белорусского государственного университета
г. Минск

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Вы есть (и всегда будете!) — и есть вера в русскую силу, в будущее народа и его культуры. Во времена безверия эта вера греет, спасает душу — спасибо Вам за неё!

С каждым годом дороже, нужнее, ближе сердцу Ваши стихи — так много заветного в них! Свобода, любовь, память, мысль, время и вечность — всё, что нужно душе от поэзии, есть в Вашем Слове. А потому поэт Станислав Куняев — родной, необходимый и очень любимый мною поэт.

Всего Вам доброго, Станислав Юрьевич! Долгих лет, здоровья, сил и достойных преемников!

С уважением и благодарностью
Виктория Синюк
г. Минск

* * *

Редакции журнала “Наш современник”.

От всего сердца желаю Вам всем здоровья и успехов в Вашем творческом, патриотическом и благородном труде. Хочется надеяться, что и мой малый вклад хоть чуть-чуть поможет в Вашем благородном деле воспитания души и выработке правильного вектора устройства общества на земле.

Являюсь гражданином РФ, служил после окончания Пушкинского радиотехнического училища в системе ПВО страны на ракетно-ядерном полигоне Капустин-Яр, а затем на военном заводе.

История, свершения, страдания, победы и потери моего народа, моей Родины и моего государства не могли оставить меня равнодушным.

Убедительно прошу Вас ознакомиться с моими “Мыслями вслух” и, если найдутся достойные, опубликовать в Вашем замечательном журнале “Наш современник” — самом любимом и умном журнале. Если такое случится, я буду счастлив, и мне будет легче проститься с земной жизнью и перейти в другую.

С глубоким уважением
Попов Юрий Павлович
г. Ломоносов

* * *

Главному редактору журнала “Наш современник” КУНЯЕВУ С. Ю.

Вы достигли того почтенного возраста, когда каждый год, дарованный Богом, можно называть юбилейным. В своих пожеланиях не буду оригинален:

здоровья Вам и творческого долголетия! Чего наверняка желают для Вас в первую очередь все Ваши коллеги, соратники и поклонники. Могут лишь признаться по секрету, что я, подобно иным седым провинциалам, в этом “заинтересован” ещё и лично. Чутьё подсказывает мне (а всякий писатель “зверина чуткий”, по слову Астафьева), что интерес журнала к нам, давним авторам из глубинки, держится в основном на редакторе, и стоит ему оставить редакцию, как редакция оставит нас. Это не в упрёк Вашим молодым наследникам, их предпочтительное внимание к авторам-сверстникам вполне понятно, се ля ви, как говорится, но...

Словом, живите долго, будьте, как всегда, плодотворны за рабочим столом и не забывайте нас, “местночтимых” письменников, рассеянных по Руси. С искренним уважением и надеждой на взаимопонимание –

Александр Щербаков, коллега с Енисея
г. Красноярск

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Недавно мою приятельницу Т. А. Коноплеву осенила идея собрать в библиотеке любителей поэзии, где каждый бы читал свои любимые стихи. Я поддержала и сказала, что центральное место должно быть отдано Вам в знак признания Ваших заслуг (их много), и как редактору лучшего русского патристического журнала на протяжении трех десятков лет, и как человеку с доброй памятью о Пыщуге. Библиотека нас тоже поддерживала.

Для себя я решила, что еще скажу ваши слова “Мы потеряли нашего великого читателя вместе с нашей великой страной”. Что толку, если будут талантливые книги, а читать их будет некому? И Вашу надежду: “А может, кто-нибудь поймет, где грохот времени, где проза...” И главную мысль: “Читатель должен быть талантливым. Талантливый поэт. Талантливый читатель”. Пусть эта мысль греет душу всех, кто читает талантливых поэтов.

Ваших стихов я запомнила около двух десятков, часто их мысленно повторяю и с удовольствием прочту на встрече.

Вероятно не удержусь, чтобы не сказать, что стихи я не отделяю от личности авторов, и что поэтов, подписавших позорное письмо 42-х, постепенно выкидываю из своей памяти, как людей с двойным дном. И писателей из этого ряда тоже, хотя Астафьева мне жалко. Но вспомню фразу: “А за что мне ее (Россию) любить-то?” – и... не жалко. Конечно, все поэты и писатели не ангелы, но предатели и ненавистники России опасны.

На днях выяснила, что Мария Краева из Вохмы стихи в журнал послала (наконец-то отважилась, а то все стеснялась).

Желаю здоровья, чтобы на все хватало сил и чтобы как можно дольше Вы не выпускали штурвал журнала из своих рук!

Наилучшие пожелания от пыщугских читателей журнала и поклонников Вашего творчества!

Вчера вечером перечитала “А каждый читатель, как тайна...” из книги “Вызываю огонь” с дарственной надписью библиотеке, и мой Вам низкий поклон, что все выдержали и не сломались.

С уважением
Галина Старкова
село Пыщуг, Костромской области

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

С неизбывным интересом прочитал в 12-м номере “НС” главу “За Родину, за Сталина...” Вашей книги “К предательству таинственная страсть...” Исполненная родниковым русским словом Ваша звучит набатным зовом, напоминает патриотам страны, что битва за Родину, за Сталина – за нашу одну на всех Победу не окончена.

И Вы, Станислав Юрьевич, своим художественным откровением явили образец совершенного владения энергией слова. Ваше прозрение народной правды, как и разоблачение либеральных “измышлизмов”, о месте и роли

Сталина в истории и современной жизни Отечества обернулись нашей общей победой. Глубинные токи восходят в душе народа, испытавшего за последние 35 лет столько соблазнов и разочарований, страданий и бед, что иному хватило бы на целый век. Наш народ жаждет объединения, как Вы пишете, “двух сил – народной русской стихии и воли строителя нового государства”.

Как и в эпоху Сталина, наша Держава создается заново. Но соработничество народа и власти совершается трудно и противоречиво. В самом деле, возвращение Россией Крыма и Севастополя – два поистине сталинских шага к новообретению ею статуса мировой сверхдержавы. А самым первым шагом на том же пути было возвращение сталинского гимна. С ним совпало по времени укрощение регионально-этнического сепаратизма и кланового своеволия вкусивших суверенитета, “сколько проглотите”, местных элит. В том же ряду Мюнхенская речь и Валдайское слово Президента России В. В. Путина. Поддержка народного восстания в русском Донбассе против нашествия галицийской “гопоты” и наша военная операция в Сирии – ещё два шага в том же направлении. И тут же повышение возраста при выходе на пенсию для мужчин и женщин – шаг назад во время острой потребности гражданской консолидации общества перед глобальным внешним вызовом. Или сомнительные эксперименты с партийным строительством и связанным с ним тасованием кадровой колоды “эффе́ктивных менеджеров” вместо исторически испытанной опытом сталинской модернизации технократов – инженеров и учёных.

Своей глубоко аргументированной публикацией Вы утверждаете истину о державно спасительной связи времён в волевом сопряжении усилий государства и народа. Неслучайно Ваша формула самостояния страны в немирном окружении перекликается с нестареющей мыслью Георгия Вернадского из его “Начертания русской истории”: “Крепка и жизненна Евразийская держава оказывалась, однако, тогда, когда правящая верхушка не отрывалась от народной массы и внутренние подпочвенные воды питали власть”. Он пришёл к этому, говоря словами его знаменитого отца В. И. Вернадского, эмпирическому обобщению, обозрев пространство и время отечественной истории от вольной Скифии, обратившей вспять нашествие “царя царей” Дария I, до Красной империи СССР.

В своём публицистическом слове о Сталине и его творении вы убедительно показали, что непрерывная связь времён не возникает сама по себе, но строится, создается в сотворчестве и соразвитии отечественного государства и народных масс. Сказали заново, обращаясь к опыту Сталина, в чью эпоху совершались великие труды и подвиги и приносились немалые жертвы. Вы напомнили к месту и времени слова пророка в своём Отечестве Александра Александровича Зиновьева: “В эту эпоху в стране происходил беспрецедентный в истории человечества подъём многих миллионов людей из самых низов общества в мастера, инженеры, учителя, врачи, артисты, офицеры, учёные, писатели, директора и т. д., и т. п.”. Именно этого всенародного прорыва к знанию и творческому саморазвитию человека, народа и Отечества не может простить русскую “каста проклятая” и её наследники из “пятой колонны”. Чего стоят в сравнении с этим взрывом народного творчества нынешние лидерские проекты для молодых бюрократов, вполне осознанно желающих попасть из врачей и учителей в чиновники. . .

Вы, следуя русской культурно-просветительской традиции, замечательно выстроили историософию отечественного патриотизма, выраженную в литературно-художественной сталиниане. И развенчали там же “патриотов на час”, перебежавших в оттепельно-либертазианский лагерь, – тех, кто совершил и совершает, будто бы не ведая, что творит, грех неблагодарности, может быть, самый тяжкий из человеческих грехов. Делая это всякий раз, когда они предпринимая лукавую попытку приравнять Сталина Гитлеру, а Советский Союз – нацистской Германии. С достойным изумления сладострастием самоназначенные “судьи истории”, отмеченные нередко степенями её докторов, повторяют замшелые мантры западной антисталинской и русофобской историографии. Договариваются в державофобном режиме до упреков в адрес Президента, что он-де “в то же время фактически выводит из-под исторического осуждения сталинское руководство, перед войной пытавшееся союзничать с Гитлером” (Литгазета. № 4. 25.01.–04.01.2020). Неужто заявляющий это не понимает кощунственности и абсурдности антиисторического обвинения советских государственников в “попытках союзничать с Гитлером”? Тогда

как неопровержимым фактом истории является Советско-германский (1939 г.) Договор о ненападении (!), но никак не о коалиции с Антикоминтерновским блоком с III Рейхом во главе.

Да и само подписание Пакта Молотова-Риббентропа советской стороной было осознанным стремлением сталинского руководства оттянуть, как можно дальше, начало неизбежной войны с нацистской Германией. А во-вторых, это было твёрдое намерение Сталина избежать, во что бы то ни стало, войны на два фронта с объединёнными силами Запада. Как показала история, обе задачи предвоенной стратегии советского вождя были решены. Это стало залогом нашей Победы. Такова связь Августа 1939-го с Маем 1945 года. Не видеть её могут лишь исторически слепые персонажи. Их домыслы разбиваются о крепость исторической логики, убедительно выраженной отечественным историком Анатолием Уткиным в книге "Русские во Второй мировой": "Надо отдавать себе ясный отчёт в том, что идеология нацистской Германии и Советской России не имели между собой ничего общего. Первая основывалась на экзальтированном, фанатичном национализме. Вторая – на социальном восстании масс. Попытаться сегодня поставить знак равенства между двумя полярными системами ценностей можно, лишь предавая историческую истину в пользу политической злобы дня.

Многие различия двух столкнувшихся в войне обществ проистекали даже не из идеологии, а из контрастных особенностей цивилизационного опыта, западного и восточноевропейского. Индивидуализм, с одной стороны, и коллективизм – с другой, рациональность и эмоциональность, протестантская трудовая этика – и энтузиазм самоотвержения, опыт Реформации и традиции православия".

Вы, Станислав Юрьевич, проникновенно выразили в слове о Сталине и судьбе страны историческую правду о том, что народ ощущает душой, интуитивно. К этому глубинному откровению приходят разные поколения, включая и молодых граждан России. Ваша весть с журнальных страниц промыслительным образом совпадает с той, что отражена в зеркале социологии. "По опросу Левада-центра в марте этого года, уровень положительных оценок Иосифа Сталина, нараставший у россиян последние 15 лет, достиг рекорда, превысив 50%... Такой результат не столько ревизия прошлого, но свидетельство растущих претензий к настоящему... Суммарно "восхищение", "уважение" и "симпатию" к Сталину высказали 51% опрошенных Левада-центром против, например, 37% в 2016 г... С 45% в 2011 г. до 70% в 2019 г. выросла доля тех, кто считает положительной в целом роль Сталина в жизни нашей страны... Среди молодёжи 18–25 лет положительно к нему относятся 38% опрошенных" ("Ведомости" № 70. 17. 04. 2019).

Сбывается упомянутое Вами предвидение А. С. Зиновьева: "Не исключено, что молодёжь ещё будет когда-нибудь тосковать по сталинским временам".

Сила Вашей публикации, дорогой Станислав Юрьевич, в утверждении писательской правды об органической связи деяний Сталина с исторической судьбой страны и литературным процессом. Вы убедительно показали, что даже в тех случаях, когда иные субъекты последнего соблазняются антисталинской риторикой, их обвинительные суждения о Сталине и сталинизме оборачиваются, вопреки намерениям авторов, саморазоблачением антисталинистов.

Спасибо за подвижническое суждение о русской литературе и русской правде, о стране, народе, истории и современности.

С уважением **Евгений Салов**,
член СП России,
лауреат Государственной премии Республики Адыгея,
автор 27 книг поэзии, прозы, публицистики
г. Майкоп

ГАЛИНА СТАРКОВА

ИНТЕЛЛИГЕНТ И МАСТЕР

Алексей Никифорович Козлов — художник яркий, самобытный. Он родился 27 марта 1925 года на хуторе Трошино Пыщугского района. Со школьной скамьи ушёл на фронт добровольцем, после войны учился в Костромском художественном училище (1947–1950 гг.). Его друзьями были художники Николай Шувалов, Владимир Муравьёв и Георгий Вопилов.

Одну из статей о художнике Алексее Никифоровиче Козлове в восьмидесятых годах опубликовала костромская областная газета “Северная правда”. Я тогда работала собкором “Северной правды” и попросила поделиться воспоминаниями Маргариту Александровну Смирнову, бывшего директора Пыщугской средней школы, хорошо знавшую художника. Спустя 30 лет я предлагаю читателям текст той заметки вместе с моим рассказом о том, как сегодня земляки хранят память об Алексее Козлове.

Наше старшее поколение учителей хорошо помнит Алексея Никифоровича Козлова. Помнит как коллегу, учителя рисования Пыщугской средней школы. Это было в пятидесятых годах, когда он только что окончил художественное училище в Костроме, наверное, сам бы тогда не поверил, что его картины будут украшать Национальный королевский музей в Лондоне, музеи Мюнхена и Нью-Йорка, что его картины приведут в восторг выдавших виды кинематографистов ФРГ, которые в 70-е годы снимали в Москве на проспекте Калинина выставку его картин. Съёмочная группа ликовала, а народ ахал от удивления: “Это что же за гений у нас объявился?”

Тогда, в пятидесятые годы он был скромным учителем. Скромным, но необыкновенным и неповторимым. Первыми зрителями портрета пыщугской красавицы, картины, названной “Северная Аврора”, а позднее “Портрет девушки под шалью”, вошедшей в золотой фонд, были именно пыщугские учителя. Они без труда узнали в портрете красавицы свою односельчанку Тамару Сивкову.

Алексей Никифорович писал с натуры Элю Разумову, нашу ученицу, дочь учительницы Орловой В. П. (“Снегурочка”). Нельзя не согласиться с писателем Ю. Н. Курановым, который подметил, что для Козлова в женском лице драгоценны были, прежде всего, глаза, в которых выражалась непорочность и прекрасное целомудрие. Он и позднее напишет много женских портретов, а мы, пыщужане, горды тем, что философский смысл женской красоты первоначально был заложен именно в лицах списанных с натуры пыщугских девушек.

В Алексее Никифоровиче поражало большое интеллектуальное трудолюбие, и общение с ним побуждало нас к серьёзному самообразованию, к самосовершенствованию. У него была антикварная библиотека, полная книг,

старинных и ценных. А памятью он обладал ёмкой и крепкой. Меня, например, поразила однажды его память на детали художественных образов из “Божественной комедии” Данте Алигьери. Хотя я учительница литературы и “Божественную комедию” знала, но поняла, что так зримо воспринимать литературное слово могут именно художники.

— Какой круг ада Данте вам кажется страшной? — спросил он меня.

Я, замаявшись, ответила:

— Мне весь ад страшен.

— А мне круг “Ожидание”, — сказал он.

Вскоре я перечитала “Божественную комедию” по книге из библиотеки Козлова (это было старинное издание в кожаном переплете), внимательно читала “Ад” и “Ожидание” восприняла по-новому. Теперь была убеждена, что испытание ожиданием действительно всего страшнее, это истязание, это казнь.

Алексей Никифорович имел завидную способность к общению с разными людьми, он мог быть своим человеком в любой по образованию и профессии среде. Это шло, наверное, от его крестьянского происхождения. Он родился на хуторе Трошино в 13 километрах от Пыщуга в крестьянской семье. Свободно общался с женщинами-крестьянками, с деревенскими мужиками, был свой среди сельской интеллигенции, почитаем среди столичной творческой интеллигенции. Например, известно, что почитателем таланта и собирателем картин Козлова был знаменитый авиаконструктор О. К. Антонов, в семье которого Козлов был почти своим человеком. Полотна нашего художника украшали интерьеры домов многих известных людей, в том числе академика Игоря Курчатова, академика Петра Капицы.

Я говорю “нашего художника”, хотя последние два с лишним десятка лет Козлов жил в Москве. И всё-таки он остался нашим. Не всегда человек, достигнув славы, помнит о неприметном затерянном хуторке, где жил в детстве. Алексей Козлов остался верным своей малой родине. В отцовский дом в Трошино он выезжал каждое лето. Именно здесь родились и осуществились многие его поэтические этюды. Здесь всегда он был вдохновенен, работоспособен. По нашей земле умел ходить осторожно, с любовью.

Друзьям признался: “Тысячу раз ходил я уже по этой дороге, иногда надоедает она, как вспомнишь, что идти надо. Стоит же выйти, и в каждый новый случай видишь её по-новому, словно впервые”.

По-новому видеть дороги Родины, ходить по ним, словно впервые, с тихими радостями удивления и гордости за землю, на которой живёшь, — как это напоминает восприятие деревни Михайловское А. С. Пушкиным. Недаром писатель Юрий Куранов в своей повести “Озарение радугой”, не раз обращаясь к творчеству Козлова, вспоминает великого поэта. Недаром и сам художник, склоняясь перед образом Пушкина, снова и снова обращался к его воплощению.

Побывав в Тригорском и вернувшись в Москву, Козлов долгое время оставался с собою наедине, никого не принимал, никуда не ходил, а потом как-то сказал, вспоминает Куранов: “Написал я тут одну странную работу. Долго работал. Спасу от неё не было, тяжело даже становилось, дышать было нечем, словно астмой душу закладывало. — Походил по комнате и добавил: — Памяти Пушкина. Картина называется “Реквием. Маска и свечи”.

Картину эту мне довелось увидеть. Действительно, как-то леденеет дыхание: синие с зеленью драпировки падают на плоскость. Две свечи горят по обе стороны в простых высоких подсвечниках, а между свечами — гипсовая маска Пушкина, и синяя, и лиловая, и зеленоватая одновременно. И чем больше в неё вглядываешься, тем острее ощущаешь, что это не маска, а живое, страдающее лицо поэта.

Близок нам художник своим восприятием природы. Его многочисленные пейзажи — это природа Пыщуга. Это наши берёзы, дубы, цветы, поля. Его многочисленные натюрморты — это предметы старого крестьянского быта: туески, бурачки, лукошки, лапти, запасённые на будущий год и висящие на повети. Глаз художника прост и чудодейственен одновременно.

Мне помнится ещё одна из его последних работ, которую он вначале назвал “Ноктюрн”, в окончательном варианте — “Памяти Шопена”. Это большое тёмное полотно. У нижнего края лежит распутившаяся красная роза, похожая на человеческое сердце. А из снежного облака над розой искрится снегопад. Картина как бы воскрешает музыку Шопена, строгую, величественную.

Наш художник-земляк ушёл из жизни рано, в 52 года. Он умер 2 июля 1977 года.

Лично мне Алексей Никифорович Козлов imponировал как человек, как отец. Судьба его была сложной, жена умерла рано, оставив ему двоих детей дошкольного возраста. Когда они подросли, определил их в школу-интернат, дети возвращались в дом в выходные. Алексей Никифорович готовился к этому, собирал стол с яствами, как мог, и встречал своих детей объятиями. Ради них он не женился, прожил всю жизнь один.

С Алексеем Никифоровичем мы поддерживали постоянную связь, я не раз бывала в его московской квартире. И должна признаться, что меня удивляла та скромность быта, которая окружала художника. Маленькая двухкомнатная квартира, комнаты очень маленькие, одни коридорчики. Он не имел своей мастерской. Даже и сейчас переживаю, как такого человека оставили без внимания.

На память приходят последние дни жизни художника. Это лето он проводил в Трошине, и там дала о себе знать астма. Его вывезли в Пыщуг, с транспортом помог А. В. Акулов, бывший тогда председателем райисполкома (его связывала с художником большая дружба). Потом проводили до Шарьи, посадили в поезд. Всё, кажется, было уже хорошо. Но когда он вышел в Москве на перрон, снова случился приступ, “скорая помощь” доставила Алексея Никифоровича в реанимацию. Успели сообщить некоторым друзьям, они его навестили, и, как потом говорили, никак не были подготовлены к его уходу из жизни. Случилось так, что в реанимации он через несколько часов умер.

На похоронах было много столичной интеллигенции: художники, писатели, учёные — и мы из Пыщуга: я, Г. Г. Смышляев и Г. А. Харинов.

Состоялись две панихиды, одна — в Доме художников, другая — в церкви. Всё было очень трогательно, необычно. В церкви проходила вечерняя служба, и молящиеся остались проводить художника, как было сказано, великого художника. От нашей делегации на гражданской панихиде выступил Г. А. Харинов, на могиле было поручено выступить мне.

На поминках Юрий Николаевич Куранов продемонстрировал нам все картины, которые находились в доме. Это был удивительный мир, и сердце при виде картин сжималось ещё больше от того, что так рано оборвалась жизнь мастера.

Память об Алексее Никифоровиче Козлове здесь, в Пыщуге, на его родине, хотелось бы сохранить надолго. Мы, учителя, ставили вопрос о перевозе его дома из хутора Трошино в Пыщуг, но всё, как нам говорили, упиралось в средства.

Но может быть, всё-таки это возможно сделать сейчас? Думаю, что дочь и сын пошли бы навстречу Пыщугскому музею, дали бы некоторые картины для демонстрации на родине художника. Хочу надеяться, что власти в Пыщуге будут способствовать созданию музея нашего пыщугского живописца.

Маргарита Смирнова

* * *

Надеждам Маргариты Александровны Смирновой было суждено сбыться. Нашлось немало инициативных людей среди жителей Пыщуга, которые организовали сбор средств на создание музея. Сохранилась даже разграфлённая тетрадка, где записаны коллективы, учреждения, предприятия, колхозы, фамилии жителей района и суммы пожертвований. Суммы невелики, но если учесть, что это происходило в девяностые годы, когда людям не платили зарплату, пенсионерам — пенсии, то тем большее уважение испытываешь и к инициаторам, и жителям. По словам директора музея той поры И. А. Лебедевой, “музей строился много лет и рождался в больших муках, но всё-таки был построен и открыт 9 декабря 1994 года”.

Музей находится на улице Фокина, в доме, где жил знаменитый адмирал В. А. Фокин, сочетает в себе черты исторического, этнографического и художественного музея. В нём три отдельных зала. Первый посвящён трудовым и ратным подвигам наших земляков. Самая большая экспозиция посвящена адмиралу Виталию Алексеевичу Фокину, прошедшему

славный путь от штурмана крейсера “Аврора” до первого заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Есть экспозиция, посвящённая землякам — Героям Советского Союза.

Второй зал музея — историко-этнографический. В нём множество экспонатов старины глубокой. Здесь также проводятся выставки декоративно-прикладного искусства: персональные выставки жителей района — любителей вязания, вышивки, резьбы по дереву, росписи, чеканки и т. д.

Третий зал музея — художественный. Это маленькая галерея знаменитого художника-земляка Алексея Никифоровича Козлова. К сожалению, не получилось перевезти с хутора Трошино родной дом Алексея Никифоровича, к той поре дом обветшал и разрушился, потому зал является новой пристройкой. Дом остался только на снимках и на одном из полотен художника. Но у жителей села и гостей есть замечательная возможность познакомиться с творчеством живописца. Его дочь Мария, которая стала искусствоведом, на открытие музея привезла 12 работ отца и провела экскурсию. Выставка обновлялась четыре раза. Район выделял транспорт, и бережно упакованные картины доставлялись из Москвы в Пыщуг и обратно.

Навстречу Пыщускому музею пошёл и Костромской музей: он для экспозиции дал на полгода 15 картин художника.

Четырежды в музее устраивались выставки старинных гравюр, монотипий, шедевров графики из частной коллекции московского журналиста Анатолия Филатова, друга художника Алексея Козлова.

Сейчас в музее гостей 10 картин Алексея Никифоровича из коллекции его дочери Марии. Это “Колокольчики” (1972), “Северная колыбель” (1976), “Деревенский колодец” (1976), “Жар-птица” (1974), “Псков. Собор Никосы на Устье” (1968), “Лук. Мак. Чаши” (1963), “Грибы” (1973), “Лампа” (1961), “Конный двор” (1976), “Малиновые кипарисы” (1969).

Одна из интересных встреч состоялась несколько лет назад в районной библиотеке. Гости её были дочь художника Мария Козлова и вдова писателя Юрия Куранова Зоя Николаевна Куранова (она и теперь ежегодно приезжает в Пыщуг к родственникам). Дом её родителей на хуторе стоял рядом с родительским домом художника.

— Когда Алексей Никифорович приезжал в Трошино, — вспоминала Зоя Николаевна, — писал без усталости. Картин набиралось много. Нанимал трактор, чтобы перевезти их до Пыщуга, дорога осенью в те годы — грязь по колено. Трудности невероятные. Но в Москве работать не мог. Родная земля давала ему силы и вдохновение.

Вспоминаю себя ещё маленькой. Пришла к ним в дом с озябшими руками. Алексей воскликнул: “Ах, какие рукавички!” Заставил позировать и написал портрет “Девочка в красных рукавичках”.

На фронте получил ранение. Рука не слушалась, и он долго её разрабатывал. Каких невероятных усилий стоило ему, чтобы снова взять в руки кисть и писать, писать...

Человек он был искренний, эмоциональный, не терпел фальши. Знал много стихов. Юрий тонко чувствовал живопись. Вместе им было интересно, они дополняли друг друга.

В библиотеке и в музее Пыщуга есть книга Юрия Куранова “Озарение радугой”, которую он посвятил памяти своего старшего друга, это творчество о творчестве.

— Казалось бы, Россия велика, и столько есть замечательных мест, но не всякий уголок земли прославлен так, как пыщугская земля, — сказала на той встрече Мария Козлова. — Папа всегда с вдохновением рассказывал о ней, и многие его друзья пожелали увидеть эту землю и полюбили её.

Юрий Николаевич Куранов поддерживал нашу семью. И как-то сказал: “Маша, ты должна написать об отце книгу”. И стал говорить, какой должна быть книга. А спустя какое-то время мне приснился сон, и я услышала голос Юрия Николаевича: “Маша, пиши книгу”. Проснулась и стала собирать материалы.

Книга об отце вышла в 2005 году к его 80-летию, называется она “Уже не жизнь, а житие”. Это строка из посвящённого отцу стихотворения, написанного поэтом Николаем Шатровым к 30-летию памяти художника.

К 70-летию отца Юрий Куранов организовал выставку его работ в Калининграде. На военном вертолёте в Калининград перевезли 90 его картин, их разместили в центральном выставочном зале, и выставку посетили многие тысячи людей.

Отец прожил непростую жизнь, она подготовила ему много испытаний. Не скоро пришло признание. Но натура у него была крепкая, крестьянская, от земли. “Надо идти начатым путём, воля, вера в себя, упорство — вот что надо вырабатывать нам, не искать помощи от кого-то. Безверие, безволие, нервы — вот что губит нас. Выработать свои мысли и идти своим путём упорно...” — писал он своему верному другу, художнику Георгию Вопилову.

Георгий Вопилов учился курсом ниже, боготворил отца и пронёс эту любовь через всю жизнь. Сохранил 100 писем, вырезки, зарисовки, шаржи, рисунки. Один профессиональный художник заснял их. И это всё, что сохранилось после пожара, — дом Георгия Вопилова сгорел.

По общему признанию участников встречи, Алексей Никифорович был большим патриотом. Невозможно без волнения слышать его чуть глуховатый голос с экрана документального фильма, снятого о нем в 70-х годах. “Я родился и вырос в деревне, на той земле, которую мои предки, их друзья и родственники подняли из, можно сказать, небытия к плодородию. Деревня наша, наша северная земля с ее полевыми былинками при дороге, с ее огненными закатами, со снегопадами, дождями, росами вошла в мою плоть и кровь. Я полюбил ее с той минуты, когда впервые босою ногою ступил на нее...”

Я вас всех люблю. Вы все мои родные и близкие. Все до одного. И те, кому нравятся мои работы, и те, у кого есть ко мне претензии какие-то. Потому что все мы сыновья и дочери нашей великой земли...»

* * *

В настоящее время Мария Козлова живёт в Гонконге, но ежегодно приезжает в Москву и на родину отца — в Пыщуг. Сотрудники музея М. И. Базарнова и Н. Д. Бобарыкина надеются, что и в этом году благодаря Марии жители райцентра смогут познакомиться с работами художника, которых они пока ещё не видели.

Автор этих строк тоже неоднократно встречалась с Марией Козловой. Она очень интересный собеседник, простой и открытый человек.

Экскурсии в музей проводятся часто. Приходят учителя со своими классами, приходят взрослые участники клубов по интересам районной библиотеки, летом музей посещают отпускники, бывшие жители Пыщуга, приводят сюда своих детей и внуков.

Одна из улиц Пыщуга носит имя Алексея Козлова.

Память о нём живёт.

с. Пыщуг, Костромская область

ГАЛИНА ОРЕХАНОВА

К РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

“РАЗРУШЕНИЕ МХАТ СССР им. М. Горького БЫЛО РЕПЕТИЦИЕЙ РАЗВАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА”.

Эта горькая мысль вырвалась из страдающего сердца великой русской актрисы Татьяны Дорониной, непосредственной участницы той жестокой трагедии разрушения уникального русского театра, которая наотмашь ударила по русской культуре в конце 80-х годов XX столетия. Потом мы стали свидетелями крушения нашей великой Родины.

Почему сегодня, в пору, когда всё общество увлечено обсуждением поправок к Конституции России во имя её будущего, мы обращаемся к той, оставившей кровавые шрамы трагедии? Опыт её показателен. Выводы? Пока что не сделаны. А надо бы...

Татьяна Васильевна Доронина была первой, кто не смирился и не сложил покорно крылья на развалинах великого русского театра. С верой и страстью она вступила в борьбу за восстановление искусства художественников, одаривших планету красотой и величием мастерства, благотворным влиянием на духовный мир человечества. В её понимании, борьба шла за жизнь русского духа.

Почти семьдесят лет творчества, дороги преодолений, титанических усилий, подвижнического труда и жертвенности составляли её жизнь, по мере сил она сметала препоны блокады, возводя чудо чудное русской сцены – искусство психологической драмы.

Мысль Дорониной, вынесенная в начало разговора, не случайна. Доронина увидела главное: именно исконно русская культура всегда была могучей опорой России, давала возможность стране отстоять свою самобытность.

И эту опору задумано было её убрать. Убрали. И – рухнула страна, Советский Союз как наследник исконной Российской империи ушёл в историю.

Крушение это было делом рук человеческих. Теперь это ясно.

Сегодня, на новом витке национальной истории, мы попадаем вновь в ситуацию архисложную, даже опасную. Снова над нашей страной сгустились враждебные тучи, грозящие жизни, достойной России как самобытного государства.

В Послании Федеральному собранию Президент прямо сказал: опора на культуру Отечества – наш путь, во имя достойного будущего мы должны сохранить фундаментальные ценности России.

Для многих свидетелей трагедии развала МХАТ СССР (а они ещё живы, и не только в России) не вызывает сомнений то обстоятельство, что то, что творится в русской культуре сейчас, есть повторение уже раз состоявшегося, курс этот проводится тоже властной и враждебной России рукой по тем же лекалам, с теми же подлыми целями – уничтожить. И курс этот не безуспешен.

Оглянись, родной человек! Что видишь округ? Кто сегодня не пережил горечь мучительного стыда, когда СМИ как коллективный палач пытали тебя, носителя культурного кода самого щедрого и отзывчивого народа?.. Пытали, утверждая, что ты – мародёр. И это почти что правда. Откуда взялась постыдная мода на спекуляцию медицинскими масками!!!

Как докатились мы до позора такого?

Ответ лежит на поверхности: “четвёртая власть” “новой России” пришла к поставленной цели – размыла границы зла и добра, принудила общество забыть о нравственной чуткости.

Будь это не так, господа-наследники русской интеллигенции, что явила прекрасную суть свою в пору торжества искусства Художественного театра и великих его вдохновителей – А. Чехова, М. Горького, Л. Толстого, – вы не позволили бы сатрапам от власти в разгар русофобии ударить по символу национальной красоты и достоинства России – Татьяне Дорониной. Как не позволили себе в своё время Горький, Чехов, Толстой не встать на защиту затравленного Дрейфуса.

Но... Сегодня вы промолчали, молчите и поныне.

Почему это стало возможным? Этим вопросом задаются почитатели русского гения, русской красоты и таланта как в России, так и в Республике Беларусь, на Украине и в Германии, во Франции и в Англии...

Мир застыл в ожидании. От России ждут, как она проявит себя, как распорядится на этом витке истории судьбой выдающегося художника, изнывающего в заточении, лишённого радости творчества, – Татьяны ДОРОНИНОЙ.

... Не однажды Татьяна Васильевна в течение всех лет сражений за русский театр, в пору особо тяжёлой травмы (об этом писала театральная критик Вера Максимова в статье “Террор среды”, опубликованной газетой “Век”) объясняла травлю попыткой лишить её сил плодотворно работать...

О... Она умеет работать. И как! Работать, как истинно русская крестьянка, находя отраду в тяжёлом изнурительном служении делу, по её разумению, необходимому её народу. Именно в силу святой этой веры она не дала погибнуть традициям театра Станиславского и Немировича-Данченко. Блистательным мастерством своих воспитанников она доказала это, явив искусство труппы на торжествах во славу 120-летия Московского художественного театра. Это было в Москве 27 октября 2018 года.

Однако сразу вслед – состоялся подлый удар в спину. Акция Министерства культуры от 4 декабря 2018 года по смене руководства МХАТ им. М. Горького, оскорбившая миллионы людей. Это выброс подлых многолетних интриг наёмников “пятой колонны”, тех, кто не прощает Татьяне ДОРОНИНОЙ ЦЕЛЬНОСТИ ИСКРЕННЕГО ПАТРИОТИЗМА, как справедливо назвал это Юрий Поляков.

Сила таланта Татьяны Дорониной огромна. Она плоть от плоти той могучей ветви исконно русского народа, что сформирована в трудных условиях Севера, стала хранителем веры Православной, укрепившейся в старообрядцах, веры, просиявшей в истории мира как образ нравственной высоты и беспримерной стойкости. Она наследница долгожителей, щедро одарённых талантом творить чудеса до последнего вздоха, мужеством, умеющим ценить в себе достоинство русского человека.

Жизнь идёт, отсчитывая часы мучительного позора: трагедия внутри коллектива МХАТ им. М. Горького разрастается... Ведь именно этот вопиющий вопрос требует сегодня неотложного разрешения!..

Обратимся к делам повседневно:

7 февраля 2020 года, в преддверии заседания Пресненского районного суда г. Москвы, куда подан иск актёрами МХАТ им. М. Горького к Боякову Э. В. (больше года проводящему курс на ликвидацию классических мхатовских традиций и потому лишившему их работы), в канцелярии театра разразился скандал: зам. и. о. директора Е. Н. Баженова отчитала секретаря канцелярии, угрожая уволить за регистрацию в журнале учёта должностных документов бумаг, подписанных лично президентом МХАТ им. М. Горького, народной артисткой СССР Т. В. Дорониной.

Вот так... Впечатляет?! Такие вот “правила жизни и творчества” в нынешней вотчине самодурства, занявшей знаменитое здание на Тверском, правила, рождённые в чаду бесчисленных выкриков г-на Боякова: “Мы с Татьяной Васильевной работаем дружно!..”

Свежо предание...

Зачем понадобилось чиновникам от культуры В. Р. Мединскому и В. И. Толстому назначить в руководство театром скандального менеджера? Зачем навязали сотрудничество с ним легендарной воспитаннице Художественного театра и бессменной многолетней его созидательницы Т. В. Дорониной, профессионалу наивысшего уровня, каждая роль которой вошла как образец в театральные учебники, спектакли которой, например, “Булгакиана” (“Белая гвардия”, “Полоумный Журден”, “Зойкина квартира”, “Комедианты господина де Мольера”) остаются в анналах достижений высочайшего уровня по мощи художественного воплощения шедевров русской литературы?

Где основания, дающие профессиональное право на решение министерства?..

Информацией к размышлению в данном случае может послужить интервью Боякова Петербургскому театральному журналу. Беседу с ним ведёт главный редактор Марина Дмитриевская, начавшая с заявления о том, что “отталкивается от тех узловых моментов, которые происходили в театре на протяжении последних 20 лет и **БЕСПОВОРОТНО ИЗМЕНИЛИ ТЕАТРАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ**... Это был самый трудный период в жизни российского театра, – утверждает она, – за всю его историю. Из кафедры, трибуны, храма его превратили в одно из досуговых развлечений”.

На наш взгляд – это и есть та правда об эволюции русского театра, начавшейся с тех пор, как был уничтожен МХАТ СССР им. М. Горького.

Бояков раскрылся своей с ошеломляющей откровенностью:

“... В июне 1992 года я приехал в Москву, поменял всё в своей жизни, остались только связи с Питером, с Корогодским – моим отцом в профессии... Я сидел за столом с Колядой, с Улицкой, Слаповским и Лоевским. Неплохо, да? Вот это единственное, что я взял с собой в новую жизнь... Тогда, в середине 90-х мне казалось, что моя экстравертная энергия способна на продюсерские проекты национального масштаба. Мы можем и должны менять страну – вот был пафос момента. И поэтому я возвратился в театр. Его менять интересно. Это именно то, что я делал с Гергиевым в Мариинском театре, и пусть “Князь Игорь” не состоялся как спектакль, решение его было революционно. Приглашение Дмитрия Черникова – это, конечно, революция в музыкальном российском театре. Гергиев мне верил и шёл на риск... Коллективная опера “Царь Демьян”, которую мы делали с Петей Поспеловым, – тоже прорыв... Жизнь в театре в то время очень быстро менялась... Мы эту страну и этот театр изменили. Изменила его и “Золотая маска”.

(Заметим в скобках, что творческий результат сих славных деяний – нулевой, пустота, как говорится, в сухом остатке).

“Вопрос: Скажи, а чему тебя научила Америка?”

Бояков: ... У Америки есть огромный запас прочности. Что ещё дала Америка?.. Конечно, бродвейский мюзикл, прекрасное развлечение из категории чистой человеческой радости. А какая там дисциплина актёров – без нашей буфетно-пьяной рефлексии, какое профессиональное достоинство, протестантское уважение к труду... Это встреча двух полушарий – рационального и образного. Россия – полная противоположность!..” (Заметим, по ходу сих откровений: какой пиетет! какво небрежение к русским!)

Теперь, однако, менеджер принялся строить “патриотический театр” на “православной основе”, в чём горячо его поддержал не кто иной, как член Общественной палаты РФ Владимир Легойда: “Горячо приветствовал я приход Боякова в МХАТ и полагаю, что за очень небольшой срок ему удалось сделать многое как в репертуаре, так и в превращении МХАТ в открытое культурное пространство”, – написал Легойда в своём “Телеграм-канале”. (РИА Новости, 21 ноября 2019).

Браво, Легойда! Осталось восславить беспримерное ханжество и фарисейство видного представителя РПЦ, восхититься отсутствием знаний и непониманием самой сути русской культуры.

Вломившись в Храм театра МХАТ им. М. Горького, г-н Бояков заявил, что призван “создать здесь русский православный патриотический театр”.

При словах о “создании на голом месте” русского православного патриотического театра...

Бездарность всегда ненавидит талант. Бояков с каким-то гипертрофированным ожесточением уничтожает всё самое яркое, он с лёгкостью меняет актёрские составы лучших спектаклей, которые ещё не изгнаны со сцены,

снимает основных исполнителей ролей, на самобытности которых завязан спектакль, и ставит первых попавшихся. Он лишил вообще права выходить на сцену мастеров, составляющих гордость Дорониной труппы. Дошло до того, что горе-худрук запретил допускать этих артистов к участию в собраниях труппы. Никто не поверит в то, что такое возможно, потому что это преступно. Но именно в этом и состоит основной почерк деяний Бояркова.

Разумный и честный человек обязательно спросит: а разве такое возможно? Из ничего создать что-то? Или это всего лишь виртуальный “творческий поиск”, мечты прогрессиста?

Нет! Это банальный повтор давно замшелого прошлого. Подобные речи на русской сцене давно прозвучали, ещё в XIX веке. О, незабвенный Иван Александрович Хлестаков!

“... С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: “Ну, что, брат Пушкин?” — “Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё”... Большой оригинал... Моих, впрочем, много есть сочинений: “Женитьба Фигаро”, “Роберт Дьявол”, “Норма”... Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: “Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь”. Думаю себе: “Пожалуй, изволь, братец!” И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня лёгкость необыкновенная в мыслях...”

По первым премьерам Боякова на мхатовской сцене всё так и есть: “Последний герой” — провальный дебют, зритель не ходит, спектакль практически снят, и полгода не продержался; “Синяя птица” К. Станиславского, почерневшая в костлявых пальцах г-на Боякова, дала навар самому “передельщику” — на афише спектакля: режиссёр Бояков, деньги немалые “срубил” за труд несправедливый... Опять же — прилип к Станиславскому, мол, тоже — режиссёр. Сейчас вот добивают под его руководством “Три сестры” А. П. Чехова, конечно, предварительно уничтожив всё, что было создано на сцене Художественного театра до них. Премьера объявлена! И правда! Чего новое-то искать? Тем более, когда в душе — мрак, пустота, “в мыслях — лёгкость необыкновенная”!

Итак, экстравертная энергия налицо. Только совсем непонятно, что привлекло в этот адрес таких, как Захар Прилепин, не нашедший в душе ни понимания бестактности своего назначения, ни уважения к нравственному величию народного авторитета русской актрисы, любимицы зрителя... Ввалился в Храм писатель Прилепин, как слон в посудную лавку. Недаром в последние годы жизни ангел-хранитель театра Дорониной Валентин Григорьевич Распутин тяжело страдал, видя в народе падение авторитета писателя. Всегда, во все века в России писателей отличала особая нравственная чуткость, тонкое проникновение в муки совести, внимание к духовным запросам людей, умение слышать народную боль. Что сейчас происходит?

Где ответ на другой, не менее важный вопрос: что заставило А. А. Проханова, пылающее “красное сердце” которого ещё не потухло, тянуться к “котлу кипящего варева лжи г-на Боякова”, или литератора-патриота Рыбаса, идущего по тем же следам? Что толкнуло их, русских писателей, плясать под дудку Боякова, как незабвенные Добчинский с Бобчинским?

Кстати. У названных “инженеров человеческих душ” особой любви к русскому театру ранее не наблюдалось. Знания творческих достижений МХАТ им. М. Горького — тем более. Но понимания значения этого русского театра в мировой “табели о рангах” у них, конечно же, не отнимешь. И прилепиться к великому “бренду” МХАТ — значит для личной карьеры немало! Особенно в наше пошлое время. Вот и прилипли.

Возвращаясь к трагедии разделения МХАТ СССР им. М. Горького как к событию судьбоносному, напомним, что в 1987 году конфликт разрешился в духе толерантности: народная артистка СССР Т. В. Доронина была назначена решением Министерства культуры СССР Художественным руководителем — директором МХАТ им. М. Горького. Другую часть, как известно, позже названную МХТ им. А. Чехова, тогда возглавил О. Н. Ефремов. Сегодня очень важно понять то, что было главной причиной раскола единого организма МХАТ СССР им. М. Горького, приведшей к трагедии столь роковой, повлиявшей на ход истории всей мировой культуры. Сохранились документы, до поры до времени закрытые, а теперь — известные.

В 1970 году ясность внёс любимый ученик К. С. Станиславского, талантливый коренник Художественного театра, народный артист СССР Борис Николаевич Ливанов. Он направил письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. Вот оно:

“Я взялся за перо ради этого письма к Вам в очень трудную пору моей жизни.

Проработав сорок пять лет в Московском художественном театре, я покидаю сцену... Меня вынуждают это сделать принципиальные причины. Я категорически не согласен с назначением на пост главного режиссёра МХАТ народного артиста РСФСР О. Н. Ефремова, а такое назначение готовится Министерством культуры СССР.

Я с уважением отношусь к О. Н. Ефремову, он не только талантливый актёр, но и способный, своеобразный режиссёр, десять лет возглавляющий театр “Современник”. Творческая практика театра “Современник” и его руководителя О. Н. Ефремова последовательно и настойчиво утверждает определённую линию, а именно: в области идейной – претенциозное фрондирование, в области художественной – полемика с искусством МХАТ. Эта полемика проявляется во всём: в области репертуара, в области актёрского искусства. МХАТ стремится к сценической правде. И “Современник” – тоже, но по-своему, “поправляя” МХАТовский реализм неореализмом итальянского кино...

Полемика продолжается, причём полемика не с творческой практикой сегодняшнего мхатовского искусства, а полемика с принципиальными основами этого искусства, завещанными К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Основатели МХАТ резко выступали против натурализма, а неореализм, утверждаемый Ефремовым, является его разновидностью. Речь идёт о судьбе Московского художественного театра”.

Как зафиксировано историей, генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в силу всемогущества интриганов во власти не принял одного из выдающихся художников русской сцены, которому в 1936 году Станиславский писал: “МХАТ призван спасти мировое искусство. За неисполнение этого указа судьбы ответите вы, оставшиеся в живых молодые последователи. Вы один из тех, о котором я думаю, когда мне мерещится судьба театра в небывало прекрасных условиях для его расцвета в нашей стране. Любящий и надеющийся на Вас К. Станиславский”.

Политиканы сорвали возможный благотворный ход развития русской истории, страну пустили совсем по другому пути, началось внедрение “рычагов управления”, в том числе и культурой, приведших, в конце концов, Державу к крушению. И если вспомнить ещё одно, поразившее мир событие того же 1970–1971 года, – полный разгром “Нового мира” А. Твардовского и “Молодой гвардии” А. Никонова – картина “исторического зигзага” русской культуры выглядит удручающе. Этот вывод подтверждает выдающийся учёный нашего времени, профессор СПбГУ Татьяна Черниговская: “Если говорить о развитии интеллекта, я не вижу никакого прогресса, я вижу регресс. Причём значительный и всё более ускоряющийся. Думаю, что человечество сделало неправильный выбор и пошло не в ту сторону. Я бы сказала, в суицидальную сторону пошло”.

В 1972 году Б. Н. Ливанов скончался. Татьяна Доронина была его любимой актрисой, в его блистательной постановке “Братьев Карамазовых” она играла Грушеньку, именно по его воле спектакль “О женщине”, созданный для неё, был включён в репертуар МХАТ. Доронина жадно внимала ему, поклонялась его таланту. Ливанов, в свою очередь, высоко ценил личность талантливой русской актрисы, истинность и самобытную глубину её души, особенно её нравственную высоту, неколебимость устоев, способность к вершинным свершениям. По закону “пожатой руки” Доронина – прямая и сегодня единственная наследница основоположников Художественного театра.

...Мы обсуждаем горячо, заинтересованно, страстно предложения Президента по улучшению Конституции. Верим его словам о необходимости опоры на вековые традиции национальной культуры.

Почему же авторитетные люди, казалось бы, думающие и болеющие за судьбу родины, коих собирает ежевечерне в “Соловьёвой роще” известный телеведущий, упорно не замечают (уже больше года!) вопиющей проблемы крушения театра Дорониной? Почему вдумчивый и честный полемист, политолог Сергей Михеев, взявший на себя труд отстаивать традиции национальной

культуры в специальной программе на радио, до сих пор не увидел подлейшего коварства в надругательстве над традицией русского театра? Почему не трогает его голос народного гнева? Почему не слышит он тревог соотечественников? А они налицо!

“Дорогая Татьяна Васильевна! — пишет известный театральный критик Нинель Исмаилова. — Очень много людей сегодня думают о Вас, волнуются, нервничают, хотят помочь Вам в сложившейся ситуации. Я в их числе. В силу многолетнего опыта и некоторого знания театра изнутри (мой муж, Дубровский Виктор Яковлевич, работал в Театре Маяковского и в Ваше там славное десятилетие) я вижу происходящее не только как очередную неумную интригу, но как опасную ошибку в культурной политике государства (и Бахрушинский музей разорили в год 125-летия, в усадьбе устроили пирожковую, у Щепкина — буфетную, уволились 100 сотрудников).

Беда в том, что отброшена просветительская доктрина: искусство должно развлекать. Мы с Вами понимаем, что развлечение легче продать, но театр — не бизнес. Вопрос стоит о спасении русской культуры в принципе...

Мечтаю о том, чтобы Вы осуществили свою миссию и возглавили противостояние общему безумию. Желаю Вам, дорогая, здоровья, выдержки и веры в свои силы!”

Очень точно сказано о том, на что надеется Россия, чего ждёт и в кого верит как духовного лидера.

Духоподъёмное искусство, открытое миру Станиславским и его сотворцами, сохранить может только Россия. В чём состоит феномен этого искусства, его необходимости для культурного совершенствования России? Это объяснил Г. А. Товстоногов, спектакли которого питали духовные силы русского общества, мощь русской земли ещё совсем недавно. Напомним, Товстоногов — любимый учитель, соратник по творчеству и преданный друг Татьяны Дорониной. Она же как благодарная, любящая, умная ученица сумела впитать в себя мудрость учителя.

“...Со Станиславским прожита вся моя творческая жизнь, — писал Георгий Александрович Товстоногов в пору расцвета своей сценической деятельности. — Свою знаменитую систему он, прежде всего, создал для себя...

Не вдумываясь в смысл открытых Станиславским законов природы творчества, кое-кто окрестил систему “сводом правил и бюрократической инструкцией”. Популяризаторы и невежды не поняли, что по самому своему духу система не закрепощает художника в какие-то рамки, но, напротив, раскрепощает его силы и открывает ему дорогу в большой мир. Система — верность природе. Система против догматизма.

Каким же слепцом надо быть, чтобы понимать её догматически!

Молодые и не очень молодые интеллектуальные стилисты от искусства обвинили Станиславского в скуке, серости, унылом реализме. О них уже однажды хорошо сказал Крылов: “Свинья под дубом вековым, наевшись желудей досыта, до отвала...”. Можно ли лучше сказать о тех, кто пользуется плодами Станиславского, не задумываясь о том, кто их вырастил...

Когда мы придём к будущему театру, нас первым встретит молодой, мудрый, лукаво улыбающийся Станиславский. Он родился и жил для будущего театра. И памятник надо ставить там. А сейчас он с нами, только впереди”.

На этой поучительной мысли закончим разговор.

В конце XIX века Художественный театр родился в ответ на запросы русского общества, которое стремилось к разумной нравственной жизни. Сегодня мы — наследники великой культуры Художественного театра, окормляющей мир уже более века, знакомы с его вершинными победами. И понимаем острую необходимость привлечения этой культуры для усиления влияния гуманизма на жизнь современников. Смириться с возможной её потерей — не в правилах нашего народа. Без веры в мечту Станиславского о торжестве русского театра как свободе жизни русского духа мы — не Россия.

ОЛЬГА МИТРОХИНА

ПАМЯТЬ О НЁМ ОСТАНЕТСЯ НАВЕЧНО

О шестой Селезневской конференции

В КубГУ на факультете журналистики состоялась Шестая Международная научно-практическая конференция “Наследие Юрия Ивановича Селезнёва и актуальные проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории”. В этот раз она посвящена юбилею литературного критика. 15 ноября исполнилось 80 лет со дня рождения Юрия Ивановича.

В 2017 году одной из самых больших аудиторий факультета журналистики присвоено его имя, и в день мероприятия она была переполнена. Среди присутствующих гости из других городов: профессор А. Безруков из Армавира, профессор В. Бараков из Вологды, главный редактор “Роман-газеты” Ю. Козлов и прозаик, публицист В. Дворцов из Москвы. Виктор Иванович Лихоносов тоже здесь, без него не обходится ни одно мероприятие журфака КубГУ.

По традиции задал тон конференции декан факультета журналистики Валерий Васильевич Касьянов. Он поблагодарил всех участников и подчеркнул значимость мероприятия:

“Наследие Юрия Ивановича – это один из важнейших векторных путей, по которому мы идем. Его творчество должно быть в центре внимания и науки, и творческого процесса”.

Руководил конференцией ее организатор, критик Юрий Михайлович Павлов. Первым, кого он пригласил выступить, стал Виктор Николаевич Бараков – литературовед, критик, доктор филологических наук, писатель из Вологды.

В своем докладе он рассмотрел наличие книг трёх авторов в электронных университетских и общероссийских библиотеках: Юрия Ивановича Селезнёва, Вадима Валериановича Кожина и Юрия Михайловича Лотмана. Вопрос актуальный, так как, по словам Виктора Николаевича Баракова, многие библиотеки уже переходят на данный формат. Например, “Ленинка” (Российская государственная библиотека) использует исключительно электронные каталоги. Да и молодёжь нередко ищет источники в интернете. Литературовед отметил, что наследие Селезнёва определяется не количеством книг, вышедших при его жизни и после смерти в советский период, а значимостью его творчества. Виктор Николаевич обратился к студентам, сказав, что возможность познакомиться с книгами Селезнёва для них очень важна, так как актуальность его работ в условиях идеологического кризиса только возрастает.

Проанализировал писатель данные по 85 регионам России, включая Москву, Санкт-Петербург, Республику Крым и Севастополь. Список университетских каталогов оказался укороченным, часть сайтов на момент выборов не работала, на 5 ресурсах библиотеки отсутствовали, на многих сайтах

электронные каталоги не открывались. Из 85 регионов доступными оказались 66. На 23 сайтах не представлены книги ни Селезнёва, ни Кожина, ни Лотмана (Адыгейский, Орловский, Новгородский, Ярославский, Волгоградский государственные университеты, Мурманский арктический государственный университет и другие). В четырёх университетах оказался только один выбранный автор – Кожин или Лотман. В большинстве провинциальных электронных каталогов университета картина следующая. В КубГУ Селезнева нет вообще, Кожина – 9 и Лотмана – 35. В пятерку лучших провинциальных каталогов по наличию произведений Селезнева вошли: Новосибирский госуниверситет – 14 книг, Сибирский федеральный госуниверситет – 10, Нижегородский – 10, Псковский – 7, Уральский – 7. Что касается столицы, то, по словам Баракова, только Московский педагогический госуниверситет выглядит достойно: Селезнёва – 5 книг, Кожина – 34, Лотмана – 54. В МГУ Селезнева нет совсем, Кожина – 79 книг, Лотмана – 86 книг.

Виктор Николаевич отметил, что электронные каталоги не всегда отображают наличие книг в библиотеках (карточные каталоги обычно полнее), но сам факт отсутствия или присутствия той или иной книги электронного формата в условиях всеобщей компьютеризации является знаменательным.

Список наличия книг критиков в общероссийских библиотеках тоже оказался коротким. На некоторых ресурсах они отсутствуют или не открываются. В коллекции Президентской библиотеки им. Ельцина вообще не представлены ни Селезнев, ни Кожин, ни Лотман.

“Известен факт: когда Борис Ельцин вступил в должность президента в 1991 году, он получил читательский билет под № 1. Как потом отметили в библиотеке – он не прочитал ни одной книги”, – дополнил Бараков.

В Российской государственной библиотеке 25 изданий Селезнёва, 122 – Кожина, 117 – Лотмана. Краснодарская краевая научная библиотека им. Пушкина имеет 5 книг Селезнева, 22 – Кожина и 22 Лотмана. В пятерку лучших по наличию изданий Селезнёва вошли: Российская государственная библиотека – 25 изданий, Национальная библиотека республики Коми – 24, Оренбургская областная универсальная научная библиотека – 21, Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга – 20.

Подводя итог, писатель сказал, что труды в университетских и общедеральных электронных каталогах библиотек представлены слабо.

Он предложил поспособствовать переводу текстов выдающегося критика на электронный формат и разместить в конце них ссылки на справочные издания и электронные энциклопедии.

После В. Н. Баракова с докладом выступил Андрей Александрович Безруков – доктор филологических наук, профессор АГПУ. В своей работе он изучил творчество Достоевского в осмыслении Селезнёва.

“Лучше Селезнева никто о Достоевском не сказал и не написал. Писать так, чтобы душу переворачивало, чтобы Фёдор Михайлович предстал перед тобой как личность, к которой хочется идти, которую хочется постигать – так мог только Селезнев... <...> Тайну Достоевского мы разгадываем вместе с ним”.

“Цель, которую ставил Юрий Иванович – показать, как личность творца претворяется в его слово. И как это слово проникает в сердце читателя...” – считает Безруков.

По его словам, Достоевский видел истину, а истина эта – Христос. Селезнёв пишет о Достоевском страдательно-счастливо, ибо жизненный принцип Селезнёва – невозможно служить добру, не жертвуя собой. Юрий Иванович отдал всего себя служению литературе и России. Он утверждал православность, русскость Достоевского, говоря, что “образ Христа вошёл в его кровь и плоть. Вошёл однажды и на всю жизнь”.

Как преподаватель Армавирского университета он признался, что, читая лекции по русской литературе студентам, говорит о Достоевском словами Селезнёва. “Я горжусь этим, ещё раз спасибо этому мощному, яркому человеку”.

“Идеал Христа для Достоевского, – цитировал А. Безруков Селезнёва, – именно идеал, мерило, которое можно принимать или не принимать. Но приняв, нельзя его подправлять, принаравливать к своим целям. Напротив, свои цели необходимо проверять этим вечным, неизменным идеалом”.

Книги Селезнёва, как утверждает профессор, это его путь познания Достоевского. В конце своей речи Безруков подчеркнул, что для него Селезнёв — путеводитель к Достоевскому.

После выступления Андрея Александровича Юрий Михайлович передал слово литературному критику, историку, заведующему отделом критики журнала “Наш современник” Сергею Станиславовичу Куняеву. Тот, как всегда, образно и метафорично обратился к аудитории с предысторией:

“Я оглашу с небольшими сокращениями свой очерк о жизни и творчестве Юрия Ивановича Селезнёва, который должен был стать предисловием к тому сочинению критика. Он должен был выйти в Институте русской цивилизации под редакцией Олега Анатольевича Платонова во всероссийско и всемирно известной серии “Русские мыслители”. Но вмешательство внешних, совершенно чуждых русской литературе сил остановило этот проект. Институт был фактически разгромлен, на Платонова заведено уголовное дело по 282-й статье. Следователи, которые брались за это дело, отказывали раз за разом в возбуждении, но тем не менее мощным указанием сверху оно опять возобновлялось. Так и продолжается до сих пор. Но я думаю, что в будущем правда будет на нашей стороне”.

Тема выступления Сергея Куняева “За святыни Отечества. Творческий путь Ю. И. Селезнёва”*.

С. С. Куняев, также как и Бараков, отмечает, что литературная жизнь Селезнёва проходила “в атмосфере боя на литературной ниве за совесть человеческую, за душу человеческую, за русскую гармонию”. И главным полем битвы в 70-е годы, как утверждает критик, стала русская классика.

Жизненные и литературные ценности Селезнёва Куняев охарактеризовал его цитатой:

“Личность начинается не с самоутверждения, а с самоотдачи, самоограничения, самопожертвования ради другого. Но в том-то и диалектика: через такого рода отречение, через отказ от индивидуалистического, эгоцентрического Я человек из индивидуума перерождается в личность”.

После Куняева с интересным докладом выступил Юрий Вильямович Козлов — главный редактор “Роман-газеты”, писатель.

Он сказал, что личность Юрия Селезнёва, его взгляды на классику, современную литературу, его борьба за традиционные духовные ценности русского народа сегодня выступают единицей измерения происходящих в мире процессов. На встречах, посвящённых Селезневу, идут серьёзные разговоры о состоянии русской культуры, обсуждаются тенденции в книжном деле, открываются новые молодые имена. Образ Селезнёва нас волнует ещё и потому, что сегодня в литературе не осталось духовных авторитетов. Изменилась сама сущность этого понятия.

“Молодые, подававшие надежды авторы растворяются в политике, литература уходит у них на второй план. Произведения писателей из провинции не доходят до массового читателя. Заниматься литературой сегодня означает жить внутри противоречия, которого окружающие люди не понимают”, — сказал Юрий Вильямович.

Он отметил, что Селезнёв жил и работал во время жёстких идеологических и цензурных ограничений, но “его слово звучало, его ждали, у него были союзники в литературной среде”. Главное, по словам писателя, он ощущал себя наследником и продолжал национальные традиции русской культуры. Его борьба за них имела широкий резонанс.

“Тогда слово имело иное наполнение, литература не была, как сейчас, отделена от государства. Юрий Селезнёв со своими единомышленниками надеялись, что можно влиять на власть, делать ее более эмоционально ориентированной, в этом, собственно, и заключалась их подвижническая деятельность. Они создавали плацдарм патриотической мысли (“Наш современник”, “Молодая гвардия”)), — в своей речи отметил главный редактор “Роман-газеты”.

Он подчеркнул, что Юрий Селезнёв, работая в редакции “ЖЗЛ”, издательстве “Молодая гвардия”, журнале “Наш современник”, выступал лидером, опирающимся прежде всего на русские духовные традиции, за что получал удары не только от власти, но и, казалось бы, от близких соратников.

* Текст выступления Сергея Куняева опубликован в № 11 (с. 133–148).

С чем он точно никогда не сталкивался, так это с равнодушием к своим статьям и книгам.

Юрий Козлов обозначил острую сегодняшнюю проблему, утверждая, что литературный процесс, в отличие от того времени, сегодня практически отсутствует.

“Издательства заточены на прибыли любой ценой, то есть на коммерческую литературу. Создаются настоящие цеха по ее производству. Писатели, особенно живущие вдали от столиц, не имеют шанса стать известными. Сама профессия писателя перестала быть престижной и уважаемой. Заработать на жизнь с помощью литературы невозможно.

А во времена Селезнёва и сейчас литература всегда была активной жизнью, более насыщенной и яркой. Сегодня заниматься литературой означает быть изгоем... Массовый читатель дезориентирован, литературный процесс заменён премиальным. Результат – снижение тиражей, закрытие книжных магазинов, отчуждение народа от книги и повседневного чтения...”

В первой части конференции выступали также профессор, доктор филологических наук А. В. Татаринев со своей работой “Эпос под ударом: “Живаговский сюжет” современной прозы в контексте позиции Ю. И. Селезнёва” и профессор А. Л. Факторович с докладом о созвучии смыслов в публицистике Юрия Селезнёва и Веры Галактионовой.

Итоги первой половины мероприятия подвёл Виктор Иванович Лихоносов, отмечая, что это одна из самых сильных конференций на факультете. Как всегда, студентам он пожелал как можно больше читать, изучать историю и “настраивать душу на священные уголки русской жизни”.

“Жизнь надо начинать с познания всего божеского, что есть на земле. Так вы будете счастливее и литературу поймёте лучше.

Я печалюсь от того, что Селезнёв ушёл. Все время думаю, как его не хватает сегодня. Хотя прошло уже 35 лет. С его могучим даром, энергией и гражданственностью это был боец”, – подытожил классик.

Во второй половине выступали студенты и преподаватели факультетов журналистики и филфака. О литературной реставрации исторического героя рассказал прозаик и публицист из Москвы Василий Дворцов.

Достойным финальным аккордом всей конференции стало выступление брата Юрия Ивановича Селезнёва Виктора. Он рассказал то, о чем нигде не написано.

“Его мама Прасковья Моисеевна – прекрасная женщина. У него был и красивый папа Селезнёв Иван Гаврилович. Мать всегда на вопрос “Как вас зовут”, говорила: тетя Фаня. Ей нравилось это имя, а то, что ее звали Пашей, она не признавалась. Они жили в Краснодаре, сейчас это адрес: Рашпилевская, 109. В этот двор я заходил 4 года назад, со своим 10-летним внуком. Зашёл и попал на старушку, которая помнит его маму и папу. Естественно, уже в возрасте, старше меня намного. Она рассказывала:

“Ой, какая это была семья! Папа – бывший воин, отвоёвавший положенные ему во время войны годы, тетя Фаня была по большей части домохозяйка. Она занималась своим сыночком. Рассказывала мне, как Юра постоянно просил почитать ей все, что было. И так с утра до вечера”.

Мне старушка эта даже показала ступенечки, где тетя Фаня сидела вместе с ним и читала ему”.

“Я до сих пор помню, – рассказывал Виктор, – как он смотрит на меня, вот эти голубые глаза, этот рост. Когда говорил, всегда в глаза смотрел. Вот я выслушал вас, вы настолько объемно рассказывали о его достоинствах, эту тему мы между собой не поднимали, только любовались им, когда он придёт. Когда он что-либо объяснял, мы с открытым ртом слушали.

Он со всеми по-настоящему дружил! Хоть его сейчас и нет в живых, но память о нем останется навечно”.

г. Краснодар

ПИСЬМО В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Отправила Вам по интернету перед проведением “Прямой линии” 20 июня 2019 года вопрос: “Слышала от Вас несколько раз, что тот, кто будет владеть искусственным интеллектом (ИИ) и технологиями цифровой экономики, тот будет Властелином Мира. Вспоминается, что в последнее время упор делается на спецшколы для высокоодарённых детей, районы застройки для элиты, музыкальные и другие конкурсы тоже не для всех... Может быть, именно с этим знаменитым высказыванием (про Властелина Мира) связано такое разделение общества.

Вопрос: Как можно быть Властелином Мира, когда в стране с населением примерно в 140 миллионов человек около 20 миллионов живут за чертой бедности? К тому же, рядом находится сосед, у которого население более 1 миллиарда 300 миллионов и который тоже борется с бедностью и тоже хочет быть Властелином Мира. Как это понять? Может быть, это шутка, фантазия, ирония?... Во что же нам (простым русским людям, которые не будут “властелинами”) верить и на что надеяться?”

Меня не покидает мысль, что всё это связано с Глобализацией. Можно провести параллель между цифровой экономикой, которая внедряется в настоящее время, и гонкой вооружений, длившейся на протяжении существования СССР. Суть в том, что и гонка вооружений, и цифровая экономика – элементы Глобализации, которые истощают экономику России. В книге Сафрончука В. С. “Политика и дипломатия” очень хорошо раскрыта тема Глобализации: ООН должна быть как бы Правительством Мира и защищать интересы всего мира и всех наций. Остановить процесс Глобализации невозможно, но для сохранения мира на Земле нужен такой орган, как ООН, чтобы сообща решать вопросы общемирового масштаба: освоение космоса, проблемы Мирового океана, проблемы бедности, экологии и пр., и пр. Таково было понятие “Глобализации” в СССР. Пока не развалился СССР, Россия отстаивала свою точку зрения по этому вопросу, а мировое сообщество по-другому понимало функции Глобализации. К примеру, у США основной целью является жажда наживы, разорение стран, богатых ресурсами, захват их ресурсов и перемешивание всех народов под видом строительства демократии.

В 1993 году Сафрончук В. С. вышел в отставку. Он занимал самый высокий пост в ООН от СССР (затем от России) – Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности. После его ухода на пенсию США упразднили эту должность, поделив её на две другие, и фактически стали полновластными хозяевами ООН. Уже не стесняясь никого, тем более ослабленной в то время России, некоторые русофобы смело высказывались, например, о том, почему всеми богатствами России должна владеть только Россия? (М. Олбрайт – США). И таких высказываний было множество.

12 национальных проектов – это детище нашего Президента. Он отслеживает всё, что с ними связано. Но зачастую они “буксуют”, хотя в них вложены миллиарды рублей. Вот уж что следовало бы создать, так это авторитетную комиссию по контролю за выделенными на проекты денежными средствами, куда бы вошли журналисты, экономисты, критики, учёные. Могла бы посоветовать некоторых из них, чьи статьи в журналах “Наш современник” и “Молодая гвардия” меня потрясают широтой взглядов и значимостью. Вот уж где достоинство России!

Позволю себе привести некоторые примеры из жизни, требующие внимания в рамках национальных проектов.

Первый. Борьба с бедностью – одно из главных направлений этих проектов, но они “буксуют”. Ведь дело не только в деньгах, но и в социализации обедневших людей.

В статье журнала “Наш современник” (№ 6 за 2019 год) Валентина Осипова “За сострадание” отражена именно эта тема. Если всё население не поддержит борьбу с бедностью, то мы не сдвинемся с места. Разве виноваты несчастные русские мужики (в основном русские), которых ввергли в это состояние ельцинско-гайдаровские реформы 1990-х годов XX века? Не умеет русский человек постоять за себя и находит успокоение только в выпивке...

В нашем доме появился магазин “Красное и Белое”. Как можно бороться с бедностью и повышать уровень жизни, при этом позволяя открывать магазины, целью которых является спаивание населения? В некоторых странах, например, в Финляндии на доходы от продажи алкоголя и сигарет содержится вся социальная программа. А у нас они просто идут в карманы богачей, увеличивая социальное неравенство населения.

Второй вопрос связан с социальным расслоением общества. Наш МИДовский посёлок в Полушкино строился в начале 80-х годов в период правления Брежнева. В 80-е годы Послам (в посёлок их попало 60–70 человек) и некоторым заслуженным работникам МИДа выделили участок в лесополосе, которую пришлось вырубать. Помогали в обустройстве посёлка (подводить электрику, водопровод, делать дорогу, вырубать просеку и т. д.) 10 семей местного начальства, которым тоже были выделены участки. Сразу же начались жалобы от представителей Академгородка, расположенного неподалёку: “Послы совсем обнаглели, строят такие хоромы”, – писали они в ЦК партии. Приехал Ельцин и грозно объявил: “Все отдать детским садам!” Послы были шокированы, и произошло даже несколько трагедий. Строили мы дома на специальных платформах – вбивались сваи, на них помещали платформы и сверху ставили домики деревянные, изготовленные заключенными. Кстати, эти домики тоже выхлопотал кто-то из 10 семей (о которых писалось выше). Вот такие “хоромы” строили Послы!

Шло время, сейчас осталось всего 3 Посла. На наши участки стали заглядываться “новые русские”, и им, конечно, захотелось больше комфорта. На собрании, которое состоялось 18 июля 2019 года, с нами особенно не церемонились, установили нам оплату в 24 000 рублей за год независимо от того, кто и сколько времени проживает на даче. До этого, в течение 12 лет, оплата была 14 000 в год. Вольно или невольно многие МИДовцы стали задумываться о продаже своих участков, то есть нас “выживают”. Для богатых людей не такое уж большое повышение платы, а для основной части населения повышение почти в два раза – это очень значительно. То есть появляется целый слой людей, которых приближают к черте бедности. Мало того, новое наше руководство, не считаясь совершенно с “аборигенами”, стало подавать в суды на некоторых из наших старожилов. Стыд и срам, что идут бесконечные “войны” между людьми за метры, сантиметры, неужели нельзя установить единые правила, чтобы не втягивать в эти “войны” измученное наше население? Я к тому, что надо руководству нашей страны определить какие-то нормы и категории для взносов. Вот куда направить бы цифровую экономику и технологии!

Мои предложения. 1. Хорошо бы распределить все подмосковные посёлки по категориям, в зависимости от уровня жизни проживающего там населения. Нельзя же сравнивать “Рублёвку” и посёлок работников завода! 2. Чтобы освободить население от разборок за размеры участков, использовать дроны для определения и фиксации уже существующих размеров. 3. Отменить налоги на

собственность до 15 соток для граждан РФ с одним гражданством. Налог на землю должны платить две категории: лица с двойным гражданством, проживающие на территории РФ менее 10 лет, и собственники, имеющие более 15 соток. Для них надо установить фиксированные нормы налогов в зависимости от многих факторов, таких как категория посёлка, удалённость от ж/д, удалённость от Москвы, доступность общественного транспорта, виды почв, приближённость к лесу и т. д. 4. В каждом посёлке определить оплату в зависимости от времени проживания (от 2-х месяцев до года). Вот уж где нужна цифровая экономика!

Возможны варианты.

* * *

У Путина В. В. есть несколько интересных высказываний. По некоторым из них у меня есть вопросы лично к Президенту.

Первое. Однажды Вы сказали замечательную фразу, обращаясь к Президенту США на юбилейной сессии ООН, которая войдёт в анналы истории: “Вы хоть понимаете теперь, что Вы натворили?”

Второе. Без конца по всем программам ТВ идут разговоры о Крыме. Ну неужели нельзя перевести на русский язык подробно, почему Крым принадлежит России. Думаю, что тут тоже вопрос в переводе этой темы не только иностранцам, но и самим украинцам. Всем, наконец, надо объяснить все подробности этой темы, почему Крым именно наш. Суть в том, что Хрущёв “подарил” украинцам Крым, пытаясь “подкупить” их после учинённых им на Украине репрессий. Сталин даже написал ему: “Уймись, дурак!” – на запрос об увеличении репрессийных списков. Но когда Хрущёв пришёл к власти, он все репрессии “повесил” на Сталина, а Крым “подарил” Украине. Однако в то время Украина входила в состав СССР, и этот жест не имел особого значения.

Третье. Самая большая Ваша ошибка, Владимир Владимирович, уж извините, что Вы недостаточно изучили Сталинский период, поддерживаете больше либералов и ошибаетесь в Великой роли Сталина. Во-первых, часто слышу от Вас, что пересмотра истории ВОВ не будет, а сами “выбросили” Сталина и на парадах, и в выступлениях, и когда пересматривают историю ВОВ наши недруги, то в этом виноваты и Вы. Во-вторых, Сталин должен быть реабилитирован, а для этого надо ввести на ТВ программу, подробно изучающую все периоды Сталинского правления. Заменить все “кричащие” исторические программы на достойное научное изучение Сталинского периода. Стыд и позор за унижение Сталина!

Какой же замечательный фильм шёл по НТВ 20 декабря, посвящённый дню рождения Сталина! Автор не хвалил и не хаял Сталина, а приводил примеры из исторических документов. Хотя бы так отразили личность Гения! И на том спасибо.

Четвертое. Совсем недавно Вы с пафосом, с возмущением говорили о поляках и о Гитлере: “Свинья, сволочь антисемитская!” Как же Вас подвели Ваши любимые “избранные”! Дело в том, что землю для постоянного проживания еврейского народа искали сами евреи. Уганду в Африке предложили англичане, а поддержал эту идею один из клана Ротшильдов. Не верю, чтобы евреи старшего поколения не читали книгу известного еврейского историка Вальтера Лакера, где подробнейшим образом описаны все перипетии еврейского народа в процессе поиска такой земли. Книга в 840 страниц подробно рассказывает о десятках разных попыток в борьбе за новую землю, о трагической гибели некоторых инициаторов этих поисков. Создатель брошюры “Еврейское государство”, потрясшей всё еврейское сообщество, Теодор Герцль прожил всего 44 года. В этой брошюре он написал, что ассимиляция не удалась, “еврейский вопрос” сохраняется везде, где живут евреи, и вопрос этот может быть решён только приобретением своей земли, поисками которой и занялся Т. Герцль, не отказываясь от Израиля, где Талмудисты не признают никаких других земель...

В. Лакер пишет в книге “История сионизма”, объясняя высказывания Т. Герцля:

1. “Мы повсюду искренне пытались слиться с народами, среди которых мы жили, стремясь при этом лишь сохранить веру своих отцов. Нам этого не

разрешали. Мы старались быть верными патриотами, иногда слишком верными, жертвуя жизнью и имуществом наравне со своими согражданами... но нас до сих пор отвергают как чужаков”.

2. “Т. Герцль предлагал поголовное крещение еврейских детей, чтобы евреи слились с коренными европейскими народами. Он хотел обратиться к Папе Римскому с просьбой: помогите нам справиться с антисемитизмом, а я за это возглавлю движение среди евреев за добровольное и благочестивое обращение в христианство”. Но с Папой ему встретиться не удалось.

3. Иногда фантазии Т. Герцля достигали своего апогея. “Не была забыта и еврейская любовь к роскоши”. Он описывал, как будет устроена жизнь на Земле Обетованной: роскошные женщины в шикарных нарядах, блестящие кавалеры, прекрасные дома, кафе, и вся эта роскошь будет доступна еврейскому народу. В настоящее время многие евреи достигли такой жизни именно в России. На днях была передача о певице, “королеве шансона” Любови Успенской, где она показывала свой роскошный особняк и рассказывала о своих питомцах, которые имеют каждый свою комнату, каждый свою прислугу, еду им доставляют из-за границы. Она, конечно, достигла мечтаний Т. Герцля, однако дури в ней столько же, сколько и богатства. Как можно всем этим похвалиться, когда у нас 20 миллионов живут за чертой бедности?

Возникает вопрос – кто Вас окружает и консультирует, Владимир Владимирович? Первое – политически неграмотные люди, которые не сумели или не захотели подсказать Вам, что борьба за землю в Африке велась самими евреями? Второе – “друзья”, подставившие Вас. Неужели политический деятель Израиля Б. Нетаньяху не мог подсказать Вам или ведущий политическое шоу на Первом канале В. Соловьёв? Или В. Жириновский... Уж они-то точно знали роль евреев в эпизоде между поляками и Гитлером. Так подставить Вас!

Сталин дал согласие на Крым как очаг для евреев, но когда в Россию приехала Голда Мейер – лидер Израиля, – и около синагоги в районе улицы Солянка собрались толпы евреев, приветствуя её (тогда мобильных телефонов не было!) – Сталин “схватился за голову”, и вопрос отпал.

Можно предположить, что сейчас идёт борьба уже не за Крым, а за Украину в попытке сделать её Землёй Обетованной, не отказываясь от Израиля. Поэтому все лидеры европейских стран и США, где сильно еврейское влияние, так поддерживают Зеленского.

Хочется провести параллель между заботой о евреях (вроде бы самых пострадавших в войне) и о советских людях. Евреям тайком выплачиваются некоторые суммы, о чём однажды в прямом эфире проговорился в беседе с Вами Нетаньяху. Интересно, какая статья расходов заложена на это в бюджете России? Это можно было бы и “проглотить”, если бы и советским людям, “детям войны”, выплачивались какие-то небольшие суммы, что неоднократно предлагал лидер КПРФ Г. Зюганов, но это всегда отвергалось – нет денег!

И что-то я ни разу не слышала, чтобы Вы защитили русских... И с каким пафосом Вы пошли на защиту “избранных”! Обидно...

Думаю, что Вы потеряли большой процент населения во всём мире, которое в Вас верило и очень поддерживало, в том числе и я разочарована. Реабилитироваться в глазах бывшего советского населения можно только:

1) если будут внесены поправки в Конституцию:

а) о том, что русский народ – это главенствующая нация, скрепляющая другие народности в единое государство (роль евреев здесь не подходит, так как они все считают себя “гениями” и выступают с разных позиций – объединения тут не жди);

б) о конфискации имущества у “ворюг”;

2) если будет проведена полная реабилитация Сталина – заменить “оружие программы” на подробный разбор Сталинского периода (о чём тоже писалось выше). Тогда Вы войдёте в историю России и даже всего мира как Великий Преобразователь!

Но надеяться на это не приходится после 20 февраля 2020 года, когда В. В. коленопреклонённо возложил цветы к бюсту одного из разрушителей нашей Родины – Собчака А. А.

С уважением
Зоя Сафрончук
Февраль 2020 года.